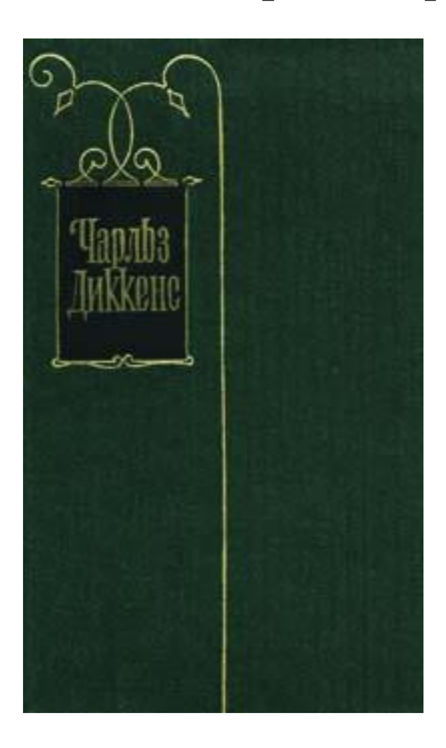
Диккенс Чарльз

Повесть о двух городах



Предисловие автора

Идея этой повести впервые возникла у меня, когда я[1] с моими детьми и друзьями участвовал в домашнем спектакле, в пьесе Уилки Коллинза «Застывшая пучина». Мне очень хотелось войти по-настоящему в роль, и я старался представить себе то душевное состояние, которое я мог бы правдиво передать, дабы захватить зрителя.

По мере того как у меня складывалось представление о моем герое, оно постепенно облекалось в ту форму, в которую и вылилось окончательно в этой повести. Я поистине перевоплотился в него, когда играл. Я так остро пережил и перечувствовал все то, что выстрадано и пережито на этих страницах, как если бы я действительно испытал это сам.

Во всем, что касается жизни французского народа до и во время Революции, я в своих описаниях (вплоть до самых незначительных мелочей) опирался на правдивые свидетельства очевидцев, заслуживающих безусловного доверия.

Я льстил себя надеждой, что мне удастся внести нечто новое в изображение той грозной эпохи, живописав ее в доступной для широкого читателя форме, ибо, что касается ее философского раскрытия, вряд ли можно добавить что-либо к замечательной книге мистера Карлейля[2].

Ноябрь 1850 г.

КНИГА ПЕРВАЯ
«ВОЗВРАЩЕН К ЖИЗНИ»
Глава I
То время

Это было самое прекрасное время, это было самое злосчастное время, — век мудрости, век безумия, дни веры, дни безверия, пора света, пора тьмы, весна надежд, стужа отчаяния, у нас было все впереди, у нас впереди ничего не было, мы то витали в небесах, то вдруг обрушивались в преисподнюю, — словом, время это было очень похоже на нынешнее, и самые горластые его представители уже и тогда требовали, чтобы о нем — будь то в хорошем или в дурном смысле — говорили не иначе, как в превосходной степени.

В то время на английском престоле сидел король с тяжелой челюстью и некрасивая королева[3]; король с тяжелой челюстью и красивая королева сидели на французском престоле[4]. И в той и в другой стране лорды, хранители земных благ, считали незыблемой истиной, что существующий порядок вещей установлен раз навсегда, на веки вечные.

Стояло лето господне тысяча семьсот семьдесят пятое. В ту благословенную пору Англия, как и ныне, сподобилась откровения свыше. Миссис Сауткотт только что исполнилось двадцать пять лет и по сему случаю некоему рядовому лейб-гвардии, наделенному пророческим даром, было видение, что в оный знаменательный день твердь земная разверзнется и поглотит Лондон с Вестминстером. Да и коклейнский призрак угомонился всего лишь каких-нибудь двенадцать лет[5], не больше, после того как он, точь-в-точь как наши прошлогодние духи (проявившие сверхъестественное отсутствие всякой изобретательности), простучал все, что ему было положено. И только совсем недавно от конгресса английских подданных в Америке до английского престола и народа стали доходить сообщения на простом, человеческом языке о вполне земных делах и событиях[6], и, сколь это ни странно, оные сообщения оказались чреваты много более серьезными последствиями для человечества, нежели все те, что поступали от птенцов коклейнского выводка.

Франция, которая не пользовалась таким благоволением духов, как ее сестрица со щитом и трезубцем[7], печатала бумажные деньги, транжирила их и быстро катилась под гору. Следуя наставлениям своих христианских пастырей, она, кроме того, изощрялась в высокочеловеколюбивых подвигах; так, например, одного подростка приговорили к следующей позорной казни: ему отрубили обе руки, вырвали клещами язык, а потом сожгли живьем за то, что он не преклонил колен в слякоть перед кучкой грязных монахов, шествовавших мимо него на расстоянии пятидесяти шагов. Не лишено вероятности, что в ту пору, когда предавали казни этого мученика, где-нибудь в лесах Франции и Норвегии росли те самые деревья, уже отмеченные Дровосеком Судьбой, кои предрешено было срубить и распилить на доски, дабы сколотить из них некую передвижную машину с мешком и ножом[8], оставившую по себе страшную славу в истории человечества. Не лишено вероятности, что в убогом сарае какого-нибудь землепашца, под Парижем, стояли в тот самый день укрытые от непогоды, грубо сколоченные телеги, облепленные деревенской грязью — на них, как на насесте, сидели куры, а тут же внизу копошились свиньи, — и Хозяин Смерть уже облюбовал их как собственные двуколки Революции. Но эти двое — Дровосек и Хозяин, — хоть они и трудятся не переставая, но трудятся оба беззвучно, и никто не слышит, как они тихо шагают приглушенными шагами, а если бы кто и осмелился высказать предположение, что они не спят, а бодрствуют, такого человека тотчас же объявили бы безбожником и бунтовщиком.

Англия гордилась своим порядком и благоденствием, но на самом деле похвастаться было нечем. Даже в столице каждую ночь происходили вооруженные грабежи, разбойники врывались в дома, грабили на улицах; власти советовали семейным людям не выезжать из города, не сдав предварительно свое домашнее имущество в мебельные склады; грабитель, орудовавший ночью на большой дороге, мог оказаться днем мирным торговцем Сити; так однажды некий купец, на которого ночью напала разбойничья шайка, узнал в главаре своего собрата по торговле и окликнул его, тот предупредительно всадил ему пулю в лоб и ускакал; на почтовую карету однажды напало семеро, троих кондуктор уложил на месте, а остальные четверо уложили его самого — у бедняги не хватило зарядов, — после чего они преспокойно ограбили почту; сам вельможный властитель города Лондона, лорд-мэр, подвергся нападению

на Тернемском лугу, какой-то разбойник остановил его и на глазах у всей свиты обобрал дочиста его сиятельную особу; узники в лондонских тюрьмах вступали в драку со своими тюремщиками и блюстители закона усмиряли их картечью; на приемах во дворце воры срезали у благородных лордов усыпанные бриллиантами кресты; в приходе Сент-Джайлса солдаты врывались в лачуги в поисках контрабанды, из толпы в солдат летели пули, солдаты стреляли в толпу, — и никто этому не удивлялся. В этой повседневной сутолоке беспрестанно требовался палач, и хоть он работал не покладая рук, толку от этого было мало; то вздергивал он рядами партии осужденных преступников, то под конец недели, в субботу, вешал попавшегося во вторник громилу, то клеймил дюжинами заключенных Ньюгетской тюрьмы[9], то перед входом в Вестминстер жег на костре кучи памфлетов; нынче он казнит гнусного злодея, а завтра несчастного воришку, стянувшего медяк у деревенского батрака.

Все эти происшествия и тысячи им подобных, повторяясь изо дня в день, знаменовали собой дивный благословенный год от Рождества Христова тысяча семьсот семьдесят пятый. И меж тем как в их сомкнутом круге неслышно трудились Дровосек и Хозяин, те двое с тяжелыми челюстями и еще двое — одна некрасивая, другая прекрасная собою, шествовали с превеликой пышностью, уверенные в своих божественных правах. Так сей тысяча семьсот семьдесят пятый год вел предначертанными путями и этих Владык и несметное множество ничтожных смертных, к числу коих принадлежат и те, о ком повествует паша летопись.

Глава II

На почтовых

В пятницу поздно вечером в самом конце ноября перед первым из действующих лиц, о коих пойдет речь в нашей повести, круто поднималась вверх дуврская проезжая дорога. Дороги ему, собственно, не было видно, ибо перед глазами у него медленно тащилась, взбираясь на Стрелковую гору, дуврская почтовая карета. Хлюпая по топкой грязи, он шагал рядом с каретой вверх по косогору, как и все остальные пассажиры, не потому, что ему захотелось пройтись, вряд ли такая прогулка могла доставить удовольствие, но потому, что и косогор, и упряжь, и грязь, и карета — все это было до того обременительно, что лошади уже три раза останавливались, а однажды, взбунтовавшись, потащили карету куда-то вбок, поперек дороги, с явным намерением отвезти ее обратно в Блэкхиз. Но тут вожжи и кнут, кондуктор и кучер, все сразу принялись внушать бедным клячам некий параграф воинского устава, дабы пресечь их бунтарские намерения, кои вполне могли бы служить доказательством того, что иные бессловесные твари наделены разумом: лошадки мигом смирились и вернулись к своим обязанностям.

Понурив головы, взмахивая хвостами, они снова поплелись по дороге, спотыкаясь на каждом шагу, и с такими усилиями выбираясь из вязкой грязи, что при каждом рывке казалось — они вот-вот развалятся на части. Всякий раз, как кучер, дав им передохнуть, тихонько покрикивал «н-но-но двигай!» — коренная из задней пары отчаянно мотала головой и всем, что на нее было нацеплено, и при этом с такой необыкновенной выразительностью, как если бы она всеми силами давала понять, что втащить карету на гору нет никакой возможности. И всякий раз, как коренная поднимала этот шум, пассажир, шагавший рядом, сильно вздрагивал, словно это был чрезвычайно нервный человек и его что-то очень тревожило.

Все ложбины кругом были затянуты туманом, он стлался по склонам, ощупью пробираясь вверх, словно неприкаянный дух, нигде не находящий приюта. Липкая, пронизывающая мгла медленно расползалась в воздухе, поднимаясь с земли слой за слоем, словно волны какого-то тлетворного моря. Туман был такой густой, что за ним ничего не было видно, и свет фонарей почтовой кареты освещал только самые фонари да два-три ярда дороги, а пар, валивший от лошадей, так быстро поглощался туманом, что казалось — от них-то и исходит вся эта белесая мгла.

Еще двое пассажиров, кроме уже описанного нами, с трудом тащились в гору рядом с почтовой каретой. Все трое были в высоких сапогах, все трое закутаны по уши. Ни один из троих не мог бы сказать, каков на вид тот или другой из его спутников; и каждый из них старался укрыться не только от телесного, но и от духовного ока обоих других. В те времена путешественники избегали вступать в разговоры с незнакомыми людьми, ибо на большой дороге всякий мог оказаться грабителем или быть в сговоре с разбойничьей шайкой. Да и как же тут не опасаться: на каждом почтовом дворе, в каждой придорожной харчевне у предводителя шайки имелся свой человек на жалованье — либо сам хозяин, либо какой-нибудь неприметный малый на конюшне.

Так рассуждал сам с собой кондуктор дуврского дилижанса в тот поздний час, в пятницу, в конце ноября тысяча семьсот семьдесят пятого года, стоя на своей подножке позади кареты медленно взбиравшейся на Стрелковую гору; постукивая ногой об ногу, он держался рукой за стоявший перед ним ящик с оружием, с которого он не спускал глаз; на самом верху ящика лежал заряженный мушкет, под ним семь заряженных седельных пистолетов, а на дне навалом целая куча тесаков.

Дуврский почтовый дилижанс пребывал в своем обычном, естественном для него состоянии, а именно: кондуктор с опаской поглядывал на седоков, седоки опасались друг друга и кондуктора; каждый из них подозревал всех и каждого, а кучер не сомневался только в своих лошадях, ибо тут он мог с чистой совестью поклясться на Ветхом и Новом завете, что эти клячи для такого путешествия непригодны.

— Нно-но! — крикнул кучер. — Ну-ка, еще раз понатужимся, только бы наверх вылезти, и черт вас возьми совсем, пропади вы пропадом! Замучился я с вами, окаянные!.. Эй, Джо!

— Чего? — откликнулся кондуктор.

— Который теперь час по-твоему? А, Джо?

— Да уж верно больше одиннадцати… минут десять двенадцатого будет.

— Тьфу, пропасть! — воскликнул с досадой кучер. — А мы все еще не одолели Стрелковую гору! Но! Но! Пошли! Давай! Но, говорят вам!

Красноречивую лошадь, которая, решительно отказываясь тащить карету, отчаянно мотала головой, огрели кнутом, после чего она столь же решительно рванула вперед и три остальные покорно последовали за ней. И дуврская почтовая карета снова поползла в гору, и сапоги пассажиров рядом с ней снова захлюпали по грязи. Когда карета останавливалась, они тоже останавливались, а как только она трогалась с места, они старались не отставать от нее ни на шаг. Если бы кто-нибудь из троих осмелился предложить кому-либо из своих спутников пройти хоть немножко вперед, — туда, в темноту, в туман, — его, вероятно, тут же пристрелили бы, как разбойника.

Последним рывком лошади втащили карету на вершину горы. Здесь они стали, еле переводя дух, кондуктор спрыгнул со своей подножки, затормозил колесо перед спуском под гору, потом отворил дверцу кареты, чтобы впустить пассажиров.

— Тсс!.. Джо! — опасливо окликнул его кучер, глядя куда-то вниз с высоты своих козел.

— Ты что, Том?

Оба прислушались.

— По-моему, кто-то трусит в гору, а, Джо?

— А по-моему, кто-то мчится во весь опор, Том! — ответил кондуктор и, бросив дверцу, проворно вскочил на свое место. — Джентльмены! Именем короля! Все как один!

С этим поспешным заклинанием он взвел курок своего мушкета и приготовился защищаться.

Пассажир, который занимает немалое место в нашем повествовании, уже ступил на подножку и нагнулся, чтобы войти в карету, а двое других стояли рядом внизу, готовясь

последовать за ним. Он так и остался стоять на подножке, втиснувшись одним боком в карету, а те двое стояли, не двигаясь, внизу. Все они переводили глаза с кучера на кондуктора, с кондуктора на кучера и прислушивались. Кучер, обернувшись, смотрел назад; и кондуктор глядел назад, и даже красноречивая коренная, повернув голову и насторожив уши, смотрела назад, не вступая ни в какие пререкания.

Тишина, наступившая, как только прекратился грохот кареты, слилась с тишиной ночи, и сразу стало так тихо, точно все кругом замерло. От тяжкого дыханья лошадей карета чуть-чуть содрогалась, будто ее трясло от страха. Сердца пассажиров стучали так громко, что, наверно, можно было расслышать этот стук. Словом, это была та настороженная тишина, от которой звенит в ушах, когда стараются затаить дыханье и дышат прерывисто, часто, прислушиваются к каждому звуку, и сердце, кажется, вот-вот выскочит из груди. Топот копыт мчащейся во весь опор лошади раздавался уже совсем близко.

— О-го-го! — заорал кондуктор, как только мог громче и отчетливей. — Эй! Кто там? Стрелять буду!

Топот внезапно прекратился. Лошадь захлюпала по жидкой грязи, и откуда-то из тумана раздался голос:

— Это что? Дуврская почта?

— А тебе что за дело? — огрызнулся кондуктор. — Кто ты такой?

— Так это Дуврская почта?

— А тебе зачем знать?

— Мне один пассажир нужен, который там.

— Какой пассажир?

— Мистер Джарвис Лорри.

Знакомый нам пассажир тотчас же отозвался, услышав это имя. Кондуктор, кучер и оба других пассажира смотрели на него с недоверием.

— Стой на месте! — гаркнул кондуктор голосу из тумана. — А то как бы мне не ошибиться, и тогда прости-прощай! — пули назад не воротишь! Джентльмен, называющий себя Лорри, отвечайте ему.

— В чем дело? — спросил пассажир слегка прерывающимся голосом. — Кто меня спрашивает? Это вы, Джерри?

(— Не нравятся мне голос этого Джерри, ежели он взаправду Джерри, — пробормотал себе под нос кондуктор, — с чего это он так осип, этот Джерри?)

— Я самый, мистер Лорри.

— А что случилось?

— Депеша вам. Вот меня и послали вдогонку, Теллсон и компания.

— Я знаю нарочного, кондуктор, — сказал мистер Лорри, сходя с подножки, в чем ему не столько услужливо, сколько поспешно помогли стоявшие рядом пассажиры, после чего они, один за другим, втиснулись в карету, захлопнули дверцу и подняли окошко. — Пусть подъедет, можете не опасаться.

— Надо бы полагать, да кто его знает! Попробуй, поручись за него, — проворчал кондуктор. — Эй, ты там!

— Это вы меня, что ли? — откликнулся Джерри еще более хриплым голосом.

— Шагом подъезжай, слышишь, что я говорю? А ежели у тебя кобуры при седле, держи руки подальше, а то вдруг мне что померещится, выпалю невзначай, вот тебе и вся недолга!.. А ну, покажись, что ты за птица.

Фигуры лошади и всадника выступили из клубящегося тумана и медленно приблизились к карете с той стороны, где стоял пассажир. Всадник остановил коня и, косясь на кондуктора,

протянул пассажиру сложенную вчетверо бумажку. Конь был весь в мыле, и оба — и конь и всадник — были с ног до головы покрыты грязью.

— Кондуктор! — промолвил пассажир спокойным, деловым и вместе с тем доверительным тоном.

Кондуктор — все так же настороже, зажав правой рукой ствол приподнятого мушкета, а левую держа на курке и не спуская глаз со всадника, ответил коротко:

— Сэр?

— Можете не опасаться. Я служу в банкирской конторе Теллсона — вы, конечно, знаете банк Теллсона в Лондоне? Я еду в Париж по делам. Вот вам крона на чай. Могу я прочесть депешу?

— Ну, ежели так, читайте скорей, сэр.

Тот развернул депешу и при свете каретного фонаря прочел сперва про себя, а потом вслух: «В Дувре подождите мадемуазель…»

— Ну, вот и готово, кондуктор. Джерри, передайте мой ответ: «*Возвращен к жизни*». Джерри подскочил в седле.

— Чертовски непонятный ответ, — промолвил он совершенно осипшим голосом.

— Так и передайте. Там поймут, что я получил записку, все равно как если бы я расписался. Ну, желаю вам поскорей добраться. Прощайте.

И с этими словами пассажир открыл дверцу и поднялся в карету. На сей раз его дорожные спутники и не подумали прийти ему на помощь; за это время они успели припрятать свои часы и кошельки, засунув их в сапоги, и теперь оба прикинулись спящими. При этом они руководились только одним соображением: как бы чего не вышло.

Карета снова загромыхала в темноте, и клочья тумана, сгущаясь, окутывали ее по мере того, как она спускалась вниз по склону.

Кондуктор уложил свой мушкет в оружейный ящик, проверил, все ли на месте, потом осмотрел запасные пистолеты у себя за поясом, а заодно и небольшой сундучок под сиденьем, где хранились кое-какие инструменты, два факела и коробочек с трутом. Все это было припасено у него на тот случай, если в сильную непогоду задует ветром фонари, — а это случалось не раз, — тогда ему нужно было только примоститься внутри дилижанса, закрывшись хорошенько от ветра и поглядывая, чтобы искры не залетели в солому на полу, пустить в ход кремень и огниво, при помощи чего за какие-нибудь пять минут (если повезет) можно высечь огонь.

— Том! — тихонько окликнул он кучера поверх кареты.

— Чего тебе, Джо?

— Ты слышал его ответ нарочному?

— Слышал, Джо.

— А что это, по-твоему, значит, Том?

— Да ровно ничего, Джо.

— Надо же такое совпадение, — подивился про себя кондуктор, — ну, как есть то же самое и я подумал.

Между тем Джерри, оставшись один в темноте и тумане, сошел с коня — и не только за тем, чтобы дать отдых выбившемуся из сил животному, но и чтобы самому стереть грязь с лица и отряхнуть свою шляпу, на полях которой набралось примерно с полгаллона воды. Потом, намотав поводья на руку, забрызганную грязью до самого плеча, он постоял и, дождавшись,

когда колеса дилижанса затихли вдали и кругом снова наступила тишина, зашагал вниз с холма.

— После этакой скачки от самого Тэмпл-Бара я не поручусь за твои передние ноги, старуха, покуда мы не выйдем с тобой на ровное место, — прохрипел он, оглядывая свою кобылу. — «Возвращен к жизни»… Ну и ну! вот так ответ! А ежели оно и впрямь так бывает, пропало твое дело, Джерри! Да, есть над чем задуматься, Джерри. Черт знает, чем это для тебя кончится, ежели у нас теперь в обычай войдет — покойников воскрешать!

Глава III

Тени ночные

Странно, как подумаешь, что каждое человеческое существо представляет собой непостижимую загадку и тайну для всякого другого. Когда въезжаешь ночью в большой город, невольно задумываешься над тем, что в каждом из этих мрачно сгрудившихся домов скрыта своя тайна, и в каждой комнате каждого дома хранится своя тайна, и каждое сердце из сотен тысяч сердец, бьющихся здесь, исполнено своих тайных чаяний, и так они и останутся тайной даже для самого близкого сердца. В этом есть что-то до такой степени страшное, что можно сравнить только со смертью.

Милая книга, которая меня так пленила, не откроет мне больше своих страниц, и напрасно я льщу себя надеждой прочитать ее когда-нибудь до конца. Никогда больше не проникнет мой взор в бездонную глубину этих вод, которая лишь на миг открылась мне, пронизанная солнечным светом, и в блеске лучей мелькнули предо мной погребенные в ней сокровища. Так было предначертано, чтобы эта книга внезапно захлопнулась раз и навсегда, а я только успел прочесть в ней одну-единственную страницу. Так было предначертано, чтобы эта водная гладь, внезапно озаренная солнечным светом, покрылась льдом, в то время как я стоял, ничего не подозревая, на берегу. Мой друг умер., умер мой сосед, радость сердца моего, возлюбленная моя умерла, — и вот уже навсегда скреплена и запечатлена нерушимо эта тайна, которую носит в себе каждый из нас, и я ношу и буду носить до скончания дней. Но разве спящие на кладбище этого города, через который я проезжаю, представляют собой большую загадку, нежели его бодрствующие жители, души коих скрыты от меня так же, как и моя от них.

Сей непостижимой особенностью, заложенной в человеке природой и неотъемлемой от него, был наделен и верховой гонец, в не меньшей мере, нежели сам король, или его первый министр, или богатейший лондонский купец. Точно так же и трое пассажиров, прикорнувших бок о бок в наглухо закрытом кузове старого разбитого дилижанса, — каждый из них представлял собой полнейшую тайну для другого, и все они были до такой степени недоступны друг другу, как если бы каждый ехал в своей собственной карете шестериком — и даже шестидесятериком — и все земли графства отделяли бы его от других.

Гонец ехал обратно не торопясь, частенько останавливался у придорожных харчевен промочить горло; однако он не обнаруживал склонности вступать в разговоры и даже надвигал шляпу пониже на глаза; а глаза у него были под стать головному убору, — такого же черного цвета, тусклые, лишенные глубины, и сидели они так близко один к другому, точно побаивались, как бы их не изловили поодиночке, если они отодвинутся друг от друга чуть подальше. Они мрачно поглядывали из-под старой треуголки, напоминавшей треугольную плевательницу, и поверх толстого шейного платка, обмотанного вокруг подбородка и горла и спускавшегося чуть ли не до колен. Останавливаясь промочить глотку, гонец высвобождал подбородок, придерживая платок левой рукой, пока правой вливал в себя жидкость, а потом снова поднимал его до ушей.

— Нет, Джерри, нет! Это, брат, совсем неподходящее дело, — рассуждал он сам с собой всю дорогу, поглощенный, по-видимому, какой-то одной неотвязной мыслью. — Куда же это годится при нашем с тобой честном промысле… «Возвращен к жизни!» Тьфу, дьявольщина, это он, должно быть, спьяну сболтнул!

Ответ, который ему поручили передать, по-видимому, вызвал у него такое смятение в мозгах, что он то и дело хватался за шляпу, чтобы поскрести в затылке. Голова его, за исключением совершенно голой макушки, была сплошь покрыта жесткими черными волосами, торчащими во все стороны, точно проволока, и начинавшими расти чуть ли не от самого основания его толстого приплюснутого носа. Похоже было, что волосы ему изготовили в кузнице, до того они напоминали утыканную остриями ограду; даже самый ловкий прыгун не решился бы играть с ним в чехарду; ибо прыгать через такой частокол показалось бы ему крайне рискованным.

Между тем как гонец ехал неторопливой рысцой, твердя про себя устный ответ, который он должен был передать ночному сторожу, караулившему в будке у ворот банка Теллсона близ Тэмпл[10]-Бара, с тем чтобы тот передал его высшему начальству в конторе, ночные тени, сгущаясь кругом, принимали очертания призраков, вырастающих из этого загадочного ответа, а для его кобылы они принимали очертания чего-то выраставшего из ее собственных страхов. И, должно быть, их было такое множество, что она то и дело шарахалась в сторону от каждого придорожного куста.

А почтовая карета между тем громыхала, покачиваясь, подскакивая и дребезжа, и продолжала свой унылый путь с тремя взаимонепроницаемыми седоками в наглухо закрытом кузове. И перед ними тоже клубились ночные тени, облекаясь в причудливые виденья, которые вставали пред их смежающимися очами или мерещились им в полусне. Банк Теллсона играл немалую роль в этих виденьях. Пассажир — служащий этого банка — сидел, просунув руку в ремни своего саквояжа, который, при сильных толчках, не позволял ему наваливаться всем телом на соседа, а удерживал его на месте; он дремал, полузакрыв глаза, и передние оконца кареты, и тускло поблескивавший в них свет фонаря, и бесформенная закутанная фигура сидящего напротив пассажира — все это вдруг превращалось в банкирскую контору с кипучей деловой жизнью. Конская сбруя побрякивала, как звонкая монета, которой — за какие-нибудь пять минут — выплачивались по чекам такие суммы, каких банку Теллсона, при всей его заграничной и отечественной клиентуре, вряд ли случалось выплачивать даже и за четверть часа: глазам его открывались подвалы банка со всеми запечатанными в сейфах сокровищами и тайнами, о которых нашему пассажиру было кое-что известно (а ему было многое известно), и он ходил по этим подвалам, позвякивая громадными ключами, держа в руке еле мерцавшую свечу, и убеждался, что все заперто прочно, надежно, все цело и неприкосновенно, как было, когда он приходил сюда в последний раз.

Но хотя банк неизменно присутствовал во всех его виденьях и почтовая карета (словно смутное ощущение боли, заглушенной усыпляющим средством) тоже присутствовала в них, — что-то еще другое вклинивалось в эти видения и неотступно преследовало его всю ночь. Он едет откапывать кого-то из могилы.

Какое лицо в бесконечной веренице лиц, мелькавших в сновиденьях пассажира, было подлинным лицом того самого погребенного человека, — ночные тени не открыли ему; но все они были почти что на одно лицо, — лицо сорокапятилетнего человека, — и различались главным образом чувствами, которые были на них написаны, да большей или меньшей мертвенностью болезненно изможденных черт. Гордость, презрение, вызов, упрямство, смирение, мольба — вот чувства, которые, сменяясь одно другим, изменяли это лицо; изменяли и впалые щеки, и кожу землистого цвета, и иссохшие руки, и весь этот жалкий облик. Но, в сущности, это все время было одно и то же лицо, оно появлялось снова и снова, и голова всякий раз была преждевременно седая. И в сотый раз дремлющий пассажир обращался к призраку с одним и тем же вопросом:

— Вас давно похоронили?

И ответ был всегда один и тот же:

— Почти восемнадцать лет тому назад.

— И вы уже потеряли надежду, что вас когда-нибудь откопают?

— Давным-давно.

— А вы знаете, что вы возвращены к жизни?

— Да, мне говорили.

— Я думаю, вам хочется жить?

— Не знаю, не могу сказать.

— Хотите, я вам покажу ее? Пойдемте со мной, и вы увидите ее.

На этот вопрос ответы были разные, не вяжущиеся один с другим. Иногда прерывающийся голос шептал:

— Подождите!.. Мне, сейчас, увидеть ее!.. Нет, этого я не перенесу!..

А иногда, заливаясь слезами умиления, призрак шептал:

— Да, да, отведите меня к ней!

Или же, тупо уставившись куда-то в пространство, он растерянно твердил:

— Я не знаю, кто она такая. Я не понимаю.

И вслед за этим воображаемым разговором пассажир во сне начинал копать — копать — копать, то заступом, то огромным ключом, то просто руками, изо всех сил стараясь откопать это несчастное существо. И вот, наконец, он поднимает его — сырые комья земли пристали к лицу, к волосам, — и вдруг… оно рассыпается в прах! Пассажир вздрагивал, озирался и спешил опустить оконное стекло, чтобы прийти в себя и почувствовать на щеках не во сне. а наяву настоящую сырость тумана и дождя.

Но даже когда глаза его были открыты и он видел дождь, и туман, и бегущий вперед светлый круг от фонаря, и рывками отступающую назад изгородь на краю дороги, ночные тени, мелькавшие за окном кареты, постепенно принимали очертания тех же теней, что преследовали его в карете. Все было точь-в-точь, как в действительности: и банкирская контора близ Тэмпл-Бара, и масса дел, с которыми он возился накануне, и нарочный, которого послали ему вдогонку, и ответ, с которым он отправил его обратно. И внезапно из всего этого снова выплывало лицо призрака, и он снова обращался к нему с теми же вопросами:

— Вас давно похоронили?

— Почти восемнадцать лет тому назад.

— Я думаю, вам хочется жить?

— Не знаю, не могу сказать.

И опять он принимается копать — копать — копать — пока, наконец, нетерпеливое ерзанье одного из спутников не заставляет его очнуться, закрыть окно; и он, просунув руку под ремень саквояжа, откидывается на сиденье, уставясь на две закутанные спящие фигуры; а затем мысли его снова начинают путаться, фигуры спутников исчезают из глаз и на их месте снова появляется банк и могила.

— Вас давно похоронили?

— Почти восемнадцать лет тому назад.

— Вы уже потеряли надежду, что вас когда-нибудь откопают?

— Давным-давно.

Эти слова все еще звучали у него в ушах, и так явственно, как если бы он их только что слышал, может быть даже отчетливей, чем наяву, но тут усталый пассажир вздрогнул, очнулся и увидел, что кругом светло и ночные тени исчезли.

Он опустил стекло и выглянул наружу: на солнце, всходившее на горизонте, на вспаханное поле с плугом на борозде, так и оставшимся еще с вечера после того, как из него выпрягли лошадей; а по ту сторону пашни виднелась мирная рощица, и кое-где на деревьях

еще красовалась огненно-красная и червонно-желтая листва. Хотя земля была мокрая и холодная, небо очистилось и лучезарное солнце вставало, безмятежное, ясное.

— Восемнадцать лет! — промолвил пассажир, глядя на разгорающийся солнечный свет. — Боже милостивый! Светодатель! Восемнадцать лет быть погребенным заживо!

Глава IV

Предварительный разговор

Незадолго до полудня почтовый дилижанс благополучно прибыл в Дувр, и старший лакей гостиницы «Короля Георга», по своему обыкновению, собственноручно открыл дверцу кареты. Он проделал это с некоторою торжественностью, потому что совершить путешествие из Лондона почтовым дилижансом зимой было своего рода подвигом, с коим следовало поздравить отважного путешественника.

Сейчас налицо остался только один отважный путешественник, единственный, кого поздравляли с прибытием, ибо остальные двое, достигнув места назначения, сошли раньше. Отсыревший за ночь кузов кареты с грязной, слежавшейся соломой, спертым воздухом и царившей здесь полутьмой, сильно напоминал большую собачью конуру. Пассажир, мистер Лорри, который вылез оттуда, отряхиваясь от приставшей к нему соломы, весь закутанный в мохнатый плед, в надвинутой на уши шляпе с обвисшими полями и в грязных сапогах, сам сильно напоминал большую собаку.

— Ожидается завтра пакетбот в Кале, любезный?

— Так точно, сэр, если погода удержится и ветер будет попутный. Оно как раз в это время — в два пополудни отлив начинается. К нему и подгадывают. Прикажете постель, сэр?

— Нет, я до ночи не лягу. Но спальный номер оставьте за мной. И цирюльника пришлите.

— А завтрак попозже, сэр? Слушаюсь, сэр. Пожалуйте-с сюда, сэр… Проводить джентльмена в Конкордию! Чемодан джентльмена и горячей воды в Конкордию! Снять сапоги у джентльмена в Конкордии. Камин топится на славу, можете сами убедиться, сэр. Цирюльника живо в Конкордию! Ну, шевелись, не зевай, вы там, в Конкордию!

Спальный номер, именовавшийся Конкордией, был предназначен для пассажиров почтового дилижанса, а так как пассажиры почтового дилижанса всегда приезжали закутанные с головы до ног, Конкордия в гостинице «Короля Георга» представляла особый интерес для всего почтенного заведения, ибо в нее всякий раз водворялась как бы одна и та же неизменная с виду фигура, тогда как джентльмены, появлявшиеся из нее, были самого разнообразного обличья. Вот почему второй лакей, двое коридорных, несколько горничных и сама хозяйка, — все они случайно оказались в разных концах коридора, соединяющего Конкордию с буфетом, и как раз в ту минуту, когда солидный джентльмен лет шестидесяти, в поношенной, но еще вполне приличной коричневой паре с широкими квадратными обшлагами и такими же отворотами у карманов — прошествовал по этому коридору завтракать.

Кроме джентльмена в коричневом, в буфете в это утро никого посетителей не было. Ему накрыли столик против камина; он сел поближе к огню, и дожидаясь, когда ему подадут, сидел совершенно неподвижно, словно позировал для портрета.

Он сидел, слегка наклонившись, опершись руками па колени, такой положительный и степенный, а карманные часы громко тикали под широким отворотом в кармане его жилета, словно назидательно противопоставляя свою солидность и долговечность эфемерности и непостоянству весело потрескивающего огня. У него были стройные ноги, и он немного щеголял ими, судя по туго натянутым тонким коричневым чулкам и простым, но изящным башмакам с пряжками. Маленький, смешной, аккуратно приглаженный, белокурый завитой парик, очень плотно прилегавший к голове, надо полагать, был сделан из волос, хотя казалось, будто он то ли шелковый, то ли стеклянный. Белье на джентльмене не отличалось такой

тонкостью, как его чулки, но зато белизной оно могло поспорить с пеной морских волн, разбивающихся о берег, или белыми пятнышками парусов, сверкающих на солнце.

Лицо джентльмена хранило привычное для него выражение замкнутости и невозмутимости, но иногда оно вдруг озарялось влажным блеском живых глаз, сверкавших из-под смешного паричка; обладателю этих глаз, должно быть, в свое время стоило немалых усилий приучить их к той сдержанности и непроницаемости, кои приличествуют служащим банкирского дома Теллсона. У него был здоровый цвет лица, и хотя чело его было изрезано морщинами, оно не носило никаких следов житейских волнений, — может быть потому, что оставшиеся холостяками старые доверенные служащие банкирского дома Теллсона были главным образом обременены чужими заботами, а чужие заботы, как платье с чужого плеча, и носить покойно и бросить не жалко.

В довершение сходства с человеком, позирующим для портрета, мистер Лорри задремал. Он проснулся, когда ему принесли завтрак, пододвинул стул поближе к столу и сказал слуге:

— Я попрошу вас приготовить номер для молодой леди, которая должна приехать сегодня. Она спросит мистера Джарвиса Лорри, или джентльмена из банка Теллсона. Вы тотчас же дадите мне знать.

— Слушаюсь, сэр. Банк Теллсона в Лондоне, сэр?

— Да!

— Слушаюсь, сэр. Нам часто выпадает честь принимать у себя ваших джентльменов, разъезжающих между Лондоном и Парижем. От банкирской конторы Теллсона и компании очень многие ездят туда и сюда.

— Да, наша банкирская фирма — она и французская и английская.

— Вот именно, сэр. Но вы сами, должно быть, не так часто изволите путешествовать, сэр?

— Все эти годы нет. Последний раз мы, то есть я, был во Франции пятнадцать лет тому назад.

— Вот как, сэр? Значит, еще до меня. Не при нынешних хозяевах, сэр. В то время «Королем Георгом» кто-то другой владел.

— Возможно.

— Но я, сэр, готов побиться об заклад, что банкирская фирма Теллсона и компания процветала и здравствовала не то что пятнадцать, а и пятьдесят лет тому назад.

— Можете утроить цифру: скажите сто пятьдесят, — Это будет ближе к истине.

— В самом деле, сэр?

Открыв рот, выкатив глаза, слуга отступил на шаг от стола, затем перекинул салфетку с правой руки на левую, стал поудобнее и все время, пока постоялец ел и пил, не сводил с него глаз, наблюдая за ним, словно дозорный на посту или на сторожевой вышке. Так уж оно ведется во всех ресторанах с незапамятных времен.

Позавтракав, мистер Лорри вышел прогуляться по берегу. Крохотный, узенький, кургузый городок Дувр старался укрыться от моря и словно морской страус прятал голову в меловые утесы. Берег был пустыней, где бесновалось море, взметая груды камней; море здесь вытворяло что хотело, а ему хотелось разрушать. Оно бросалось на скалы, бросалось на город и в бешенстве крушило все на берегу. Воздух возле домов был пропитан таким резким запахом рыбы, что можно было подумать, не вылезает ли сюда из воды больная рыба лечиться воздушными ваннами, вроде того как больные люди лезут в воду лечиться морскими купаньями. В гавани рыбачили мало, но множество народу толклось на берегу по ночам и глазело на море, в особенности в те часы, когда море наступало на сушу во время прилива.

Мелкие лавочники, еле-еле сводившие концы с концами, вдруг за один день каким-то непостижимым образом становились богачами; и — удивительное дело! — почему-то в здешних краях терпеть не могли фонарщиков.

По мере того как близились сумерки и воздух, который днем был чист и прозрачен, так что по временам можно было различить берег Франции, снова набух туманом и сыростью, думы мистера Лорри, казалось, тоже принимали все более и более сумрачный характер. Когда совсем стемнело, он пришел в буфет и уселся за столик перед камином, дожидаясь, когда ему подадут обед, так же, как он дожидался завтрака, и тут воображение его снова принялось копать — копать — раскапывать тлеющие угли.

Бутылка доброго кларета после обеда не повредит человеку, который копается в тлеющих углях, разве что — отшибет у него охоту копать. Мистер Лорри уже довольно долго пребывал в полном бездействии; он только что налил себе последний стакан, и на лице его выражалось чувство полного удовлетворения, какое, естественно, испытывает пожилой джентльмен цветущего вида, отставляя приконченную им бутылку, но в это время на узенькой улочке, круто поднимавшейся вверх, застучали колеса и дорожная карета с грохотом въехала во двор.

Мистер Лорри поставил на стол свой стакан, так и не притронувшись к нему: «Это мадемуазель!» — промолвил он.

Через несколько минут явился лакей и доложил, что мисс Манетт приехала из Лондона и изъявляет желание немедленно увидеться с джентльменом от Теллсона.

— Как? Сейчас?

— Мисс Манетт подкрепилась дорогой и не будет сейчас кушать. Она настоятельно просит джентльмена от Теллсона, если это возможно и удобно, пожаловать к ней сию минуту.

Джентльмен от Теллсона, видя, что деваться некуда, с угрюмой решимостью залпом осушил последний стакан и, надвинув на уши свой маленький белокурый паричок, последовал за лакеем в номер мисс Манетт.

Это была большая темная комната, которая, словно контора похоронных дел мастера, вся была заставлена черной мягкой мебелью и громадными темными столами. Все это изо дня в день протирали масляной тряпкой и, должно быть, так тщательно, что две свечи на столе, стоявшем посреди комнаты, тускло мерцали, отражаясь в каждой поверхности, как если бы они-то и были погребены в глубине потемневшего красного дерева, и до тех пор, пока их не откопают, нечего и ждать от них настоящего света.

В этой темноте так трудно было что-нибудь разглядеть, что мистер Лорри, осторожно ступая по истертому турецкому ковру, подумал было, что мисс Манетт, наверно, в соседней комнате, но, проходя мимо зажженных свечей, он вдруг увидел, что между столом и камином стоит молоденькая девушка, лет семнадцати, не больше, она, по-видимому, ждала его и даже не успела еще снять дорожный плащ и положить соломенную шляпку, которую держала в руках за концы лент.

Взгляд его остановился на маленькой хрупкой фигурке и прелестном личике в ореоле пышных золотистых волос; синие глаза пытливо смотрели на него из-под ясного чела, обладавшего удивительной способностью (принимая во внимание его юность и гладкость) отражали каким-то неуловимым движением чувство смущения или удивления, тревоги или чуткого живого внимания, или, быть может, все сразу вместе, — он смотрел на нее, и перед ним вдруг с необыкновенной ясностью возник образ малютки, которую он держал на руках во время переезда через этот самый пролив в бурную ненастную ночь, когда волны бушевали кругом, а с неба сыпался град. Это видение мелькнуло и мигом исчезло, точно след от дыхания на поверхности высокого тусклого зеркала, висевшего за спиной девушки в большой черной раме, на которой, словно процессия увечных из инвалидного дома, черные купидоны — одни без головы, другие без ног — все до единого калеки — подносили черные корзины с

обугленными плодами каким-то черным божествам женского пола, — и мистер Лорри, отвесив церемонный поклон, поздоровался с мисс Манетт.

— Прошу вас, садитесь, сэр, — произнес чистый, прелестный юный голос с легким, почти незаметным иностранным акцентом.

— Целую ваши ручки, мисс, — со старинной галантностью ответствовал мистер Лорри и, еще раз церемонно поклонившись, опустился на стул.

— Вчера, сэр, я получила письмо из банка, там сообщается, что получены какие-то сведения… или обнаружено что-то новое…

— Можно и так сказать, мисс, неважно, не в словах дело.

— …касательно небольшого состояния моего бедного отца… я ведь его даже никогда и не видела… он очень давно умер…

Мистер Лорри беспокойно заерзал на стуле и в замешательстве уставился на черную процессию увечных купидонов, — уж не у них ли, в их дурацких корзинках, надеялся он обрести какую-то помощь?

— …и что в связи с этим мне надо поехать в Париж и повидаться там с одним джентльменом из банкирской конторы, который был так добр, что согласился ради этого поехать туда сам.

— Я к вашим услугам, мисс.

— Я так и думала, сэр.

И она присела перед ним в реверансе (в те дни юные леди еще делали реверансы), словно трогательно признавая, что она понимает, насколько он и старше, и опытнее, и умнее ее. Мистер Лорри встал и поклонился еще раз.

— И я, сэр, написала им в банк, что, если люди, которые понимают в таких делах и не оставляют меня своими советами, считают необходимым, чтобы я поехала во Францию, то я, конечно, поеду, но только я круглая сирота и у меня нет никого друзей, кто мог бы проводить меня, и я была бы чрезвычайно признательна, если бы мне на время путешествия можно было заручиться покровительством этого достойного джентльмена. Джентльмен этот уже выехал из Лондона, но они, как я понимаю, послали ему вслед нарочного и попросили его сделать мне такое одолжение и подождать меня здесь.

— Я счастлив, что мне оказали такое доверие, — отвечал мистер Лорри, — и буду еще более счастлив, если оправдаю его.

— Очень вам благодарна, сэр! Ото всей души! В том письме из банка мне написали еще, что этот джентльмен познакомит меня подробно с моими делами и что мне надо быть готовой услышать нечто неожиданное. Я очень старалась приготовиться, но вы конечно понимаете, что я просто горю от нетерпения узнать, что это такое.

— Естественно! — согласился мистер Лорри. — Конечно… я…

Он помолчал и добавил, снова поправляя свой светлый гладкий парик:

— Я только затрудняюсь… Не знаю как приступить…

Он так и не приступил и, поглядывая на нее в нерешительности, встретился с ней взглядом. Брови на ясном челе чуть-чуть приподнялись с тем особенным и таким характерным для нее милым подкупающим выражением, и вдруг, словно пытаясь удержать какое-то мелькнувшее воспоминание, она быстро подняла руку.

— Мы с вами никогда не виделись, сэр?

— А разве виделись? — И мистер Лорри с недоуменной улыбкой развел руками.

Выразительная морщинка между бровями над тонкой безупречной линией маленького точеного носика залегла глубже, и мисс Манетт в раздумье опустилась в стоявшее рядом

кресло. Он смотрел на ее задумчивое личико, но, как только она подняла глаза, снова заговорил:

— В этой стране, которая стала для вас второй отчизной, я думаю, вы позволите мне обращаться к вам, как у нас принято обращаться к юным леди, не правда ли, мисс Манетт?

— Будьте добры, сэр.

— Мисс Манетт, я человек деловой. Я должен сделать то дело, которое мне поручили. Поэтому я буду просить вас отнестись к тому, что я буду говорить, как если бы меня тут и не было; перед вами говорящая машина, — да так оно, в сущности, и есть. Так вот, с вашего разрешения, мисс, я расскажу вам историю одного нашего клиента.

— Историю!..

Он, видимо, умышленно пропустил мимо ушей слово, которое у нее вырвалось, и повторил поспешно:

— Да, нашего клиента… так в нашем банковском деле мы называем людей, с которыми состоим в деловых отношениях. Этот джентльмен был француз, очень образованный человек, ученый, доктор медицины…

— Из города Бове?

— Н-н-да… из Бове. Как и мосье Манетт, ваш батюшка, этот джентльмен был из города Бове. Так же, как мосье Манетт, ваш батюшка, он пользовался большой известностью в Париже. Там-то мне и выпала честь познакомиться с ним. Конечно, отношения наши были чисто делового характера, однако я пользовался его полным доверием. Я состоял в то время во французском отделении нашего банка… тому назад… д-да, уж лет двадцать!

— В то время?.. Можно мне вас спросить, сэр, о каком времени вы говорите?

— Так видите ли, мисс, я как раз и говорю о том, что имело место именно двадцать лет тому назад. Он женился на англичанке — и я был его поверенным. Все его дела, — как, впрочем, и дела многих других французских джентльменов и французских семей, — находились в ведении банкирской конторы Теллсона. Подобным же образом я и ныне состою или продолжаю состоять поверенным по имущественным и прочим делам многих наших клиентов.

Отношения эти чисто деловые, мисс, это не какие-нибудь дружеские чувства или что-нибудь вроде личного участия, ничего похожего на чувства! За мою долгую жизнь, мисс, мне приходилось вести дела то одних, то других клиентов, и это совершенно то же, как в течение дня переходишь от одного посетителя к другому. Короче говоря, я никаких чувств не испытываю, я — просто машина. Итак, буду продолжать.

— Вы мне рассказываете историю моего отца, сэр, и мне кажется, — выразительно сдвинув брови, она пристально всматривалась в него, — что, когда я осталась сиротой — ведь мать моя пережила отца всего лишь на два года, — это вы и привезли меня тогда в Англию. Я почти уверена, что это были вы…

Мистер Лорри взял маленькую нерешительную ручку, которая доверчиво протянулась к нему, и церемонно поднес ее к губам. Засим он снова усадил юную леди в ее кресло и, нагнувшись к ней, заговорил, глядя в поднятое к нему личико и ухватившись левой рукой за спинку кресла, тогда как правой он то потирал себе подбородок, то поправлял парик, то выразительно подкреплял свои слова красноречивым жестом.

— Мисс Манетт! Да, это был я. И теперь уж вы и сами видите, что я не обманывал вас, говоря, что я человек лишенный каких-бы то ни было чувств, что у меня нет ровно никаких отношений с моими клиентами, кроме чисто деловых, потому что — вы только подумайте, ведь я вас с тех пор так больше и не видел. Нет, вы с тех пор состоите под опекой банкирского дома Теллсона, тогда как я веду разные другие дела банка Теллсона. А что до чувств — да у меня

для этого нет ни времени, ни возможности. Вся моя жизнь, мисс, проходит в том, что я без конца верчу ручку громадной денежной машины.

После такого своеобразного описания своих обязанностей мистер Лорри тщательно пригладил обеими руками свой светлый парик (в чем не было ни малейшей надобности, ибо он и без того сверкал безукоризненной гладкостью), а затем снова принял прежнюю позу.

— Так вот, до сих пор, мисс, эта история (как вы сами изволили заметить) совпадает с историей вашего бедного батюшки. Но продолжение у нее другое. Если бы, например, оказалось, что батюшка ваш не умер, когда его… да вы не пугайтесь!.. Ну, что это вы так вздрогнули!

Она действительно вздрогнула. И схватила его за руку обеими руками.

— Полноте! — промолвил мистер Лорри, успокаивая ее, и, отпустив спинку кресла, положил левую руку на судорожно вцепившиеся в него трепетные умоляющие пальчики, — пожалуйста, прошу вас, успокойтесь! Это же деловой разговор. Так вот, значит, я продолжаю.

Но она смотрела на него с таким испугом, что он сбился, потерял нить и начал снова:

— Так вот, значит, как я уже сказал: представьте себе, если бы оказалось, что мосье Манетт вовсе не умер, а исчез бесследно, если бы, предположим, его куда-то упрятали, и не трудно даже догадаться, куда, в какое страшное место, хотя никакими силами и нельзя было обнаружить никаких следов; допустите, что у него среди его соотечественников оказался бы некий могущественный враг, у которого была такая особая привилегия, предоставлявшая ему страшное право — у нас о таких вещах в то время не решались и шепотом говорить, даже самые смелые люди, — право вписать любое имя на подписанном королевской рукой приказе, а это означало арест и заключение в темницу на какой угодно срок; и сколько бы жена исчезнувшего ни обращалась с мольбами и к королю, и к королеве, и к судьям, и к кардиналу, пытаясь узнать о нем хоть что-либо, все тщетно — и вот, если бы это было так, тогда история вашего батюшки была бы подлинной историей этого джентльмена, доктора из города Боне.

— Умоляю вас, сэр, умоляю, говорите дальше!

— Да, да, я скажу все. Но вы в состоянии слушать?

— Я готова выслушать все, лишь бы не эта ужасная неизвестность.

— Вы говорите спокойно, и вы… гм… вы спокойны… Вот и хорошо! Очень хорошо! (На самом деле он вовсе не был уверен, что все так хорошо.) У нас с вами, не забудьте, чисто деловой разговор. Смотрите на это, как на дело, которое нам надо сделать. Так вот, значит, если жена этого доктора — женщина необыкновенного мужества и стойкости — так настрадалась из-за этого, что, когда у нее родился ребенок…

— Ребенок, сэр, — и это была девочка?

— Девочка… да… не волнуйтесь, мисс… Помните, у нас дело… Если эта несчастная леди так настрадалась еще до того, как ребенок появился на свет, что решила избавить свое бедное дитя от этого страшного наследия, уберечь его от тех ужасных мучений, которые ей самой пришлось претерпеть, и растить девочку, внушив ей, что отец ее умер… Но что это! — На колени?.. Господь с вами, да зачем же вам становиться передо мной на колени! Что вы!

— Скажите мне правду, о дорогой, добрый, хороший сэр, скажите мне правду!

— Да ведь мы с вами о деле говорим!.. Вы и так меня совсем смутили… Ну как же я могу вести деловой разговор, когда я в таком смущении? Давайте рассуждать здраво… Вот, например, если бы вы сейчас сделали мне одолжение и ответили, сколько будет девять раз по девять пенсов, или, например, сколько шиллингов в двадцати гинеях, вы бы меня успокоили. Я бы за вас так не огорчался, а то видите, как вы разволновались!

Он очень бережно поднял ее и усадил в кресло, и хотя она ничего не ответила на его увещанья, но руки ее, по-прежнему сжимавшие его руку, почти перестали дрожать, и она сидела так тихо, что мистер Джарвис Лорри несколько успокоился.

— Ну, вот и отлично, вот и отлично! Мужайтесь. К делу! Ведь у нас с вами дело. Вот так, значит… ваша матушка и поступила относительно вас, мисс Манетт. А когда она умерла — я думаю, ее сразило горе, — она ведь всю жизнь не переставала тщетно разыскивать вашего батюшку… вам было всего два года, и вы росли счастливо и расцветали, избавленная от этого страшного мрака неизвестности — погиб ли ваш батюшка, отчаявшись вырваться из темницы, или томился там долгие годы.

И, говоря это, он с умилением и жалостью смотрел на ее золотые кудри, словно представляя себе, что они могли преждевременно подернуться сединой.

— Вы знаете, что у ваших родителей больших капиталов не было, а все, что было, осталось вашей матушке и нам. Ничего нового по части денег или какого-нибудь иного имущества мы не обнаружили… но… вот…

Тут он почувствовал, как она судорожно сжала его руку, и замолчал. На ее застывшем личике с углубившейся морщинкой между бровями, которая с самого начала привлекла его внимание, проступило выражение ужаса и боли.

— Но он… он отыскался… Он жив… Изменился, должно быть, страшно… одна тень от него, верно, осталась. Но будем надеяться на лучшее. Так или иначе — он жив. Его перевезли в дом его старого слуги в Париже, и мы с вами едем туда: я — чтобы опознать его, если смогу, а вы — возвратить его к жизни дочерней любовью, участием, заботами, лаской.

Она задрожала всем телом, и ее дрожь передалась и ему. Тихим, но внятным голосом, в котором слышался ужас, она проговорила точно во сне:

— Я увижу призрак! Это будет призрак, а не он.

Мистер Лорри бережно поглаживал пальчики, сжимавшие его руку.

— Полноте, полноте! Успокойтесь, успокойтесь! Вы теперь все знаете — и хорошее и дурное. Вы на пути к бедному, безвинно пострадавшему джентльмену, и если море будет спокойно и мы доберемся без помех, — вы скоро будете с самым близким вам человеком.

Она отозвалась шепотом:

— Я была свободна, я была счастлива, и никогда призрак его не преследовал меня.

— Да, вот что еще, — сказал мистер Лорри внушительным гоном, надеясь, что это поможет ему завладеть ее вниманием: — его нашли под другим именем, настоящее его имя давно забыто, — либо его очень уж долго скрывали; и теперь, конечно, бессмысленно, чтобы не сказать больше, выяснять, как все это случилось: забыли о нем, и он оказался вычеркнутым из жизни на долгие годы, или его умышленно держали в темнице все это время, — всякие попытки выяснить что-либо более чем бесполезны, они крайне опасны. Лучше даже и не заикаться об этом нигде, ни при каких обстоятельствах и увезти его из Франции, по крайней мере на некоторое время. Даже я, хотя мне, как англичанину, нечего опасаться, даже банкирский дом Теллсона, который пользуемся большим влиянием во Франции, ибо он предоставляет ей кредит, даже мы избегаем называть какие-либо имена, связанные с этим делом.

У меня с собой нет никаких бумаг, все, что касается этого дела, держится в строжайшем секрете. Мои полномочия, рекомендации, памятные заметки, — все запечатлено в двух словах «Возвращен к жизни», а под этим можно подразумевать, что угодно. Но что это? Она ничего не слышит!.. Мисс Манетт! Мисс Манетт!

Безмолвная, недвижимая, она сидела в полном оцепенении, ухватившись за его руку и даже не откинувшись на спинку кресла. Глаза ее были открыты и устремлены на пего, и на лице было все то же выражение ужаса, как будто вырезанное или выжженное в этой складке между бровями. Пальцы ее с такой силой впились в его руку, что он не решался разжать их, боясь сделать ей больно, и, не двигаясь с места, стал громко звать на помощь.

Какая-то исступленная особа стремглав влетела в комнату, и, как ни взволнован был мистер Лорри, он успел заметить, что вся она красная, и волосы у нее красные, а платье невообразимо обужено, на голове какой-то удивительный колпак, смахивающий то ли на гренадерский походный котелок довольно внушительных размеров, то ли на большой круг стилтокского сыра; она ворвалась в комнату, оттеснив сбежавшихся слуг, и мигом отцепила мистера Лорри от молодой леди, двинув его своей здоровенной ручищей в грудь с такой силой, что он отлетел к стене.

(«А ведь это, должно быть, мужчина!» — пронеслось в голове у мистера Лорри в тот миг, когда он стукнулся о стену.)

— Ну, что вы тут выстроились? — гаркнула особа на столпившихся слуг. — Нечего пялить глаза, чего вы во мне не видали? А ну-ка, несите сюда все, что нужно! нюхательной соли, воды, уксуса! да поворачивайтесь быстрей, а не то вы у меня такого дождетесь!

Прислуга мигом разбежалась за всеми этими оживляющими средствами, а она осторожно перенесла свою пациентку на диван и очень ловко и бережно уложила ее, приговаривая: «Ах ты мое сокровище! птичка ты моя!» — заботливо и с умиленной гордостью откидывая со лба ее золотые кудри.

— А вы-то, сюртук коричневый, — с негодованием обрушилась она на мистера Лорри, — неужели же вы не могли сказать ей то, что вам требовалось, так, чтобы не напугать ее до смерти? Поглядите, какая она бледная! А ручки-то как лед, и это у вас называется «банковский служащий»?

Мистер Лорри был до такой степени озадачен этим вопросом, на который было трудно что-нибудь ответить, что не нашелся ничего сказать и только сочувственно и смиренно смотрел издали, как эта могучая особа, мгновенно разогнавши всех слуг загадочной угрозой дождаться от нее чего-то неудобосказуемого, если они сию же минуту не уберутся вон, теперь заботливо отхаживала свою питомицу и, наконец, приведя ее в чувство, положила ее головку себе на плечо.

— Надеюсь, у нее это скоро пройдет, — выговорил мистер Лорри.

— Да, но вы-то здесь при чем, сюртук коричневый, уж вас-то благодарить не за что! Бедняжка моя!

— Я полагаю, — сказал мистер Лорри, помолчав некоторое время, с тем же сочувственным и смиренным видом, — вы сопровождаете мисс Манетт во Францию?

— Тоже выдумали! — огрызнулась могучая особа. — Да если бы мне на роду было написано по морям плавать, разве судьба забросила бы меня на остров?

Так как и на этот вопрос было столь же трудно ответить, мистер Джарвис Лорри удалился к себе в комнату, дабы поразмыслить над ним.

Глава V

Винный погреб

Большая бочка с вином упала и разбилась на улице. Это случилось, когда ее снимали с телеги: ее уронили на мостовую, обручи полопались, и бочка, треснув, как скорлупа ореха, лежала теперь па земле у самого порога винного погребка.

Все, кто ни был поблизости, бросили свои дела, или ничего-не-деланье, и ринулись к месту происшествия пить вино. Неровные, грубо обтесанные камни мостовой, торчавшие торчком, словно нарочно для того, чтобы калечить всякого, кто осмелится на них ступить, задержали винный поток и образовали маленькие запруды, и около каждой такой запруды (смотря по ее размерам) теснились кучки или толпы жаждущих. Мужчины, стоя на коленях, зачерпывали вино, просто руками, сложив их ковшиком, и тут же и пили и давали пить женщинам, которые, нагнувшись через их плечи, жадно припадали губами к их рукам, торопясь сделать несколько глотков, прежде чем вино утечет между пальцев; другие — и мужчины и

женщины — черпали вино осколками битой посуды или просто окунали платок, снятый с головы, и тут же выжимали его детишкам в рот; некоторые сооружали из грязи нечто вроде плотинок, дабы задержать винный поток, и, следуя указаниям наблюдателей, высунувшихся из окон, бросались то туда, то сюда, пытаясь преградить дорогу бегущим во все стороны ручьям; а кое-кто хватался за пропитанные винной гущей клепки и жадно вылизывал, сосал и даже грыз набухшее вином дерево. Здесь не было водостока, вину некуда было уйти с мостовой, и ее не только всю осушили, не оставив ни капли, но вместе с вином поглотили такое количество грязи, что можно было подумать, уж не прошелся ли здесь старательный метельщик метлой и скребком, — да только вряд ли кто-либо из здешних жителей способен был представить себе такое чудо.

Звонкий хохот, изумленные возгласы, мужские, женские, детские голоса разносились по всей улице, пока шла эта охота за вином. В этом не было никакого буйства, просто всем стало очень весело. Всех объединяло чувство какого-то необыкновенного подъема, желание не отставать от других, готовность помочь друг другу, а у людей более удачливых или беспечных по натуре чувства эти проявлялись более бурно, — они бросались целоваться, обнимались, жали руки направо и налево, пили за здоровье друг друга или целой компанией в обнимку пускались в пляс. Когда все вино было выпито и колдобины, где оно собиралось особенно обильно, были так тщательно выскоблены, что на камнях мостовой вдоль и поперек отпечатались следы множества пальцев, — шумное оживленье кончилось так же внезапно, как и началось. Человек, оторвавшийся от пилки дров и оставивший пилу в полене, снова пустил ее в ход; женщина, бросившая на пороге горшок с горячей золой, которым она пыталась отогреть окоченевшие от холода скрюченные пальцы или посиневшие ручки и ножки своего ребенка, снова схватила горшок; мужчины с засученными рукавами, нечесаные, всклокоченные, с бледными испитыми лицами, выскочившие из своих подвалов на зимний дневной свет, снова поплелись к себе, и на улице воцарилось мрачное унынье, более свойственное ей, нежели веселье.

Вино было красное, и от него по всей мостовой узкой улочки в парижском предместье Сент-Антуан[11], где разбилась бочка, остались красные пятна. И у многих лицо, руки, деревянные башмаки или разутые ноги словно окрасились кровью. Руки человека, пилившего дрова, оставляли красные следы на поленьях; а на лбу женщины с ребенком осталось красное пятно от платка, который она только что окунала в вино, а теперь снова повязала на голову. У тех, кто облизывал и сосал клепки бочки, рот стал точно окровавленная пасть тигра; а какой-то верзила-зубоскал, в рваном колпаке, свисавшем, как мешок, у него с макушки, весь вымазавшийся вином, обмакнул палец в винную гущу и вывел на стене: кровь.

Уже недалек тот час, когда и это вино прольется на мостовую и оставит свои следы на очень и очень многих.

А сейчас в Сент-Антуанском предместье снова воцарился привычный мрак, изгнанный на мгновенье светлым лучом радости, нечаянно заглянувшим в эти запретные владенья, где хозяйничают холод, грязь, болезни, невежество, нужда — все знатные владыки, и в особенности Нужда, самая могущественная из всех. Люди, раздавленные ею, словно чудовищными жерновами, — только, конечно, не той легендарной мельницы, что превращает стариков в молодых, — попадаются на каждом шагу, их можно увидеть в каждой подворотне, они выходят из дверей каждого дома, выглядывают из каждого окна, дрожат в своих лохмотьях на всех перекрестках. Мельница, измолотившая их, перемалывает молодых в стариков. У детей старческие лица и угрюмые не по-детски голоса. И на каждом детском и взрослом лице, на каждой старческой — давней или едва намечающейся — морщине лежит печать Голода. Голод накладывает руку на все, Голод лезет из этих невообразимых домов, из убогого тряпья, развешенного на заборах и веревках; Голод прячется в подвалах, затыкая щели и окна соломой, опилками, стружками, клочками бумаги; Голод заявляет о себе каждой щепкой, отлетевшей от распиленного полена; Голод глазеет из печных труб, из которых давно уже не

поднимается дым, смердит из слежавшегося мусора, в котором тщетно было бы пытаться найти какие-нибудь отбросы. «Голод» — написано на полках булочника, на каждом жалком ломте его скудных запасов мякинного хлеба, и на прилавках колбасных, торгующих изделиями из стервятины, из мяса дохлых собак. Голод щелкает своими иссохшими костями в жаровнях, где жарят каштаны; Голод скрипит на дне каждой оловянной посудины с крошевом из картофельных очистков, сдобренных несколькими каплями прогорклого оливкового масла. Голод здесь у себя дома, и все здесь подчинено ему: узкая кривая улица, грязная и смрадная, и разбегающиеся от нее такие же грязные и смрадные переулки, где ютится голытьба в зловонных отрепьях и колпаках, и все словно глядит исподлобья мрачным, насупленным взглядом, не предвещающим ничего доброго. На лицах загнанных людей нет-нет да и проскальзывает свирепое выражение затравленного зверя, готового броситься на своих преследователей. Но как они ни забиты, ни принижены, у многих в глазах вспыхивает огонь, губы плотно стиснуты, а в суровых складках, бороздящих нахмуренные лбы, проступают налитые кровью жилы, похожие на веревки для виселицы, на которой либо им самим суждено кончить жизнь, либо они кого-нибудь вздернут. Торговые вывески — а их примерно столько же, сколько и лавок, — повсюду с зловещей наглядностью изображают нужду. На мясной и колбасной красуются не мясные туши, а какие-то остовы, на пекарне — жалкие ломти серого хлеба. Фигуры пьющих, намалеванные на вывесках питейных, сидят, нагнувшись над крохотными стопками с остатками мутного вина или над кружками с пивом, и вид у них грозный, точно у заговорщиков. И ни в одной лавке не выставлено ничего хоть сколько-нибудь добротного, кроме ремесленных орудий да оружия. Да! Ножи и топоры у ножовщика отточены и сверкают; и молотки у кузнечных дел мастера — увесистые, а у оружейника большой выбор смертоносного оружия. Выщербленная булыжная мостовая с ямами и ухабами, где не пересыхают лужи и грязь, упирается, за отсутствием тротуаров, прямо в дома. Зато сточная вода бежит по самой середине улицы, если только она не стоит, а бежит, что случается лишь во время проливного дождя, и тогда она мчится без удержу, затопляя все, что ни попадя, и низвергается в дома. Поперек через всю улицу, на довольно большом расстоянии друг от друга, висят на веревках с блоками железные фонари. Вечером, когда фонарщик опускает их, чтобы зажечь, а потом снова поднимает наверх, мутные точки тускло мигающих огней качаются на ветру, словно огни корабля, попавшего в шторм. Да шторм и в самом деле надвигается, и кораблю и его команде грозит разъяренная стихия.

Ибо близится время, когда эти отощавшие пугала из предместья, наглядевшись вдосталь на фонарщика, надумают с голодухи и от нечего делать, а не станет ли у них посветлее, ежели они сами попробуют орудовать веревкой с блоком и не лучше ли вешать людей вместо фонарей. Но это время еще не пришло, и ветер, ревущий над Францией, напрасно раздувает и треплет лохмотья пугал — голосистые птички в роскошном оперенье беспечно порхают, не замечая их.

Винный погребок помещался в доме на углу улицы и выделялся среди соседних домишек своим более зажиточным и опрятным видом. Хозяин заведения, в желтом жилете и зеленых штанах, стоя в дверях, смотрел, как народ бросился собирать хлынувшее ручьями вино.

— А мне что за дело, — промолвил он, пожав плечами, — возчики с рынка везли, им и отвечать. Пусть привезут другую.

Тут взгляд его упал на долговязого зубоскала, выписывавшего на стене свои каракули, и он окликнул его через улицу:

— Эй, Гаспар! Ты что это там вытворяешь?

Шутник с многозначительным видом, какой любят напускать на себя зубоскалы, ткнул пальцем в написанное им слово. Но на этот раз он просчитался, шутка его не имела успеха, впрочем это нередко бывает с шутниками.

— Да ты с ума сошел? — прикрикнул па него хозяин погребка и, перейдя через улицу, зачерпнул с земли пригоршню жидкой грязи и замазал надпись. — Что это тебе вздумалось писать этакое на улице? Или у тебя другого места нет, где ты мог бы записать для себя это слово?

Отчитывая его, он (нечаянно, а может быть, и нет) положил чистую руку ему на грудь. Шутник хлопнул себя рукой по тому же месту и, сдернув с ноги измазанный вином башмак, подкинул его высоко в воздух, подпрыгнул, поймал и, держа над головой, застыл в какой-то замысловатой фигуре танца. Видно, это был прирожденный шутник, но сейчас его ухмыляющаяся физиономия, измазанная винной гущей, сильно напоминала оскаленную волчью пасть.

— Надень, надень башмак! — сказал хозяин лавки. — И не называй вино иначе, как вином! — С этими словами он спокойно вытер свою грязную ладонь о лохмотья шутника, ибо из-за него же он и выпачкал руку, а затем пошел через улицу к себе в погребок.

Хозяин винного погребка был крепкий, плечистый мужчина лет тридцати с лишним, с солдатской выправкой и, по-видимому, горячий человек, потому что даже в такой холод носил камзол внакидку через одно плечо и ходил с засученными до локтей рукавами и с непокрытой головой, если не считать густой шапки черных вьющихся, коротко подстриженных волос. Лицо у него было смуглое, с большими, широко расставленными глазами, а взгляд довольно приветливый; видно было, что это человек решительный, и если уж он что задумал, так доведет до конца; не приведи бог никому столкнуться с таким на узкой дорожке над пропастью, — ничто не заставит его ни отступить, ни свернуть.

В зальце, куда он вошел, сидела за стойкой его супруга, мадам Дефарж. Мадам Дефарж была дородная женщина, примерно тех же лет что и ее супруг, с внимательно настороженным взглядом, который редко на чем-нибудь задерживался: у нее были большие руки, унизанные кольцами, спокойное лицо с твердыми чертами и удивительно невозмутимая манера держаться. Глядя на нее, сразу можно было сказать, что мадам Дефарж, с какими бы сложными расчетами ей не пришлось иметь дело, — вряд ли позволит себя обсчитать. Мадам Дефарж была особа зябкая и куталась в меховую душегрейку, а голова ее была обмотана яркой шалью, которая, однако, не закрывала крупных серег, болтавшихся у нее в ушах. Перед ней лежало вязанье, она только что отложила его и, опершись правым локтем на левую руку, ковыряла зубочисткой во рту. Когда вошел ее супруг, мадам Дефарж не произнесла ни слова, а только слегка кашлянула. Не вынимая зубочистку изо рта, она чуть-чуть приподняла свои тонко очерченные темные брови, и этого, по-видимому, было достаточно, чтобы заставить хозяина оглядеться по сторонам и обратить внимание на новых посетителей, появившихся здесь, пока его не было.

Хозяин обвел глазами помещение, и взгляд его задержался на пожилом господине и молодой девушке, сидевших в углу. Кроме них, в зале сидели двое за карточной игрой, двое за домино, а еще трое стояли у стойки и потягивали, не торопясь, скудные порции вина. Проходя к своему месту за стойкой, хозяин заметил, как пожилой господин показал на него глазами юной девушке, словно говоря: «Это он самый!»

«Какого черта вы сюда затесались? — подумал мосье Дефарж. — Я вас не знаю».

Но он сделал вид, что не замечает этих людей, и вступил в разговор с триумвиратом, выпивавшим у стойки.

— Ну, что там творится, Жак? — спросил его один из Этих троих. — Все вино вылакали?

— Все до капли, Жак, — отвечал мосье Дефарж.

Едва только было произнесено это имя, мадам Дефарж, не оставляя своей зубочистки, снова тихонько кашлянула, и брови ее поднялись чуть повыше.

— А многим ли из этих тварей несчастных, — заметил Дефаржу другой из той же троицы, — случается когда глотнуть винца или чего другого, кроме черствого хлеба да смерти! Верно я говорю, Жак?

— Верно, Жак, — отозвался мосье Дефарж.

Когда это имя прозвучало вторично, мадам Дефарж, все так же невозмутимо ковыряя во рту зубочисткой, кашлянула еще раз и еще чуть-чуть приподняла брови.

Последний из триумвирата сунул на прилавок пустой стакан и, облизывая губы, сказал:

— Эх! Чем хуже, тем лучше для этих злосчастных горемык! Нахлебались они горького, и жжет у них во рту. Тяжко им приходится, правда, Жак?

— Правда, Жак, — согласился мосье Дефарж.

Когда это имя было произнесено в третий раз, мадам Дефарж отложила зубочистку, повела приподнятыми бровями и слегка задвигалась на стуле.

— Да, правда, надо быть осторожней, — пробормотал Дефарж. — Разрешите, господа, — моя жена!

Трое посетителей сняли шляпы и учтиво поклонились мадам Дефарж. Она ответила на их поклон легким кивком и быстро окинула взглядом всех троих. Затем мельком посмотрела по сторонам и все с тем же невозмутимым видом спокойно принялась вязать.

— До свидания, господа! — сказал мосье Дефарж, все время внимательно наблюдавший за своей супругой. — А насчет той меблированной комнаты для одинокого, о которой вы тут справлялись, когда я выходил, — если вам угодно ее посмотреть, так она на пятом этаже. Вход на лестницу вон с того двора, налево, — и он показал рукой в окно. — Но, насколько мне помнится, один из вас уже был там, он вам и покажет дорогу. Всего доброго, господа!

Они расплатились за вино и вышли.

Мосье Дефарж все еще следил взглядом за женой, углубившейся в вязанье, когда пожилой господин, сидевший за столиком в углу, поднялся с места и, подойдя к хозяину, попросил уделить ему несколько минут для разговора.

— Сделайте ваше одолжение, мосье, — отвечал Дефарж и не спеша направился с ним к выходу.

Разговор был очень короткий, но весьма решительный. Чуть ли не с первого же слова мосье Дефарж вздрогнул и весь обратился в слух. Они поговорили несколько секунд, затем он кивнул и вышел. Пожилой господин в свою очередь шепнул что-то молодой девушке, и они тоже вышли. Мадам Дефарж проворно шевелила спицами и на этот раз даже бровью не повела — она ничего не видела.

Мистер Джарвис Лорри и мисс Манетт вышли из погребка и нагнали мосье Дефаржа во дворе, куда он только что направил тех троих. Маленький, грязный, запущенный, вонючий двор вел к сгрудившимся тесной кучей высоким, уродливым, густо заселенным домам. Они вошли в темный подъезд с выложенным плитками полом, где у темной каменной лестницы мосье Дефарж опустился на одно колено перед дочерью своего бывшего хозяина и, приложился губами к ее руке. Казалось бы — какая почтительность! — однако вид у него был далеко не почтительный. Напротив, какая-то удивительная перемена произошла с ним за эти несколько секунд; всю его приветливость как рукой сняло, ни следа не осталось от прежнего открытого выражения. Он производил теперь впечатление скрытного, озлобленного, опасного человека.

— Высоко очень. Трудновато взбираться, лучше потихоньку идти, — сурово обронил мосье Дефарж мистеру Лорри, когда они начали подниматься по лестнице.

— А он там один? — шепотом спросил мистер Лорри.

— Один! Помилуй бог, да кто же там еще может быть? — также шепотом ответил мосье Дефарж.

— Значит, он всегда один?

— Да.

— По собственному желанию?

— По необходимости. Ведь он какой был, когда я его первый раз увидел, когда они меня разыскали и спросили, не возьму ли я его, да только чтоб никто не знал, а то головой отвечу, — такой и остался, и сейчас все такой же.

— А очень он изменился?

— Изменился!

Хозяин винной лавки задержал шаг и, стукнув кулаком по стене, громко выругался. Вряд ли любой другой ответ прозвучал бы убедительнее. По мере того как они все трое поднимались все выше и выше, на душе у мистера Лорри становилось все тяжелей.

Даже и теперь в старых парижских кварталах лестница густонаселенного дома со всем тем, что ей неизменно сопутствует, представляет собой весьма непривлекательное зрелище. Но в те времена для человека непривычного у которого чувства еще не успели притупиться, это было нечто совершенно омерзительное. Из каждого жилого угла этого огромного, набитого битком смрадного лежбища, разместившегося внутри многоэтажного дома, другими словами, из каждой квартиры или каморки, дверь которых открывалась на общую лестницу, весь мусор, если не считан, того, что швыряли прямо в окно, выбрасывали на площадку. Эти слежавшиеся кучи никем не убиравшегося гниющего мусора сами по себе достаточно отравляли воздух, а нищета и нужда привносили в них свой непередаваемый смрад. В результате получалось нечто совершенно непереносимое. Сквозь вонь, висевшую в темной, узкой, как колодец, насыщенной миазмами лестничной клетке, надо было подняться на самый верх по каменной крутой грязной лестнице. Охваченный чувством тревоги и невольно заражаясь все усиливающимся смятением своей спутницы, мистер Лорри уже два раза останавливался перевести дух; и оба раза у мрачного, заделанного железной решеткой оконного пролета, через который едва ощутимые токи случайно задержавшегося свежего, неиспорченного воздуха словно стремились ускользнуть, а все тошнотворные зловонные испарения, точно стекаясь отовсюду, так и норовили ворваться внутрь. Через заржавленные прутья решетки можно было не столько созерцать, сколько обонять скученные громады домов. И вплоть до величественных башен собора Парижской богоматери, видневшихся вдали, все, что ни громоздилось кругом, было так же неприглядно, невзрачно и не сулило никаких надежд.

Наконец они дошли до верхней площадки и в третий раз остановились передохнуть. Здесь начинались ступеньки узенькой крутой лестницы, которая вела на чердак. Хозяин погребка, который шел немного впереди, все время стараясь держаться тон же стороны, что и мистер Лорри, словно опасаясь, как бы молодая девушка не спросила его о чем-нибудь, повернулся к ним лицом и, порывшись в кармане накинутого на плечо камзола, вытащил ключ.

— Так вы, значит, на ключ его запираете, любезный? — с изумлением спросил мистер Лорри.

— Запираю. Да. — мрачно ответил мосье Дефарж.

— Вы что же, считаете необходимым держать несчастного джентльмена под замком?

— Я считаю необходимым щелкнуть замком, мосье. — Дефарж сказал это шепотом, нагнувшись к самому уху мистера Лорри, и при этом еще более нахмурился.

— Да зачем же это?

— Зачем? Затем, что он так долго сидел под замком, что, если оставить дверь открытой, он перепугается насмерть, об стены будет биться, в буйство впадет, изувечит себя или невесть чего натворит.

— Может ли это быть? — воскликнул мистер Лоррн.

— Может! — с горечью повторил Дефарж. — Да, в таком распрекрасном мире все может быть, не только это, а еще и многое другое, и не только может, а и бывает, черт возьми! — вот здесь, у нас, среди бела дня, каждый день, каждый божий день. Эх, да что говорить! Пошли!

Все это говорилось шепотом, и ни одно слово не коснулось слуха молодой девушки. Она и без того дрожала всем телом, и на лице ее было написано такое смятение, такой страх и — более того — ужас, что мистер Лорри счел своим долгом подбодрить ее.

— Мужайтесь, дорогая мисс! Мужайтесь! Перед вами дело. Еще немного, и самое худшее будет позади. Осталось только войти в эту дверь, — и самое трудное будет позади! И тогда все благо, которое вы ему несете, спасение, счастье — все это войдет вместе с вами! Обопритесь на нашего доброго друга, он поддержит вас с той стороны. Вот и хорошо, любезный Дефарж, теперь идем! К делу, к делу!

Медленно, осторожно они поднимались по крутым ступенькам вверх. Небольшая лестница скоро кончилась, они очутились на площадке, — и тут перед ними внезапно выросли три фигуры; сблизив головы, они стояли, нагнувшись у низенькой двери, и заглядывали в щель в то самое помещение, куда вела дверь. Услышав сзади шаги, все трое обернулись, и когда они подняли головы, оказалось, что это та самая троица об одном имени, только что выпивавшая у стойки!

— Я совсем и забыл про них, вы ведь как снег на голову свалились, — пояснил мосье Дефарж. — Проваливайте-ка, ребята! У нас здесь дело есть.

Те молча один за другим прошмыгнули мимо них и молча стали спускаться по лестнице.

Никакой другой двери здесь не было, и, видя, что Дефарж направляется к ней с ключом, мистер Лорри, подождав, когда те трое скрылись, спросил его возмущенным шепотом:

— Вы что же, зрелище из этого делаете, показываете мосье Манетта?

— Да, показываю, как видите. Немногим избранным.

— Что же, это хорошо — так делать?

— Я думаю, что хорошо.

— А кто же эти избранные? И как вы их выбираете?

— Я выбираю из тех, кого считаю настоящими людьми, тех, кто носит одно со мной имя, — Жак, — и тех, кому полезно поглядеть на такое зрелище. Но… что говорить! Вы англичанин, — это совсем другое дело. Постойте-ка здесь минутку.

Он предостерегающе поднял руку, нагнулся и стал смотреть в щель. Потом выпрямился и раза два-три постучал в дверь, по-видимому только для того, чтобы там услыхали шум. Затем, очевидно с той же целью, несколько раз громко звякнул ключом прежде, чем всунул его в замочную скважину, и, наконец с шумом повернул его.

Дверь медленно отворилась. Он заглянул в комнату и что-то сказал. Еле слышный голос ответил ему. Насколько можно было разобрать, и тот и другой произнесли что-то вроде междометия или какое-то коротенькое односложное слово.

Мосье Дефарж обернулся и поманил их рукой. Мистер крепко обхватил молодую девушку за талию и, поддерживая ее, чувствовал, что она вот-вот упадет.

— Относитесь по-деловому, по-деловому! — подбадривал он ее, а по щекам его, совсем не по-деловому, катились слезы.

— Мне страшно, я боюсь, — шептала она, трясясь как в ознобе.

— Боитесь? Чего?

— Его… отца!

С какой-то отчаянной решимостью, вызванной и состоянием мисс Манетт и знаками, которыми их настойчиво звал за собой их провожатый, мистер Лорри перекинул себе через шею ее дрожащую руку, лежавшую на его плече, и, приподняв молодую девушку, почти внес

ее в комнату. Он опустил ее на пол у самой двери, не отнимая руки, и она беспомощно прижалась к нему.

Дефарж вынул ключ из замка, захлопнул дверь, запер ее изнутри, снова вытащил ключ и повернулся с ключом в руках. Все это он проделал не спеша, явно стараясь производить как можно больше шума. Затем мерным шагом прошел через всю комнату к окну и остановился.

Чердак служил, по-видимому, когда-то складом для дров и угля, — здесь было пыльно и темно; слуховое окно в крыше было, в сущности, низенькой дверью без стекол, а над нею торчал крюк, па который накидывали веревку, чтобы поднимать и опускать вязанки дров или мешки с углем. Дверь открывалась посредине на две створки. Чтобы не студить помещение, одна створка была плотно закрыта, а другая только чуть-чуть приотворена. Свет так скупо проникал в эту щель, что сначала, пока не освоился глаз, в этой темноте почти ничего нельзя было разобрать, и только человек, давно свыкшийся с ней, мог постепенно приспособиться что-то делать и даже справляться с работой, требующей некоторого уменья. Именно такой работой и был занят обитатель чердака, ибо, примостившись на низенькой скамеечке, спиной к двери, и лицом к слуховому окну, у которого остановился хозяин погребка, сидел согнувшись седой человек и старательно тачал башмаки.

Глава VI

Сапожник

— Добрый день! — сказал мосье Дефарж, глядя на белую как лунь голову, склонившуюся над работой.

Голова чуть-чуть приподнялась, и слабый голос ответил очень глухо, словно издалека:

— Добрый день!

— А вы, я вижу, по-прежнему усердно работаете.

Наступило долгое молчание; потом голова снова чуть приподнялась, и голос ответил: «Да, работаю», испуганные глаза взметнулись на вопрошавшего, и тут же голова снова опустилась.

Жалость и содрогание вызывал этот слабый, глухой голос. Это была не просто телесная немощность, хотя долгое заключение и скудная пища, конечно, оказали свое действие. В этом почти беззвучном, невыразительном голосе чувствовалась глухота одиночества, отвычка от человеческой речи. Голос этот был словно последний, чуть слышный отзвук далекого, давно умолкшего эхо. Безжизненный, лишенный всякого звучания, присущего человеческому голосу, он вызывал в душе такое же щемящее чувство, какое охватывает вас перед выцветшим полотном, на котором вы тщетно ищете следы прежних живых красок. Невнятный, сдавленный, он словно доносился из-под Земли. И так ясно чувствовалось, что это голос человека, утратившего все надежды, погибшего безвозвратно, отчаявшегося, что казалось — вот таким голосом одинокий путник, сбившийся со следа в пустыне, истомленный голодом и жаждой, вымолвит, падая без сил, последнее прости своему дому и своим близким.

Он продолжал работать не разгибаясь, и прошло несколько минут, прежде чем он снова поднял блуждающий взгляд без какого бы то ни было интереса или любопытства, а тупо и машинально, лишь для того, чтобы убедиться, что то место, где стоял его посетитель, еще не опустело.

— Я хочу света немножко прибавить, — сказал Дефарж, не сводя глаз с сапожника. — Как вы, потерпите, если будет чуточку посветлей?

Сапожник оторвался от своей работы и уставился отсутствующим взглядом в пол, сначала направо, потом налево от себя, словно прислушиваясь, потом поднял глаза па говорившего:

— Что вы сказали?

— Вы потерпите, если я чуточку посветлее сделаю?

— Придется потерпеть. (Что-то вроде слабого намека на ударение послышалось в первом слове.)

Дефарж отворил чуть пошире приоткрытую створку и закрепил ее в этом положении. Широкая полоса света протянулась по чердаку и осветила сидящего на низкой скамье труженика, который, оторвавшись от своей работы, уронил на колени незаконченный башмак. Кое-какие нехитрые инструменты, обрезки и кусочки кожи лежали на полу у его ног и рядом с ним на скамье. На изможденном лице с седой, кое-как подстриженной, не очень длинной бородой выделялись необыкновенно блестящие глаза. Будь они самой обычной величины, они все равно казались бы большими на этом исхудалом лице с ввалившимися щеками, под нечесаной копной совершенно белых волос и густыми, все еще темными бровями; но они и в самом деле были большими, а потому казались неестественно огромными. Расстегнутая на груди желтая рваная рубаха позволяла видеть хилое, изнуренное тело. От долгого пребывания взаперти, без воздуха и света, и сам он, и его заношенная холщовая блуза, и спускавшиеся складками чулки, и вся обратившаяся в лохмотья остальная одежда — все стало какого-то одинаково тусклого пергаментно-желтого цвета, он точно сросся с надетым на нем тряпьем.

Когда он поднес руку к глазам, заслоняясь от света, даже все кости на ней, казалось, просвечивали. Отложив работу, он сидел и смотрел прямо перед собой отсутствующим взглядом. Он ни разу не поднял глаз на стоявшего перед ним человека, не поглядев сначала куда-то вниз, по сторонам, направо и налево от себя, как будто он разучился понимать, откуда доносится звук. И когда его о чем-нибудь спрашивали, он тоже сначала озирался и не сразу вспоминал, что надо ответить.

— Вы сегодня кончите эти башмаки? — спросил мосье Дефарж, кивая мистеру Лорри, чтобы тот подошел поближе.

— Вы что-то сказали?

— Вы как, думаете сегодня кончить эти башмаки?

— Я… не могу сказать… Я надеюсь… Не знаю.

Однако вопрос этот заставил его вспомнить о работе, и он, снова нагнувшись, взялся за башмак.

Мистер Лорри оставил его дочь у двери и тихонько подошел к окну. Он остановился рядом с Дефаржем, и прошло, должно быть, минуты две-три, прежде чем сапожник поднял глаза. Он не удивился, увидев другого человека, только поднес дрожащие пальцы к губам (и губы и ногти у него были одного и того же бледно-свинцового цвета), и опять рука его опустилась и он снова согнулся над работой. На все это ушло разве что несколько секунд.

— Видите, к вам посетитель пришел, — сказал мосье Дефарж.

— Что вы сказали?

— Посетитель к вам.

Сапожник опять поднял глаза, не оставляя работы.

— Послушайте-ка! — сказал Дефарж. — Мосье знает толк в хорошей сапожной работе. Покажите-ка ему башмак, который вы сейчас делаете. Возьмите, мосье.

Мистер Лорри взял башмак.

— Мосье спрашивает, что это за башмак и как зовут мастера, который его делал.

На этот раз молчание длилось дольше обычного, прежде чем он собрался ответить.

— Я забыл, о чем вы спросили. Что вы сказали?

— Я говорю, не можете ли вы рассказать мосье, что это за башмак.

— Это дамский башмак, на прогулку ходить, для молодой особы. Такие сейчас в моде. Я моды не видал. У меня в руках образец был. — Он поглядел на свой башмак, и даже что-то похожее на гордость мелькнуло на его лице.

— А как мастера зовут? — спросил Дефарж.

Теперь, когда руки его остались без дела, он непрерывно поглаживал то пальцы левой руки правой рукой, то пальцы правой руки — левой, затем проводил рукой по бороде, и так без конца, не останавливаясь, повторяя одно за другим все те же движения. Завладеть его вниманием, извлечь из этой забывчивости, в которую он впадал всякий, раз после того, как из него с трудом удавалось вытянуть несколько слов, стоило немалых усилий, — все равно как привести в чувство лежащего в обмороке больного или пытаться продлить последние минуты умирающего, дабы вырвать у него какое-то признание

— Вы мое имя спрашиваете?

— Ну да, разумеется ваше!

— Сто пятый, Северная башня.

— И все?

— Сто пятый, Северная башня.

И, словно обессилев, с каким-то не то вздохом, не то стоном, он снова согнулся над работой.

— Вы ведь не всегда сапожником были? — пристально глядя на него, спросил мистер Лорри.

Блуждающий взор старика обратился к Дефаржу, как будто он ждал, что Дефарж ответит на этот вопрос, но так как Дефарж и не подумал прийти ему па помощь, он опустил глаза в землю, огляделся по сторонам и снова поднял взгляд на вопрошавшего.

— Я не всегда сапожником был? Нет, я не был сапожником. Я здесь этому выучился… сам выучился… просил разрешения…

Он запнулся, замолчал и опять впал в забывчивость, не переставая все так же машинально перебирать руками. Затем глаза его медленно поднялись на того, кто с ним только что говорил, и когда, наконец, они снова остановились на его лице, он вздрогнул и продолжал, словно очнувшись, как человек, который, задремав посреди разговора, подхватывает его с того самого места, на котором он для него оборвался.

— …просил разрешения учиться и через много времени добился, что мне, наконец, позволили… и вот с тех пор я шью башмаки.

Он протянул руку за башмаком, который у него взяли, а мистер Лорри, отдавая башмак, спросил, глядя ему все так же пристально в лицо:

— Мосье Манетт, а вы совсем не помните меня?

Башмак упал на пол, и сапожник, не отрывая глаз от человека, который говорил с ним, застыл на месте.

— Мосье Манетт, — продолжал мистер Лорри, положив руку на плечо Дефаржа, — вы совсем не помните этого человека? Посмотрите на него. Посмотрите на меня. Вам не вспоминается старый банковский служащий, дела, которые вы вели с ним, ваш старый слуга, прежние дни, а, мосье Манетт?

По мере того как долголетний узник медленно переводил взгляд с мистера Лорри на Дефаржа, пристально вглядываясь сначала в одно, потом в другое лицо, какие-то давным-давно стершиеся следы напряженной работы мысли постепенно проступали на его челе, словно пробиваясь сквозь мрак, окутывающий его сознание, словно что-то блеснуло и тут же померкло и исчезло, но это было так явственно и так живо отразилось на юном прелестном лице его дочери, которая незаметно пододвинулась поближе и, прижавшись к стене, стояла, не сводя с него глаз, сначала замирая от ужаса и жалости, стиснув дрожащие руки и словно порываясь спрятаться, закрыть лицо, а потом едва сдерживаясь, чтобы не броситься к нему с протянутыми руками, в жажде обнять седую голову этого живого мертвеца, приголубить на своей юной груди, вдохнуть в нее жизнь и надежду, — так явственно и даже более отчетливо

повторилось на ее юном лице, что казалось — это луч света, скользнув по нему, перешел на нее.

А на него уже надвинулся мрак. Взгляд его становился все более растерянным, блуждающим, и опять он смотрел куда-то вниз, себе под ноги, и тупо озирался по сторонам. Наконец, тяжело вздохнув, он поднял башмак и снова погрузился в работу.

— Вы узнали его, мосье? — шепотом спросил Дефарж.

— Да, на какой-то миг. Сперва я было совсем потерял надежду, но потом вдруг, на один-единственный миг, я совершенно ясно увидел его лицо, лицо, которое я когда-то так хорошо знал. Шш! давайте отойдем немножко подальше! Шш!

Она тем временем незаметно отделилась от стены и подошла почти вплотную к скамейке, на которой он сидел.

Что-то страшное было в том, что он не сознает ее близости, хотя ей стоило только протянуть руку, и она коснулась бы этой согбенной спины.

Никто не решался вымолвить ни слова, никто не шевелился. Она стояла около него, как ангел, сошедший с неба, а он сидел, сгорбившись над своей работой.

Наконец ему понадобилось сменить инструмент, и он наклонился за сапожным ножом, который лежал возле него на полу, но не с той стороны, где она стояла. Он поднял нож и снова погрузился было в работу, но ему случайно попался на глаза подол ее платья. Он поднял глаза и увидел ее лицо. Те двое невольно рванулись вперед, но она остановила их движением руки. Ей и в голову не пришло, что он может ударить ее ножом, а они как раз этого и опасались.

Он смотрел на нее испуганным взглядом, потом губы его зашевелились, словно стараясь произнести какое-то слово, но из них не вырвалось ни звука. Он задышал тяжко, часто и постепенно в этом прерывистом дыхании стали различимы слова:

— Что это?

Слезы катились по ее лицу, прижав руки к губам, она послала ему воздушный поцелуй, а потом прижала руки к груди, словно баюкая эту бедную голову.

— Вы не дочь тюремщика?

Она вздохнула:

— Нет.

— Кто же вы такая?

Чувствуя, что она еще не в состоянии справиться со своим голосом, она молча опустилась на колени рядом с ним. Он отшатнулся, но она тихонько удержала его за руку. Он вздрогнул всем телом, словно какой-то ток пронизал его, потом, не сводя с нее глаз, медленно положил нож.

Ее золотые волосы, которые она нетерпеливо откидывала со лба, рассыпались локонами по ее плечам. Нерешительно протянув руку, он осторожно приподнял один локон и уставился на него, потом тут же впал в забывчивость и, тяжело вздохнув, снова взялся за работу.

Но это продолжалось недолго. Отпустив его руку, она пододвинулась ближе и положила руку ему на плечо. Он неуверенно покосился раза два-три на эту руку, словно желая убедиться, что она в самом деле лежит на его плече. Потом, отложив работу, пошарил за воротом рубахи и снял с шеи почерневший шнурок, на котором висела сложенная в несколько раз завязанная узелком тряпица. Он бережно развязал ее у себя на коленях, и в ней оказались смотанные колечком волоски, два-три золотистых волоска, которые он, может быть, когда-то давным-давно накрутил себе на палец.

Он снова взял в руку ее локон и поднес его к глазам.

— Те самые. Да как же это может быть? Когда это было? Да как же так?

На лбу его снова появилось то же напряженно-сосредоточенное выражение, и вдруг он увидел это выражение на ее лице. Он схватил ее за плечи, повернул к свету и стал пристально вглядываться в нее.

— Она прижалась головой к моему плечу в тот вечер, когда меня вызвали из дому, она боялась за меня, а я нет… у меня не было никаких опасений… а когда меня привезли сюда, в Северную башню, они нашли эти волоски у меня на рукаве. Оставьте их мне! Ведь они не могут помочь мне убежать отсюда, но они помогут мне уноситься прочь в мечтах. Так я им сказал тогда, как сейчас помню каждое слово!

Он долго беззвучно шевелил губами, подбирая слова, прежде чем произнести их вслух. Но когда он, наконец, заговорил, слова следовали одно за другим без запинки, медленно, но связно.

— Как же так? *Разве это была ты?*

И он так внезапно повернулся к ней и так стремительно схватил ее за плечи, что те двое снова невольно кинулись к ним. Но она даже не шевельнулась, она словно замерла у него в руках и только промолвила тихо:

— Умоляю вас, добрые джентльмены, не подходите к нам, не говорите ничего, не двигайтесь!

— Что я слышу? — воскликнул он. — Чей это голос?

И, выпустив ее из рук, он схватился за голову и начал судорожно рвать свои седые волосы: потом затих и снова погрузился в забывчивость, — привычное состояние, в котором для него как будто не существовало ничего на свете, кроме его сапожного ремесла. Он опять свернул и завязал свой узелок и долго старался засунуть его поглубже за ворот рубахи: но все время не сводил с нее глаз и угрюмо качал головой.

— Нет, нет, нет! Слишком молода, такая цветущая, юная! Не может этого быть. Посмотрите, что сталось с узником. Разве это те руки, которые знала она? То лицо, на которое она глядела? Разве она узнала бы этот голос? Нет, нет! Она была и он был когда-то давно-давно, до всех этих долгих лет в Северной башне… с тех пор прошла вечность… Как вас зовут, милый ангел мой?

Растроганная до глубины души его ласковым тоном и тихой кротостью, его дочь упала перед ним на колени и, словно умоляя, положила руки ему на грудь.

— О сэр, когда-нибудь, в другой раз я скажу вам, как меня зовут, и кто была моя мать, и кто был мой отец, и почему я до сих пор ничего не знала об их горькой, горькой судьбе. Но я не могу говорить об этом сейчас, не могу говорить об этом здесь. Здесь, сейчас, я могу умолять вас только об одном: коснитесь меня вашей рукой, благословите меня! Обнимите, поцелуйте меня! О мой дорогой, дорогой!

Его безжизненная седая голова прильнула к ее пламенным кудрям, и они брызнули на него жизнью и теплом, словно над ним засиял свет свободы.

— Если вы слышите в моем голосе что-то — не знаю, так ли это, но надеюсь, что так, — если мой голос хоть немножко напоминает вам тот, что когда-то был так дорог для вашего слуха, дайте волю слезам, поплачьте о нем. Если вы, касаясь моих волос, вспоминаете любимую вами головку, что покоилась на вашей груди, когда вы были молоды и свободны, дайте волю слезам, поплачьте о ней! И когда я говорю вам о доме, который ждет нас обоих, где я буду неустанно ухаживать за вами и заботиться о вас преданно и нежно, а вам вспоминается другой, давно покинутый дом, о котором так изнывало ваше бедное сердце, поплачьте о нем, поплачьте о нем!

Крепко обняв его за шею и прижав к своей груди, она укачивала его, как ребенка.

— О мой дорогой, родимый мой! Когда я говорю вам, что мучения ваши кончились, что я приехала сюда, чтобы увезти вас, что мы поедем в Англию, где нас ждет мир и покой, а вы,

слушая меня, невольно думаете о своей загубленной жизни, о нашей родной Франции, которая поступила с вами так бесчеловечно, — поплачьте, поплачьте об этом! А когда я скажу вам, как меня зовут, и как зовут моего отца, который остался жив, и мою мать — она не вынесла и умерла, — вы поймете, что я должна на коленях вымаливать прощенье у моего достойного отца за то, что я никогда не пыталась прийти ему на помощь, не мучилась о нем изо дня в день, не плакала о нем бессонными ночами, но ведь это потому, что любовь моей несчастной матери заставила ее скрыть от меня его страдания, — поплачьте, поплачьте об этом! Поплачьте о ней и обо мне! О, благодарю тебя, боже! Радуйтесь, добрые джентльмены. Я чувствую его драгоценные слезы на моем лице, и его рыданья отдаются в моем сердце! Боже! Благодарю тебя!

Уткнувшись головой ей в плечо, он припал, обессиленный, к ее груди, и в этом было что-то до такой степени трогательное и вместе с тем страшное, ибо нельзя было ни на минуту забыть непоправимое зло, жестокие немыслимые муки, и все, что ему пришлось претерпеть, — что те двое невольно закрыли лицо руками. Долгое время ничто не нарушало наступившей тишины, и мало-помалу рыдания, теснившие грудь страдальца и сотрясавшие его тело, утихли, и он успокоился — все бури в конце концов затихают и наступает покой, — напоминание людям о той тишине и безмолвии, которые приходят на смену суровой буре, что зовется жизнью.

Тогда те двое тихонько приблизились к отцу и дочери, чтобы поднять их с пола — потому что он, прильнув к ней, сполз со скамьи и теперь лежал в забытьи, в полном изнеможении, а она прикорнула рядом с ним и, подложив руку ему под голову, нагнулась к нему, так что ее волосы, свешиваясь над ним, заслонили его от света, словно занавес.

— Если бы вы только могли, не тревожа его, устроить так, чтобы нам можно было сразу уехать, — сказала она, предостерегающе подняв руку и останавливая мистера Лорри, когда он, после неоднократных сморканий, наконец, наклонился к ней, — увезти его прямо отсюда…

— Да разве он в состоянии перенести такое путешествие! — перебил ее мистер Лорри.

— Я думаю, ему это будет легче, чем остаться в этом проклятом городе.

— Это верно, — вмешался Дефарж, который опустился на колени, чтобы слышать, о чем они говорят, — а я так скажу, что для мосье Манетта и по многим другим причинам лучше как можно скорее убраться из Франции. Да не сходить ли мне сейчас нанять карету и заказать почтовых лошадей?

— Это дело! — подхватил мистер Лорри своим обычным рассудительным тоном. — Но если мы решаем сейчас же приступить к делу, то уж лучше я все возьму на себя.

— Тогда, ради бога, оставьте нас здесь одних, — попросила мисс Манетт. — Вы видите, он совсем успокоился, и нечего бояться, если я здесь побуду с ним. Да и чего бояться? Заприте дверь, чтобы к нам никто не вошел, и я уверена, когда вы вернетесь, он будет такой же тихий, как сейчас. Я не отойду от него, пока вас нет, а как только вы вернетесь, мы сейчас же и увезем его.

Ни мистеру Лорри, ни мосье Дефаржу не хотелось на это соглашаться, они полагали, что кому-нибудь из них непременно надо остаться с ней. Но так как нужно было позаботиться не только о лошадях и почтовой карете, но и успеть еще получить подорожные, а день уже клонился к вечеру и время было на исходе, — они в конце концов уступили и, наскоро сговорившись обо всем, что предстояло сделать, и поделив между собой неизбежные хлопоты, поспешили уйти.

Между тем стало смеркаться; тесно прижавшись к отцу, дочь положила голову на грубый дощатый пол и не отрываясь смотрела на отца. Постепенно становилось все темнее и темнее, и они тихо лежали вдвоем до тех пор, пока не замелькал свет на площадке и не засветились щели в стене.

Мистер Лорри и мосье Дефарж, успешно завершив все необходимые хлопоты, принесли с собой дорожные плащи, пледы, а кроме того, хлеб, мясо, вино и горячий кофе. Мосье Дефарж

сложил все эти припасы на скамью, туда же поставил фонарь, — на чердаке, кроме скамьи и соломенного тюфяка, ничего не было, — и вдвоем с мистером Лорри они подняли узника и помогли ему стать на ноги.

С лица старика не сходило выражение удивления и испуга, и никакой разум человеческий не мог бы разгадать по его лицу, что творилось в его душе. Понимал ли он, что произошло? Доходило ли до него то, что ему говорили? Сознавал ли он, что он теперь на свободе? Даже самый прозорливый мудрец не решился бы ответить на эти вопросы. Они пробовали заговаривать с ним, но он приходил в такое замешательство, так долго подыскивал слова, что, испугавшись, как бы он еще больше не разволновался, они решили до поры до времени оставить его в покое. Он то и дело хватался за голову, чего до сих пор за ним не замечали, однако голос дочери, видимо, был ему приятен — стоило ей только заговорить, он тотчас же поворачивался и смотрел на нее.

Покорно, как человек, давно уж привыкший подчиняться любому приказанию, он ел и пил то, что ему давали есть и пить, послушно надел на себя плащ и другие теплые вещи, какие ему велели надеть. А когда дочь взяла его под руку, он схватился обеими руками за ее руку и не отпускал ее больше от себя.

Вышли на лестницу и стали спускаться — впереди Дефарж с фонарем, позади всех, замыкая шествие, — мистер Лорри. Не успели они пройти несколько ступеней по этой бесконечно длинной лестнице, как старик вдруг остановился и начал озираться по сторонам, всматриваясь растерянным взглядом в стены, в потолок.

— Вы помните это место, папа, припоминаете, как вы шли сюда?

— Что вы сказали? — Но, прежде чем она успела повторить вопрос, он уже забормотал, точно вдруг догадавшись, о чем она спрашивает. — Припоминаю… Нет, не припоминаю. Так давно, так давно это было.

Ясно было, что он не помнил, как его взяли из тюрьмы и перевезли в этот дом. Пока они медленно спускались по лестнице, он все бормотал: «Сто пятый… Северная башня…» — и по его блуждающему взору, по тому, как он озирался, видно было, что он недоумевает, куда девались толстые крепостные стены, которые столько лет замыкали его со всех сторон. Когда они вышли во двор, он машинально замедлил шаг, словно зная, что сейчас надо ждать, пока опустят мост, а когда никакого моста не оказалось и он увидал стоявшую прямо на улице карету, он выпустил из своих рук руку дочери и схватился за голову.

Никто не толпился у ворот, никто не выглядывал из окон, на улице не видно было ни одного прохожего, какая-то неестественная тишина и запустенье царили кругом. Только одна живая душа и присутствовала при их отъезде — мадам Дефарж: она стояла на крыльце, прислонясь к косяку, углубившись в свое вязанье, и ничего не видела.

Узник вошел в карету, за ним поднялась дочь, но мистер Лорри только было занес ногу на подножку, как узник жалобно взмолился, чтобы ему дали его сапожные инструменты и недошитые башмаки. Мадам Дефарж крикнула мужу, что она мигом сбегает за ними, и, не переставая вязать, прошла через светлый круг на земле, отбрасываемый фонарем, и скрылась во дворе. Она быстро вернулась, подала все это в карету, а сама снова стала на крыльце, прислонилась к косяку, снова занялась вязаньем и ровно ничего не видела.

Дефарж вскочил на козлы и крикнул: «К заставе!» Кучер щелкнул кнутом, и карета загромыхала по мостовой под мигающим светом раскачивающихся наверху фонарей.

Фонари раскачивались на ветру, ярко светили на богатых улицах, еле мерцали в кварталах победнее, — и они ехали мимо освещенных лавок и веселой толпы гуляющих, мимо залитых огнями кофеен и театральных подъездов — и, наконец, подкатили к городской заставе. Солдаты с фонарями вышли из караульной.

— Господа отъезжающие! Ваши подорожные.

— Извольте, господин комендант, — сказал мосье Дефарж, соскакивая с козел и с озабоченным видом отводя н сторону начальника караула. — Вот документы того седого господина в карете. Мне выдали их, когда я брал его из…

Он понизил голос почти до шепота: фонари суетливо зашныряли, рука в форменном рукаве просунула фонарь в карету, и глаза, устремившиеся вслед за фонарем, окинули седого пассажира внимательным взглядом, совсем не похожим на тот, каким они изо дня в день, ночью и днем, оглядывали проезжающих у заставы.

— Так. Все в порядке. Трогай! — гаркнул караульный.

— Прощайте! — крикнул Дефарж.

И карета покатила в мерцающем свете редевших наверху фонарей, мигающих все слабее, все реже, — и выехала под необъятный свод усыпанного звездами неба.

Внизу под этим куполом неподвижных и вечных светил (а иные из них так отдалены от крохотной нашей земли, что ученые утверждают, будто лучи их даже еще и не достигли ее, не нащупали в пространстве этой точки, где что-то творится и происходит) плотно сгрудились огромные ночные тени. И до самого рассвета в течение всей этой холодной тревожной ночи они снова все что-то нашептывали мистеру Джарвису Лорри, который сидел против заживо погребенного человека, только что поднятого из могилы, и думал, — восстановятся ли у него когда-нибудь хотя бы частично его умственные способности, или он уже лишился их навсегда, а в ушах у него звучал неотвязный шепот:

— Я думаю, вы рады, что вернулись к жизни?

И ответ всегда был один и тот же:

— Не знаю.

КНИГА ВТОРАЯ
«ЗОЛОТАЯ НИТЬ»
Глава I
Пять лет спустя

Банкирский дом Теллсона близ Тэмпл-Бара даже в 1780 году уже казался сильно отставшим от времени. Он помещался в очень тесном, очень темном, очень неприглядном и неудобном здании. Оно, несомненно, отстало от времени, — мало того, компаньоны фирмы возвели этот его недостаток чуть ли не в традицию, — они гордились его теснотой и темнотой, гордились его неприглядностью и неудобствами. Они даже хвастали этими заслужившими широкую известность качествами своего дома и с жаром убеждали себя самих, что, не будь у него всех этих недостатков, он бы далеко не был столь респектабелен. И они не только верили в это, — их вера была мощным орудием, которое они, не стесняясь, пускали в ход против более благоустроенных фирм. Банку Теллсона, говорили они, не требуется просторных залов; банку Теллсона не требуется дневного света, банку Теллсона не требуется никаких новшеств. Ноксу[12] и К*о*, пожалуй, не обойтись без этого, или скажем, Братьям Снукс; но Теллсон! Слава тебе, господи!

Ни один из компаньонов не задумался бы лишить наследства родного сына, ежели бы кто из них посмел заикнуться о перестройке банкирского дома Теллсон. В этом отношении фирма придерживалась примерно тех же правил, что и ее отечество, кое частенько лишало наследства сынов своих, осмелившихся предложить кой-какие усовершенствования тех или иных законов или установлений, давно уже доказавших свою непригодность, — и тем самым именно и упрочивших свою славу незыблемых.

Вот так и банкирский дом Теллсона поддерживал свою славу и гордился незыблемым совершенством своих поистине непревзойденных неудобств.

После того как, рванув изо всех сил, вы одолевали идиотски упрямую дверь, которая вдруг уступала вам с каким-то клохтаньем, похожим на хрипенье умирающего, вы вдруг летели куда-

то вниз через две ступеньки и приходили в себя, ввалившись в крошечный тесный закуток, где за двумя маленькими конторками сидели какие-то древние старички; они брали у вас из рук чек, и он тут же начинал трепыхаться, как на сильном ветру, и не переставал ходить ходуном у них в руках, пока они разглядывали подпись у одного из подслеповатых окошек, которые постоянно обдавало фонтанами грязи с Флит-стрит; не говоря уже о том, что свет едва-едва пробивался в них сквозь железные прутья решеток, на них сверх того падала густая тень Тэмплских ворот. Если вам по вашему делу требовалось повидать «самого», вас впихивали в тесный загон за конторками, напоминавший камеру смертников, и там вы могли предаваться размышлениям о загубленной даром жизни, пока перед вами внезапно — во весь рост, руки в карманах — не возникал «сам»; по как бы вы ни щурились, вы не могли разглядеть его в этой зловещей полумгле. Деньги, которые вам выдавали или принимали от вас, хранились в старых, источенных червями выдвижных ящиках, и всякий раз, как эти ящики выдвигали либо задвигали, оттуда столбом поднималась древесная пыль и набивалась вам в нос и в рот. Полученные вами банкноты отдавали гнилью, как будто им уже пора было снова обратиться в тряпье. Принятое от вас на хранение столовое серебро запрятывали в какие-то тайники рядом с выгребными ямами, и от этого дурного соседства оно за какие-нибудь два-три дня тускнело и теряло свой красивый блеск. Ваши денежные документы запирались в самодельные сейфы, приспособленные из кладовых и чуланов, где пергаментные акты, полежав, пропитывались салом и от них шла вонь по всей конторе. Менее тяжеловесные шкатулки с семейными архивами отправляли наверх в зал, где стоял громадный обеденный стол, за которым, как в сказках «Тысяча и одна ночь», никогда нельзя было пообедать и где письма вашей давней возлюбленной и ваших юных деток только в тысяча семьсот восьмидесятом году избавились от страшного зрелища выпученных остекленевших глаз, косившихся на них с Тэмплских ворот[13], на которых с зверской жестокостью, достойной дикарей-каннибалов, выставляли отрубленные головы, насадив их на прутья ограды.

Но, по правде сказать, смертная казнь в те времена была излюбленным средством и к нему прибегали в любой области — будь то ремесло или торговля — и не менее, чем у других, было оно в ходу у банкиров Теллсон. Смерть — это лекарство, коим Природа излечивает все, как же закону не ухватиться за такое средство? Так оно и повелось: всякому, кто подделал подпись, прописывали смерть; подделал банковский билет — смерть; вскрыл чужое письмо — смерть; стащил сорок шиллингов и шесть пенсов — смерть; парнишке, которому дали подержать лошадь у ворот Теллсона, а он взял да и ускакал на ней, — смерть; и фальшивомонетчику тоже смерть. Словом, три четверти всех преступлений, перечисленных в уголовном кодексе, карались смертью. Не то чтобы это оказывало какое-то предупреждающее действие, — нет, действие, можно сказать, получалось как раз обратное! — но в каждом отдельном случае это пресекало недуг по крайней мере в здешнем мире; и после такого леченья больной уже не доставлял никаких хлопот и с ним не приходилось возиться. Итак, банкирский дом Теллсона за время своего существования, подобно некоторым иным, более высоким учреждениям той поры, отправил на тот свет столько народу, что, если бы головы всех тех, кого он послал на плаху, выставить на Тэмплских воротах, они сомкнулись бы таким тесным строем, что совершенно отрезали бы доступ свету в нижний этаж.

Втиснутые в полутемные клетушки и чуланчики, древние старички в банкирской конторе Теллсона степенно вершили дела. Если в лондонской конторе банка принимали на службу молодого человека, его засовывали куда-то в самые недра дома и выдерживали там, как сыр, до тех пор, пока он, созрев, не приобретал истинно теллсоновского вкуса и не покрывался голубоватой плесенью. И только тогда его выпускали на свет и его можно было лицезреть — вооруженный очками, он сидел, уткнувшись в громадные конторские книги, и всем своим солидным обличьем вплоть до коротких штанов с гетрами вполне гармонировал с внушительным видом сего учреждения.

У дверей теллсоновского банка, но отнюдь не внутри (за исключением тех случаев, когда его вызывали для поручений), постоянно околачивался некий субъект, «малый на все руки», исполнявший обязанности то рассыльного, то носильщика и служивший живой вывеской фирмы. Он никогда не отлучался в присутственные часы, если только его куда-нибудь не посылали, а тогда его замещал сын — препротивный сорванец лет двенадцати — вылитый портрет своего папеньки. Всякий понимал, что банкирский дом Теллсона разве что милостиво соизволяет терпеть у своих дверей эту личность на побегушках. Почтенная фирма Теллсона с незапамятных времен терпела какую-нибудь личность на этой роли, и вот так-то однажды случай прибил сюда и этого человека. Фамилия его была Кранчер. В младенчестве, когда его крестили и крестный отец с крестной матерью, держа его над купелью в приходской церкви Песьей Балки, отторгли его от скверны и козней адовых, ему дали имя Джерри.

Итак, действие происходит в собственной квартире мистера Кранчера в тупике Висящего меча в квартале Уайт-фрайерс. Время — половина восьмого утра, ненастный мартовский день, год от рождества Христова, или, как говорят, Anno Domini 1780 (сам мистер Кранчер произносил сие не иначе, как Аннино Домино, полагая в простоте душевной, что христианская эра ведет свое начало от широкоизвестной игры, придуманной некоей Анной и посему названной ее именем).

Жилище мистера Краичера находилось в весьма неаппетитном окружении и состояло всего из двух комнат, — и то, если еще считать за комнату чулан с одним слуховым оконцем. Но они содержались в чистоте и порядке. В это ветреное мартовское утро, несмотря на ранний час, пол в комнате, где почивал хозяин, был тщательно вымыт, а на большом сосновом столе, накрытом безупречно чистой белой скатертью, уже стояли приготовленные для утреннего чаепития чашки и блюдца.

Мистер Кранчер почивал, укрывшись одеялом из пестрых лоскутков, — сущий арлекин на отдыхе. Он спал крепким сном, потом мало-помалу начал просыпаться, заворочался с боку на бок, завозился и, наконец, сел на постели, весь взлохмаченный, волосы торчком, словно острия частокола, об которые того и гляди простыни разорвутся в клочья. Приняв сидячее положение, мистер Кранчер сразу пришел в ярость и заорал не своим голосом:

— Ах, черт побери, опять она за свое взялась!

Опрятная и по виду рачительная женщина, стоявшая на коленях в углу, поспешно поднялась на ноги, показывая всем своим испуганным видом, что это восклицание относилось не к кому иному, как к ней.

— Та-ак! — протянул мистер Кранчер, нагибаясь с кровати за сапогом. — Так ты, значит, опять за свое?

И следом за этим вторым утренним приветствием он, к качестве третьего, запустил в жену сапогом. Сапог был очень грязный, и тут не мешает упомянуть об одном престранном обстоятельстве, постоянно повторявшемся в домашнем обиходе мистера Кранчера: он возвращался со своего обычного дежурства у банка в совершенно чистых сапогах, а наутро, когда он просыпался, они оказывались снизу доверху в глине.

— Ах, вот как! — зарычал мистер Кранчер, промахнувшись. — Опять ты не в свое дело суешься, зануда ты этакая!

— Да я только помолилась.

— Помолилась! Скажите какая усердная! С чего это тебе вздумалось наземь бухаться и молиться мне наперекор?

— Я не наперекор. Я за тебя молюсь.

— Все врешь! А если и так, все равно, кто тебе это позволил? Видал, Джерри, сынок, какая у тебя усердная маменька! Опять ей приспичило богу молиться, и все наперекор твоему отцу, чтобы не было ему ни в чем удачи! Заботливая у тебя мамаша, сынок! Этакая, не приведи бог,

святоша: чуть что — на колени, и ну бога молить, чтобы у единственного сына кусок хлеба с маслом изо рта вырвали!

Кранчер-младший (еще в одной рубашке) отнесся к этому весьма неодобрительно и накинулся на мать с попреками за то, что она своими молитвами хочет лишить его пропитанья.

— И с чего это ты вообразила, дура спесивая, — безо всякой последовательности продолжал мистер Кранчер, — будто эти твои молитвы чего-то стоят? А ну, скажи-ка, чего они стоят, какова им, по-твоему, цена?

— Мои молитвы от сердца идут, Джерри, в этом и вся их цена.

— Да, вот и вся их цена, — повторил мистер Кранчер, — что и говорить, цена не велика! Ну, так или не так, но чтобы у меня этого больше не было, я тебе раз навсегда запрещаю молиться мне наперекор. Мне это не по карману. Не желаю я из-за твоего кляузничества в дураках сидеть. А ежели тебе непременно надо бухаться головой об пол, бухайся так, чтобы сыну и мужу польза была, а не вред. Будь у меня не такая зловредная жена, а у парнишки не такая зловредная мать, я бы на прошлой неделе хапнул деньжонок, да вот, поди-ка, ей вместо того втемяшилось молиться мне наперекор, и так это она мне своими кляузными молитвами поперек дороги стала, что все у меня мимо рук уплыло, все прахом пошло. Вот так оно и выходит, черт побери, — сердито говорил мистер Кранчер, не переставая в то же время заниматься своим туалетом, — у меня от этого ее богоугодничества всю неделю то одно, то другое срывается! Бьешься изо всех сил, — и все мимо! Ну, что делать бедному честному труженику, коли ему так не везет? Одевайся поскорей, Джерри, сынок, да пока я пойду чистить сапоги, приглядывай тут за матерью: как увидишь, что она норовит опять бухнуться, кликни меня сейчас же! А ты смотри у меня, — обратился он к жене, — я больше этого не потерплю, чтобы ты мне палки в колеса совала. Я, можно сказать, еле на ногах держусь, качает меня из стороны в сторону, как старую карету извозчичью, глаз не продеру, точно меня сонным зельем опоили, и руки и ноги как не мои, совсем отнялись, — а что толку? Прибавилось у меня хоть что-нибудь в кармане? Ни черта! И я сильно подозреваю, что это все твои козни, потому как ты с утра до ночи только о том и хлопочешь, чтобы у меня все мимо кармана шло. Так вот, я больше этого не допущу, язва ты этакая! Слышишь, что я тебе говорю? Не допущу!

И, не переставая бросать в сторону жены язвительные замечания, вроде: «Как же, она у нас святоша! Разве она позволит себе совать палки в колеса мужу и сынишке! Нет, нет, кто-кто — только не она!» — и источать на нее яд своего негодования, мистер Кранчер принялся чистить сапоги и приводить в готовность свою особу для отправления служебных обязанностей. Между тем его сынок, на голове которого красовались те же, только не совсем окрепшие колючки, а юные очи были так же близко сдвинуты, как и у папаши, зорко следил за своей маменькой. Он то и дело пугал несчастную женщину, выскакивая полуодетый из своего спального чулана, и грозно окликал: «Вы что, опять бухаться, маменька! А вот я сейчас, — папаша!» — и, подняв таким образом ложную тревогу, весьма непочтительно ухмылялся и снова исчезал у себя в конуре.

Раздражение мистера Кранчера отнюдь не улеглось, когда он сел завтракать. Он яростно набросился на жену, когда она вздумала прочесть молитву перед едой:

— Это еще что такое? Опять ты за свое, язва? Мало тебе?

Жена попыталась было объяснить, что она только хотела прочесть молитву перед трапезой.

— Не смей! — рявкнул мистер Кранчер, недоверчиво поглядев кругом, словно опасаясь, что молитвами его супруги хлеб на столе сгинет или превратится Б ничто. — Не позволю я, чтобы меня из дома вон вымаливали, чтобы я без крова остался. Не желаю я из-за твоих молитв без куска хлеба сидеть. Заткнись!

Угрюмый, насупившийся, с красными воспаленными глазами, Джерри Кранчер сидел за столом с таким видом, как будто он провел бессонную ночь в компании, которая собралась

отнюдь не для того, чтобы попировать. Он не ел, а пожирал свой завтрак, раздирая еду зубами, огрызаясь и рыча, словно четвероногий хищник в зверинце. Однако к девяти часам он кое-как привел в порядок свою взъерошенную личность и, умудрившись даже придать себе более или менее солидный и деловой вид, насколько, конечно, допускала его природа, отправился на свою дневную работу.

Вряд ли это можно было назвать работой, хоть он и имел обыкновение рекомендовать себя «честным ремесленником». Весь его рабочий инвентарь заключался в деревянном табурете, сделанном из стула со сломанной спинкой. Этот табурет Джерри-младший, шагавший рядом с отцом, доставлял каждое утро к банку Теллсона и водружал под крайним окном, поближе к Тэмплским воротам: и тут человек на побегушках и окапывался на весь день, снабдив себя из первой же едущей мимо телеги охапкой соломы под ноги, чтобы уберечь их от холода и сырости. На этом своем посту мистер Кранчер был известен на весь Тэмпл и Флит-стрит не меньше, чем Тэмплские ворота, да и выглядел он, пожалуй, столь же зловеще.

Устроившись на своем табурете без четверти девять, как раз вовремя, чтобы приветствовать почтительным приложением руки к своей треугольной шляпе древних старичков, шествующих в контору банка, Джерри в это ненастное мартовское утро приступил к дежурству вместе с Джерри-младшим, который время от времени срывался с места и летел сломя голову в ворота, чтобы нанести возможно более чувствительный телесный или нравственный ущерб проходившим здесь ребятишкам, выбирая для этой благой цели самых что ни на есть щуплых и маленьких. Отец и сын, удивительно похожие друг на друга, сдвинув головы так же близко, как близко были посажены один к другому глаза у обоих, молча поглядывали на утреннюю суету на Флит-стрит и ужасно напоминали пару обезьян. Это сходство увеличивалось еще тем случайным обстоятельством, что Джерри-старший все время покусывал и выплевывал соломинку, а бегающие глазки Джерри-младшего следили за ним с беспокойным любопытством, как, впрочем, и за всем, что происходило на Флит-стрит.

В приотворившуюся дверь конторы высунулась голова одного из банковских курьеров и раздался окрик:

— Посыльный, сюда!

— Ура, папаша! Сегодня с раннего утра клюнуло!

Проводив таким напутствием своего родителя, юный Джерри уселся на его место на табурет и принялся с интересом разглядывать изжеванную отцом соломинку, размышляя вслух.

— Вся-то в ржавчине! Все пальцы у него всегда в ржавчине, — бормотал Джерри-младший. — И откуда это к папаше пристает ржавчина? Здесь кругом и в помине нет ржавого железа!

Глава II

Зрелище

— Вы, конечно, хорошо знаете Олд-Бейли[14]? — обратился к рассыльному Джерри один из самых древних клерков.

— Д-да, сэр, — несколько замявшись, отвечал Джерри, — Бейли я знаю.

— Так, так. И мистера Лорри вы знаете.

— Мистера Лорри, сэр, я знаю много лучше, нежели Бейли. Много лучше, нежели мне, как честному ремесленнику, желательно знать Бейли, — поспешил добавить Джерри не совсем уверенным тоном свидетеля, дающего показания в этом самом Бейли.

— Отлично. Разыщите там вход, через который пропускают свидетелей, и отдайте сторожу вот эту записку к мистеру Лорри. Он вас пропустит.

— Как, в суд, сэр?

— Да, в суд.

Глаза мистера Кранчера как будто еще больше пододвинулись один к другому, словно спрашивая друг у друга: «Что, брат, ты на это скажешь?»

Он дал им посовещаться и, помолчав, спросил:

— А мне, что же, значит, дожидаться в суде?

— Сейчас объясню. Сторож передаст записку мистеру Лорри, а вы как-нибудь постарайтесь привлечь внимание мистера Лорри, — ну, подайте ему как-нибудь знак рукой, чтобы он знал, где вас найти. И больше от вас ничего не требуется, оставайтесь в зале, пока он вас не позовет.

— И это все, сэр?

— Все. Ему нужен посыльный, и чтобы был под рукой. Из этой записки он узнает, что вы там.

Пока старичок медленно складывал записку и надписывал ее, мистер Кранчер молча наблюдал за ним, и только когда тот уже взялся за песочницу, спросил:

— А сегодня в суде что разбирают, дело о подлоге?

— Измена.

— К четвертованию присудят, — сказал Джерри. — Лютая казнь!

— Таков закон, — промолвил старичок, вскидывая на него с изумлением свои очки, — таков закон.

— Жестокий это закон — человека на куски растерзать. Убить и то жестоко. А уж растерзать на куски — страсть какая жестокость, сэр.

— Никакая не жестокость, — возразил старичок. — О законе надлежит говорить с уважением. Вы позаботьтесь о своем горле, с голосом у вас что-то неладно, а закон оставьте в покое, он сам о себе позаботится. Послушайтесь моего совета.

— Это все от сырости, сэр! Горло у меня заложило, вот я и осип, — отвечал Джерри. — Сами посудите, каково мне по этакой сырости на хлеб себе зарабатывать.

— Да-да, — отмахнулся старичок, — всем нам приходится зарабатывать на хлеб, ничего не поделаешь, кому как достается — одним сыро, другим сухо. Вот вам записка. Ступайте.

Джерри взял записку и с почтительным видом, отнюдь не почтительно бормоча себе под нос: «Вот тоже старый сморчок!» — откланялся; проходя, шепнул сыну, куда его посылают, и зашагал вперед.

В те дни преступников вешали в Тайберне[15] и потому улица перед Ньюгетской тюрьмой еще не пользовалась той постыдной известностью, какую она приобрела позднее. Но сама тюрьма была поистине злачным местом, где царили всякие пороки и преступления и свирепствовали страшные болезни; они проникали с узниками в суд и иной раз прямо со скамьи подсудимых кидались на самого судью и уволакивали его с кресла. Случалось, что судья, надевши черную шапочку, читал смертный приговор не только подсудимому, но и самому себе, и даже расставался с жизнью раньше осужденного. А вообще Олд-Бейли пользовался недоброй славой страшного постоялого двора, откуда душегуб-хозяин день за днем отправлял бледных перепуганных путников когда в каретах, когда на телегах в принудительное путешествие на тот свет; и хотя ехать было всего две с половиной мили по улице и проезжей дороге, — редко когда навстречу попадались добрые люди, которым стыдно было смотреть на такое зрелище. Такова великая сила привычки, а отсюда ясно, сколь необходимо с самого начала насаждать добрые обычаи. Олд-Бейли славился еще своим позорным столбом, старинным прочным установлением, подвергавшим людей такой каре, последствий коей нельзя было даже и предвидеть; был там еще и другой столб — для бичевания, такое же доброе старое

установление, весьма способствующее смягчению нравов и облагораживающее зрителей; а еще славился Олд-Бейли лихоимством, поклепами и доносами, добротными исконными навыками, свидетельствующими о мудрости предков и неизбежно толкающими на самые неслыханные преступления, на какие способна корысть. Словом, во всей своей совокупности Олд-Бейли в ту пору являл собой блистательный пример и наглядное доказательство того, что «все правомерно, так как быть должно»[16], и сия ленивая максима могла бы считаться неопровержимой, если бы из нее само собой не вытекало весьма неудобное следствие, — что ничего того, чему не положено быть, стало быть и не было.

С ловкостью бывалого человека, умеющего пробраться всюду, посыльный протискался через грязную толпу, облепившую со всех сторон это страшное узилище, разыскал нужную ему дверь и передал записку в окошко. Люди в те времена платили деньги за то, чтобы посмотреть на представление в стенах Олд-Бейли, так же как платили деньги и за то, чтобы поглазеть на зрелища в Бедламе[17], — с той только разницей, что за первое брали много дороже. Поэтому все входы в Олд-Бейли строго охранялись, за исключением одной гостеприимной двери, через которую вводили преступников, — эта дверь всегда была открыта настежь.

После некоторого промедления и колебания дверь, скрипнув, приотворилась, и мистер Кранчер, с трудом протиснувшись в узкую щель, очутился в зале суда.

— Что здесь сейчас идет-то? — шепотом осведомился он у своего соседа.

— Пока еще ничего.

— А на очереди что?

— Измена.

— Значит — к четвертованию присудят?

— Да! — со смаком отвечал сосед. — Выволокут его из клетки и вздернут, только не совсем; потом вынут из петли, да и начнут кромсать, — а он гляди и терпи; потом брюхо распорют, все нутро вытащат да на глазах у него и сожгут, а уж после этого — голову долой и туловище на четыре части разрубят. Вот это приговор!

— Это ежели его виновным признают, — заметил для уточнения Джерри.

— Признают, конечно признают, — подхватил сосед, — уж насчет этого будьте покойны!

Но тут внимание мистера Кранчера отвлек сторож: держа записку в одной руке, он пробирался к столу, чтобы вручить ее мистеру Лорри. Мистер Лорри восседал за столом среди других джентльменов в париках: неподалеку от него сидел джентльмен, перед которым на столе возвышались груды бумаг — это был защитник подсудимого; другой джентльмен в парике напротив мистера Лорри сидел, засунув руки в карманы, закинув голову, и, как показалось мистеру Кранчеру, который не раз поглядывал на него во время заседания, прилежно изучал потолок. Джерри стал громко покашливать, потирать себе подбородок, подавать знаки и в конце концов привлек внимание мистера Лорри, который, привстав с места, поискал его глазами, а потом, увидав, спокойно кивнул и снова уселся.

— А он какое к этому делу касательство имеет? — полюбопытствовал сосед.

— Кто ж его знает! — отвечал Джерри.

— А вы, позвольте спросить, с какой стороны к этому причастны?

— Понятия не имею, — отвечал Джерри.

Появление судьи, движение и суета в зале прекратили этот разговор. Глаза всех присутствующих устремились на скамью подсудимых; двое часовых, которые стояли возле нее, вышли и сейчас же ввели за барьер подсудимого.

Все так и уставились на него, за исключением джентльмена в парике, который продолжал внимательно разглядывать потолок. Все дыхание этой массы людей, набившихся в зале, бурно устремилось к нему, словно волны морские, словно ветер, словно языки пламени. Жадные лица тянулись из-за колонн, из ниш, зрители, сидевшие в задних рядах, вскакивали с мест, люди

толпились в проходах, опирались на плечи впереди стоящих, становились на цыпочки, подымались на выступы плинтусов, чуть ли не на воздух, и все только для того, чтобы посмотреть па него, разглядеть его, не упустить чего-нибудь. Среди этих толпившихся в проходах людей особенно выделялся Джерри: голова его, словно оживший кусок ощетинившейся остриями Ньюгетской стены, двигалась из стороны в сторону; от него разило пивом, которого он успел хлебнуть по дороге сюда, и его дыхание, смешиваясь со всеми другими дыханиями, пропитанными пивом, джином, чаем, кофе и еще невесть чем, обдавало узника словно полны прибоя, которые, разбиваясь позади него о высокие окна, растекались по стеклу мутными грязными ручьями.

Предметом этого любопытства и глазенья был молодой человек лет двадцати пяти, высокого роста, приятной наружности, загорелый, темноглазый. По виду это был человек благородного происхождения. На нем был простой черный или очень темный серый костюм, а довольно длинные темные волосы были стянуты сзади лентой, не столько из щегольства, сколько для удобства. Как всякое душевное движение выдает себя, прорываясь сквозь телесную оболочку, так вызванная естественным волнением бледность сквозила сквозь загар на его лице, доказывая, что чувства его сильнее солнца. Впрочем, он вполне владел собой, спокойно поклонился судье и встал у барьера.

Интерес, с каким возбужденные зрители, задыхаясь, глазели на этого человека, был отнюдь не возвышенного свойства. Если бы подсудимому угрожал не такой страшный приговор, если бы из предстоящей ему казни отпало хоть одно из зверских мучительств, он на какую-то долю утратил бы свою притягательность. Все упивались зрелищем этого тела, обреченного на публичное растерзание, Этого человеческого существа с бессмертной душой, которое вот-вот на глазах у всех будут кромсать и рвать на части.

И как бы ни объясняли зрители свой интерес к этому зрелищу, как бы ни старались приукрасить его каждый по-своему, как кто умел и привык обманывать себя, интерес этот, если разобраться по совести, был сродни кровожадности людоедов.

— Прекратить разговоры в суде! Подсудимый Чарльз Дарней на вчерашнем заседании суда отказался признать себя виновным в предъявленном ему обвинении, что он (такой-то и такой-то), будучи подлым предателем нашего пресветлого, преславного, всемилостивейшего и проч. и проч. возлюбленного короля, неоднократно разными тайными способами и средствами помогал Людовику, королю французскому, воевать против нашего пресветлого, преславного, всемилостивейшего и проч. и проч.; так, разъезжая между державой нашего пресветлого, преславного, всемилостивейшего и проч. и проч. и владениями оного французского короля Людовика, он коварно, злодейски, изменнически (следует длинный перечень сугубо уничижительных наречий) сообщал оному французскому Людовику, какими силами располагает наш пресветлый, преславный, всемилостивейший и проч. и проч. и сколько войск по повелению его величества готовится для отправки в Канаду и Северную Америку.

Джерри, у которого от этого судебного красноречия колючая чаща на голове стала дыбом, как частокол, выслушал сей обвинительный акт с величайшим удовлетворением и, хотя смысл доходил до него не сразу, а с большим опозданием, он все же как-никак уразумел, что сего стоящего у всех на виду, столько раз вышеназванного и снова и снова упомянутого Чарльза Дарнея будут сейчас судить, что присяжных уже привели к присяге и теперь слово принадлежит господину генеральному прокурору.

Подсудимый, которого все в зале (и он сам понимал это) уже видели повешенным, обезглавленным и четвертованным, не обнаруживал никакой растерянности, но и не пытался произвести впечатления на публику; он спокойно, сосредоточенно, с глубоким вниманием слушал чтение обвинительного акта; положив руки на деревянный барьер загородки, он стоял словно застыв на месте: под его руками не шелохнулась ни одна травка из сухой зелени, раскиданной на барьере. По всему залу были разбросаны пахучие травы, спрыснутые уксусом — для очищения воздуха от тюремной вони и тюремной заразы.

Над головой узника висело зеркало, и свет из окон, отражаясь в зеркале, падал на его лицо. Многое множество преступников и несчастных горемык отражалось в нем и, промелькнув, исчезало бесследно с его поверхности, равно как и с лица земли. Какими страшными призраками наполнился бы этот ужасный зал, если бы зеркало сие, подобно морю, которое некогда отдаст погребенных в нем мертвецов, выкинуло обратно все то, что в нем отражалось. Быть может, внезапно догадавшись, с какой целью повешено здесь зеркало, узник только сейчас почувствовал всю унизительность своего положения, а может быть, он случайно пошевелился, и свет, ударивший ему в лицо, заставил его поднять глаза, — но когда взгляд его упал на зеркало, лицо его вспыхнуло, а правая рука дернулась и смахнула травы с барьера.

При этом движении он невольно повернулся лицом к левой стороне зала. Там, в самом углу, на месте, отведенном для свидетелей, сидели двое, и как только взгляд его остановился на них, он сразу переменился в лице; и это произошло так резко и внезапно, что все глаза в зале, жадно следившие за ним, невольно обратились к тому углу: зрители увидели там молоденькую девушку, лет около двадцати, и сидящего рядом с ней джентльмена, по-видимому ее отца, внешность коего невольно привлекала внимание — у него были совершенно белые волосы, а на лице его время от времени проступало какое-то необыкновенно настороженное выражение: не внимания, не интереса к тому, что происходило вокруг, а внутренне-сосредоточенное, как будто он к чему-то прислушивался, углубившись в себя. Когда это выражение появлялось на его лице, он казался глубоким стариком, но достаточно ему было немножко оживиться, — как, например, сейчас, когда он заговорил с дочерью, — оно исчезало, и он весь словно преображался: вы видели перед собой красивого представительного человека средних лет.

Дочь сидела, прижавшись к отцу, продев руку ему под руку и стиснув ладони: она льнула к отцу, потому что все происходящее кругом внушало ей ужас и вызывало чувство нестерпимой жалости к узнику. И это чувство возрастающего ужаса и глубокого сострадания, лишенное и тени любопытства, так живо отображалось на ее челе и так бросалось в глаза, что даже те, кто не испытывал никакого участия к узнику, разжалобились, глядя на нее.

— Кто это такие? — слышался шепот в толпе.

Рассыльный Джерри, который все, что он видел, толковал на свой лад и был до такой степени увлечен всем происходившим, что дочиста обсосал все свои пять пальцев, так что на них не осталось и следа ржавчины, — вытянул шею, стараясь расслышать, кто такие эти двое. Стоявшие около него толкали соседей, шепотом спрашивали друг у друга, пока, наконец, кто-то не задал этот вопрос одному из дежурных служителей, и ответ тем же путем, медленно, через весь зал, шепотом пополз от одного к другому и, наконец, дополз и до Джерри.

— Свидетели.

— С чьей стороны?

— Против.

— Против кого?

— Против подсудимого.

Судья, который невольно обратил взор в ту сторону, куда глядели все, медленно отвел глаза, откинулся на своем кресле и пристально уставился на того, чья жизнь была в его руках, а господин главный прокурор, поднявшись со своего места, начал прилаживать петлю, править топор и забивать гвозди в помост для эшафота.

Глава III

Разочарование

Господин главный прокурор прежде всего счел долгом сообщить присяжным, что подсудимый, коего они видят перед собой, хоть и молод годами, но за ним насчитывается уже много лет предательской деятельности, карающейся смертной казнью; что сношения с нашими

недругами завязались у него не сегодня и не вчера, и не с нынешнего, и даже не с прошлого года. Что, как это доподлинно известно, подсудимый уже с давних пор завел обычай разъезжать туда и обратно из Англии во Францию по каким-то тайным делам, в коих он не мог дать надлежащего отчета: что если бы предательство способно было преуспеть (чего, к счастью, никогда не бывает), то могло бы статься, что вся его гнусная заговорщическая деятельность так и осталась бы нераскрытой; но что провидение не преминуло вселить в душу некоего достойного гражданина — мужа без страха и упрека — благородное стремление раскрыть истинные замыслы подсудимого; сей муж, будучи объят ужасом, поспешил сообщить о них министру его величества и высокочтимому Тайному Совету; что сей доблестный сын отечества выступит ныне перед присяжными; что его побуждения и образ действий превыше всяких похвал; что он был некогда другом сего преступника, но однажды, в некий злополучный, но вместе с тем и благой час, обнаружив его гнусные козни, он решил сокрушить предателя, к коему уже не мог питать дружбы в сердце своем, и повергнуть его на священный алтарь отечества; что если бы в английском королевстве воздвигали статуи благодетелям отечества, подобно тому, как это делали в Греции и в Риме, несомненно сей превосходнейший гражданин удостоился бы оной, но что, поскольку у нас нет такого обычая, статуя, вероятно, не будет воздвигнута. Что добродетель, по словам поэтов, заразительна (не стоит приводить эти строки, господам присяжным они, конечно, известны, он видит, что они вертятся у них на языке, — по лицам присяжных видно было, что они чувствуют себя несколько виноватыми, ибо понятия не имеют ни о каких строках), а тем паче такая высокая добродетель, как патриотизм или любовь к родине; что высокий пример этого мы видим в лице сего безупречного, незапятнанного свидетеля, ссылаться на коего, даже и по такому недостойному делу, уже само по себе великая честь; что он, сошедшись с слугой подсудимого, заразил его своим благим порывом и подвигнул его на святое дело — обследовать ящики письменного стола и карманы своего хозяина и извлечь оттуда секретные бумаги; что для него (господина главного прокурора) не будет неожиданностью, если здесь попытаются опорочить этого достойного слугу, но что он сам (господин главный прокурор) ценит этого человека выше, нежели своих братьев и сестер и почитает его больше своих родителей; что он взывает к господам присяжным и не сомневается, что они разделяют его чувства; что показания этих двух свидетелей, подкрепленные обнаруженными ими документами, подтверждают, что подсудимый располагал сведениями о численности войск его величества, об их расположении и боеспособности, как на море, так и на суше, и не может быть никаких сомнений в том, что он передавал эти сведения враждебному государству; что хотя нельзя доказать, что списки, найденные у подсудимого, написаны его рукой, но сие не имеет значения, а наоборот, уличает его, ибо свидетельствует о его хитрости и осторожности. Что среди имеющихся улик найдены улики пятилетней давности, из коих явствует, что еще за несколько недель до первого столкновения между английскими и американскими войсками[18]подсудимый уже занимался этими гнусными изменническими делами и выступал в роли предателя. А посему господам присяжным, людям, преданным своему отечеству (как хорошо известно господину прокурору), людям, несущим великую ответственность (как сие хорошо известно им самим), надлежит выполнить свой долг — безоговорочно признать подсудимого виновным и — по душе им это или не по душе — вынести ему смертный приговор. Что ни один из них не сможет спокойно положить голову на подушку или допустить мысль, что супруга его может положить голову на подушку, ни представить себе, что его малютки-дети могут положить головы на подушки; словом, никому из них и из их родных и близких никогда нельзя будет положить голову на подушку, если голова подсудимого не скатится с плеч. И вот эту-то голову господин главный прокурор, в завершенье своей речи, и требовал от присяжных во имя всего, что приходило ему на ум и облекалось в громкие фразы, подкрепляемые клятвенными увереньями, что для него подсудимый уже все равно что казнен, вычеркнут из списка живых.

Когда господин прокурор умолк, зал так и загудел, словно рой больших синих мух, жужжа, взмыл в воздух и закружился вокруг подсудимого в предвкушении того, во что он вот-вот обратится. А когда все снова затихло, на свидетельском месте появился незапятнанный патриот.

Господин заместитель главного прокурора, старательно следуя по стопам своего начальства, приступил к допросу патриота. Имя джентльмена — Джон Барсед. Свидетельство этого непорочного создания оказалось точь-в-точь таким, каким изобразил его в своей речи господин главный прокурор, и если оно чем и грешило, так разве что чрезмерной точностью. Облегчив свою благородную душу, свидетель уже собрался было скромно удалиться, но тут джентльмен в парике, сидевший перед ворохом бумаг неподалеку от мистера Лорри, попросил разрешения задать свидетелю несколько вопросов. Другой джентльмен в парике — напротив мистера Лорри — так все и продолжал глядеть в потолок.

— А сам свидетель никогда не был шпионом? — Нет, он даже не знает, что и отвечать на такие гнусные нарекания. — На какие средства он живет? — Землевладелец. — А где у него земля? — Он в точности сейчас не может припомнить. — А что у него на этой земле? — Это никого не касается. — Он, что, получил ее по наследству? — Да, по наследству. — От кого? — От одного дальнего родственника. — Очень дальнего? — Да, дальнего. — А в тюрьме никогда не сидел? — Разумеется, нет. — Никогда не сидел в долговой тюрьме? — Не понимаю, какое это имеет отношение к делу. — Так никогда и не сидел в долговой тюрьме? Ну, отвечайте, еще раз спрашиваю? В долговой не были? — Был. — Сколько раз? — Два, три раза. — А не то, что пять или шесть? — Возможно. — Чем занимаетесь? — Джентльмен. — Из дома когда-нибудь вышибали? — Может статься. — Часто ли это бывало? — Нет. — А с лестницы когда-нибудь спускали? — Вот этого уж нет. Раз как-то наподдали ему на верхней площадке, так он сам с лестницы вниз скатился, по своей воле. — Наподдали за то, что плутовал за игрой в кости? — Да, что-то в этом роде плел тот пьяный скандалист, который на него накинулся, только это все вранье. — Готов ли он присягнуть, что это вранье? — Разумеется. — А не добывал ли он себе средства к существованию шулерской игрой? — Никогда. — А не была ли для него игра средством добывать деньги? — Не больше, чем для других джентльменов. — А не занимал ли он деньги у подсудимого? — Занимал. — А обратно отдавал? — Нет. — А эта его дружба с подсудимым, — не было ли это просто случайным знакомством, и не сам ли он навязывался в знакомые к подсудимому, приставал к нему в почтовых каретах, в гостинице, на пакетботе? — Нет. — Он действительно видел списки в руках подсудимого? — Безусловно. — А ему больше ничего не известно об этих списках? — Нет. — А не подбросил ли он их, попросту говоря, сам? — Нет. — А не рассчитывает ли он что-нибудь получить за свои показания? — Нет. — А не состоит ли он агентом на жалованье и не поручалось ли ему подстраивать подобные ловушки? — Нет, боже упаси, никогда. — Может быть, поручалось что-нибудь другое? — Нет, никогда не поручалось. — А присягнуть в этом он может? — Может присягнуть хоть сто раз. — Значит, никаких других побуждений, кроме патриотического усердия, не было? — Да, никаких других.

Добродетельный слуга Роджер Клан поспешно произносит слова присяги и без единой запинки дает свои показания. Он, по простоте души, ничего не подозревая, поступил в услужение к подсудимому четыре года тому назад. Они ехали на пакетботе в Кале, и он сам обратился к подсудимому и спросил, не нужен ли ему расторопный слуга, и тот взял его в услужение. Нет, он не набивался подсудимому в качестве расторопного слуги на все руки, не упрашивал взять его хотя бы из милости — ничего подобного. Подозрения у него зародились довольно скоро, и тогда он стал приглядывать за ним. Не раз, чистя его платье во время путешествия, он обнаруживал у него в карманах вот такие списки. Эти списки он взял из его письменного стола. Нет, он не клал их туда заранее. Он видел своими глазами, как подсудимый показывал списки, очень похожие на эти, французским джентльменам в Кале, а потом точно такие же списки другим французским джентльменам в Кале и в Булони. Он любит свою родину

и поэтому не мог это стерпеть и сообщил, куда нужно. Нет, его никогда не обвиняли в краже серебряного чайника. Насчет горчичницы — да, было такое дело, только ведь тогда же и выяснилось — напраслину на него взвели, горчичница оказалась не серебряная, а только посеребренная. Свидетеля, который перед ним выступал, он знает лет семь-восемь; да, просто так совпало, случайное стечение обстоятельств. Нет, ничего особенно любопытного он в этом совпадении не видит, всякое совпадение кажется любопытным. А что у него тоже не было иных побуждений, кроме патриотического усердия, — это уж ничуть не любопытное совпадение. Он истинный англичанин и уверен, что таких, как он, найдется немало.

Синие мухи снова с остервенением зажужжали, и господин главный прокурор вызвал мистера Джарвиса Лорри.

— Мистер Джарвис Лорри, вы служащий банкирского дома Теллсон?

— Да.

— В тысяча семьсот семьдесят пятом году, в ноябре, в пятницу, поздно вечером, не случилось ли вам ехать по делам службы почтовой каретой из Лондона в Дувр?

— Да, была такая поездка.

— Были ли в этой карете еще пассажиры?

— Было двое.

— И оба они сошли ночью?

— Да.

— Мистер Лорри, посмотрите на подсудимого, — не он ли был одним из этих двух пассажиров?

— Не могу сказать, он это был или нет.

— Не похож ли он на кого-нибудь из тех двоих?

— Оба они были закутаны, ночь была очень темная, и мы все держались так осторожно и так сторонились друг друга, что я опять-таки ничего не могу сказать.

— Мистер Лорри, посмотрите еще раз на подсудимого. Если представить его себе закутанным, как те два пассажира, могли бы вы по его сложению, по росту сказать, что он никак не мог быть одним из них?

— Нет.

— Вы не решились бы сказать под присягой, что он не был одним из них?

— Нет.

— Стало быть, вы по меньшей мере допускаете, что он мог быть одним из них?

— Да. Но только мне помнится — те двое, так же как и я, очень боялись разбойников, а у подсудимого совсем не робкий вид.

— А вам, мистер Лорри, не приходилось наблюдать, как люди нарочно прикидываются робкими?

— Разумеется, приходилось.

— Мистер Лорри, поглядите еще раз на подсудимого. Можете ли вы с уверенностью сказать, видели ли вы его когда-нибудь раньше?

— Видел.

— Когда?

— Спустя несколько дней после той поездки я возвращался из Франции, и в Кале подсудимый сел на тот же пакетбот, что и я, и мы вместе ехали в Англию.

— В котором часу он взошел на пакетбот?

— Часов в двенадцать ночи, может быть чуть попозже.

— Стало быть, глубокой ночью. И это был один-единственный пассажир, который явился на борт в такое неурочное время?

— Да, он случайно оказался один-единственный.

— Не приписывайте это случайности, мистер Лорри. Я спрашиваю: это был единственный пассажир, явившийся на борт посреди ночи?

— Да.

— Вы ехали один, мистер Лорри, или у вас были спутники?

— Двое спутников, — джентльмен и молодая леди. Они здесь.

— Они здесь. Вы разговаривали с подсудимым во время плавания?

— Почти нет. Море было бурное, переезд долгий и трудный. Я лежал не вставая чуть не с самого начала и до конца путешествия.

— Мисс Манетт!

Молодая девушка, которая недавно привлекла внимание всего зала и на которую сейчас снова устремились взоры всех присутствующих, поднялась со своего места. Ее отец поднялся вместе с ней, не выпуская ее руки, которую она продела ему под руку.

— Мисс Манетт, посмотрите на подсудимого.

Стоять лицом к лицу с этим живым состраданием, пылкой юностью и красотой оказалось для подсудимого много трудней, чем стоять лицом к лицу со всей этой толпой. Точно он стоял вдвоем с ней на краю вырытой для него могилы и все это жадно устремленное на него любопытство сейчас уже было бессильно заставить его держаться с прежним спокойствием. Его правая рука судорожно перебирала лежащие перед ним сухие травы, раскладывая их узором цветочной грядки в саду. Тщетно силясь сдержать прерывистое дыханье, он стискивал дрожащие губы, и вся кровь, отхлынув от них, приливала к его сердцу. А большие синие мухи снова зажужжали над ним.

— Мисс Манетт, вы когда-нибудь видели подсудимого раньше?

— Да, сэр.

— Где?

— На том самом пакетботе, о котором здесь только что говорили, и во время того же переезда.

— Вы и есть та юная леди, о которой упоминал свидетель?

— Да, к великому моему несчастью, это я.

Жалобный мелодичный голос замер, и раздался резкий отрывистый окрик судьи:

— Воздержитесь от неуместных замечаний, извольте отвечать на вопросы, которые вам задают.

— Мисс Манетт, вы разговаривали с подсудимым во время путешествия?

— Да, сэр.

— Припомните, о чем у вас был разговор. В мертвой тишине, наступившей в зале, она заговорила тихим голосом:

— Когда джентльмен взошел на корабль…

— Вы имеете в виду подсудимого?

— Да, милорд.

— Так извольте называть его «подсудимый».

— Когда подсудимый взошел на корабль, он сразу заметил, что мой отец, — она окинула любящим взором стоящего рядом отца, — изнемог от усталости и что ему плохо. Отец мой был так слаб, что я боялась увести его со свежего воздуха и устроила ему постель на палубе, у спуска в каюту, и сама села тут же рядом, чтобы присмотреть за ним. Других пассажиров,

кроме нас четверых, в эту ночь на корабле не было. Подсудимый был так добр, что попросил у меня позволения помочь мне устроить отца получше, укрыть его от ветра и дождя. Я не знала, как это сделать, потому что не представляла себе, с какой стороны будет ветер, когда мы выйдем из гавани. Он сам за меня все сделал. Он отнесся к моему отцу с большим участием, и я уверена, что сделал это от всей души. С этого все и началось, а потом уж мы с ним разговорились.

— Разрешите вас прервать. Он явился на пакетбот один?

— Нет.

— Кто еще был с ним?

— Двое джентльменов, французы.

— Они беседовали с ним?

— Они разговаривали до самой последней минуты, пока провожающим не сказали, что пора оставить корабль и сойти в лодку.

— Не обменивались ли они между собой какими-нибудь бумагами, вроде вот этих списков?

— Они передавали друг другу какие-то бумаги, только я не знаю какие.

— Похожи они были на эти размером и формой?

— Возможно, но я, право, не знаю, хотя они стояли и шептались между собой тут же, возле меня, в проходе у спуска в каюты — там висел фонарь; свет от него был совсем слабый, а разговаривали они очень тихо, и я не слышала, что они говорили, видела только, что они разглядывали какие-то бумаги.

— Так, теперь перейдем к вашему разговору с подсудимым, мисс Манетт.

— Подсудимый разговаривал со мной просто и чистосердечно — и он был так добр и внимателен к моему отцу. Он видел, в каком я беспомощном положении. Я надеюсь, — и она вдруг расплакалась, — что не отплачу ему злом за все это и не причиню ему сегодня никакого вреда!

Синие мухи так и зажужжали по всему залу.

— Мисс Манетт, если подсудимый не понимает, что вы, давая ваши показания, — а это ваша обязанность, ваш долг и вы не можете от этого уклониться, — делаете это весьма неохотно, то он здесь единственный до такой степени малопонятливый человек. Продолжайте, прошу вас.

— Он рассказал мне, что едет по делу и что это сложное и щекотливое дело, из-за которого у других могут быть неприятности, а поэтому ему приходится путешествовать не под своим именем. Он говорил, что он из-за этого дела вынужден был несколько дней тому назад поехать во Францию, и через некоторое время опять поедет, и что ему, может быть, еще долго придется так ездить туда и обратно.

— Не говорил ли он с вами об Америке, мисс Манетт? Постарайтесь припомнить его слова в точности.

— Он пытался объяснить мне, из-за чего началась распря, и сказал, что, насколько он может судить, ему кажется, что Англия в данном случае поступила неразумно и несправедливо. А потом он сказал, смеясь, что имя Георга Вашингтона в истории, может быть, будет не менее знаменито, чем имя Георга Третьего. Только никакого дурного умысла тут не было, просто он так шутил, чтобы время прошло незаметно.

Когда на лице главного участника захватывающей сцены, на которую устремлены тысячи глаз, отражается какое-то сильное чувство, на лицах всех зрителей невольно появляется точно такое же выражение. Мучительно напряженная складка залегла у нее между бровей и не сходила с ее чела все время, пока она давала показания, или, дожидаясь, пока судья запишет их, тревожно переводила испуганный взгляд на лица адвоката и прокурора. И такое же точно

напряжение было написано и на лицах зрителей во всех концах зала, и когда судья, возмущенный чудовищной ересью насчет Георга Вашингтона, оторвался от своих заметок и с негодованием поглядел по сторонам, взгляд его словно в тысяче зеркал встретил отражение мучительной складки, повторяющееся на каждом лбу.

Между тем господин главный прокурор, обратившись к судье, заявил, что для соблюдения правил судебной процедуры и порядка ради он считает необходимым допросить в качестве свидетеля отца молодой леди, доктора Манетт.

Судья удовлетворил его ходатайство.

— Доктор Манетт, посмотрите на подсудимого. Видели вы его когда-нибудь раньше?

— Да, видел однажды. В моем доме, в Лондоне. Он приходил к нам года три или три с половиной тому назад.

— Вы можете засвидетельствовать, что он был вашим спутником на пакетботе, подтвердить его разговор с вашей дочерью?

— Нет, сэр, я не могу сделать ни того, ни другого.

— Имеются ли какие-нибудь особые причины или исключительные обстоятельства, по которым вы не в состоянии этого сделать?

Он отвечал едва слышно:

— Да, имеются.

— Эта причина заключается в том, что вы имели несчастье подвергнуться длительному заключению у себя на родине без всякого обвинения и суда, доктор Манетт?

Он повторил тихо, хватающим за душу голосом:

— Длительному заключению.

— И в то время, о котором идет речь, вы только что были освобождены?

— Да, так мне говорят.

— Вы сами ничего не помните об этом?

— Нет, ничего. У меня полный провал памяти… с каких пор, я даже не могу сказать, — я помню только, что я шил башмаки в тюрьме, а потом очутился в Лондоне возле моей милой дочери. Я уже совсем свыкся с ней, когда господь-бог возвратил мне разум; но я даже и сейчас не могу сказать, как это произошло. Не помню, как я приходил в себя.

Господин главный прокурор уселся на свое место, и отец с дочерью снова сели рядом.

Вслед за этим в разбирательстве произошла какая-то странная путаница. Обвинение вызвало свидетеля, который своими показаниями должен был подтвердить, что пять лет тому назад, в ноябре все в ту же пятницу, подсудимый со своим соумышленником, поныне не обнаруженным, следуя в почтовой карете из Лондона в Дувр, сошел ночью в каком-то месте с исключительной целью запутать следы, а не для того, чтобы там остаться, и отправился обратно в находившийся на расстоянии двенадцати с лишним миль гарнизонный пункт при судостроительной верфи, дабы получить там секретные сведения; свидетель показал, что в ту самую ночь, будучи в этом гарнизонном городке, он сидел в буфете гостиницы и видел там подсудимого, который, по-видимому, кого-то дожидался.

Перекрестный допрос ничего не дал; как ни старался защитник сбить свидетеля, единственно, что ему удалось, — это заставить его признаться, что, кроме как в вышеупомянутом случае, он больше никогда не видел подсудимого; и вот тут-то джентльмен в парике, который все время сидел, задрав голову, и разглядывал потолок, что-то быстро написал на клочке бумаги и, скатав бумажку в комок, бросил ее защитнику через стол. Защитник, улучив удобный момент, развернул бумажку и, быстро пробежав ее, тотчас же перевел глаза на подсудимого и с явным любопытством стал внимательно его разглядывать.

— Так, значит, вы уверены, что это был не кто иной, как подсудимый?

Свидетель подтвердил, что уверен.

— А вам никогда не случалось видеть кого-нибудь очень похожего на подсудимого?

— Но ведь не до такой же степени, чтобы можно было одного за другого принять, — возразил свидетель.

— Посмотрите-ка хорошенько вот на этого джентльмена, моего ученого собрата, — и защитник показал на того, кто бросил ему бумажку, — а потом посмотрите на подсудимого. Ну, что скажете? Не находите ли вы, что они чрезвычайно похожи друг на друга?

Если не считать того, что ученый собрат имел крайне неопрятный, распущенный, чтобы не сказать растерзанный вид, они действительно оказались до такой степени похожи, что это сходство, обнаружившееся при сравнении, поразило не только свидетеля, но и всех находившихся в зале. Защитник попросил судью предложить ученому собрату снять парик, и, когда судья не очень охотно удовлетворил его просьбу, сходство оказалось еще более разительным. Тогда судья спросил мистера Страйвера (защитника подсудимого), уже не следует ли теперь привлечь к суду мистера Картона (так звали ученого собрата) и судить его за измену? На что мистер Страйвер ответил: нет, он только хочет задать свидетелю вопрос, не могло ли то, что произошло однажды, случиться дважды, и стал ли бы он так уверенно отстаивать свои показания, если бы ему раньше представился случай убедиться в своей опрометчивости, и будет ли он после этого и теперь с той же уверенностью настаивать на своем и прочее и прочее. Словом, он разделал этого свидетеля так, что показания его разлетелись как битые черепки, а обвинение, опиравшееся на них, рассыпалось в кучу обломков.

Мистер Кранчер, с увлечением следивший за допросом свидетелей, успел к этому времени весьма плотно закусить ржавчиной со своих пальцев; теперь он с таким же неослабным вниманием слушал мистера Страйвера, который, излагая присяжным дело своего подзащитного, пригонял его к ним, словно сшитую на заказ пару. Он доказывал, что незапятнанный патриот Барсед на самом деле платный фискал и предатель, человек без стыда и совести, торгующий кровью людской, презреннейший негодяй, какого свет не видал со времени гнусного Иуды, на которого он, кстати сказать, даже и лицом похож; и что добродетельный слуга Клан, его закадычный приятель и сообщник, вполне достоин своего друга; что эти два лжесвидетеля и мошенника неусыпно следили за подсудимым, которого они избрали своей жертвой, потому что он, будучи родом из Франции, часто ездил на континент по каким-то семейным делам, касающимся людей столь близких ему, что он даже под угрозой смерти не считает возможным разгласить их тайну. Что вырванные насильно и превратно истолкованные показания юной леди, — все видели, как тяжело ей было выступать в роли свидетельницы, — свелись, в сущности, к самым безобидным пустякам, — невинной болтовне, маленьким одолжениям, любезностям и услугам, какие всегда готов оказать молодой человек случайно встреченной в дороге молодой спутнице; и что тут, собственно, не о чем и говорить, за исключением глупого замечания о Георге Вашингтоне, но разве можно отнестись к подобной чепухе и нелепице иначе, как к необдуманной шутке? Что со стороны государства было бы непростительной слабостью потакать в данном случае самым низменным инстинктам толпы, ибо не годится искать себе популярность, раздувая низменные инстинкты и страхи в народе, как это делал сегодня господин главный прокурор; но что как бы он ни старался, ему, в сущности, не на что опереться, кроме как на грязные и низкие доносы, которые, к сожалению, часто искажают характер подобных дел, обременяя судопроизводство нашей страны! Но тут судья, прервав защитника, и с таким суровым видом, как если бы все это не было чистейшей правдой, заявил, что он не может допустить, чтобы в его присутствии позволяли себе в суде подобные выпады.

Затем мистер Страйвер вызвал несколько свидетелей защиты, после чего мистер Кранчер имел удовольствие слушать господина главного прокурора, который, вывернув наизнанку только что сшитую пару, так старательно пригнанную мистером Страйвером на господ

присяжных, всячески доказывал, что Барсед и Клан еще во сто раз лучше, чем он мог предположить, а подсудимый во сто раз хуже. А напоследок выступил сам милорд и тоже начал выворачивать эту пару то на лицо, то наизнанку и вместе с тем старательно сметывал все так, чтобы из нее получился саван для подсудимого.

И вот, наконец, присяжные удалились на совещание, а туча синих мух снова поднялась и загудела.

Мистер Картон, который все время сидел и разглядывал потолок, и сейчас не сдвинулся с места, несмотря на бурное оживление в зале. В то время, как его ученый собрат, мистер Страйвер, разбирал разложенные перед ним бумаги, переговаривался шепотом со своими коллегами, сидящими рядом, и время от времени тревожно поглядывал на присяжных; в то время, как зрители переходили с места на место, стояли кучками, толпились в проходах; в то время, как сам милорд поднялся со своего кресла и медленно прохаживался по возвышению, отчего в публике уже прошел слух, что его лихорадит, — один только этот человек сидел привалясь к спинке стула; рваная судейская мантия наполовину съехала с его плеч, взлохмаченный парик, который он на минуту снял по просьбе судьи и тут же надел не глядя, едва держался на голове; засунув руки в карманы, он сидел, уставившись в потолок, так же, как сидел в течение целого дня. Нарочитая небрежность позы придавала ему какой-то распущенный вид, от которого его несомненное сходство с подсудимым (усилившееся во время сличения, когда он на минуту подтянулся) утратилось до такой степени, что кое-кто из зрителей, поглядывая на него теперь, замечали друг другу, что им это только показалось, на самом деле они даже ничуть не похожи. Мистер Кранчер тоже не преминул заметить это своему соседу и добавил: — Бьюсь об заклад, на полгинеи поспорю, что этому никакого дела вести не дадут, не из того теста сделан.

Однако этот самый мистер Картон оказался гораздо более наблюдательным, чем можно было подумать по его виду, потому что, едва только головка мисс Манетт беспомощно склонилась на грудь отца, он первый заметил это и сказал приставу:

— Позаботьтесь о молодой леди. Помогите джентльмену увести ее, не видите разве, что она падает?

Когда ее уводили, кругом слышались сочувственные возгласы и все очень жалели ее отца. Для него, должно быть, было большим потрясением, что его заставили припомнить тюрьму. Все видели, как он волновался, когда его допрашивали; с той минуты на лицо его словно легла тень, и то напряженно-сосредоточенное выражение, от которого он казался совсем стариком, уже больше не покидало его. Когда он выходил, присяжные, которые как раз в эту минуту возвращались на свои места, остановились, выжидая, а затем старшина обратился с просьбой к судье. Мнения присяжных разделились, и они просили разрешения удалиться, чтобы продолжить совещание. Милорд (у него, видно, не выходил из головы Георг Вашингтон) выразил изумление, что у них могло возникнуть разногласие, но милостиво разрешил им удалиться, разумеется под охраной, и сам удалился. Процесс затянулся на весь день, и в зале начали зажигать лампы. Прошел слух, что присяжные еще не скоро вернутся. Зрители стали понемножку расходиться, всем хотелось промочить горло, перекусить. Подсудимый отошел от барьера и, скрывшись за загородкой, сел на скамью.

Мистер Лорри, который вышел из зала вслед за юной леди и ее отцом, вернулся на свое место и помахал рукой Джерри, подзывая его к себе, и так как толпа сильно поредела, Джерри без труда пробрался вперед.

— Джерри, если хотите, можете пойти закусить. Только держитесь поблизости, чтобы не пропустить, когда вернутся присяжные, потому что, как только объявят приговор, вы сейчас же должны сообщить о нем в банк. Вы у нас проворный рассыльный, и уж, конечно, доберетесь до Тэмпл-Бара много раньше меня.

Хотя у Джерри почти что не было лба, на нем все-таки хватило места приложить два пальца, что он и поспешил сделать, дабы подтвердить, что он хорошо усвоил все сказанное мистером Лорри, так же как и перепавший ему при этом шиллинг. В эту минуту подошел мистер Картон и тронул мистера Лорри за плечо.

— Как чувствует себя юная леди?

— Она очень расстроена, но отец старается ее успокоить; после того как ее увели из зала, ей стало получше.

— Пойду скажу подсудимому, а то вам, знаете, как почтенному банковскому служащему не след, пожалуй, разговаривать с ним на виду у публики.

Мистер Лорри вспыхнул, точно уличенный в том, что он действительно подумывал сделать, да не решился, а мистер Картон пошел по проходу к дверям, которые вели к скамье подсудимых. Так как выход из зала был в той же стороне, Джерри, весь обратившись в глаза, уши и ощетинившиеся вихры, двинулся за ним следом.

— Мистер Дарней!

Подсудимый подошел к барьеру.

— Вам, конечно, не терпится узнать о свидетельнице мисс Манетт. Она ничего, оправилась. Просто слишком переволновалась. Но сейчас ей уже лучше.

— Я очень огорчен, что она волновалась из-за меня. Можете вы ей передать это и сказать, что я ей бесконечно признателен?

— Да, могу. Передам, конечно, раз вы просите.

Мистер Картон держался так пренебрежительно, что в этом было что-то почти вызывающее. Он стоял к подсудимому боком, облокотясь на барьер, и разговаривал с ним через плечо.

— Очень прошу вас! Примите мою искреннюю благодарность.

— А как вы думаете, мистер Дарней, что вас теперь ждет? — спросил Картон все так же через плечо.

— Самое худшее.

— Да, это, конечно, разумно — так думать, да и ближе всего к истине. Но, на мой взгляд, то, что они снова удалились, пожалуй, говорит в вашу пользу.

Задерживаться в проходе у дверей не разрешалось, и Джерри, так и не дослушав, ушел, а они остались стоять рядом, и оба отражались в зеркале, висевшем над скамьей подсудимых, ужасно похожие, если вглядеться в черты, и вместе с тем совсем не похожие друг на друга.

В нижних коридорах суда набилось много народу; публика, томясь ожиданьем — вот уже полтора часа, коротала время за пивом и пирогами с бараниной. Примостившись кое-как на скамье, охрипший рассыльный, отяжелев после закуски, уже начал было клевать носом, как вдруг толпа загудела, заворошилась, и людской поток, хлынув вверх по лестнице, понес его за собой.

— Джерри! Джерри! — кричал мистер Лорри, уже стоявший в дверях зала.

— Я здесь, сэр, здесь! Никак не пролезешь! Я, вот он, тут, сэр!

Миотер Лорри протягивал ему через головы бумажку.

— Ну, берите у меня из рук! Держите?

— Да, сэр.

На бумажке было кое-как, наспех, нацарапано одно-единственное слово: «Оправдан».

— Вот ежели бы мне сейчас велели передать, как в тот раз, «Возвращен к жизни», — бормотал себе под нос Джерри, пробираясь обратно, — теперь оно было бы понятно!

Но тут ему пришлось прервать свои рассуждения до тех пор, пока он не выбрался из Олд-Бейли, потому что народ хлынул к выходу с такой стремительностью, что его чуть не сбили с ног, и улица сразу наполнилась гулом, как если бы тучи синих мух, обманутых в своих ожиданьях, разлетелись во все стороны искать себе еще какую-нибудь падаль.

Глава IV

Поздравительная

Тускло освещенные коридоры суда очищались от последних задержавшихся осадков людского месива, бурлившего здесь в течение целого дня; доктор Манетт, его дочь, Люси Манетт, мистер Лорри и адвокат, защищавший подсудимого, мистер Страйвер, окружив только что выпущенного на свободу Чарльза Дарнея, поздравляли его с избавлением от лютой смерти.

Вряд ли кто-нибудь, глядя на доктора Манетта, даже и при более ярком свете, узнал бы в этом представительном человеке, похожем на ученого, старого сапожника с чердака парижского предместья. Однако всякому, кто хотя бы мельком взглянул на него, невольно хотелось всмотреться в эти черты, даже если внимание его и не было привлечено этим тихим проникновенным голосом, в котором иногда прорывались глухие, скорбные ноты, или странно отсутствующим выражением, которое вдруг, словно тень, набегало на это лицо. Напоминание о долгих мучительных годах заточения — как это случилось сегодня в суде — каждый раз вызывало эту тень со дна его души; но иногда она возникала и сама по себе, и для тех, кто не знал его страшной истории, это появлявшееся внезапно мрачное выражение было столь же непостижимо, как если бы у них на глазах на это лицо, освещенное солнцем, внезапно легла черная тень Бастилии, находившейся за сотни миль.

Только его дочь, она одна и обладала способностью отгонять от него этот мрак. Она была для него золотой нитью, уводившей его в далекое прошлое — в давным-давно, задолго до всех мучений, — и она же связывала его с настоящим, где все мучения были уже позади; звук ее голоса, ее ясный взгляд, ее прикосновение почти всегда обладали целительной силой и действовали на него благотворно. Почти всегда — однако бывали случаи, когда и она оказывалась бессильной; но это случалось редко, никаких последствий не имело, и она надеялась, что это больше не повторится.

Мистер Дарней пылко и признательно поцеловал ее руку, затем, повернувшись к мистеру Страйверу, стал горячо благодарить его. Мистер Страйвер, человек лет тридцати с небольшим, но выглядевший лет на двадцать старше, грузный, красный, громогласный, развязный, отнюдь не отличался излишней щепетильностью, которая иной раз делает человека стеснительным — наоборот, он умел очень ловко втираться (как морально, так и физически) в любую компанию и в любой разговор, и это, несомненно, помогало ему пробивать себе дорогу в жизни.

Он был еще в парике и в мантии и только что подошел к стоящей здесь группе; но, заговорив со своим бывшим подзащитным, он так выпятил грудь, что совсем оттеснил бедного мистера Лорри.

— Я рад, что мне удалось с честью вызволить вас из этой истории, мистер Дарней, — сказал он. — Гнуснейшее дело, вопиющее по своему бесстыдству, но именно по Этому самому и можно было опасаться, что они его выиграют.

— Я ваш должник на всю жизнь, я обязан вам жизнью, — крепко пожимая ему руку, сказал мистер Дарней.

— Я старался сделать для вас все, что мог, мистер Дарней, ну, а уж когда я стараюсь, у меня выходит не хуже, чем у всякого другого.

На эту фразу кому-нибудь надо же было воскликнуть: «Ну, что вы, что вы! куда лучше!» — и мистер Лорри не замедлил это воскликнуть, может быть и не совсем бескорыстно, а с некоторым расчетом — вернуться на то место, с которого его только что вытеснили.

— Вы полагаете? — подхватил мистер Страйвер. — Ну, разумеется, вам лучше судить, вы просидели в суде весь день. К тому же вы человек дела!

— И как таковой, — подхватил мистер Лорри, которого сей сановный судейский снова впихнул в кружок, откуда он только что его выпихнул, — я позволю себе предложить доктору Манетту распустить собрание и приказать всем разойтись по домам. Мисс Люси плохо выглядит, а уж мистер Дарней за сегодняшний день чего только не натерпелся! Да и все порядком измаялись!

— Говорите за себя, мистер Лорри! — сказал мистер Страйвер. — Говорите за себя! А у меня еще впереди работа — мне еще целую ночь маяться!

— Я говорю за себя, — отвечал мистер Лорри, — за мистера Дарнея и за мисс Люси, и — как по-вашему, мисс Люси, прав я буду, если скажу: — и за, всех нас? — И, многозначительно подчеркнув последние слова, он указал ей глазами на отца.

Лицо доктора Манетта словно застыло; взгляд его приковался к Чарльзу Дарнею, этот хмурый, остановившийся взгляд выражал неприязнь, недоверие, даже страх, и по этому странному выражению видно было, что мысли его где-то блуждают.

— Отец, — сказала Люси, тихонько беря его за руку. Он с усилием прогнал со своего лица мрачную тень и повернулся к дочери.

— Пойдем домой, папа?

Он тяжело вздохнул и промолвил:

— Да.

Друзья оправданного узника разошлись — он сказал, что вряд ли его отпустят домой сегодня вечером. В коридоре суда погасили почти все огни. С грохотом и лязгом Закрылись чугунные ворота, и мрачное узилище опустело до утра, когда жажда страшных зрелищ — виселицы, позорного столба, публичного бичевания и клеймения — снова погонит сюда несметные толпы. Мисс Манетт под руку с отцом и в сопровождении мистера Дарнея вышла на свежий воздух. Кликнули извозчичью карету, и отец с дочерью поехали домой.

Мистер Страйвер простился с ними еще в коридоре суда и пошел протискиваться в гардеробную, чтобы переодеться. А еще один человек, который до сих пор не делал попыток присоединиться к этой компании, не обменялся ни с кем из них ни одним словом, и все время, пока они разговаривали, стоял прислонившись к стене в темном конце коридора, теперь тихонько побрел за ними следом, и остановившись поодаль, смотрел, как они садились в карету. Карета скрылась из глаз, и он подошел к мистеру Лорри и мистеру Дарнею, которые стояли на мостовой.

— Ну вот, мистер Лорри! Теперь, значит, и деловому человеку можно потолковать с мистером Дарнеем?

Никто и не заикнулся о том, какую роль сыграл сегодня мистер Картон при разбирательстве дела; никто, впрочем, и не подозревал этого. Он уже снял с себя судейское облачение, однако ничуть от этого не выиграл.

— Если бы вы только знали, мистер Дарней, какая ужасная борьба происходит в душе делового человека, когда добрые побуждения деловой души сталкиваются с деловой осторожностью! Право, стоило бы вам посмотреть на это, мистер Дарней, вас бы это позабавило.

Мистер Лорри вспыхнул.

— Вы это уже второй раз мне говорите, — с раздражением сказал он. — Мы, люди дела, служащие фирмы, не принадлежим себе. Прежде всего мы должны думать о фирме, а потом уже о себе.

— Знаю, знаю! — невозмутимо отмахнулся Картон. — Не кипятитесь, мистер Лорри. Что там говорить, вы не хуже других, а пожалуй, можно сказать — много лучше!

— Нет, в самом деле, сэр! — продолжал мистер Лорри, не слушая его, — я, право, не понимаю, почему это вас так занимает? Вы меня извините, но я все-таки постарше вас, а потому позволю себе спросить, — а вам-то какое, собственно, до этого дело?

— Дело! Что вы, помилуй бог, никакого у меня нет дела, — засмеялся мистер Картон.

— Потому что, будь у вас дело, — продолжал мистер Лорри, — вы бы им и занимались.

— Нет, прости господи! И не подумал бы!

— Ну, знаете ли, сэр, — вскричал мистер Лорри, на этот раз уже выведенный из себя, — дело — отличная вещь, сэр, заслуживающая всяческого уважения вещь, и если ради дела приходится иногда кой-чем поступиться, сэр, смолчать или сдержаться, то мистер Дарней, благородный молодой человек, безусловно поймет, что обстоятельства бывают разные, всякие, и не поставит мне этого в вину. Покойной ночи, мистер Дарней! Всего доброго. Я надеюсь, что господь бог сохранил вас сегодня для долгой, счастливой жизни. Эй, портшез!

Досадуя на самого себя нисколько не меньше, чем на поверенного, мистер Лорри поспешно забрался в портшез и велел доставить себя в банк Теллсона. Картон засмеялся и повернулся к мистеру Дарнею. Он, по-видимому, был не совсем трезв, от него сильно несло портвейном.

— А престранная все-таки штука, что нас с вами вот так судьба свела. Верно, вам и самому странно: стоите один на улице, а рядом с вами — ваш двойник.

— А знаете, я ведь еще не совсем уверен, что вернулся в мир живых!

— Что удивительного! Вы сегодня едва-едва не угодили в мир иной, вам до него рукой было подать. И говорите-то вы с трудом, точно еле живы.

— Да я, кажется, и правда еле жив.

— Так о чем же вы, черт подери, думаете! Надо вам подкрепиться, поесть надо. Я-то сам пообедал, пока эти дуботолки решали, отправить вас на тот свет или обождать с этим. Идемте-ка, я вас провожу. Тут рядом есть трактир, где можно недурно закусить.

Он взял его под руку, и они вместе спустились по Ледгет-Хилл на Флит-стрит, свернули в какой-то проход под арку и сразу попали в трактир. Услужающий проводил их к столику в отдельном маленьком закутке; Чарльз Дарней принялся усердно подкрепляться сытной едой и довольно приятным винцом; а мистер Картон, все с тем же развязно-вызывающим видом, расселся напротив него и заказал себе отдельно бутылку портвейна.

— Ну, как, мистер Дарней, чувствуете вы теперь себя на месте в нашем бренном мире?

— Видите ли, что касается места и времени, насчет этого у меня еще как-то смутно в голове, но уж и то хорошо, что я сознаю это.

— О да! Это, конечно, великое счастье! Он сказал это весьма язвительным тоном и опять налил себе полный стакан, а стакан был не маленький.

— А вот у меня только одно желание, — как бы покрепче забыть, что я живу на этом свете. Ничего хорошего я в нем не вижу, разве только вино! Да и от меня никому никакого проку нет. Так что в этом отношении мы с вами не очень похожи, да, признаться, я думаю, что и во всем другом мы совсем не похожи.

Еще не опомнившись от бурных переживаний этого богатого событиями дня и неожиданно очутившись с глазу на глаз со своим бесцеремонным двойником, Чарльз Дарней слушал его, точно во сне, и не знал, что ответить, и в конце концов так ничего и не ответил.

— Ну, вот вы и пообедали, — сказал Картон. — А теперь надо бы выпить за здоровье… кого бы? А, мистер Дарней? Не угодно ли вам произнести тост?

— За чье здоровье? Какой тост?

— Ну, полно, я ведь вижу, что он у вас на языке вертится, быть не может, чтобы я ошибался! Голову даю на отсечение!

— Ну, хорошо! Пьем за здоровье мисс Манетт!

— Ну, вот, то-то же! За мисс Манетт! И, глядя в упор на своего визави, пока тот не выпил до дна, Картон одним духом осушил свой стакан и швырнул его через плечо; стакан ударился о стену и разлетелся вдребезги. Картон позвонил и велел принести другой.

— А приятно, должно быть, проводить вечерком и усадить в карету такую привлекательную юную леди, а, мистер Дарней? — сказал Картон, наливая себе еще стакан.

Дарней поморщился и коротко бросил:

— Да.

— А когда такая прелестная, юная леди пожалеет да еще всплакнет о тебе, это уж должно быть совсем особенное ощущение! Может, стоит даже головой рискнуть, чтобы тебе вот так посочувствовали, пожалели тебя… Как вы полагаете, мистер Дарней?

Дарней и это молча пропустил мимо ушей.

— А она, знаете, обрадовалась, когда я передал ей то, что вы просили. Она, правда, и виду не подала, но, по-моему, была рада.

Тут Дарней, которого уже начали раздражать эти намеки, вовремя спохватился, припомнив внезапно, что именно этот его пренеприятный собеседник пришел ему сегодня на помощь в самый критический момент. Он поспешил перевести разговор на эту тему и от души поблагодарил его.

— Да что мне ваша благодарность! Я ее ровно ничем не заслужил, — отмахнулся Картон. — Во-первых, мне решительно ничего не стоило это сделать, а потом я и сам даже не пойму, почему я это сделал. Мистер Дарней, мне хочется задать вам один вопрос, разрешите?

— Пожалуйста, я буду рад хоть чем-нибудь отплатить вам за вашу добрую услугу.

— Вам не кажется, что я питаю к вам какое-то особое расположение?

— Да что вы, мистер Картон! — отвечал Дарней, чувствуя себя крайне неловко. — Мне и в голову не приходило задавать себе такой вопрос.

— Ну, так задайте-ка сейчас!

— Судя по вашим поступкам, можно было бы сказать, что это так, но я не думаю, что бы это было так.

— Я тоже этого не думаю, — сказал Картон. — Но я начинаю думать, что вы человек проницательный.

— Во всяком случае, я надеюсь, — заключил Дарней, вставая из-за стола и протягивая руку к звонку, — тут нет ничего такого, что помешало бы мне попросить принести счет, а нам с вами мирно расстаться.

— Разумеется! — подхватил Картон.

Дарней позвонил.

— Вы как — собираетесь платить за все? — спросил Картон и, получив утвердительный ответ, повернулся к лакею: — Тогда вот что, любезный; принеси-ка мне еще пинту этого самого вина, а потом разбуди меня ровно в десять.

Чарльз Дарней расплатился и пожелал Картону спокойной ночи.

Картон не ответил ему; вместо этого он поднялся и каким-то вызывающим тоном, почти угрожающе, произнес:

— Минутку, мистер Дарней. Еще два слова. Вы что, думаете, я пьян?

— Мне кажется, вы немножко выпили, мистер Картон.

— Вам кажется! Вы же видели, что я пил.

— Ну, если хотите, — да, видел.

— Так вот, я вам скажу, почему я пью. Я человек отпетый, законченный неудачник, человек, который сам на себя хомут надел. И на всем свете никому до меня дела нет и мне ни до кого дела нет.

— Очень жаль. Мне кажется, вы могли бы найти лучшее применение своим способностям.

— Может быть, да, мистер Дарней, а может быть, и нет. Но вы сами-то, знаете, не очень обольщайтесь вашей хваленой трезвостью! Кто знает, куда еще она вас заведет. Покойной ночи!

Оставшись один, этот странный человек взял свечу, подошел к зеркалу, висевшему на стене, и начал внимательно себя разглядывать.

— Так как же ты питаешь к нему расположение? — пробормотал он, обращаясь к себе в зеркале. — А что, собственно, тебе может нравиться в человеке, который на тебя похож? В тебе-то ровно ничего нет, что могло бы понравиться, и ты это отлично знаешь. Ах, будь ты проклят! Ну, что ты с собой натворил! Вот уж действительно, дался тебе этот человек! — глядишь на него, сравниваешь и видишь: «Да, вот ты, брат, во что превратился, а вот чем ты мог быть! Что, если б ты сегодня был на его месте, глядели бы на тебя вот так эти синие глазки, посчастливилось бы тебе увидеть такое живое участие на этом взволнованном личике? Эх, да что там говорить, признайся прямо, — ты этого человека просто ненавидишь!»

И он прибег за утешением к бутылке портвейна; через несколько минут она была уже пуста, а он спал мертвым сном; голова его свалилась на руки, взлохмаченные волосы свесились на стол, и капли сала от оплывающей свечи падали на них и застывали, свиваясь длинной белой пеленой.

Глава V
Шакал

В те дни выпивка не считалась зазорным делом, и большинство мужчин привыкли пить много. С тех пор нравы значительно улучшились, и люди настолько отстали от этой привычки, что если бы подсчитать в среднем, какое количество спиртного вливал в себя за один вечер какой-нибудь джентльмен — без всякого ущерба для своей репутации порядочного человека, — то ныне это показалось бы диким преувеличением. В этой приверженности Бахусу ученые служители закона, разумеется, не отставали от представителей иных профессий. А мистер Страйвер, усердно пробивавший себе путь к широкой и доходной практике, не отставал от своих ученых собратьев ни в этих возлияниях, ни на более сухом поприще служения закону.

Любимец Олд-Бейли, равно как и его выездных сессий, мистер Страйвер начал уже потихоньку отсекать нижние ступеньки лестницы, по которой он проворно пробирался вверх. И сессиям и самому Олд-Бейли ныне приходилось всячески умасливать своего любимца, дабы залучить его в свои объятья; проталкиваясь все ближе и ближе к лучезарному лику Верховного Судьи, мистер Страйвер пустил крепкие корни в Королевском суде[19], и его цветущая физиономия, словно громадный подсолнечник, неизменно обращенный к солнцу, высоко поднималась над грядами париков, теснившихся вкруг него, наподобие буйного чертополоха.

Было время, когда в судейской среде поговаривали, что, хотя мистер Страйвер и очень дошлый человек, ловкач и проныра, и язык у него подвешен неплохо, — однако он не способен толком разобраться в деле и выхватить из него быстро самую суть, а ведь это и есть то, первейшей важности, качество, по которому узнается хороший адвокат. Однако с некоторых пор с мистером Страйвером произошла разительная перемена. Чем больше он набирал себе дел, тем искуснее он их распутывал, и как бы поздно ни засиживался он по ночам за бутылкой с Сидни Картоном, утром он уже прекрасно знал, как надлежит повернуть дело в суде, и все у него было как на ладони.

Сидни Картон был лентяй, каких свет не видывал, никто не ждал от него ничего путного, но он был большим приятелем Страйвера. Сколько спиртного эти приятели умудрялись влить в себя в промежуток между январской сессией и Михайловым днем[20], — даже и сказать

невозможно: сущее море разливанное, наверное в нем можно было бы потопить целый корабль королевского флота.

По какому бы делу ни выступал в суде Страйвер, Картон всегда был тут как тут, — руки в карманах, он сидел, задрав голову, и глядел в потолок; и на выездные сессии они тоже ездили вместе и так же пьянствовали по ночам; и, говорят, бывало, уж день на дворе, а Картон только еще плетется к себе домой, еле переставляя ноги, крадется, точно нашкодивший кот. Наконец среди тех, кто любит совать нос в такие дела, стали поговаривать, что хотя Картон никогда не сделается знаменитостью и льва из него не получится, зато в качестве шакала он поистине незаменим, и в этой-то скромной роли он и подвизается у Страйвера.

— Десять часов, сэр, — сказал Картону трактирный слуга, которому он приказал разбудить себя, — ровно десять часов, сэр.

— Что, что такое?

— Десять часов, сэр.

— Что вы говорите? Десять часов? Вечера?

— Да, сэр. Ваша милость велели разбудить вас.

— А, да, действительно! Очень хорошо, очень хорошо.

После нескольких попыток снова погрузиться в сон, попыток, которые исполнительный слуга неукоснительно пресекал тем, что по целых пять минут не переставая громыхал кочергой в камине, Картон, наконец, вскочил, схватил шляпу и вышел.

Он зашагал к Тэмплу, прошелся раз-другой туда и обратно, мимо здания Королевского суда и Судебного архива и, наконец, придя в себя, двинулся к Страйверу.

Клерк Страйвера, никогда не присутствовавший на этих бдениях, уже ушел, и Картону открыл сам принципал Страйвер. Он был в ночных туфлях и халате, распахнутом на груди. Глаза у него были воспалены, взгляд тяжелый, остановившийся и словно озверелый. Такие глаза бывают у людей, ведущих разгульную жизнь, в особенности у судейских; мы можем наблюдать это, невзирая на все прикрасы искусства, на целом ряде портретов, начиная с Джефриса[21] и далее по всей портретной галерее Пьющих Веков.

— А ты сегодня что-то запоздал мистер Память-Наша! — встретил его Страйвер.

— Всегда в это время прихожу, ну, может, на четверть часа и опоздал.

В пыльной, неприбранной комнате с книжными полками по стенам везде были навалены бумаги; в ярко пылавшем камине на решетке кипел котелок, а посреди комнаты, окруженный всем этим бумажным хламом, красовался стол и на нем шеренга бутылок, — разные вина, коньяк, ром, а сверх того — лимоны и сахар.

— А ты, Сидни, уже успел опрокинуть бутылочку, я вижу.

— Да, пожалуй, даже две. Я ужинал с нашим сегодняшним клиентом; то есть, не ужинал, — смотрел, как он ужинает, но это, собственно, одно и то же.

— Здорово ты сегодня с вашим сходством очную ставку провалил! И как это тебя осенило? С чего это тебе в голову пришло?

— Да так, просто глядел на него и думал, — а ведь красивый малый! А потом как-то невольно себя вспомнил, и вдруг мне ясно представилось: а ведь и я мог бы быть таким, коли бы не мое невезенье проклятое!

В ответ мистер Страйвер захохотал так, что его преждевременно нажитое брюшко так и заходило ходуном.

— А ну тебя с твоим невезеньем, Сидни! Ха-ха-ха! Садись-ка за работу, давно пора.

Шакал угрюмо расстегнул камзол, прошел в соседнюю комнату и притащил оттуда большой кувшин холодной воды, таз и два полотенца. Намочив полотенца в тазу с водой, он

слегка отжал их и обмотал себе голову, да так нескладно, что на него стало страшно смотреть; затем, усевшись за стол, сказал:

— Готово. Давай.

— Сегодня нам уж не так много выжимать, мистер Память, — весело сказал Страйвер, разбирая бумаги.

— А дел-то много?

— Всего два.

— Давай сюда, которое позабористей.

— Бери оба, Сидни. Валяй, жми вовсю.

И лев растянулся на кушетке возле стола, уставленного бутылками, а шакал, усевшись напротив, разложил свои бумаги на столе с другой стороны; бутылки и стаканы стояли наготове тут же у него под рукой. Оба они то и дело прикладывались к угощению, однако каждый по-своему: лев отхлебывал не спеша, со смаком, развалившись на кушетке, засунув руки за пояс, поглядывая на горящий камин, а иной раз пробегая глазами какую-нибудь записочку для памяти; тогда как шакал, свирепо сдвинув брови, сосредоточив все свое внимание, так впился в работу, что глаза его не двигались, когда рука тянулась к стакану, и случалось, что ему приходилось несколько секунд шарить по столу, прежде чем он мог нащупать стакан и поднести его к губам. Раза два, три он, по-видимому, натыкался на такую неразбериху в деле, что срывался с места и бежал снова мочить полотенца. Из этих паломничеств к кувшину и тазу он всякий раз возвращался в новом невообразимом головном уборе, и это производило тем более дикое впечатление, что лицо его сохраняло все то же мучительно сосредоточенное выражение. Наконец шакал приготовил своему льву изрядную порцию свежанины и стал подавать ему кусок за куском. Лев жевал осторожно и тщательно, время от времени делая какие-то выборки и заметки, а шакал помогал ему и в этом. Когда все, наконец, было прожевано и проглочено, лев опять улегся на диван и, сложив руки на животе, погрузился в размышления. А шакал, промочив горло и заново оснастив голову мокрыми полотенцами, принялся готовить второе блюдо; потом он опять кусок за куском стал подносить его льву, и когда со всем этим, наконец, было покончено, часы пробили три.

— Ну, теперь, кажется, все, Сидни, — сказал Страйвер. — Дернем-ка по стаканчику пунша.

Шакал стащил с головы полотенца, от которых валил пар, поежился, потянулся, мрачно зевнул и налил стаканы.

— Здорово ты все предусмотрел насчет сегодняшних свидетельских показаний. Каждую мелочь продумал, да как трезво!

— А я всегда трезво рассуждаю. Разве не так?

— Спорить не приходится. Что это ты сегодня в таких растерзанных чувствах? Ну-ка хлебни еще пуншу, это тебя успокоит.

Шакал буркнул какое-то ругательство, однако выпил.

— Все тот же Сидни Картон из Шрузберийской школы[22], — промолвил Страйвер, поглядывая на Картона, и задумчиво покачал головой, словно представляя себе рядом с теперешним того, прежнего Картона. — Сидни-Волчок, — крутится весело, звенит, а через минуту, гляди, выдохся и на бок валится.

— Ах! — вздохнул Картон. — Да… Все тот же Сидни и все так же ему чертовски везет. И тогда уж, бывало, другим пишу сочинения, а к своему рук не приложу.

— Ну, а почему это?

— А бог его знает. Так уж оно повелось — ну и вошло в привычку.

Он сидел, засунув руки в карман, вытянув ноги и уставившись в камин.

— Картон! — сказал его приятель, усаживаясь поудобнее и наклоняясь к нему с таким решительным видом, как будто камин, куда тот глядел, был наковальней, где ковались стойкие усилия, и единственное доброе дело, которое можно было сделать для Сидни Картона, это пихнуть его туда. — Плохо, что так повелось, и так оно у тебя и всегда было. Нет того, чтобы поставить перед собой цель и добиваться своего. Погляди на меня.

— А ну тебя! — невольно рассмеявшись, отмахнулся Сидни и даже как будто повеселел немного. — Кому-кому, а уж тебе-то, право, не к лицу мораль разводить.

— Ну а все-таки, как я сумел добиться того, чего я добился? Кому я обязан возможностью делать то, что я теперь делаю?

— Да отчасти и мне, ты же мне платишь за мою помощь. Только стоит ли на эту тему ораторствовать! Ты что захотел сделать — то и делаешь. Ты всегда был в первых рядах, а я всегда плелся позади.

— Но ведь и мне же пришлось пробиваться в первые ряды. Не родился же я там.

— Я, правда, не присутствовал при этом событии, но мне кажется, ты там и родился, — сказал Картон, расхохотавшись.

И оба захохотали.

— И до Шрузбери, и в Шрузбери, и после Шрузбери, — продолжал Картон, — ты всегда пробирался в первые ряды, а я тащился позади. Даже когда мы с тобой студентами были в Латинском квартале[23] в Париже и долбили французские вокабулы и французское право, и всякие крохи прочей французской учености, от которой нам с тобой было немного проку, ты всегда ухитрялся пробраться куда-то, а я никуда не мог попасть.

— А кто в этом виноват?

— Да, сказать по совести, я иногда думаю, что ты. Ты так всегда лез вперед, пробивался, толкал, нажимал, что за тобой никак нельзя было угнаться, ну, я никуда и не лез, сидел себе смирно. Однако какая это тоска смертная — сидеть на рассвете и вспоминать прошлое! Не найдется ли у тебя какой-нибудь другой пищи для размышлений мне на дорогу?

— Хорошо, давай чокнемся, — сказал Страйвер, поднимая стакан, — выпьем за здоровье хорошенькой свидетельницы. Это более аппетитная пища, не правда ли?

По-видимому, это было не так, потому что Картон опять сделался темнее тучи.

— Хорошенькая свидетельница! — пробормотал он, глядя в свой стакан. — Хватит с меня свидетелей на весь сегодняшний день да еще и на ночь. Какая такая хорошенькая свидетельница?

— Дочка этого представительного доктора, мисс Манетт.

— Это она-то хорошенькая?

— А что, не хороша?

— Нет.

— Да ты, наверно, ослеп? Весь суд глаз отвести не мог.

— Плевать мне на твой суд! Подумаешь, какие знатоки в Олд-Бейли, ценители красоты! Кукла желтоволосая, и все.

— Вот как! А знаешь, Сидни, — сказал Страйвер, не сводя с него сверлящего взгляда и медленно потирая свои багровые щеки, — мне ведь даже показалось, что ты проникся участием к этой желтоволосой кукле, ты довольно быстро заметил, когда с ней что-то случилось, с этой желтоволосой куклой!

— Заметил, что случилось! Да если у тебя перед самым носом девчонка хлопается в обморок, кукла она или не кукла, — как же этого не заметить? Для этого подзорной трубы не надо. Выпить я с тобой выпью, но вот насчет того, что она красотка, извини, не могу согласиться… И больше ни капли, хватит! Домой, спать!

Когда хозяин пошел проводить его со свечой, чтобы посветить ему на лестнице, день уже тускло посматривал в грязные, немытые окна. Картон вышел на улицу, и на него пахнуло холодом и уныньем. Серое небо нависло тяжелыми тучами; река катилась темная, свинцовая, и город казался вымершей пустыней. Ветер налетал мелкими порывами, взвивал редкие облачка пыли, и они клубились, клубились в воздухе словно предвестники надвигающейся неизвестно откуда песчаной бури, которая собирается засыпать весь город.

Один в этой пустыне, обступившей его со всех сторон и словно показывающей ему его собственное опустошение, Картон остановился у парапета, глядя на спящий город, и вдруг перед глазами его вырос сияющий мираж, мираж благородного честолюбия, стойкости и самоотречения. В чудесном городе этого сказочного виденья высились воздушные террасы, откуда на него смотрели гении и грации, в цветущих садах зрели плоды жизни и били, сверкая, светлые ключи надежд. Миг — и виденье исчезло. Свернув в темный двор, похожий на каменный колодец, он поднялся к себе наверх, под самую крышу, бросился, не раздеваясь, на убогую кровать и уткнулся лицом в подушку; и она тотчас же стала мокрой от его бессильных слез.

Печально, печально поднялось солнце и осветило печальное зрелище, ибо что может быть печальнее, нежели человек с богатыми дарованьями и благородными чувствами, который не сумел найти им настоящее применение, не сумел помочь себе, позаботиться о счастье своем, побороть обуявший его порок, а покорно предался ему на свою погибель.

Глава VI

Толпы народу

Тихий домик доктора Манетта стоял на углу маленькой улочки неподалеку от площади Сохо. Однажды после полудня в погожий воскресный день, спустя четыре месяца после описанного нами суда по делу об измене, когда все это уже давно изгладилось из памяти людской и потонуло в волнах забвения, мистер Джарвис Лорри шел не спеша по солнечной улице, направляясь из Клеркенуэла, где он жил, к доктору Манетту обедать. Мистер Лорри, который в своем деловом усердии ото всего отгораживался делами, в конце концов подружился с доктором, и мирный домик на углу тихой улочки стал для него солнечной стороной его жизни.

В этот погожий воскресный день у мистера Лорри для столь раннего путешествия в Сохо были три повода, которые уже стали для него чем-то привычным. Во-первых, если в воскресенье стояла хорошая погода, он до обеда шел погулять с доктором и Люси; во-вторых, если погода, наоборот, не располагала к прогулке, он привык коротать с ними время в качестве друга дома, беседовать, читать, смотреть в окно, — словом, проводить с ними весь воскресный день; и, наконец, в-третьих, случалось, что ему иной раз нужно было разрешить кой-какие вопросы и сомнения, и он, зная распорядок дня в доме доктора, полагал, что в воскресенье всего удобнее улучить для этого время.

Вряд ли во всем Лондоне можно было найти более уютный уголок, нежели тот, где жил доктор Манетт. Дом стоял на углу тупика, и из окон докторского дома открывался приятный вид на маленькую пустынную улочку, от которой веяло покоем и уединением. В то время к северу от оксфордской дороги было еще мало строений; кругом росли густые купы деревьев, далеко простирались исчезнувшие ныне луга, пестревшие полевыми цветами и пышным боярышником, и свежий сельский воздух свободно проникал в Сохо, а не жался к заборам, как нищий, забредший в чужой приход и не имеющий собственного пристанища[24]. А на глинобитных стенах, обращенных на юг, вызревали в свое время персики.

Летом с раннего утра тупичок утопал в солнечном свете, а днем, когда улица накалялась от зноя, он погружался в тень, но тень эта была не слишком густой, сквозь нее проступало мягкое сиянье дня. Это был прохладный уголок, тихий, но приветливый, мирная пристань, где

вы отдыхали вдали от уличного грохота и где только гулкое эхо причудливо повторяло все звуки.

В этой пристани должно было стоять на причале мирное суденышко, — и так оно и было. Квартира доктора помещалась в двух этажах просторного тихого дома, во дворе которого днем занимались, по-видимому, различными ремеслами; но даже и днем мастеров почти не было слышно, а вечером они и совсем не показывались. Во флигеле позади дома, в глубине двора, где шелестела зеленая листва большого платана, приютилась органная мастерская, и также, судя по вывеске, обретался серебряных дел мастер, а громадная золотая рука, выраставшая прямо из стены над входной дверью, принадлежала, по-видимому, некоему таинственному великану-золотобойцу, который, превратив себя в драгоценный металл, грозился поступить точно так же и со всеми своими заказчиками. Но этих мастеров, так же как и одинокого жильца, который, как говорили, жил где-то на самом верху, и неуловимого каретника, снимавшего нижнее помещение под контору, редко можно было увидеть или услышать. Лишь иногда кто-нибудь из подмастерьев, натягивая на ходу куртку на плечи, появлялся в сенях или какой-нибудь пришелец неуверенно заглядывал в ворота, да время от времени со двора доносилось негромкое позвякиванье или глухой стук молотка золотого исполина. Но это были редкие исключения, которые лишь подтверждали общее правило, в силу коего воробьи на платане позади дома, равно как и эхо в тупике перед домом, с раннего утра в воскресенье и до вечера субботы, чувствовали себя здесь полными хозяевами.

Доктор Манетт принимал дома пациентов, которых привлекала к нему его давнишняя репутация дельного врача, восстановлению коей немало способствовали слухи о его злоключениях. Благодаря своим обширным знаниям, проницательности и искусству врачевания он пользовался заслуженным уважением и зарабатывал столько, сколько ему требовалось.

Все эти обстоятельства были прекрасно известны мистеру Лорри, и они-то и составляли предмет его размышлений в этот погожий воскресный день, когда он позвонил у входной двери мирного дома на углу тихой улочки.

— Доктор Манетт дома?

— Должен вот-вот вернуться.

— Мисс Люси дома?

— Должна вот-вот прийти.

— Мисс Просс дома?

Кажется, дома, но наверняка горничная сказать не решается, ибо никогда нельзя знать, дома ли мисс Просс для того, кто о ней спрашивает.

— Ну, раз так, то уж сам-то я дома, — сказал мистер Лорри, — и пойду наверх.

Хотя дочь доктора не знала страны, где она появилась на свет, она, по-видимому, получила от нее природный дар особого уменья достигать многого при небольших средствах, что является одним из самых полезных и приятных свойств ее соотечественников. Квартира доктора была обставлена скромно, но всякие мелочи домашнего убранства, хотя и не представляли большой ценности, были подобраны с таким вкусом и отличались таким изяществом, что все вместе производило самое уютное впечатление. Мебель в комнатах, вплоть до самых мелких предметов, была расставлена так искусно, цвета сочетались так гармонично, оттенки были так разнообразны, а живописные контрасты изобличали такой верный глаз, умелые руки и ясное суждение, все здесь было так удобно и так живо отображало характер того, кто все это устроил, что мистеру Лорри, когда он остановился, оглядываясь по сторонам, казалось, будто сами стулья и столы спрашивают его с тем особенным выраженьем, которое было ему теперь так хорошо знакомо, нравится ли ему здесь?

На втором этаже было три комнаты, и распахнутые настежь двери позволяли воздуху свободно проникать всюду. Мистер Лорри, улыбкой отмечая некое сходство, заметное здесь во всем, переходил из комнаты в комнату. Первая была самая лучшая. В ней были птички Люси, ее цветы, книги, письменный стол, столик для рукоделья, ящик с акварельными красками; вторая комната была приемной доктора, она же служила столовой; третья комната, вся в колеблющемся теневом узоре и световых пятнах от платана, шелестевшего за окном во дворе, была спальней доктора, и здесь в углу стояла его низенькая сапожная скамейка и на ней поднос с инструментами, — точь-в-точь, как они стояли когда-то на чердаке угрюмого пятиэтажного дома рядом с винным погребком в Сент-Антуанском предместье в Париже.

— Удивляюсь, — промолвил вслух, остановившись, мистер Лорри, — зачем он держит постоянно у себя на глазах это напоминанье о своих мученьях?

— А почему это вас удивляет? — послышался неожиданный вопрос, да так внезапно, что мистер Лорри вздрогнул.

Это был голос мисс Просс, неистовой рыжей особы с мощными дланями, которую он впервые повстречал в гостинице «Короля Георга» в Дувре. С тех пор их знакомство упрочилось.

— Мне кажется… — начал было мистер Лорри.

— Да ну вас! Что это вам еще кажется! — перебила его мисс Просс, и мистер Лорри умолк, так и не договорив.

— Как поживаете? — осведомилась рыжая особа все тем же отрывистым тоном, но словно желая показать ему, что она не питает к нему никакой неприязни.

— Очень хорошо, благодарю вас, — кротко отвечал мистер Лорри, — а вы как изволите поживать?

— Похвастаться нечем, — отвечала мисс Просс.

— Вот как?

— Да, вот именно! Я очень беспокоюсь о моей птичке.

— Вот как?

— Ах, боже мой, вы меня с ума сведете своим «вот как», неужели нельзя придумать ничего другого? — выпалила мисс Просс. Характер этой особы (в полном несоответствии с ее длинной фигурой) можно было определить одним словом — краткость.

— Нет, правда? — с готовностью поправился мистер Лорри.

— Ваша «правда» немногим лучше, а впрочем, все равно! Я ужасно расстроена.

— Разрешите поинтересоваться, чем же именно?

— Мне противно, что люди, которые и ноготка-то моей птички не стоят, приходят сюда по двадцать человек сразу и увиваются около нее целые дни!

— Как! С этой целью являются сразу по двадцать человек?

— По сто! — отрезала мисс Просс.

Это было также характерно для мисс Просс (как, впрочем, и для многих других особ и в прежние и в нынешние времена): стоило вам усомниться в каком-нибудь из ее высказываний, она немедленно ударялась в чудовищные преувеличения.

— Боже! — только и нашелся сказать опешивший мистер Лорри.

— Я живу с моей милочкой, или моя милочка живет со мной и платит мне за это, чего она, конечно, не должна была бы делать, уж в этом я могу головой поручиться, если бы мы только могли питаться с ней одним воздухом, потому как она живет со мной с десяти лет… И это невыносимо тяжело… — вздохнув, закончила мисс Просс.

Не уразумев, что именно так тяжело, мистер Лорри покачал головой, прибегнув к этому спасительному движенью существенной части своего тела, как к своего рода волшебному покрывалу, которое выручает во всех случаях жизни.

— Вечно у нас толчется народ, невесть кто, самые неподходящие люди, смотреть-то они на мою милочку недостойны, — продолжала мисс Просс. — А с тех пор как вы все это начали…

— Я начал, мисс Просс?

— А кто же, как не вы? Кто возвратил к жизни ее отца?

— О! Если вы это называете началом…

— А что же это, по-вашему, — конец? Так вот, когда вы все это начали, уже и тогда было нелегко. Не то, чтобы я могла в чем-нибудь упрекнуть доктора Манетта, конечно, он недостоин такой дочери, но это уж не его вина, трудно себе представить, чтобы кто-нибудь был ее достоин. Ну, а сейчас-то уж в сто, в тысячу раз хуже, каково это терпеть, ходят к нему толпы народу (его-то я еще могла бы простить) и все только и стараются отбить у меня мою птичку.

Мистер Лорри знал, что мисс Просс страшно ревнива, но он знал также, что при всей своей взбалмошности, это на редкость бескорыстное существо — каким может быть только женщина, способная из самоотверженной любви и преклонения отдать себя добровольно в рабство юности, которую она уже утратила, красоте, которой она никогда не обладала, талантам, которые она не имела возможности в себе развить, светлым надеждам, которые никогда не озаряли ее унылое существование. Мистер Лорри достаточно изучил женщин и знал, что нет на свете ничего лучше преданного сердца; эта самоотверженная преданность, чуждая всякой корысти, внушала ему чувство глубочайшего уважения; он так восхищался ею, что, когда ему иной раз случалось мысленно воздавать людям должное по справедливости (каждому из нас случается наедине с собой переоценивать своих ближних), он ставил мисс Просс гораздо ближе к низшим ангельским чинам, чем многих иных леди, несравненно более щедро взысканных милостями Природы и Искусства и имевших счета в банкирском доме Теллсона.

— На всем свете не было и не будет человека, достойного моей птички, — продолжала мисс Просс, — кроме брата моего Соломона, если бы он только не совершил в своей жизни одной ошибки.

И это тоже говорило в пользу мисс Просс: мистер Лорри, заинтересовавшись в свое время прошлым мисс Просс, выяснил, что ее брат Соломон был отъявленный негодяй, который обобрал ее дочиста, пустил ее деньги на какую-то аферу и исчез, оставив ее без зазрения совести в полной нищете. Несокрушимая вера мисс Просс в ее брата Соломона (разве лишь с небольшой скидкой на эту ошибку) оказалась чем-то очень значительным в глазах мистера Лорри и упрочила его доброе мнение о ней.

— Поскольку мы с вами сейчас одни и оба мы люди деловые, — сказал мистер Лорри, когда они вернулись в гостиную и мирно уселись рядом, — разрешите мне задать вам вопрос: скажите, когда доктор разговаривает с Люси, он никогда не вспоминает о том времени, когда он шил башмаки?

— Никогда.

— А ведь вот держит здесь и эту скамью и инструменты.

— Ах! — вздохнула мисс Просс, покачав головой. — Ведь я же не говорю, что он не вспоминает этого один на один с самим собой.

— Вы полагаете, что он часто задумывается над этим?

— Полагаю.

— Вам не кажется… — начал мистер Лорри, но мисс Просс сразу же оборвала его.

— Мне никогда ничего не кажется. Для этого нужно воображение, а у меня его нет.

— Принимаю поправку. А не приходит ли вам в голову мысль — это вы допускаете, что вам иногда приходят в голову мысли?

— Время от времени.

— Так вот, не приходит ли вам в голову, — продолжал мистер Лорри, ласково глядя на нее смеющимися глазами, — что у доктора Манетта есть какие-то свои догадки, которые он все эти годы хранил про себя, относительно причины обрушившегося на него бедствия, и, быть может, он даже знает имя своего притеснителя?

— Насчет этого мне ничего не приходит в голову, кроме того, что мне рассказывает моя птичка.

— А она думает…

— Она думает, что есть…

— Вы уж не сердитесь на меня за все эти мои расспросы, я скучный деловой человек, а вы тоже женщина деловая…

— Скучная? — невозмутимо вставила мисс Просс.

— Нет, нет! Что вы, конечно нет! — воскликнул мистер Лорри, жалея, что он не может взять обратно свой уничижительный эпитет. — Но ведь вот в чем дело: не удивительно ли, что доктор Манетт, безусловно не повинный ни в каком преступлении, — в чем мы, конечно, все совершенно уверены, — никогда не обмолвился об этом ни словом. Я уж не говорю — со мной, хотя наши деловые отношения возникли задолго до всего этого, а теперь мы с ним так сблизились, — но даже со своей милой дочерью, в которой он души не чает и которая его боготворит. Поверьте мне, мисс Просс, я завел этот разговор не из любопытства, я искренне желаю прийти ему на помощь…

— Ну, насколько я могу судить (а вы, конечно, от меня многого не ждете), — сказала мисс Просс, несколько смягченная его извиняющимся тоном, — он просто боится этого касаться.

— Боится?

— Да, и понятно почему. Ему страшно вспоминать. Ведь он из-за этого и рассудка лишился. А так как он не знает, ни как это с ним случилось, ни как он потом в себя пришел, он и не может за себя поручиться — а вдруг с ним опять то же будет. По-моему, уж одного этого достаточно, чтобы он избегал разговоров на такую тягостную для него тему.

Мистер Лорри и не предполагал такой проницательности в своей собеседнице.

— Совершенно верно, — сказал он. — Да, это действительно страшно! Но вот чего я опасаюсь, мисс Просс: а хорошо ли для доктора Манетта — постоянно носить в душе такую тяжесть, скрывать ее ото всех, хоронить в себе. Меня это ужасно беспокоит, вот почему я с вами и завел этот разговор.

— А чем тут можно помочь? — промолвила мисс Просс, качая головой. — Заденешь больное место, — ему еще хуже станет. Лучше уж не бередить, не трогать. Эго единственное, что нам остается — не трогать. Мы у себя наверху иногда слышим, поднимется он среди ночи и ходит взад и вперед, взад и вперед, не останавливаясь. И птичка моя уже знает, что это ему опять мерещится, как он там в тюрьме в четырех стенах взад и вперед, взад и вперед шагал. Она сейчас же бежит к нему, и так они вместе и ходят взад и вперед, взад и вперед, пока он не придет в себя и не успокоится. Но он никогда не говорит ей, что его гложет, и она думает, что лучше этого и не трогать. Так они молча и ходят взад и вперед, взад и вперед до тех пор, пока она своим присутствием и любовью не поможет ему прийти в себя.

Хотя мисс Просс уверяла, что у нее нет ни капли воображения, она, по-видимому, так ясно видела перед собой этого истерзанного человека, преследуемого одной и той же неотвязной мучительной мыслью, и так живо передала в своем рассказе, как он без конца ходит взад и вперед, взад и вперед, что она, несомненно, обладала этим даром.

Мы уже говорили, что тупик, где стоял дом, славился своим эхо: и сейчас оно так явственно подхватило звук приближающихся шагов, что казалось, разбуженное рассказом мисс Просс, оно теперь со всех сторон вторило этому безостановочному хождению.

— Вот они, идут! — сказала мисс Просс, поднимаясь и прекращая разговор. — Сейчас увидите, начнут собираться толпы народу!

Удивительными свойствами акустики отличался этот тупик, как если б у него было свое, какое-то совершенно особенное ухо, и сейчас, когда мистер Лорри стоял у открытого окна и ждал, что вот-вот появятся отец с дочерью, чьи шаги только что доносились до него, ему казалось, что шаги их вовсе и не приближаются; наоборот, они удалялись, эхо становилось все слабее и, наконец, замерло вдали; а на смену ему зазвучало эхо других шагов, и когда они как будто были уже совсем рядом, эхо вдруг смолкло. Но тут отец с дочерью показались, и мисс Просс опрометью бросилась к входной двери.

Приятно было смотреть, как сразу оживилась эта неистовая рыжая угрюмая особа, как она бросилась снимать шляпку со своей любимицы, осторожно обмахнула поля кончиком платка, сдула с нее пыль, аккуратно сложила мантилью Люси, а потом стала бережно приглаживать ее густые волосы, да с такой гордостью, словно какая-нибудь тщеславная красавица, любующаяся в зеркале своей прической. И как приятно было смотреть на ее любимицу. Она так ласково обнимала и благодарила мисс Просс, журила ее за то, что она чересчур беспокоится, — но, конечно, журила шутливо, иначе мисс Просс могла бы обидеться и проплакать целый день, запершись у себя в комнате. И на доктора тоже было приятно смотреть, когда он, глядя на них обеих, смеясь, выговаривал мисс Просс, что она слишком балует Люси, а по глазам его и по тону ясно было, что он сам балует ее ничуть не меньше мисс Просс и рад бы даже и больше баловать, если бы это было возможно. И на мистера Лорри приятно было посмотреть: весь он так и сиял в своем аккуратном паричке и благодарил свою холостяцкую судьбу за то, что она привела его на старости лет к уютному домашнему очагу. Но толпы народу так и не появлялись полюбоваться на это приятное зрелище, и мистер Лорри напрасно поглядывал на дверь в ожидании, что вот-вот исполнится предсказание мисс Просс.

Настало время обеда — а никаких толп все еще не было видно. В этой маленькой семье у каждого были свои обязанности; мисс Просс ведала кладовой и кухней и прекрасно справлялась со своим делом. Ее обеды, при всей их скромности, были всегда так замечательно приготовлены, стол всегда был так хорошо сервирован, и во всем чувствовалась такая милая изобретательность, то ли французская, то ли английская, что лучше и не придумаешь. Мисс Просс из чисто практических соображений повсюду имела дружеские связи; она обегала все Сохо и прилегающие к нему кварталы, разыскивая обедневших французских эмигрантов[25], которые, соблазнившись ее шиллингами и полукронами, посвящали ее в тайны кулинарного искусства. У этих впавших в нищету сынов и дщерей Галлии она научилась таким чудесам, что и судомойка и горничная, составлявшие весь штат домашней прислуги, считали ее настоящей Волшебницей — крестной Золушки[26]: купят ей курицу или кролика, принесут с огорода кой-каких овощей, и глядишь — это превращается в такое пиршество, что поверить трудно.

По воскресеньям мисс Просс обедала за столом доктора, однако в будни она не изменяла своей привычке обедать, когда ей заблагорассудится, то есть в самые неопределенные часы, — сегодня внизу, в кухне, завтра у себя наверху, в своей светелке, куда доступ был закрыт всем, кроме птички. В этот воскресный день мисс Просс была на редкость приветлива; она вся так и сияла, глядя на милое личико своей птички, которая изо всех сил старалась угодить ей; поэтому и за обедом все чувствовали себя как нельзя более приятно.

День был душный, и после обеда Люси предложила выйти на воздух и посидеть, под платановым деревом за бутылкой вина. Так как она была душой и кумиром всего дома, все, конечно, тут же отправились к платану, а она принесла туда специально для мистера Лорри графин с вином. Она не так давно объявила себя его виночерпием, и теперь, когда все, расположившись под деревом, мирно беседовали, она заботливо следила, чтобы его бокал был

полон. Глухие задние стены соседних домов таинственно выглядывали из-за деревьев, и листья платана все что-то шептали у них над головой.

И никаких толп народу так и не было видно. Через некоторое время появился мистер Дарней, но он появился в единственном числе.

Доктор Манетт и Люси встретили его как друга. Но на мисс Просс внезапно напал жестокий приступ судорог, и она ушла к себе. С ней нередко случались эти болезненные припадки, которые она в кругу своих называла попросту «моя трясучка».

Доктор Манетт был в прекрасном настроении и казался совсем молодым. В такие минуты его сходство с Люси становилось особенно заметно, и когда они сидели вот так, рядышком, она — прижавшись к его плечу, а он — облокотившись на спинку ее стула, — приятно было смотреть на них и улавливать в их чертах это сходство.

Доктор был сегодня необычайно оживлен: разговор, как всегда, переходил с одного на другое.

— Скажите, пожалуйста, доктор, вы Тауэр[27] хорошо знаете? — обратился к нему мистер Дарней, когда речь зашла о старинных лондонских зданиях.

— Мы как-то ходили туда с Люси, но как следует не осматривали. А там есть что посмотреть, много любопытного, — во всяком случае, это мы успели обнаружить, но не больше.

— Я ведь там был, как вы, наверно, помните, — сказал Дарней, улыбаясь, хотя лицо его залилось краской, — правда, не в качестве… н-не на правах посетителя, которому позволяют повсюду ходить и все осматривать. Так вот, когда я там сидел, я слышал одну любопытную историю.

— Вот интересно, расскажите, — попросила Люси.

— Однажды там шла какая-то перестройка, и вот, во время работы, каменщики наткнулись на заброшенную подземную темницу, сложенную когда-то давным-давно, а потом замурованную. Все ее внутренние стены, каждый камень, все сплошь было покрыто надписями, нацарапанными несчастными узниками; там были даты, имена, жалобы, молитвы, а на стыке двух стен, в самом углу, один бедняга, приговоренный, должно быть, к смертной казни, вырезал, перед тем как его увели, три буквы на камне. Они были вырезаны кое-как, наспех, нетвердой рукой и чем-то мало подходящим для этой цели, и когда их попытались расшифровать, то сначала прочли Р.О.И., а потом, приглядевшись внимательней, разобрали, что последняя буква не И., а Й. Ни в одном тюремном архиве не нашлось имени узника с такими инициалами и ни в одном предании не сохранилось такого имени. Много было всяких предположений и догадок, и, наконец, кто-то догадался, что это вовсе не инициалы, а целое слово — РОЙ. Разобрали пол, и когда под этой надписью подняли плиту, то в земле нашли истлевшие в прах клочки бумаги, слипшиеся с истлевшими клочками не то бумажника, не то мешочка. Что там написал безвестный узник, так, конечно, и не узнали, но он что-то написал и спрятал, чтобы это не попало в руки тюремщика.

— Отец! — вскричала Люси, — Вам нехорошо?

Он вдруг вскочил, схватившись рукой за голову. Вид у него был такой ужасный, что все перепугались.

— Нет, милочка, я здоров. Дождь закапал на меня, да как-то так неожиданно, что я испугался и вскочил. Идемте домой.

Он уже вполне овладел собой. Дождь и в самом деле накрапывал редкими крупными каплями, и доктор показал им свою руку, забрызганную дождем. Однако он не проронил ни слова насчет рассказа о находке, и когда они шли домой, проницательный взгляд мистера Лорри подметил, а может быть, мистеру Лорри только почудилось, что он подметил, как на

лице доктора, когда он заговорил с Чарльзом Дарнеем, снова промелькнуло то же непонятное выражение, с каким он смотрел на него в тот памятный вечер в коридоре суда.

Но доктор так быстро овладел собой, что мистер Лорри подумал, не кажется ли ему все это, не изменило ли ему зрение. Рука золотого великана, торчавшая над крыльцом, вряд ли могла поспорить с доктором и превзойти его в твердости, когда он, остановившись под ней, сказал, что он и по сию пору пугается всяких неожиданностей (и неизвестно, пройдет ли это у него), вот хотя бы сегодня его напугал самый обыкновенный дождь.

Сели пить чай, и как только мисс Просс взяла чайник с подноса, на нее опять напала трясучка, но никаких толп народу так и не появлялось. Зашел посидеть мистер Картон, но с ним вместе чужих набралось всего-навсего двое.

К вечеру стало душно, и хотя окна и двери были распахнуты настежь, все равно все изнемогали от жары. После чая расположились у окна; сидели сумерничали, смотрели, как собираются тучи. Люси устроилась рядом с отцом, около нее Дарней, а Картон стоял, прислонясь к окну. Белые длинные оконные занавеси трепыхались от яростных порывов ветра, врывавшегося в тупик; он то и дело взвивал их к самому потолку и размахивал ими, словно это были его призрачные крылья.

— Дождь пока еще только накрапывает, — сказал доктор Манетт, — и какие крупные, тяжелые, редкие капли. Медленно он собирается.

— Медленно, но верно, — отозвался Картон.

Разговаривали тихо, как бывает, когда люди прислушиваются и чего-то ждут; сидят в темной комнате н ждут, — вот-вот блеснет молния и ударит гром.

На улице слышалось торопливое движение, люди спешили домой, иные бежали бегом, испугавшись грозы; в гулком тупике эхо со всех сторон доносило шаги; шаги то приближались, то удалялись, но не видно было ни души.

Некоторое время они сидели молча, прислушиваясь.

— Какая масса народу здесь, и вместе с тем такое уединение, — промолвил Дарней.

— Правда, это как-то действует на воображение, мистер Дарней? — спросила Люси. — Я иногда сижу здесь вечером, и мне вдруг начинает казаться… но сегодня меня в дрожь бросает даже от этих моих глупых фантазий! Сегодня какой-то особенный вечер, такое все темное, таинственное…

— Нам тоже хочется, чтобы нас пробрала дрожь. Позвольте и нам узнать, что это такое.

— Да вам это, наверно, покажется пустяками. Такие фантазии пугают только того, кому они приходят в голову, на других они не действуют. Я иногда сижу здесь одна вечером и слушаю, как эхо в тупике вторит всем этим отдаленным шагам, и вдруг мне начинает казаться, что все эти шаги когда-нибудь ворвутся в нашу жизнь.

— Толпы народу должны тогда ворваться в нашу жизнь! — мрачно заметил Сидни Картон.

Шаги слышались непрерывно, все более и более поспешные, стремительные. Эхо в тупике подхватывало их и вторило этой беготне; шаги раздавались под окном и даже в комнате; они приближались, убегали, останавливались, — но все эти шаги эхо доносило с улицы, а в тупике не было ни души.

— Скажите, мисс Манетт, — а эти шаги суждены каждому из нас, или нам придется поделить их между собой?

— Не знаю, мистер Дарней. Я же вам говорила, это просто глупая фантазия, вы сами заставили меня рассказать. Когда мне это пришло в голову, я сидела одна, и мне казалось, что я слышу шаги людей, которые вот-вот войдут в нашу жизнь, мою и папы.

— Давайте я всех их заберу в свою жизнь, — сказал Картон. — Я ни о чем не спрашиваю, никаких условий не ставлю. Вот она — эта толпа, которая идет на нас, мисс Манетт, я уже вижу

ее — при блеске молнии. — Последние слова он произнес вслед за вспышкой молнии, которая ярко осветила его фигуру в нише окна.

— И даже слышу! — добавил он вслед за оглушительным раскатом грома. — Вот они бегут сюда — страшные, неотвратимые, яростные!

Это уже относилось к дождю, который вдруг хлынул с таким оглушительным шумом, что Картону пришлось замолчать, потому что его все равно не было слышно. Ливень сопровождался неистовой грозой, молнии непрестанно бороздили небо, раскаты грома следовали один за другим, и весь этот грохот, шум, треск разбушевавшихся стихий продолжался, не умолкая, далеко за полночь, когда дождь и ветер, наконец, затихли и выглянула луна.

Большой колокол собора св. Павла пробил час, и звук его далеко разнесся в чистом и ясном после грозы воздухе, когда мистер Лорри вышел на улицу. Его встретил Джерри в высоких сапогах и с фонарем, поджидавший, чтобы проводить его домой в Клеркенуэл. Между Сохо и Клеркенуэлом немало глухих закоулков, и мистер Лорри, опасаясь грабителей, всегда прибегал к услугам Джерри, который приходил провожать его; только обычно это происходило часа на два раньше.

— Ну и ночка выдалась сегодня, Джерри! — сказал мистер Лорри. — Такая ночь и мертвого разбудит и заставит подняться из могилы.

— Не видал я еще таких ночей, когда бы мертвецы поднимались, — отвечал Джерри, — и не верится мне, что увижу.

— Покойной ночи, мистер Картон, — попрощался мистер Лорри. — Доброй ночи, мистер Дарней. Доведется ли нам когда-нибудь провести вместе еще такую ночь?

Все может быть. Может быть, им еще приведется увидеть и грозные толпы народу, которые с бешеной яростью стремительно ворвутся в их жизнь.

Глава VII

Вельможа в городе

У его светлости, одного из самых могущественных придворных сановников, в его великолепном парижском дворце шел утренний прием, что бывало только два раза в месяц. Монсеньер еще не изволил появиться из своих внутренних покоев, которые для его почитателей, толпившихся в длинной анфиладе комнат поодаль, были чем-то вроде «святая святых», то есть совершенно недоступным святилищем. Монсеньер собирался пить утренний шоколад. Монсеньер мог с удивительной легкостью глотать самые разные вещи, и злые языки поговаривали, что ему ничего не стоит проглотить сразу всю Францию; однако утренний шоколад никак не мог попасть в глотку монсеньера без помощи четырех дюжих молодцов, и это не считая повара.

Да, четырех — и все четверо в расшитых золотом ливреях, а старший, подражая скромному благородному обычаю, заведенному его светлостью, носил не иначе как двое золотых часов в кармане, никак не меньше — и вся эта четверка прилагала столько стараний, дабы поднести сей благословенный напиток к устам его светлости. Первый лакей торжественно вносил шоколад в священные покои его светлости; второй взбивал и вспенивал шоколад особой маленькой мутовкой, которую он для этой цели всегда носил при себе; третий подавал любимую салфетку; четвертый (тот, что с двумя часами) наливал шоколад в чашку. Ни без одного из этих четверых шоколадочерпиев монсеньер, разумеется, не мог обойтись, не уронив своего достоинства, ибо он был так высоко вознесен, что само небо с изумлением взирало на своего баловня. Каким несмываемым позором было бы для его фамильного герба, если бы в этой церемонии подношения шоколада участвовало не четверо, а только трое: ну, а уж если бы их осталось двое — он бы просто не пережил этого.

Накануне монсеньер ужинал не у себя дома, а в тесном интимном кругу, украшенном прелестными представительницами Оперы и Комедии. Монсеньер почти каждый вечер ужинал не у себя дома, и всегда в самой изысканной компании. Монсеньер отличался такой обходительностью и такой тонкостью чувств, что, даже когда ему приходилось возиться со скучнейшими государственными делами и государственными секретами, он и тут руководствовался главным образом интересами Оперы и Комедии, а отнюдь не нуждами Франции. И, конечно, Франция чувствовала себя польщенной и могла только радоваться этому, как и всякая страна, когда к ней проявляют столь галантное отношение; так, например, радовалась Англия в невозвратимые дни торговавшего ею веселого Стюарта[28].

Вообще говоря, в отношении государственных дел монсеньер придерживался самого благородного правила — не вмешиваться ни во что и предоставить всему идти своим путем; но что касается некоторых государственных дел, находившихся в его непосредственном ведении, — здесь монсеньер руководился другим не менее благородным правилом: тут все должно было идти его путями, способствовать умножению его власти, а также его казны. Что же касается его развлечений вообще и в частности, — тут монсеньер твердо держался еще одного истинно благородного правила, что весь мир только и существует для его удовольствия. «Ибо моя земля и все, что наполняет ее»,[29] — говорил монсеньер словами священного писания, из коих он только одно-единственное позволил себе заменить личным местоимением.

Но вот постепенно в финансовых делах монсеньера, как общегосударственного, так и частного порядка, стали возникать кой-какие затруднения самого низменного свойства; и волей-неволей пришлось ему из-за тех и других дел породниться с генеральным откупщиком, ибо, что касалось государственных финансов, тут монсеньер уж ровно ничего не мог сделать, и, следовательно, надо было передать это дело тому, кто мог; ну, а что касается его личных финансов, то у генерального откупщика денег было девать некуда, а монсеньер, после того как многие поколения его предков и он сам жили в свое удовольствие и не знали счету деньгам, последнее время стал ощущать в них сильный недостаток. Поэтому монсеньер поспешил взять свою сестру из монастыря, покуда ее еще не успели постричь и облачить в монашеское одеяние (из всего, что ей приличествовало, оно было самое дешевое) и отдал ее в качестве залога в жены очень богатому откупщику, у которого было все, кроме знатного происхождения. И теперь этот самый откупщик носил жезл с золотым шариком и вместе со всеми другими ожидал в зале выхода его светлости; все перед ним заискивали и относились к нему с необычайной почтительностью, — все, за исключением высокородных родственников монсеньера: эти существа высшей породы, и в первую очередь его собственная супруга, смотрели на него сверху вниз и обращались с ним как нельзя более пренебрежительно.

А какая роскошь царила в доме генерального откупщика[30]! Тридцать лошадей стояло у него в конюшнях, две дюжины лакеев торчали в передней, полдюжины камеристок обхаживали его жену. Человек этот не прикидывался, будто он что-то делает, а просто тащил и грабил всюду, где только возможно, (впрочем, супружеские его отношения безусловно способствовали укреплению общественной нравственности), а посему среди всех персонажей, собравшихся сегодня во дворце монсеньера, генеральный откупщик представлял собой нечто несомненно реальное. Потому что, сказать по правде, в этих великолепных залах, пленявших взоры своим пышным убранством, чудесными произведениями искусства и всем, что могло бы удовлетворять самый изысканный вкус, было что-то ходульное, не настоящее; потому что, если, приглядевшись к ним, вспомнить толпы страшных пугал в лохмотьях и колпаках, ютившиеся где-то там (да и не так уж далеко, ибо сторожевые башни Нотр-Дам, возвышавшиеся почти на равном расстоянии между этими двумя полюсами, взирали на тот и на другой), видно было, что все это как-то очень непрочно держится, но вряд ли кому приходило в голову задуматься над этим на приеме у монсеньера. Высшие военные чины, не имеющие ни малейшего представления о военном деле; высокие представители флота, никогда не видавшие корабля; ведомственные сановники, никогда не ведавшие никакими

делами; служители церкви, приверженные всякой скверне мирской, бесстыжие, с плотоядным взором, блудливыми речами, погрязшие в распутстве, — все это были люди совершенно непригодные для того звания, коим они были облечены, и все они с утра до вечера изощрялись во вранье, притворяясь пригодными. Но так как все они более или менее были приближенными монсеньера, из его клики, им и предоставлялись все должности, на которых можно было чем-то попользоваться; и таких людей здесь было великое множество. Однако не меньше было и таких, которые, даже не будучи в непосредственной близости к монсеньеру или государственным делам, тоже не имели отношения к чему бы то ни было настоящему и отнюдь не принадлежали к числу людей, занимающихся каким-нибудь честным делом. Доктора, излечивающие от воображаемых болезней с помощью каких-то чудодейственных снадобий, на которых они наживали громадные состояния, искательно улыбались своим сановным пациентам в приемных монсеньера; прожектеры, располагавшие всевозможными средствами для устранения разных мелких пороков, расшатывавших государственный организм, осаждали в гостиных монсеньера всех, кому было не лень их слушать, и наперебой предлагали свои замечательные средства; не предлагали только одного — взяться честно за дело и постараться искоренить хотя бы один из этих пороков. Ни во что не верящие философы, бросавшие вызов небесам своими картонными вавилонскими башнями и готовые на словах переделать весь мир, беседовали в гостиных монсеньера с ни во что не верящими химиками, одержимыми одной навязчивой идеей — превращать металл в золото. Светские молодые люди тончайшего воспитания, которое в те достопамятные времена (так же, как и в наше время) проявлялось в полнейшем равнодушии ко всему естественному и человеческому, слонялись по апартаментам монсеньера в томном изнеможении. У многих из этих знатных особ высшего парижского света была какая-то своя семейная жизнь, но даже и тайные агенты, сновавшие среди посетителей монсеньера и составлявшие добрую половину этого избраннейшего общества, вряд ли обнаружили бы среди ангельских созданий, украшающих сии высокие сферы, хотя бы одну-единственную супругу, которую по ее поведению и внешности можно было бы признать Матерью. Если право называться матерью обретается не только тем, чтобы произвести на свет маленькое писклявое существо, — то здесь никто не стремился его заслужить — это было не принято. Ребенка отправляли в деревню к кормилице, где его кормили и растили, а прелестные шестидесятилетние бабушки наряжались, ездили ужинать и вели себя так, словно им только что исполнилось двадцать.

В приемных монсеньера не было ни одного человеческого существа, не зараженного этой страшной болезнью — никчемностью. В зале, что поближе к передней, собралось с полдюжины совершенно особенных личностей; их уже несколько лет посещали мрачные предчувствия, что мир сбился с пути, и дабы вернуть его на путь истинный, одна половина из этой полудюжины вступила в некую изуверскую секту трясунов[31], и оная троица даже и сейчас подумывала, не впасть ли ей в исступление с дикими выкриками, судорогами и пеной у рта, дабы вразумить монсеньера, ибо он должен узреть в сем перст провидения, указующий ему путь истины. Рядом с этими тремя дервишами было еще трое других, принадлежавших к другой секте, которая спасала мир какими-то кабалистическими откровениями на счет «Центра Истины», утверждая, что человек отторгся от Центра Истины — чему не требовалось доказательств, — но еще не переступил роковой черты, не вышел за пределы круга и надо толкать его обратно к Центру, а для сего необходимо поститься и общаться с духами. Итак, сия троица находилась в непрестанном общении с духами, что, конечно, служило на благо мира, хотя пока этого что-то не замечалось.

Но что поистине было отрадно в гостиных монсеньера, так это то, что все посетители были превосходно одеты. Если бы в День Страшного суда происходил смотр нарядов, то все собравшиеся здесь были бы признаны безупречными на веки вечные. Искусно уложенные, приглаженные и напудренные локоны париков! Тонкие оттенки красок на искусственно сохранившихся или свеже нарумяненных лицах! А какие великолепные шпаги! Какое

упоительное благоухание! — Разве это не было порукой, что все идет как нельзя лучше, и так оно и будет идти до скончания века! Изящные молодые люди, тончайшего воспитания, носили золотые побрякушки, подвешенные в виде брелоков, и при каждом их томном движении брелочки тонко позвякивали; эти золотые колодочки звенели, как драгоценные бубенчики, и от этого звона, и от шелеста шелков и парчи, и тончайшего батиста по залам словно пробегал ветер, который относил далеко-далеко Сент-Антуанское предместье с его ненасытным голодом.

Нарядная одежда была своего рода талисманом, волшебным амулетом, который носили в предотвращение каких бы то ни было перемен, чтобы все оставалось неизменным, на своих местах. Все ходили разряженные, как на карнавале, и карнавалу этому не было конца. Карнавал царил всюду: начиная с Тюильрийского дворца[32] и покоев монсеньера, он распространился по всем палатам, захватил придворных, министров, судей — всех, вплоть до палача (исключение составляли одни только пугала): палачу, при исполнении его обязанностей, дабы не нарушать чар талисмана, надлежало быть «в пудреном парике с завитыми буклями, в шитом золотом камзоле, в белых шелковых чулках и туфлях с бантами». Орудовал ли он у виселицы или у колеса (в то время редко рубили головы), — господин Парижский — так, следуя епископскому обычаю, величали его ученые собратья провинциальных кафедр, господин Орлеанский и прочие, — неизменно выступал в этом изысканном одеянии. И у кого же из посетителей монсеньера, собравшихся в его гостиных в лето Христово тысяча семьсот восьмидесятое, могла бы возникнуть даже тень сомнения, что такой превосходный строй, прочно опирающийся на палача в пудреном парике с буклями, в шитом золотом камзоле, в белых шелковых чулках и в туфлях с бантами не будет длиться вечно и не переживет вселенную?

Монсеньер принял от своих лакеев все, что почтительно подносил ему каждый из них, и, выкушав шоколад, приказал открыть двери святилища и, наконец, вышел в зал. Боже, какими вдруг все стали угодливыми, смиренными, почтительными, предупредительными, раболепными! Как подобострастно кланялись, как простирались ниц! С каким самозабвенным усердием преклоняли душу и тело — где уж такой распростертой душе возносить молитвы к небу! На это ее не хватало — и, должно быть, это и была одна из причин, почему почитатели монсеньера никогда не тревожили небес.

Милостиво жалуя, кого — улыбкой, кого — обещаньем, осчастливив какого-то из своих рабов двумя-тремя словами, другому помахав рукой, благосклонный, величественный монсеньер шествует по всем залам вплоть до самой последней. Переступив круг Истины, он поворачивается и идет обратно в свои покои. Шоколадозаклинатели закрывают за ним двери, и больше его уже никто не увидит.

Представление окончено. По залам вмиг проносится нечто вроде шквала, драгоценные бубенчики со звоном устремляются вниз, и вскоре от всей толпы остается только один человек; зажав шляпу под мышкой, с табакеркой в руке, он медленно проходит по залам, отражаясь в зеркалах.

У последней двери он останавливается.

— Будь ты проклят! — бросает он, повернувшись к святилищу.

И, произнося это проклятье, он отряхивает с пальцев нюхательный табак с таким видом, как если бы отрясал прах от ног своих, и медленно спускается по лестнице к выходу.

Это был человек лет шестидесяти, роскошно одетый, надменного вида, с лицом — точно великолепная маска. Лицо это поражало восковой бледностью, точеными чертами и каким-то застывшим выражением; тонкие ноздри красивого носа с обеих сторон были словно чуть-чуть вдавлены. И уловить какое-нибудь движение на этом лице только и можно было по этим едва заметным впадинкам. Они иногда слегка темнели и потом тут же бледнели, иногда раздувались и сокращались, точно в них пульсировала кровь; и они придавали этому лицу что-то жестокое

и предательское. Если вглядеться внимательно, то выражение жестокости усиливалось и линией рта и чересчур узким и прямым разрезом глаз; но, в общем, это было, несомненно, красивое лицо, лицо, которое невольно обращало на себя внимание.

Спустившись с лестницы, маркиз вышел во двор, сел в карету и уехал. Очень немногие на этом приеме вступали с ним в разговор. Он оказался как-то в стороне ото всех, и монсеньер отнесся к нему более чем прохладно. Быть может, поэтому ему сейчас и доставляло удовольствие смотреть, как люди, увидев его карету, бросались прочь с дороги, едва увертываясь от копыт его лошадей. Кучер гнал во весь опор, словно преследуя врага, но эта бешеная езда не вызывала ни гнева, ни беспокойства у его господина. Время от времени даже и в те бессловесные дни в этом глухом ко всему городе раздавались жалобы, что у знатных людей вошло в привычку мчаться сломя голову в каретах по узким улицам, где некуда и сойти с мостовой, и что они бесчеловечно давят и калечат простой народ. Но на эти жалобы мало кто обращал внимание, о них на другой же день забывали; в этом, как и во всем остальном, простым людям предоставлялось самим выпутываться из своих затруднений, кто как умеет.

В наши дни трудно и представить себе такое бесчеловечное отношение: карета с шумом и грохотом мчалась по улицам, не замедляя скашивала углы, стремительно вылетала на поворотах; женщины с воплями бросались в стороны, мужчины хватали и оттаскивали друг друга, выхватывали детей из-под копыт. Но вот на каком-то крутом повороте, у фонтана, карета, вылетев из-за угла, на что-то наскочила колесом, раздались отчаянные вопли, лошади шарахнулись и взвились на дыбы.

Если бы не это, карета, вероятно, и не остановилась бы; такие случаи бывали нередко, и обычно карета катила вперед, оставив изувеченную жертву на мостовой — а собственно, что тут такого? Ничего особенного! Но тут лакей, струхнув, соскочил с запяток, — два десятка рук схватили лошадей под уздцы.

— Что такое? — брюзгливо спросил маркиз, выглянув в окно кареты.

Высокий худой человек в рваном колпаке вытащил из-под копыт лошадей бесформенный ком, положил его на парапет водоема и, упав на колени в грязь, завыл словно дикий зверь.

— Уж вы не извольте гневаться, господин маркиз, — робко промолвил какой-то оборванец, — ребенок!

— А почему он так воет? Это что — его ребенок?

— Простите великодушно, господин маркиз, — жалко ему, — да, это его ребенок.

Карета остановилась на углу улицы, а фонтан находился несколько поодаль, на маленькой, шагов в двенадцать, площади. Когда долговязый человек в колпаке, внезапно поднявшись с колен, бросился к карете, маркиз невольно схватился за эфес шпаги.

— Задавили! Насмерть! — вскричал долговязый, заломив в диком отчаянии руки и уставившись на маркиза.

Толпа обступила карету, все глаза были устремлены на маркиза. Но в этих глазах нельзя было прочесть ничего кроме ожидания и любопытства; в них не было ни угрозы, ни гнева. Все молчали. Вопль ужаса вырвался у них лишь в момент катастрофы, а теперь они стояли, молча столпившись вокруг кареты. Голос оборванца, осмелившегося заговорить с маркизом, звучал робко и смиренно, с полной покорностью. Господин маркиз медленно окинул взглядом столпившихся у кареты людей, как если бы это были крысы, повылезавшие из своих нор. Достал из кармана кошелек.

— Удивительно, — сказал он, — как это вы никогда не можете уберечь ни себя, ни своих детей. Вечно кто-нибудь из вас путается под ногами. И я еще не знаю, может быть вы испортили мне лошадей. Вот, — отдай ему это.

Он бросил лакею золотой, тот кинулся поднимать его, и вся толпа, вытянув головы, следила глазами за катившейся по земле монетой. А долговязый снова завопил не своим голосом:

— Насмерть!

Толпа расступилась, пропуская какого-то человека, который поспешно пробирался к нему. Несчастный отец, увидев его, бросился ему на грудь и, не в силах говорить, обливаясь слезами, рыдая, показывал рукой на водоем, где несколько женщин, нагнувшись над безжизненным комочком, бережно прибирали его. Они тоже хранили полное молчание, как и все в толпе.

— Знаю, все знаю, — сказал новопришедший. — Крепись, друг Гаспар! Для малыша такая смерть лучше жизни. Он умер сразу, без мучений. А выпал бы на его долю хоть один час легкой жизни, без всяких мучений?

— Да вы, я вижу, философ, — сказал, усмехнувшись, маркиз. — Как ваше имя?

— Меня зовут Дефарж.

— Чем занимаетесь?

— Виноторговец, господин маркиз.

— Вот вам, ловите, почтенный философ-виноторговец, — сказал маркиз, швырнув ему еще одну золотую монету, — можете распорядиться этим по собственному усмотрению. Ну, как там лошади? В порядке?

Не удостоив больше толпу и взглядом, господин маркиз откинулся на подушки кареты и бросил: «Пошел!» — с невозмутимым видом человека, который сломал нечаянно какую-то грошовую безделушку, уплатил за нее и вполне может позволить себе заплатить за такой пустяк. Но едва только карета тронулась, его невозмутимое спокойствие было внезапно нарушено: в окно экипажа влетела золотая монета и, зазвенев, упала к его ногам.

— Стой! — крикнул маркиз. — Остановить сейчас же! Кто это осмелился?

Он высунулся и посмотрел туда, где только что стоял виноторговец Дефарж; но сейчас на этом месте лежал, уткнувшись лицом в землю, несчастный отец, а около него стояла статная темноволосая женщина с вязаньем в руках.

— Собаки! — процедил маркиз, не повышая голоса, и ни одна черта не дрогнула в его лице, кроме тех маленьких впадинок на крыльях носа. — С радостью передавил бы вас всех, чтоб и следа вашего не осталось на земле! Знал бы я, кто из этих негодяев осмелился швырять в мою карету, он бы от меня не ушел, я бы его растоптал на месте!

Все эти люди были так забиты и принижены и уже давно научены горьким опытом, как может поступить с ними такой человек — и по закону и помимо всякого закона, — что ни один из них не подал голоса, никто не осмелился не только рукой двинуть, но даже и глаза поднять. Никто из мужчин. Но женщина, которая не переставала вязать, стояла, подняв глаза, и смотрела маркизу прямо в лицо. Маркиз не обратил на это внимания, это было бы ниже его достоинства; окинув презрительным взглядом и ее и всех этих крыс, он снова откинулся на подушки и крикнул кучеру: «Пошел!»

И карета помчалась; а следом за ней катила вереница других таких же карет — министры, прожектеры, откупщики, доктора, блюстители закона, столпы церкви, светила Оперы и Комедии, словом, весь блистательный шумный карнавал, — катила непрерывным потоком; крысы повылезали из своих нор и часами глазели на великолепное зрелище; шеренги солдат и полиции выстраивались иногда между ними и блестящей процессией, отгораживая их как бы стеной, из-за которой они выглядывали украдкой. Несчастный отец уже давно забрал свой страшный комочек и скрылся, а женщины, которые нянчились с комочком, когда он лежал на парапете, сидели у фонтана и смотрели, как струится вода, как мчится веселый карнавал; и только одна женщина, которая стояла и вязала, так и продолжала вязать, невозмутимая, словно сама судьба. Точится вода в водоеме, течет быстроводная река, день истекает,

приходит вечер; жизнь человеческая протекает, и что ни день, в городе кого-то уносит смерть; время и течение жизни не ждут человека; уснули крысы, скучившись в своих темных норах; а карнавал шумел, сияя огнями, там шел веселый ужин, все текло, как полагается, своим предначертанным путем.

Глава VIII

Вельможа в деревне

Живописная местность, желтеющие нивы, но колос на них не густой, не обильный. Небольшие поля чахлой ржи, полоски бобов да гороха, грубые кормовые травы вместо пшеницы. Как в этих неодушевленных злаках, так и в мужчинах и женщинах, работающих в поле, чувствуется, что им опротивело это прозябанье, что нет у них уже ни сил, ни охоты цепляться за жизнь и они вот-вот поникнут и увянут.

Господин маркиз в своей дорожной карете (сегодня она кажется особенно грузной), запряженной четверкой почтовых лошадей, с двумя форейторами, медленно поднимается по крутому склону. Лицо маркиза пылает, но эта краска не порочит его высокое происхождение; она вызвана не какой-нибудь тайной причиной, а чисто внешней, которая даже и не зависит от господина маркиза — это просто лучи заходящего солнца.

Когда карета, одолев подъем, выбралась на вершину холма, огненный сноп лучей хлынул в нее и залил багряным светом сидевшего в глубине путника.

— Сейчас зайдет, — промолвил маркиз, взглянув на свои руки. — Сию минуту.

И правда, солнце было уже совсем низко и через минуту скрылось. К колесу прикрепили тормозной башмак, и карета, поднимая облака пыли и распространяя едкий запах гари, покатила вниз; красные отблески заката уже догорали; солнце с маркизом вместе катились вниз, и когда тормоз отцепили, никаких отблесков уже не осталось и следа.

А кругом было все то же — открытая местность, изрезанная оврагами и холмами, деревушка у подножья горы, широкая ложбина, — а затем дорога снова уходила вверх по склону холма, вдали виднелась церковь, ветряная мельница, еще дальше — лес, где охотились за дичью, — а надо всем этим — скалистый утес и на самой его вершине крепость, ныне служившая тюрьмой. Надвигались сумерки, и господин маркиз смотрел на все это спокойными глазами человека, который едет по хорошо знакомой ему дороге и видит, что он уже почти дома.

Деревушка была убогая, в одну улицу, на которой ютились убогая пивоварня, убогая сыромятня, убогий трактир и при нем конный двор для почтовых лошадей, убогий колодец с водоемом — словом, все, без чего нельзя обойтись и в самом убогом деревенском обиходе. И ютился здесь такой же убогий люд. Все в деревне были бедняки; многие из них сейчас сидели на порогах хижин и крошили себе на ужин луковицы или какие-нибудь коренья, другие толклись у водоема, мыли всякую съедобную зелень, которую породила земля. О причинах этой бедности нечего было спрашивать, о них красноречиво свидетельствовали развешенные по деревне указы с длинным перечнем налогов и податей — государственных, церковных, господских, местных, окружных, и за что только не взимали с этой маленькой деревушки, — право, можно было удивляться, как она до сих пор сама-то уцелела и ее еще не съели все эти поборы.

Ребят в деревушке было мало, а собак и совсем не водилось. Взрослое население — мужчины и женщины — волей-неволей мирилось со своим уделом — так уж им было на роду написано жить в этой деревушке у мельницы, еле-еле перебиваясь со дня на день, пока душа в теле держится, или подыхать в тюрьме на скалистом утесе.

Перед каретой маркиза скакал верховой, и в вечернем воздухе далеко разносилось щелканье кнутов, которыми форейторы, погоняя лошадей, размахивали с такой яростью, что бичи их напоминали разъяренных змей над головами фурий[33]. Карета маркиза подкатила к конному двору; тут же рядом был водоем, и люди, толпившиеся возле него, побросали свое

мытье и уставились на маркиза. Он смотрел на них и видел то, что он, разумеется, не находил нужным замечать — медленную неумолимую работу голода, точившего эти изможденные лица и тела, — недаром худоба французов вошла в поговорку у англичан и внушала им суеверный страх чуть ли не на протяжении всего столетия.

Господин маркиз обвел глазами покорные лица, склонившиеся перед ним подобно тому, как он и другие, равные ему, склонялись перед всесильным монсеньером, с той лишь разницей, что эти ни о чем не просили, а склонялись с терпеливым смирением, — и в эту минуту к толпе присоединился весь серый от пыли батрак-каменщик, которого поставили чинить дорогу.

— Подать мне сюда этого олуха! — крикнул маркиз верховому.

Олуха привели — он стоял у подножки кареты, держа картуз в руке, а другие олухи подошли посмотреть, послушать, — точь-в-точь как те бедняки в предместье Парижа у фонтана.

— Это ты был на дороге, когда я проезжал?

— Я самый, ваша светлость, как же, был, имел честь видеть, как вы изволили ехать.

— И когда я ехал в гору, и на перевале тоже?

— Так точно, ваша светлость.

— А что это ты разглядывал так пристально?

— На человека глядел, ваша светлость.

Он нагнулся и показал своим рваным синим картузом куда-то под кузов кареты. Другие тоже нагнулись и поглядели туда.

— На какого человека, болван? Что ты там смотришь?

— Простите, ваша светлость, он висел на цепи, на тормозе.

— Кто висел?

— Человек, ваша светлость.

— Черт их разберет, этих идиотов! Как его зовут, этого человека? Ты же всех здесь знаешь. Кто это такой?

— Ваша светлость, так ведь он не из здешних, не из нашего края. Я его в глаза никогда не видал.

— Как же он висел на цепи? Что он, удавиться хотел?

— Вот то-то и есть, ваша светлость. Потому-то я и глядел и дивился. У него, ваша Светлость, голова вот так свесилась.

И, повернувшись боком к карете, он откинулся назад и запрокинул голову; потом выпрямился и, комкая картуз в руках, почтительно поклонился в пояс.

— А каков он на вид?

— Весь белый, ваша светлость, белее мельника. В пыли весь. Совсем белый, сущее привиденье, и длинный, как привиденье.

Это картинное описание произвело впечатление на толпу, но никто не переглянулся, не покосился на соседа, все глаза были устремлены на маркиза. Может быть, они пытались прочесть по его лицу, нет ли у него на совести такого привиденья?

— Нечего сказать, умно ты поступил, — промолвил маркиз (к счастью для бедняги, он не удостоил разгневаться на такую букашку), — видел, как вор прицепился к моей карете и даже не потрудился раскрыть рот и крикнуть! Эх, ты! Отпустите его, мосье Габелль!

Мосье Габелль, почтмейстер, был облечен и некоторыми другими служебными полномочиями, связанными со взиманием налогов. Он почел своим долгом присутствовать при допросе и весьма внушительно держал допрашиваемого за рукав.

— Слушаюсь, — с готовностью отозвался он и, подтолкнув каменщика, буркнул: — Проваливай!

— Задержите неизвестного, мосье Габелль, если он придет искать ночлега в деревне, и выясните, зачем его сюда занесло.

— Слушаюсь, монсеньер, почту за честь выполнить ваше приказание.

— А он что же, убежал? Эй, куда ты девался, проклятый олух?

Проклятый олух уже залез под карету, туда же протиснулось пять-шесть его закадычных приятелей; он тыкал своим синим картузом, показывая на тормозную цепь. Пять-шесть других закадычных приятелей поспешно выволокли его из-под кареты, и он, помертвев от страха, снова предстал перед маркизом.

— Скажи, дурак, что же, этот человек убежал, когда мы остановились прицеплять тормоз?

— Он, ваша светлость, кувырком покатился вниз по склону, прыгнул с горы головой вперед, прямо как в воду.

— Займитесь этим, Габелль. Ну, поехали.

Пятеро-шестеро любопытных, забравшихся под карету поглядеть на цепь, все еще торчали между колес, сбившись, как овцы, в кучу; лошади взяли с места так внезапно, что они едва-едва успели отскочить и унести в целости кожу и кости, — больше спасать было нечего, а то, пожалуй, им так не посчастливилось бы!

Карета с грохотом вылетела из деревни и помчалась по косогору, но вскоре шум колес и топот копыт стихли — дорога круто пошла вверх. Лошади постепенно перешли на шаг, и карета, тихо покачиваясь, медленно поднималась в темноте, насыщенной чудесным ароматом теплой летней ночи. Форейторы, над которыми уже не метались змеи фурий, а кружила легким роем тонкокрылая мошкара, спокойно скручивали свои плетеные ремни; лакей шагал рядом с лошадьми, а верховой скрылся в темноте впереди, и оттуда доносился мерный стук подков.

На вершине холма было маленькое кладбище. Там стоял крест и деревянное изображение распятого Христа; Это была убогая фигура, неумело вырезанная из дерева каким-нибудь деревенским мастером-самоучкой, но он делал ее с натуры, может быть с самого себя, — и поэтому она получилась у него такая изможденная, тощая.

Перед этим горестным символом великих страданий, которые с тех давних пор не переставали множиться и все еще не достигли предела, стояла коленопреклоненная женщина.

Когда карета поравнялась с ней, она повернула голову, поспешно поднялась и бросилась к дверце кареты.

— Ваша светлость, умоляю вас, выслушайте меня!

Маркиз с нетерпеливым возгласом, но все с тем же невозмутимым видом, выглянул в окошко кареты.

— Что еще такое? Вечно они что-то клянчат!

— Ваша светлость! Ради бога! Смилуйтесь! Мой муж — лесничий!

— Ну, что такое с твоим мужем лесничим? Вечно одна и та же история! Он не уплатил чего-нибудь?

— Он все уплатил, ваша светлость. Он умер.

— А-а. Ну вот он и успокоился. Не могу же я его тебе воскресить!

— Увы, нет, ваша светлость. Но он лежит вон там, под маленьким холмиком, едва прикрыт дерном.

— Ну, и что же?

— А сколько здесь этих холмиков, ваша светлость, еле прикрытых дерном.

— Ну и что же?

Женщина была молодая, но выглядела старухой. Не помня себя от горя, она то исступленно стискивала худые, жилистые руки, то умоляюще робко прикладывала руку к дверце кареты, словно это была не дверца, а грудь, в которой бьется человеческое сердце, способное услышать ее мольбу.

— Ваша светлость, выслушайте меня! Умоляю вас! Мой муж умер от голода. Столько народу умирает от голода. И сколько еще перемрет!

— Ну, и что же делать? Разве я могу накормить всех?

— Про то один бог знает, ваша светлость. А я не о том прошу. Я прошу, чтобы мне позволили поставить на могилу камень или хотя бы дощечку с именем моего мужа, чтобы знали, где он лежит. Потому что, когда и меня скосит та же болезнь, его могилу нельзя будет отыскать, и меня зароют где-нибудь в другом месте, под таким же холмиком. Ваша светлость, их так много — этих холмиков, и с каждым днем все больше, люди мрут как мухи.

Лакей оттащил ее от дверцы, карета рванула и покатила, форейторы пустили лошадей вскачь, и монсеньер, снова подхваченный фуриями, умчался вперед; до замка оставалось всего несколько миль.

Со всех сторон в карету вливалось свежее благоухание летней ночи; щедрое, как дождь, оно доносилось и туда, к водоему, где кучка грязных, оборванных, изнуренных работой людей слушала рассказ каменщика, который, размахивая синим картузом — он без него был ничто, — все еще рассказывал о своем человеке-привидении, пока у людей хватало терпенья его слушать. Но, наконец, у слушателей иссякло терпенье, и они стали расходиться один за другим; в хижинах засветились огни; а когда в хижинах стало темно, небо усеялось звездами, и казалось, Это те самые огни, только что погасшие в деревне, вдруг зажглись в небе.

Маркиз тем временем въехал под свод деревьев, обступивших его со всех сторон, и его поглотила громадная черная тень высокого островерхого замка. Затем черная тень отступила, вспыхнул факел, карета остановилась, и тяжелые входные двери распахнулись перед маркизом.

— Я жду мосье Шарля. Он приехал из Англии?

— Никак нет, монсеньер, еще не приезжал.

Глава IX

Голова Горгоны

Замок маркиза — массивное, каменное здание — высился в глубине большого каменного двора; к подъезду с обеих сторон шли полукругом отлогие каменные ступени, сходившиеся на каменной площадке. Все здесь было каменное: тяжелые каменные балюстрады, каменные вазы, каменные цветы; со всех сторон смотрели на вас каменные лица людей, каменные львиные головы. Словно голова Горгоны окинула своим взором это здание, когда оно было построено, тому назад два столетия.

Господин маркиз вышел из кареты и предшествуемый слугой с факелом поднялся по отлогой лестнице; свет факела спугнул темноту, и сова, ютившаяся под крышей просторной конюшни, за домом, среди деревьев, жалобно заухала. Только плач совы и нарушал тишину, кругом было так тихо, что факел, которым освещали лестницу, и другой факел у входа горели ровным пламенем, словно они горели в гостиной с наглухо закрытыми окнами и дверями, а не под открытым небом. Кроме уханья совы, слышно было только, как плещет вода в каменном бассейне фонтана; это была одна из тех темных бархатных ночей, которые, затаив дыханье, стоят, не шелохнувшись, часами, потом медленно и глубоко вздохнут — и опять притаятся и не дышат.

Тяжелая входная дверь с шумом захлопнулась за маркизом, он вошел в прихожую, увешанную всевозможным охотничьим оружием, страшными рогатинами, мечами, длинными ножами, кинжалами, и еще более страшными плетьми, ременными бичами, кнутами, тяжесть

коих не раз приходилось испытывать на себе беднякам крестьянам, прежде чем благодетельная смерть избавляла их от гневного господина.

Минуя погруженные во мрак гостиные и залы, уже закрытые на ночь, господин маркиз, предшествуемый слугой с факелом, поднялся по лестнице и, свернув в коридор, подошел к двери; дверь распахнулась, и маркиз вступил в собственные покои — это были три комнаты — спальня и две другие, с высокими сводчатыми потолками, с прохладным полом без ковров, с тяжелыми таганами в камине, где зимой полыхали дрова. Везде царило пышное великолепие, приличествующее и тому роскошному времени и сану маркиза в той стране. В пышном убранстве комнат преобладал стиль Людовика XIV, предпоследнего из великой династии, воцарившейся на веки вечные; но множество старинных предметов, представляющих собой реликвии более отдаленного прошлого, вносили разнообразие в этот стиль.

В третьей комнате был накрыт стол для ужина на две персоны. Эта небольшая комната, помещавшаяся в одной из четырех угловых башен, была очень высокая и круглая; окно в ней было распахнуто настежь, но плотно закрыто решетчатой ставней: ночь заглядывала сквозь решетку, и черные полоски мрака, проступавшие в щели ставней, чередовались с широкими серыми под цвет камня деревянными переплетами.

— Мой племянник, говорят, еще не приехал? — сказал маркиз, взглянув на накрытый стол.

— Нет, монсеньер, не приезжал; думали, может быть, он приедет с господином маркизом.

— Д-да? Вряд ли уж он приедет сегодня. Но оставьте стол как есть. Через четверть часа я буду готов.

Через четверть часа маркиз вышел к столу и сел один за свой обильный изысканный ужин. Его стул стоял против окна. Он уже успел покончить с супом и только было поднес к губам бокал бордосского, как тут же опустил его, не тронув.

— Что там такое? — спокойно спросил он, внимательно глядя на черные полосы, проступавшие между серыми переплетами.

— Где, монсеньер?

— Там, за ставнями. Открой ставни.

Ставни открыли.

— Ну, что там?

Слуга, высунувшись в окно, заглянул в пустую темноту сада.

— Там ничего нет, монсеньер. Только и видно, что деревья да темень.

Повернувшись спиной к темноте, слуга ждал, что ему прикажут.

— Хорошо, — невозмутимо произнес маркиз. — Закрой ставни.

Приказание исполнили, и маркиз спокойно продолжал ужинать,. Он уже почти поужинал и сидел с бокалом в руке, как вдруг до него донесся стук колес, и он опять отставил бокал. Стук явно приближался, кто-то подъехал к воротам замка.

— Узнай, кто там приехал.

Это был племянник маркиза. Он чуть ли не с полудня ехал следом за маркизом, отстал разве что на какой-нибудь десяток миль; потом ему даже удалось сократить расстояние, но все же не настолько, чтобы догнать маркиза. На почтовых дворах ему говорили, что маркиз только что изволил отбыть.

Маркиз послал сказать племяннику, что с ужином дожидаются и его просят пожаловать. Он пожаловал через несколько минут. Это был тот самый человек, которого в Англии звали Чарльз Дарней.

Маркиз встретил его с отменной учтивостью, но они не пожали друг другу руки.

— Вы вчера выехали из Парижа? — спросил племянник, усаживаясь за стол.

— Да вчера, а ты?

— Я сразу сюда, прямым рейсом.

— Из Лондона?

— Да.

— Долго же ты ехал, — заметил, улыбаясь, маркиз.

— Напротив. Прямым рейсом.

— Прости, я имел в виду не дорогу, не долгий путь, а долгие сборы.

— Меня задержали… кой-какие дела, — запнувшись, ответил племянник.

— Не сомневаюсь, — любезно промолвил дядюшка.

Пока лакей прислуживал за столом, они больше не обменялись ни словом. Подали кофе, и они остались одни; племянник поднял глаза на дядю и, глядя на это лицо, похожее на застывшую маску, подождал, пока не встретился с ним глазами.

— Как вы, конечно, догадываетесь, — сказал он, — я приехал по тому же самому делу, из-за которого мне пришлось уехать. Случилось так, что я в связи со своими разъездами неожиданно попал в довольно опасное положение. Но я смотрю на это дело как на свой священный долг, и если бы мне даже грозила смерть, я нашел бы в себе мужество умереть достойно.

— Ну, зачем же умирать, — усмехнулся дядя, — что за разговоры о смерти?

— Мне кажется, будь я даже осужден на смерть, — продолжал племянник, — вы и не подумали бы меня спасти.

Легкие впадинки на крыльях носа обозначились резче, в жестких чертах красивого лица зазмеилась зловещая усмешка; дядя с неподражаемым изяществом сделал протестующий жест — но эта непринужденная любезность отнюдь не внушала доверия.

— Я даже иногда думаю, не старались ли вы нарочно придать еще более подозрительный характер кой-каким не очень благоприятным для меня обстоятельствам, которые и без того могли показаться кой-кому подозрительными.

— Нет, нет, что ты! — с улыбкой отмахнулся дядюшка.

— Но так это или нет, — покосившись на него с крайним недоверием, продолжал племянник, — я знаю одно, вы во что бы то ни стало решили помешать мне, и ради этого ни перед чем не остановитесь.

— Друг мой, я тебя предупреждал, — сказал дядя, и впадинки на крыльях носа задвигались, вздрагивая. — Будь любезен, припомни, я тебе давно это говорил.

— Я помню.

— Благодарю, — сказал маркиз с необыкновенной вкрадчивостью. Голос его, словно мягкий музыкальный звук, прозвучал и замер.

— Нет, правда, сударь, — продолжал племянник, — я думаю, я только потому не угодил в тюрьму здесь, во Франции, что судьба на этот раз оказалась милостивее ко мне, а не к вам.

— Не совсем понимаю тебя, — возразил дядя, отхлебывая кофе маленькими глотками. — Может быть, ты будешь так добр и пояснишь мне, что ты имеешь в виду?

— Если бы вы сейчас не были в немилости при дворе — а это длится уже несколько лет, меня бы давно упрятали в крепость секретным королевским приказом.

— Возможно, — невозмутимо согласился дядюшка. — Имея в виду честь нашей семьи, я бы, пожалуй, и решился доставить тебе такое неудобство. Так что не изволь гневаться.

— Надо полагать, к счастью для меня, на приеме третьего дня вас приняли все так же холодно, — продолжал племянник.

— Я бы не сказал, что это к счастью для тебя, мой друг, — с изысканной любезностью возразил дядя. — Отнюдь в этом не уверен. Обстановка, способствующая размышлениям, полное уединение — все это имеет свои преимущества — и могло бы повлиять на твою судьбу гораздо более благотворно, чем ты в состоянии сделать это сам. Однако продолжать этот разговор бесполезно. Я сейчас, как ты изволил заметить, не в очень выгодном положении. И подобного рода мягкие исправительные средства, которые были бы желательной поддержкой для нашей семейной чести и славы, эти ничтожные знаки милости, которые помогли бы мне немного образумить тебя, теперь их надо домогаться, выпрашивать или совать кому-то взятку. Сколько народу их добивается, а ведь получают сравнительно очень немногие. Когда-то все было не так. Да, Франция и не только в этом отношении изменилась к худшему. Не так еще давно наши предки распоряжались жизнью и смертью своих крестьян. Вот из этой самой комнаты немало из их мерзкой породы было послано на виселицу. А в соседней (моей спальне) один такой грубиян, — нам это хорошо известно, — был заколот на месте, он, видите ли, осмелился проявить что-то вроде щепетильности — вступился за честь своей дочери! Его дочери! Многих своих привилегий мы лишились. Новая философия, новые веяния. Всякая попытка вернуть наши прежние права может повести (не обязательно конечно, но может статься) к серьезным неприятностям. Плохо стало, плохо, из рук вон плохо!

Изящным движением маркиз поднес к носу маленькую понюшку табаку и покачал головой с тем благородным прискорбием, с коим и подобало говорить об этой стране, которая все же не совсем утратила надежду на возрождение, ибо у нее была могучая опора — он сам, — и следовательно, не все еще было потеряно.

— Мы так старательно утверждали наш престиж и в прежнее время, да и совсем недавно, — мрачно сказал племянник, — что, по-моему, во всей Франции нет имени более ненавистного, чем наше.

— Будем надеяться, что так оно и есть, — отвечал дядя. — Ненависть к высшим — это невольная дань преклонения низших.

— А здесь, — все так же мрачно продолжал племянник, — кого ни встретишь, ни на одном лице не увидишь и следа простого уважения к человеку, — одно лишь рабское подобострастие и страх!

— Это не что иное, как благоговение перед величием нашего рода, — сказал маркиз. — Мы тем и заслужили его, что всегда утверждали свое могущество. Да! — Он взял еще маленькую понюшку табаку, откинулся и переложил ногу на ногу.

Но когда племянник, облокотившись на стол, задумчиво и печально прикрыл глаза рукой, глаза красивой маски, украдкой наблюдавшей за ним, окинули его таким внимательным, зловещим и недобрым взглядом, что одного этого взгляда было достаточно, чтобы догадаться, какая ненависть прячется под этим напускным равнодушием.

— Кнут — вот единственная, неизменная, испытанная философия, — промолвил маркиз. — Рабское подобострастие и страх держат этих собак в повиновении, они дрожат перед кнутом, и так всегда будет, пока вот эта крыша, — он поднял глаза к потолку, — держится у нас над головой и мы не живем под открытым небом.

Не так уж долго суждено было держаться этой крыше, как думал маркиз. Если бы в этот вечер ему показали, что станется с его замком и с полсотней других замков через несколько лет, или то, что останется от них, — он вряд ли узнал бы собственный замок в груде обгорелых развалин, а этой крыши, которую он считал нерушимой, он не нашел бы и следов. И лишь следы свинцовых пуль, отлитых из крыши, пуль из сотен тысяч мушкетов в продырявленных телах показали бы ему, сколь многих избавила его крыша от жизни под открытым небом, ибо для тех, в кого угодила такая пуля, небо навсегда скрывалось из глаз.

— А до тех пор, — прибавил маркиз, — поскольку за тебя нельзя поручиться, я буду охранять честь нашего дома, и я никому не позволю ее нарушить. Но я полагаю, ты устал. Не пора ли нам на сегодня кончить беседу.

— Еще одну минуту, сударь!

— Изволь, пожалуйста, хоть час.

— Мы столько натворили зла, сударь. — сказал племянник, — и теперь пожинаем плоды этого.

— Это мы творили зло? — удивленно улыбаясь, переспросил дядя, со свойственною ему деликатностью сначала показав пальцем на племянника и потом уж на себя.

— Наша семья, наша благородная семья, честь которой дорога нам обоим, правда совершенно по-разному. Сколько зла было сделано еще при жизни отца; в угоду своим прихотям мы надругались над людьми, расправлялись со всеми, кто становился нам поперек дороги. Да что я говорю — при его жизни! Ведь все это было и при вас. Как можно вас отделять друг от друга? Вы с ним близнецы, совладельцы, вы его преемник и наследник.

— Смерть разделила нас! — промолвил маркиз.

— А меня, — возразил племянник, — она приковала к этому ненавистному укладу, я несу за него ответственность, и я бессилен его изменить. Тщетно пытаюсь я выполнить последнюю волю моей дорогой матушки, ее последний завет, который я прочел в ее угасавшем взоре, молившем меня восстановить справедливость, загладить зло милосердием. Тщетно взываю я о поддержке, я бессилен, у меня нет власти!

— Сколько бы ты ни взывал ко мне, — и маркиз внушительно постучал пальцем в грудь племянника — они теперь разговаривали стоя у камина, — можешь не сомневаться, все будет напрасно.

Он стоял с табакеркой в руке и спокойно смотрел на племянника, и в каждой безупречно правильной черте этого бледного, почти прозрачного лица, словно притаилось что-то жестокое, коварное, настороженное. Он еще раз ткнул пальцем в грудь племянника, как если бы палец этот был острием тонкой шпаги, которую он искусным движением незаметно вонзил ему в сердце.

— Я, друг мой, до гробовой доски буду охранять тот незыблемый уклад, при котором я родился, жил и живу, — сказал он.

И с этими словами он взял в последний раз еще понюшку табаку и положил табакерку в карман.

— Надо быть разумным и принимать как должное то, что тебе дано самой судьбой, — добавил он и, взяв со стола маленький колокольчик, позвонил. — Но я вижу, что вы окончательно лишились разума, мосье Шарль.

— Я лишился родового гнезда и Франции, — грустно сказал племянник. — Я отрекаюсь от них.

— А разве все это твое и ты вправе отречься от того и другого? Франция еще — куда ни шло! Но владенье? Правда, оно немногого стоит, но разве ты полагаешь, что оно уже твое?

— Вы не так поняли меня. Никаких притязаний у меня нет. Если оно от вас перейдет ко мне хотя бы завтра…

— Смею надеяться, что это вряд ли случится.

— Или через двадцать лет…

— Ты льстишь мне, — улыбнулся маркиз, — и все же второе мне больше нравится.

— Я все равно откажусь от него и буду жить по-другому и в другом месте. Да и что тут, в сущности, осталось? От многого ли мне придется отказываться? Кругом такое разоренье, такая нищета и запустенье!

— М-да… — усмехнулся маркиз, обводя взглядом свои роскошные покои.

— Да, если вот так поглядеть, может быть, это и радует глаз, а вот если разобраться как следует, — окажется, что все едва-едва держится; долги, закладные, поборы, рабский труд, угнетение, голод, нищета и страдания.

— Гм… — снова усмехнулся маркиз, с явным удовлетворением.

— Если когда-нибудь это владенье станет моим, я передам его в надежные руки, я найду кого-нибудь, кто сумеет лучше меня освободить его постепенно (если только это возможно) от того страшного гнета, который здесь придавил все, и, может быть, тогда измученный, исстрадавшийся, несчастный народ, которому некуда податься с родной земли, передохнет немного, хотя бы в другом поколении; и замок наш мне не нужен, над ним тяготеет проклятье, как и надо всем этим краем.

— А ты? — поинтересовался дядя. — Извини за любопытство. Ты с твоей новой философией, ты все-таки думаешь как-то существовать?

— Я буду делать то же, что вынуждены будут в недалеком будущем делать многие мои соотечественники, как бы они ни были родовиты, — трудиться.

— В Англии, вероятно?

— Да. Честь нашего дома, сударь, здесь не пострадает из-за меня. И наше фамильное имя не будет мной опорочено. Я там ношу другое имя.

Слуга, который пришел на звонок, зажег свет в спальной маркиза; дверь туда была открыта, и они увидели, как комната осветилась. Маркиз обернулся и, заглянув в спальню, прислушался к удаляющимся шагам лакея.

— Принимая во внимание, что ты там не слишком преуспел, Англия, по-видимому, чем-то прельщает тебя, — с улыбкой заметил он, снова повернувшись к племяннику.

— Я уже вам говорил, сударь, я понимаю, что моими *успехами* в Англии я обязан не кому иному, как вам. Ну, а что до остального, — я там нашел себе приют.

— Да, англичане хвастают, что многие находят у них приют. Ты, кажется, знаком с нашим соотечественником, который тоже нашел там приют? С доктором?

— Да.

— С дочерью?

— Да.

— М-да, — протянул маркиз. — Но ты, я вижу, устал. Спокойной ночи.

И он, все так же улыбаясь, с церемонной учтивостью слегка наклонил голову, но и в его улыбке и в многозначительном тоне, которым он произнес последние слова, что-то поразило племянника; ему показалось, что маркиз чего-то не договаривает. И в ту же минуту тонкие узкие губы, узкий прямой разрез глаз и впадинки на крыльях носа дрогнули язвительной насмешкой и словно что-то сатанинское мелькнуло в красивых чертах маркиза.

— Д-да, — повторил он. — Доктор с дочкой. Так-так. Отсюда и новая философия. Ты устал, мой друг. Покойной ночи!

Тщетно было бы пытаться прочесть что-нибудь на этом лице — так же тщетно, как пытаться прочесть что-то на каменных лицах фасада; и тщетно племянник вглядывался в него, пока маркиз не скрылся в дверях спальни.

— Спокойной ночи! — сказал дядя. — Надеюсь, я буду иметь удовольствие увидеть тебя завтра! Приятного сна! Посветите моему племяннику — проводите его. «Да сожгите этого господина, моего племянника, живьем в его постели!» — добавил он про себя, берясь за колокольчик, чтобы вызвать своего лакея.

Лакей выполнил свои обязанности и ушел, а господин маркиз, облачившись в просторный халат, стал медленно прохаживаться взад и вперед по комнате — ночь была такая знойная,

душная, — ему еще не хотелось ложиться. Бесшумно ступая в своих мягких ночных туфлях и чуть шелестя халатом, он двигался словно великолепный тигр; точь-в-точь злой волшебник из сказки, который только что из тигра превратился в маркиза и вот-вот снова станет тигром.

Он шагал взад и вперед по своей роскошной спальне, невольно припоминая сегодняшнюю поездку, и опять видел перед собой дорогу, пламенеющий закат, медленный подъем в гору, солнце, исчезающее за горизонтом, спуск с горы, мельницу, тюрьму на вершине утеса, деревушку в ложбине, кучку крестьян у водоема, каменщика, тыкающего своим синим картузом под кузов кареты. Деревенский водоем напомнил ему фонтан в предместье Парижа, бесформенный комок на парапете, женщин, склонившихся над ним, и высокого человека с воздетыми к небу руками, вопившего диким голосом: «Насмерть!»

— Ну, кажется, я достаточно остыл, — промолвил маркиз, — можно ложиться.

Он погасил свет, оставил только ночник на камине и улегся, опустив тонкий прозрачный полог; когда он уже совсем засыпал, ему послышалось, как ночь, нарушая глубокую свою тишину, вздохнула медлительно и протяжно.

В течение трех долгих часов каменные лица смотрели со стен замка невидящим взором в черную ночь; в течение трех долгих часов лошади, дремавшие в стойлах, сонно переступали копытами; заливисто лаяли собаки, ухала сова, оглашая воздух совсем не такими звуками, какие ей приписывают поэты. Эти упрямые твари любят голосить по-своему и совсем не то, что им положено.

В течение трех долгих часов каменные лица и каменные львиные головы смотрели со стен замка недвижным взором в ночь. Глухая тьма лежала надо всем краем, глухая тьма ползла по глухим дорогам. На кладбище она залегла так плотно, что сровняла все бедные маленькие холмики, а деревянной фигуры распятого и совсем не было видно, она могла бы спокойно сойти с креста, и никто бы и не заметил. В деревне все спали, — и те, кто платил подати, и те, кому было поручено их собирать. И, может быть, они пировали во сне — голодному снится пир, — а может быть, им снились приволье и отдых и что еще может сниться забитым рабам и подъяремному скоту; сейчас весь этот отощавший деревенский люд спал крепким сном, и все они были сыты и свободны.

Вода в деревенском водоеме точилась незримо и неслышно, и струи фонтана во дворе замка плескались незримо и неслышно падали и исчезали — на протяжении трех долгих часов, — как исчезают мгновенья, текущие из источника времени. Но вот, седеющим призраком, зыбясь в предутренней мгле, вода заструилась и в том и в другом водоеме, и каменные очи открылись у каменных лиц на стенах замка.

Рассвет разгорался сильнее и сильнее, и вот уже первые солнечные лучи брызнули на верхушки спящих деревьев, вспыхнули на склоне холма. Фонтан во дворе замка словно забил кровью, и густо зарделись каменные лица. В воздухе зазвенел птичий гомон, а одна маленькая птичка уселась на изъеденный непогодой карниз громадного окна господской спальни и, не умолкая, заливалась радостным звонким пением; и каменная голова на стене рядом таращилась на нее с изумлением, и на ее каменном лице с раскрытым ртом и отпавшей челюстью был написан ужас.

Солнце теперь быстро поднималось над горизонтом, и в убогой деревушке под горой началось движение. Открывались окошки, отодвигались засовы покосившихся дверей, люди выходили, поеживаясь, не сразу осваиваясь с холодком свежего утреннего воздуха, и с раннего утра принимались за свой повседневный нескончаемый труд, шли с ведрами — к водоему, с мотыгами — в поле, женщины и мужчины копались в земле, пасли тощую скотину на тощей траве по оврагам и обочинам дорог. В церкви и на кладбище можно было застать распростертую в отчаянии фигуру, и тут же рядом с молящейся перед распятием тощая корова щипала траву у подножия креста.

Замок, как ему и подобало, пробудился позднее; он пробуждался постепенно, в строго определенном порядке. Сначала забытые всеми старинные мечи и рогатины, припомнив былые охоты, окрасились кровью, потом заиграли на солнце Своими остриями и лезвиями; внизу распахнулись окна и двери, кони зафыркали в стойлах, косясь и оглядываясь на свет, проникавший в щели, листва зашуршала, затрепетала, приникая к решеткам окон, собаки запрыгали, нетерпеливо гремя цепями, чуя, что их вот-вот выпустят.

Так изо дня в день начиналась жизнь в замке. Но сегодня она началась как-то необычно: внезапно загудел большой колокол, по лестнице вверх и вниз забегали переполошившиеся люди; они толпились на каменном крыльце, топтались на дворе, бегали, суетились, седлали лошадей, а затем верховой сломя голову поскакал куда-то по дороге.

Уж не ветер ли дохнул этой суетой на каменщика, чинившего дорогу на горе за деревней? Рядом с ним на кучке щебня лежал узелок со скудной едой на день, и глядеть то не на что — вороне раз клюнуть. Может быть, птицы, гнездившиеся в саду замка, пролетая здесь, случайно занесли весточку, как заносят они зерно, пускающее росток. Так оно было или нет, только в это знойное утро каменщик вдруг бросил работу и опрометью помчался с горы, поднимая облака пыли; он бежал не переводя дух, точно за ним кто-то гнался, и остановился только у водоема.

Вся деревня собралась у водоема; хмурые, как всегда, люди, не обнаруживая никаких других чувств, кроме угрюмого любопытства и удивления, стояли кучками, разговаривали шепотом. Тут же, привязанные наспех к забору или к чему попало, стояли и лежали коровы; их только что повели пастись и сразу погнали обратно, и теперь, тупо уставившись перед собой, они терпеливо пережевывали жвачку, хотя и жевать-то, в сущности, было нечего — им сегодня не пришлось пощипать травы. Кое-кто из дворовых, служащие почтового двора и все должностные лица по сбору податей столпились на другой стороне улицы; все они были так или иначе вооружены, но их бессмысленное топтанье на одном месте явно показывало, что и они ровно ничего не понимают. И вот тут-то и появился каменщик. Он ворвался в толпу у водоема и, колотя себя в грудь синим картузом и размахивая руками, с жаром начал что-то рассказывать кучке обступивших его закадычных приятелей. Что все это означало? Что означало это неожиданное появление верхового из замка? Что успел он шепнуть управляющему господину Габеллю, который тут же вскочил позади него на коня, и они вместе поскакали во весь опор (двое на одном коне), как в немецкой балладе о Леноре[34]?

Это означало, что к числу каменных лиц в замке неожиданно прибавилось еще одно лицо.

Ночью Горгона снова явилась в замок, окинула его своим взором, и еще одно лицо превратилось в камень: двести лет она ждала терпеливо, ей недоставало именно этого каменного лица.

Оно лежало на подушке господина маркиза. Лицо, подобное красивой маске, — его внезапно разбудили, разгневали и превратили в камень. В окаменелой груди торчал нож, вонзенный в сердце. Рукоятка ножа была обернута клочком бумаги, на нем было нацарапано:

«Рази насмерть! Это тебе от Жака».

Глава X

Два обещания

Время бежало своим чередом, шли недели, месяцы, и так прошел год. Мистер Чарльз Дарней жил в Англии и занимался преподаванием французского языка и французской литературы. В наше время он числился бы в профессорах, но тогда его называли наставником. Он занимался с молодыми людьми, располагавшими временем для серьезного изучения живого языка, вошедшего в употребление по всему свету, знакомил их со всем тем, чем Франция обогатила науку и искусство. Кроме того, он писал по-английски очерки о Франции и прекрасно переводил французских авторов на английский язык. Таких учителей в то время было не легко найти: бывшие наследные принцы и будущие короли еще не занимались учительством, и

знатные клиенты банкирского дома Теллсона еще не выбыли из его банковских книг и не подвизались в Англии в качестве поваров и плотников. Мистер Дарней, человек широкообразованный, умел заинтересовать своих учеников, они делали большие успехи; и это создало ему репутацию прекрасного преподавателя; кроме того, он приобрел известность как переводчик, ибо переводы его отличались не только точностью, но и другими достоинствами. Он хорошо знал, что происходит во Франции, а события, назревавшие там, вызывали все больший интерес. Так, благодаря своим обширным знаниям, усердию и настойчивости мистер Дарней добился известного положения.

Обосновавшись в Лондоне, он не тешил себя мечтами о легкой жизни, о том, что ему все будет доставаться даром: с такими мечтами он бы ничего не добился. Он хотел работать — и нашел себе работу, делал ее добросовестно и старался приносить пользу. Этим и объяснялся его успех.

Он часто ездил в Кембридж, где занимался со студентами, преподавая им как бы контрабандой живой европейский язык, вместо латинского и греческого, которыми их, по программе, обильно снабжали через университетскую таможню. Но постоянным местом его жительства был Лондон.

С тех давних пор, как в раю царило вечное лето, и до наших дней, когда большую часть года зима сковывает отверженные богом широты, мужчине предопределено судьбой — любить женщину; не избежал этого и Чарльз Дарней.

Он полюбил Люси Манетт с того дня, когда ждал, что ему вот-вот вынесут смертный приговор. Никогда в жизни он еще не испытывал такого чувства, какое охватило его, когда он услышал ее нежный, участливый голос, никогда в жизни не видел он ничего более прекрасного, чем это милое личико, глядевшее на него с таким состраданием, — на него, стоявшего на краю готовой могилы. Но он все еще не решался сказать ей о своем чувстве. Уже год минул с тех пор, как совершилось убийство в замке — сотни миль пыльных дорог, бурные волны морские отделяли его от родового гнезда, и сам замок с его толстыми каменными стенами превратился для него в какой-то смутный сон, — а он все еще ни единым словом не обмолвился ей о своем чувстве.

Наверно, для этого были какие-то серьезные причины, с которыми ему приходилось считаться. Стоял опять погожий летний день; Дарней только что вернулся из Кембриджа в Лондон и направился в тихий тупичок в Сохо; он решил открыть свою тайну доктору Манетту. День клонился к вечеру, Дарней знал, что Люси сейчас нет дома, она в этот час обычно уходила гулять с мисс Просс.

Доктор читал в кресле у окна. Прежняя неистощимая энергия, которая некогда помогла ему вытерпеть такие страшные муки, хотя она же и заставляла его чувствовать их еще острее, постепенно вернулась к нему. Теперь это снова был необыкновенно деятельный человек, который умел добиваться своей цели, твердо, решительно, неутомимо. Правда, на него иногда находили приступы какого-то странного беспокойства, как в ту пору, когда он еще только что приходил в себя; но это случалось не так часто и последнее время почти не повторялось.

Он много работал, спал мало, однако не чувствовал усталости и всегда был в прекрасном расположении духа. Увидев входившего Дарнея, доктор отложил книгу и протянул ему руку.

— Чарльз Дарней! Раз видеть вас. А мы уже несколько дней ждем, что вы вот-вот появитесь. Вчера у нас были мистер Страйвер и Сидни Картон, и оба удивлялись, куда это вы запропастились.

— Премного обязан им, что они так интересуются мной, — довольно сухо по отношению к своим приятелям отвечал Дарней и горячо пожал руку доктора Манетта. — Мисс Манетт…

— Прекрасно себя чувствует, — поспешил ответить доктор, видя, что Дарней запнулся, — и будет тоже очень рада, что вы, наконец, появились снова. Она по каким-то домашним делам ушла ненадолго, скоро вернется.

— Я, доктор Маннет, знал, что ее нет дома. Я хотел поговорить с вами без нее. Наступило молчание.

— Да? — вымолвил, наконец, доктор с явным усилием. — Берите стул, садитесь, пожалуйста, давайте поговорим.

Дарней пододвинул стул, сел, но приступить к разговору было для него, видимо, не так просто.

— Доктор Манетт, — наконец, начал он, — вот уже почти полтора года я чувствую себя у вас и доме своим, близким человеком, — это для меня большое счастье, и я смею надеяться, что, если я позволю себе быть с вами откровенным, это не покажется вам…

Доктор внезапно поднял руку и остановил его. На несколько секунд рука его словно замерла в воздухе; потом он медленно опустил ее и сказал:

— Вы хотите говорить со мной о Люси?

— Да.

— Мне очень трудно говорить о ней с кем бы то ни было. Мне очень трудно продолжать этот разговор с вами, Чарльз Дарней, и особенно в таком тоне…

— Я говорю о ней с глубочайшим уважением, с благоговением, с безграничной, восторженной любовью, доктор Манетт.

Отец ответил не сразу — с минуту длилось молчание.

— Я верю вам, — вымолвил он. — Не буду скрывать, я вам верю.

Он сказал это через силу, и так очевидно было его нежелание продолжать разговор, что Чарльз Дарней заколебался.

— Вы разрешаете мне продолжать, сэр?

Опять молчание.

— Хорошо, продолжайте.

— Вы, конечно, понимаете, о чем я хочу говорить, но если бы вы позволили мне открыть вам все, что я передумал и перечувствовал, мои опасения, страхи и надежды, все, что так долго заставляло меня скрывать мое чувство, вы бы поняли, насколько это для меня серьезно. Дорогой доктор Манетт, я люблю вашу дочь, глубоко, самозабвенно, самой преданной беззаветной любовью. И это на всю жизнь, это настоящая любовь, какая, может быть, даже не всем выпадает на долю. Вы, доктор Манетт, вы сами любили… Пусть ваше прежнее чувство подскажет вам…

Доктор сидел отвернувшись, опустив глаза, но тут, словно пытаясь удержать Дарнея, он опять поднял руку:

— Нет, нет, сэр, только не это! — вскричал он. — Не надо! Умоляю вас. Ни слова больше!

Это был такой душераздирающий крик, что, даже когда доктор уже смолк, Дарнею все еще казалось, что он слышит этот вопль, полный нестерпимой муки. А вытянутая рука, повисшая в воздухе, судорожно вздрагивала, словно умоляя его молчать. И Дарней, не смея проронить ни слова, молчал.

— Простите меня, — тихо вымолвил доктор после длительного молчания. — Я понимаю вас, я не сомневаюсь, что вы любите Люси. Я верю вам.

Он повернулся к Дарнею, но не поднял глаз и ни разу не взглянул на него. Он сидел, опершись на руку, и седые волосы свесились ему на лицо.

— Вы говорили с Люси?

— Нет.

— И не писали ей?

— Нет, ни разу.

— Не буду кривить душой и притворяться, что я не замечаю вашей самоотверженной сдержанности, не чувствую вашего исключительно бережного отношения к отцу. Отец благодарит вас.

И он, не поднимая глаз, пожал ему руку.

— Я знаю, — робко и почтительно заговорил Дарней, — да и как можно не знать, видя вас вместе изо дня в день, что ваша привязанность друг к другу — это нечто до такой степени необычайное, трогательное, что могло возникнуть только в необычайных, исключительных обстоятельствах, и что такую привязанность, такую близость между отцом и дочерью вряд ли можно увидеть в другой семье, даже при самых тесных отношениях между родителями и детьми. Я знаю, дорогой доктор Манетт, и как же мне этого не знать! — что в ее любви к вам, в ее нежной заботливости, которою она старается вас окружить, как взрослая преданная дочь, столько детского обожания, детской веры! Оттого ли, что в младенчестве она была лишена отца, она теперь привязалась к вам со всей пылкостью юной души, преданной, верной, со всей доверчивой откровенностью чувств невинного детского сердца. Я знаю, что вы теперь на всю жизнь окружены в ее глазах таким ореолом, как если бы возвратились к ней с того света. Я знаю, что, когда она обнимает вас, прильнув к вашей груди,, все чувства ее принадлежат вам, она ваша всей душой — ребенка, девочки и взрослой женщины; она любит вас всем своим существом, она любит и видит в вас и свою матушку в юности, и вас в молодости, и свою матушку, убитую горем, и вас в эти долгие годы жестокого испытания, и вас, милостью неба снова воспрянувшего к жизни. Все это я знаю с того самого дня, когда я впервые переступил порог вашего дома.

Отец сидел молча, опустив голову. Только учащенное дыхание выдавало его волнение, больше он ничем не обнаруживал его.

— Дорогой доктор Манетт, все это я знаю с тех пор, как знаю вас; видя ее и вас в этом священном ореоле, я не позволял себе говорить, я крепился и терпел, терпел, пока хватало человеческих сил. Я сознавал и теперь сознаю, что осмелиться нарушить это священное единение признанием в любви, даже такой любви, как моя, это значит посягнуть на ваши чувства, задеть их чем-то менее достойным и возвышенным. Но я люблю. Бог мне свидетель, я люблю ее!

— Я верю вам, — грустно ответил отец. — Я давно уже догадывался. Я верю вам.

Его грустный голос отозвался в душе Дарнея горестным упреком.

— Нет! Нет! — вскричал он. — Не думайте, что, если бы судьба посулила мне счастье назвать ее своей женой, но с тем, чтобы разлучить вас, я бы осмелился открыть вам свои чувства или чем-нибудь выдать себя. Уже не говоря о том, что я понимал бы, сколь это безнадежно, я не способен был бы совершить такую подлость. А если бы даже я наедине с самим собой и мог когда-нибудь подумать об этом или в глубине души втайне ото всех питать такие надежды хотя бы на отдаленное будущее, поверьте, у меня недостало бы смелости пожать вашу благородную руку.

И он схватил руку доктора.

— Нет, дорогой доктор Манетт, ведь я, как и вы, добровольный изгнанник из Франции, я так же, как вы, не в силах был терпеть ее безрассудства, угнетение и страдания, на которые она обрекает свой народ, я, как и вы, стремился сюда, чтобы жить своим собственным трудом и не утратить веру в светлое будущее; я хотел бы разделить вашу судьбу, жить с вами одной жизнью под одним кровом, быть преданным вам до конца дней. Я знаю, что Люси никому не позволит разделить с ней священные обязанности дочери и друга; но я был бы счастлив помочь ей в ее заботах о вас и — если бы только судьба позволила это — привязать ее к вам еще крепче.

Рука Дарнея все еще сжимала руку доктора. Доктор торопливо, но мягко ответил на его пожатие, потом оперся на подлокотники и первый раз за все время разговора поднял глаза.

Он, видимо, старался побороть себя, и эта борьба отражалась на его лице, по которому словно пробегала мрачная тень каких-то смутных подозрений и страха.

— Вы говорили со мной мужественно и чистосердечно. Чарльз Дарней. Благодарю вас. В ответ и я открою вам свое сердце, или хотя бы позволю вам заглянуть в него. Скажите, есть у вас основания думать, что Люси любит вас?

— Нет. Пока еще нет.

— Может быть, вы думали после беседы со мной спросить ее об этом и потому сочли нужным открыть мне свои чувства?

— Да нет, не совсем так. Чтобы решиться на это, надо иметь хоть какую-то надежду. И, может быть, пройдет еще несколько недель, прежде чем я решусь, а может быть, мне вдруг покажется, что можно надеяться — и я решусь завтра.

— Вы хотите, чтобы я поддержал вас?

— Я не смею просить вас, сэр. Но я думаю, вы могли бы поддержать меня, если бы сами сочли меня достойным этого.

— Вы хотите, чтобы я вам что-то обещал?

— Да, сэр.

— Что же я могу вам обещать?

— Я понимаю, что без вашего согласия у меня никаких надежд не может быть. Я понимаю, что если бы даже мисс Манетт в глубине своего невинного сердца таила какие-то добрые чувства ко мне — простите мне мою дерзость, на самом деле я не так самонадеян и не воображаю этого, — все равно ее любовь к отцу пересилила бы это чувство.

— А если так, вы понимаете, чем это грозит? Попробуйте взглянуть с другой стороны.

— Я понимаю, что одно слово ее отца в пользу того или иного претендента может перевесить и ее собственное чувство и все на свете! И именно поэтому, доктор Манетт, — тихо, но твердо вымолвил Дарней, — я ни за что на свете не попросил бы вас замолвить за меня слово, даже если бы от него зависела вся моя жизнь.

— Я в этом и не сомневался. Любящие сердца, Чарльз Дарней, имеют свои тайны, как и те, которые полны вражды, и сердечные тайны людей близких — это нечто до такой степени сложное и тонкое, что в них трудно проникнуть. Моя дочь Люси в этом отношении для меня загадка. Я понятия не имею, что у нее на сердце.

— Вы позволите мне задать вам один вопрос, сэр? Как вы думаете, есть ли еще… — он запнулся, и отец договорил за него:

— Претенденты на ее руку?

— Да, именно это я и хотел спросить. Отец минуту подумал, прежде чем ответить.

— Вы ведь знаете, у нас бывает мистер Картон. Заходит иногда мистер Страйвер. Если уж строить такие предположения, то разве что кто-нибудь из них.

— Возможно и оба?

— Вряд ли. Мне кажется, верней ни тот, ни другой. Но вы хотите, чтобы я вам что-то обещал. Что же именно?

— Я хочу попросить вас вот о чем: если когда-нибудь мисс Маиетт сама обратится к вам с тем же признанием, что и я сегодня, повторите ей то, что вы слышали от меня, и скажите, что вы верите мне. Мне хочется надеяться, что ваше доброе отношение ко мне не изменится и вы не повлияете на нее в ущерб мне. Не буду говорить, насколько это для меня важно. Это все, о чем я прошу. И какие бы условия вы ни поставили мне, если вы согласны обещать мне это, я подчинюсь всему.

— Обещаю вам безо всяких условий, — сказал доктор, — я верю, что вы говорили искренне, верю, что вы стремитесь упрочить, а не подорвать тесные узы, которые связывают

меня с самым близким и дорогим мне существом — ведь Люси это часть меня самого. Если она когда-нибудь признается мне, что только с вами она будет по-настоящему счастлива, я отдам ее вам, Чарльз Дарней, даже если бы у меня и были какие-то…

Молодой человек в порыве благодарности схватил руку доктора Манетта, и доктор, не отнимая руки, продолжал:

— …предубеждения, сомнения или опасения, старые или новые, что бы то ни было, из-за чего я мог бы теперь или в прошлом остерегаться человека, которого она полюбила и которого мне, собственно, не в чем упрекнуть, — все равно я должен это преодолеть ради нее. Она для меня все, все на свете. Страдания, несправедливость, муки… ради нее все забыть, все… Впрочем, что это я говорю…

Он как-то странно оборвал речь и уставился недвижным взглядом на Дарнея, и Дарней почувствовал холод в руке, когда пальцы доктора, медленно разжавшись, выпустили его руку.

— Вы, кажется, что-то говорили? — внезапно спросил доктор Манетт с вежливой улыбкой. — Что вы такое сказали?

Дарней, растерявшись, не сразу нашелся что ответить, потом вспомнил, что он предлагал доктору диктовать ему любые условия, и вернулся к этому:

— Я хочу поблагодарить вас за доверие и быть с вами вполне откровенным. Имя, которое я ношу, это, как вы, может быть, помните, не мое имя. Я взял себе девичью фамилию моей матери, несколько изменив ее. Я хочу открыть вам свое настоящее имя и объяснить, почему я живу в Англии.

— Молчите! — остановил его доктор из Бове.

— Я хочу быть достойным вашего доверия и не иметь от вас никаких тайн.

— Молчите!

Доктор зажал уши обеими руками, а затем поспешно приложил обе руки ко рту Дарнея.

— Вы скажете мне, когда я сам спрошу вас, не раньше. Если ваше предложение будет принято, если Люси любит вас, вы все скажете мне в день вашей свадьбы, утром, перед тем как идти в церковь. Обещаете?

— Конечно.

— Дайте мне вашу руку. Она вот-вот вернется, не надо, чтобы она сегодня видела нас вместе. Ступайте. Да благословит вас бог!

Когда Дарней уходил от доктора, уже темнело; Люси вернулась через час, когда было уже совсем темно. Мисс Просс поднялась к себе, а Люси сразу прошла в гостиную, — и, не застав отца на обычном месте — в кресле у окна, — немного удивилась.

— Отец! — окликнула она. — Папа, милый!

Он не отозвался, но из спальни до нее донеслось тихое постукиванье, словно кто-то работал молотком. Ока тихонько вошла в другую комнату, остановилась у двери, прислушалась, потом, отшатнувшись, бросилась обратно: побелев от ужаса, она растерянно шептала:

— Что мне делать, боже? Что мне делать?

Но это продолжалось недолго; через минуту она уже совладала с собой, бросилась обратно к двери, постучалась и тихонько окликнула его. Стук молотка прекратился, отец вышел к ней, она взяла его под руку, и они вместе стали прохаживаться по комнате и долго ходили в этот вечер взад и вперед.

Ночью она не раз вставала с постели и спускалась к нему посмотреть, как он спит. Он крепко спал; поднос с инструментами и неоконченным башмаком стоял в углу на скамье, как всегда.

Глава XI

То же, но по-другому

— Сидни, — сказал мистер Страйвер своему шакалу (разговор этот происходил в ту же самую ночь, или, вер нее, под утро), — смешай-ка еще пуншу. Мне надо тебе кое-что сказать.

В эту ночь Сидни трудился вдвое больше обычного, так же как и в прошлую и в позапрошлую ночь, и еще несколько ночей до этого, ибо он приводил в порядок дела мистера Страйвера перед долгими летними вакациями. Наконец все было разобрано. Все, что откладывалось со дня на день, было так или иначе распутано и приведено в ясность; и теперь со всем этим было покончено до ноября, когда опять поползут туманы и слякоть и туманно-слякотная судейская волокита снова начнет плодить затяжные выгодные дела.

Но Сидни от такого усердного труда отнюдь не становился бодрее и трезвее. Этой ночью ему пришлось несколько лишних раз обматывать голову мокрым полотенцем, и всякий раз он перед тем пропускал еще стаканчик; сейчас, когда он, наконец, совсем снял с головы свой тюрбан и швырнул его в таз с водой, куда он столько раз окунал его в течение этих шести часов, самочувствие у него было весьма незавидное.

— Ну, как, пунш готов? — спросил тучный Страйвер, который лежал, растянувшись на диване, засунув руки за пояс, и поглядывал по сторонам.

— Мешаю.

— Послушай, Сидни! Я тебе сейчас скажу нечто такое, что тебя чрезвычайно удивит, может быть ты даже подумаешь, что я далеко не так рассудителен, как казалось. Я собираюсь жениться.

— Вот как!

— Да. И не на деньгах. Ну, что ты на это скажешь?

— Я сегодня не очень склонен разговаривать. А кто она такая?

— Отгадай.

— А я что, знаю ее?

— Отгадай!

— Буду я еще гадать в шесть часов утра, когда у меня мозги кипят и голова, кажется, вот-вот лопнет. Если тебе хочется со мной в загадки играть, пригласи обедать.

— Ну ладно, так и быть скажу, — сдался Страйвер и, медленно приподнявшись, с трудом подтянулся и сел. — Только ты, Сидни, вряд ли меня поймешь, ты ведь бесчувственная скотина.

— Где уж мне! — усмехнулся Сидни. — Это ты у нас такая тонкая, возвышенная натура!

— А что! — подхватил Страйвер с самодовольным смешком. — Я, правда, не стремлюсь попасть в романтические герои (не так уж я глуп), но, во всяком случае, я человек более чувствительный, чем ты.

— Более удачливый, ты хочешь сказать?

— Нет, не то. Я хочу сказать, что я человек более… более… как бы это выразиться…

— Обходительный, что ли, — подсказал Картон.

— Да, пожалуй, вот именно — обходительный. Я сейчас тебе объясню, как это надо понимать, — продолжал он, все так же самодовольно поглядывая на приятеля, возившегося с пуншем. — Это значит, что я стараюсь быть приятным, прилагаю для этого некоторые усилия и понимаю, как надо держать себя в дамском обществе, чтобы быть приятным.

— Так-с. Валяй дальше! — буркнул Сидни Картон.

— Нет, прежде, чем я пойду дальше, — важно сказал Страйвер, упрямо мотая головой, — изволь меня выслушать, я уже давно хотел тебе это сказать. Вот ты вместе со мной и даже чаще, чем я, бываешь в доме доктора Манетта. И ведь мне всякий раз стыдно за тебя, каким

ты там держишься букой! Сядет, понурив голову, ни с кем слова не скажет и уж до того угрюм, ну, честное слово, Сидни, стыдно смотреть!

— Хорошо, что ты еще не совсем потерял стыд, это тебе весьма пригодится, когда будешь выступать в суде. — заметил Сидни. — Ты должен быть мне благодарен.

— Нет, Сидни, ты от меня так не отделаешься, — не унимался Страйвер, — я считаю своим долгом высказать тебе это прямо и для твоего же блага, Сидни, — ты совершенно не умеешь держать себя в порядочном обществе, ты производишь омерзительное впечатление, ну, просто черт знает что!

Сидни одним духом осушил стакан только что приготовленного пунша и громко расхохотался.

— Ты посмотри на меня! — продолжал Страйвер, выпячивая грудь. — Ведь мне вовсе нет такой надобности, как тебе, стараться быть приятным. Я человек с положением, ни от кого не завишу. А почему-то я все-таки стараюсь?

— Сказать по правде, я что-то этого не замечаю, — пробормотал Картон.

— А потому, что я человек политичный; я это делаю, так сказать, из принципа. И как видишь — преуспеваю.

— Ты отвлекся, — равнодушно сказал Картон, — рассказывай-ка лучше о своих марьяжных делах! А что касается меня, — усмехнулся он, — неужели ты до сих пор не убедился, что я неисправим.

— А ты не имеешь права быть неисправимым, — обрушился на него Страйвер все тем же уничтожающим тоном.

— Существовать я не имею права, вот это будет вернее, — отозвался Сидни Картон. — А кто же эта твоя дама?

— Я тебе сейчас ее назову и боюсь, Сидни, ты почувствуешь себя очень неловко, — отвечал Страйвер примирительным тоном, словно стараясь подготовить приятеля к своему признанию, — ведь ты, я знаю, и половины того не думаешь, что говоришь. Ну, а если ты и в самом деле так думаешь, для меня это не имеет значения. Я только потому тебе все это говорю, что ты однажды несколько пренебрежительно отозвался при мне об этой молодой особе.

— Я?

— Да. разумеется ты, и в этой самой комнате.

Сидни Картон посмотрел на свой стакан с пуншем, затем перевел взгляд на самодовольную физиономию приятеля, залпом осушил стакан и снова уставился на своего самодовольного приятеля.

— Ты назвал эту молодую особу желтоволосой куклой. Эта молодая особа — мисс Манетт. Будь у тебя хоть немножко деликатности, какая-то тонкость чувств и способность разбираться в подобных вещах, я бы, конечно, мог на тебя обидеться за такое неподходящее выражение, но ты всего этого совершенно лишен; поэтому я на тебя не сержусь, как не стал бы сердиться на человека, который, ничего не понимая в живописи, разругал бы мою картину, или, скажем, напиши я музыкальное сочинение, — и его раскритиковал бы человек, напрочь лишенный слуха.

Сидни Картон усердно поглощал пунш; он наливал себе стакан за стаканом и пил, не сводя глаз с приятеля.

— Ну вот, ты теперь все знаешь, Сид, — продолжал мистер Страйвер, — я за деньгами не гонюсь: этакое прелестное, можно сказать, создание — могу же я раз в жизни позволить себе удовольствие; в конце концов денег у меня хватает, почему же себе этого не позволить? А я для нее находка — человек я состоятельный, с положением, дела мои быстро идут в гору, для нее такой муж просто счастье, но она вполне его достойна. Ну, что, здорово я тебя удивил?

— Чего мне удивляться? — ответил Каргой, прихлебывал пунш.

— Значит, одобряешь?

— Почему же не одобрить? — все так же попивая пунш, сказал Картон.

— Вот так-то! — заключил его приятель Страйвер. — Ты отнесся к этому много спокойнее, чем я ожидал, не проявил этакой меркантильности, чего я, по правде сказать, опасался. Но ты, конечно, достаточно изучил своего старого друга и знаешь, что я человек с твердым характером. Да, Сидни, хватит с меня такой жизни — день за днем, все одно и то же; а ведь как оно должно быть приятно, когда у человека есть семья, дом, — и ты всегда можешь прийти к себе домой (а можешь и не приходить, если не хочешь), и мне кажется, мисс Манетт будет мне достойной женой и всегда сумеет поддержать честь дома. Вот так-то. Словом, я уже решил. А теперь, дружище Сидни, я хочу сказать тебе несколько слов, и это уже будет речь о тебе и о твоем будущем. Ты на плохом пути, Сидни, на очень плохом пути; живешь ты черт знает как, деньги тратишь без счета, и кончится это тем, что ты, того и гляди, совсем скатишься, свалит тебя болезнь и останешься без всяких средств; надо тебе позаботиться подыскать себе няньку.

Он говорил с таким самодовольством, таким покровительственным тоном, его словно распирало сознание собственного превосходства, и он казался вдвое толще и вчетверо наглее обычного.

— Так вот. Сидни, — продолжал он, — послушайся моего совета, не бойся смотреть на вещи прямо. Я именно так и смотрю, разумеется с несколько иной точки зрения. Ну, а ты заставь себя взглянуть на это со своей точки зрения. Женись. Подыши себе кого-нибудь, кто бы заботился о тебе. Пусть тебя не останавливает, что ты не любишь женского общества, не интересуешься женщинами, не умеешь к ним подойти. Найдя себе кого-нибудь, этакую почтенную особу с достатком, ну, скажем, какую-нибудь домовладелицу, которая содержит меблированные комнаты либо пансион, И женись, чтоб было куда приткнуться на черный день. Для тебя это самое подходящее дело. Подумай об этом, Сидни.

— Я подумаю, — сказал Сидни.

Глава XII

Тонкая натура

Мистер Страйвер, приняв великодушное решение осчастливить дочку доктора Манетта, счел за благо сообщить ей об этом счастье еще до своего отъезда из Лондона на время летних вакаций. Обсудив дело со всех сторон, он пришел к заключению, что оно, пожалуй, было бы не плохо покончить теперь же со всей предварительной канителью, а затем уж решить, не торопясь, вручит ли он ей свою особу недели за две до Михайлова дня, или во время коротких зимних вакаций, после рождества.

Что же касается того, как отнесется к делу другая сторона, — на этот счет он был совершенно спокоен и ни минуты не сомневался, что решение будет в его пользу. Если подойти к этому с чисто судейской точки зрения, вынести, так сказать, на суд присяжных, то, принимая во внимание все имеющиеся налицо солидные вещественные данные — а какие же еще данные можно принимать в расчет? — дело было абсолютно бесспорное, не к чему было н придраться. Он видел себя в роли истца, который подкрепляет свой иск такими неопровержимыми доказательствами, что противной стороне некуда податься, и присяжные, даже не удаляясь для совещания, единодушно выносят решение в его пользу. Так судья Страйвер разбирал свое дело и убеждался, что оно проще простого и тут никаких расхождений быть не может.

Исходя из этого, он решил дать ход делу в первый же день летних вакаций и торжественно пригласил мисс Манетт в сады Воксхолла; когда это приглашение отклонили, он пригласил ее в Рэнле[35]; а когда и это почему-то не вышло, он надумал отправиться собственной персоной в Сохо и там объявить ей о своих благородных намерениях.

Итак, в один из первых дней летних вакаций, в их самую раннюю младенческую пору, мистер Страйвер вышел из Тэмпла и направил свои стопы в Сохо. Всякий, кто видел бы, как он, шествуя еще близ Септ-Дунстана у Тэмплских ворот[36], уже отбрасывает слою дородную

тень на Сохо, и, сияя цветущей физиономией, величественно возвышается над толпой, и расталкивает тщедушных прохожих, невольно подумал бы — вот уж этот сумеет постоять за себя, для него не существует никаких препятствий.

Путь его лежал мимо банка Теллсона, а так как он держал деньги у Теллсона и знал, что мистер Лорри свой человек в доме доктора Манетта, ему пришла мысль зайти в банк и посвятить мистера Лорри в блестящие перспективы, готовые вот-вот открыться для обитателей тупика в Сохо. Толкнув плечом дверь, которая захрипела и всхлипнула, он грузно шагнул вниз через две ступеньки, протиснулся боком мимо двух древних старичков кассиров и ввалился в затхлый закуток, где мистер Лорри, уткнувшись в громадные бухгалтерские книги, разграфленные по линейке для цифр, сидел под окном, тоже разграфленным по линейке перпендикулярными прутьями решетки, как будто и туда полагалось вписывать цифры, а затем все, что ни есть в мире, складывать в сумму.

— Здрасте! — сказал мистер Страйвер. — Ну, как изволите поживать, мистер Лорри? Надеюсь, благополучно?

Мистер Страйвер отличался удивительной особенностью: в любом месте, где бы он ни появлялся, он, казалось, загромождал собою все — от него сразу становилось тесно. И сейчас он так загромоздил собой все помещение банка Теллсона, что древние старички, сидевшие в закутке в дальнем конце комнаты, покосились на него с возмущением, как будто он совсем припер их к стене. Сам глава фирмы, величественно восседавший в глубине с газетой в руке, нахмурился неодобрительно, точно и его тоже Страйвер заставил потесниться, уткнувшись головой в его высокоответственный жилет.

Степенный мистер Лорри ответил весьма сдержанно, словно подавая пример, как здесь надлежит говорить: «Здравствуйте, мистер Страйвер. Добрый день, сэр», — и пожал ему руку. Как и все клерки банкирского дома Теллсона, мистер Лорри в присутствии главы фирмы пожимал руку клиенту не просто, а совсем особенным образом. Он как-то совершенно стушевывался при этом, словно давая понять, что он пожимает руку не от себя, а от Теллсона и Ко.

— Чем могу служить вам, мистер Страйвер? — осведомился мистер Лорри своим обычным деловым тоном.

— Да нет, благодарю вас, ничем, мистер Лорри, я не по делу, я просто так зашел. Мне нужно вам кое-что сказать.

— Ах, вот как! — подвигаясь к нему поближе и подставляя ухо, сказал мистер Лорри и покосился в тот конец комнаты, где в глубине за перегородкой восседал «сам».

— Я, видите ли, иду сейчас, — доверительно начал Страйвер, грузно облокачиваясь на высокую конторку, и хотя конторка была широкая, двойная и он занял собой больше половины, ему все равно было тесно, — я, мистер Лорри, иду предлагать руку и сердце вашей милой маленькой приятельнице, мисс Манетт.

— Ох, что вы! — вырвалось у мистера Лорри, и он, потирая подбородок, с изумлением уставился на своего посетителя.

— Как «что вы»? — невольно отпрянув, повторил мистер. Страйвер. — Почему «что вы», сэр? Как это надо понимать, мистер Лорри?

— Это надо понимать в самом дружеском, в самом лестном для вас смысле, — отвечал деловой человек, — я хочу сказать, что ваш выбор делает вам честь, — словом, вам совершенно не за что обижаться на меня, мистер Страйвер. Но, видите ли… — Тут мистер Лорри сделал паузу и так выразительно покачал головой, словно говорил про себя: «Что же вы, не понимаете сами, как ей будет тесно с этакой громадиной!»

— Ну, знаете! — вскричал Страйвер, выпучив глаза, и. шумно вздохнув, хлопнул рукой по столу. — Вы, мистер Лорри, хоть повесьте меня, но я вас совершенно не понимаю.

Мистер Лорри, словно приготовляясь к сей ответственной операции, надвинул поглубже на уши свой паричок и прикусил кончик гусиного пера.

— Что я, черт возьми, не гожусь в женихи, что ли? — уставившись на него, спросил Страйвер.

— Нет, что вы! Годитесь. Вполне годитесь! — отвечал мистер Лорри. — Кто говорит, что не годитесь?

— Или у меня недостаточно солидное положение?

— О, насчет этого можно не сомневаться! Солидное, в высшей степени солидное, — согласился мистер Лорри.

— Недостаточно блестящие перспективы?

— Перспективы самые блестящие, — подхватил мистер Лорри, с очевидным удовлетворением подтверждая эту неоспоримую истину. — Разумеется, самые блестящие!

— Так за чем же дело стало? Объяснитесь, мистер Лорри, — явно опешив, сказал Страйвер.

— Так вот… я… Вы что, сейчас туда идете? — осведомился мистер Лорри.

— Прямо от вас! — отвечал Страйвер, стукнув кулаком по столу.

— Так вот, лучше… я бы на вашем месте не пошел.

— Но почему же? — вскричал Страйвер. — Нет, я вас сейчас припру к стене! — И он погрозил ему своим судейским перстом. — Вы человек деловой, стало быть вы не станете говорить без причины. Так вот, извольте объяснить причину. Почему бы вы не пошли?

— Да потому, — сказал мистер Лорри, — что я не считал бы возможным пойти но такому щекотливому делу, не имея оснований надеяться на успех.

— Ну, это уж черт знает что такое! — заорал Страйвер. — Просто что-то неслыханное!

Мистер Лорри покосился на главу фирмы в дальнем конце комнаты, потом перевел взгляд на разъяренного Страйвера.

— И это деловой человек, человек в летах, человек с таким опытом — в банке, — который только сейчас, при мне, подсчитал и признал три основательнейших довода, несомненно гарантирующих успех, заявляет, что у меня нет никаких оснований! Как же вы это говорите? Есть же у вас голова на плечах! — Мистер Страйвер сделал такое многозначительное ударение на последних словах, как будто было бы куда менее удивительно, если бы мистер Лорри говорил без головы на плечах.

— Когда я говорю об успехе, я говорю об успехе у молодой девушки, мистер Страйвер, и когда я говорю о причинах и основаниях, я имею в виду причины и основания, с которыми будет считаться молодая девушка. Молодая девушка, сэр, — сказал мистер Лорри, мягко похлопывая Страйвера по плечу, — молодая девушка. Тут ведь все дело в молодой девушке.

— Так вы, значит, хотите сказать, мистер Лорри, — сказал Страйвер, навалившись на стол, — что, по вашему рассуждению, эта молодая девица, о которой идет речь, просто несмышленая дурочка?

— Нет, не совсем так. И должен заметить вам, мистер Страйвер, — сказал мистер Лорри, густо покраснев, — что я никому не позволю выражаться непочтительно об этой молодой особе. И если бы среди моих знакомых нашелся такой грубый, неотесанный человек, — смею надеяться, что у меня нет таких знакомых, который позволил бы себе вот здесь, у моего письменного стола, отозваться непочтительно об этой молодой особе, я бы ему сказал, что я о нем думаю, и даже сам глава фирмы не помешал бы мне это сделать.

От сильного раздражения, которого Страйвер не мог разрядить, ибо вынужден был отводить душу вполголоса, жилы у него на лбу сильно вздулись; и жилы мистера Лорри, в

которых кровь обычно бежала с невозмутимой медлительностью, сейчас были в не менее опасном состоянии.

— Вот все, что я хотел вам сказать, — заключил мистер Лорри. — Я надеюсь, вы меня поняли.

Мистер Страйвер прикусил кончик линейки, попробовал было настукать ею какой-то мотивчик у себя на зубах, отчего у него, должно быть, заныла челюсть, и, наконец, нарушил тягостное молчание.

— Признаться, мистер Лорри, это для меня нечто неожиданное. Вы действительно советуете мне — мне, Страйверу, адвокату Королевского суда, — не ходить в Сохо и не делать предложения?

— Вы спрашиваете моего совета, мистер Страйвер?

— Да, вот именно!

— Очень хорошо. Вот вам мой совет — слово в слово, вы его повторили совершенно правильно.

— Хм! — фыркнул уязвленный Страйвер. — Нечто совершенно уму непостижимое! Ха-ха! Никогда в жизни мне не приходилось слышать ничего подобного и вряд ли когда-нибудь придется. Вот все, что я могу вам сказать.

— Видите ли, — сказал мистер Лорри, — не поймите меня превратно; как человек деловой, я не вправе вступать с вами в обсуждение подобного вопроса, ибо, как человек деловой, я об этом ровно ничего не знаю; но я старый человек, я когда-то на руках носил мисс Манетт, и как старый друг мисс Манетт и ее отца, пользующийся их доверием, я считаю себя вправе говорить с вами. Но, может быть, вы думаете, что я ошибаюсь?

— Нет, — сказал Страйвер и засвистел. — Я не могу вмешивать третьих лиц в дела, которые требуют просто здравого смысла, а есть он или нет, — это я и сам могу решить. Я полагал, что у известной нам особы имеется здравый смысл, а по вашему предположению выходит — там какая-то чепуха на постном масле! Для меня это новость, но, может быть, вы и правы.

— Позвольте мне, мистер Страйвер, самому выбирать слова для моих предположений, — опять вспыхнул мистер Лорри. — Я никому не позволю, даже здесь, в конторе Теллсона, переиначивать мои слова!

— Виноват, прошу прощенья.

— Не будем говорить об этом. Благодарю вас. Так вот, мистер Страйвер, я хотел вам сказать, — поскольку вам было бы тягостно узнать, что вы заблуждаетесь, и доктору Манетту было бы тягостно давать вам по этому поводу объяснения, и мисс Манетт было бы чрезвычайно тягостно объясняться с вами, а вы знаете, в каких отношениях я имею честь состоять с этой семьей, я, если вам угодно, мог бы, не беря на себя никаких полномочий и ни в коей мере не компрометируя вас, деликатно коснуться этого вопроса, прощупать почву и проверить, прав ли я в своих предположениях. Если мое заключение вас не удовлетворит, вы потом сами можете его проверить; если же оно покажется вам достаточно убедительным и подтвердит то, что я думаю, это может избавить и вас и другую сторону от неприятных объяснений. Что вы на это скажете?

— А сколько времени мне из-за этого придется сидеть в городе?

— О, я думаю, это займет всего несколько часов. Я могу сегодня же вечером заглянуть в Сохо, а оттуда зайду к вам.

— Ну, что ж, хорошо, — сказал Страйвер. — Тогда, значит, я сейчас туда не пойду, да у меня, правду сказать, и охота пропала. Хорошо, я буду ждать вас сегодня вечером. До свидания.

И, круто повернувшись, он так стремительно ринулся к выходу, что по всему помещению пронесся вихрь, и древним старичкам клеркам, провожавшим его почтительными поклонами из своих закутков, пришлось напрячь все свои слабые силы, чтобы сохранить равновесие н не опрокинуться. Этим почтенным, хилым личностям приходилось кланяться с утра до вечера, и про них говорили, что они, проводив поклонами одного клиента, не переставали кланяться, чтобы не начинать сызнова, когда войдет другой.

Адвокат Страйвер был человек проницательный, он понимал, что поверенный банка Теллсона не стал бы высказывать ему своих предположений, не будь он совершенно уверен в том, что они обоснованы. Страйвер никак не ожидал, что ему поднесут такую пилюлю, но волей-неволей ему все-таки пришлось ее проглотить.

— Ну, хорошо, подождите, — бормотал он, грозя своим судейским перстом в сторону Тэмпла и все еще давясь этой пилюлей. — Я не я буду, если не оставлю всех вас в дураках!

Это была обычная тактика изворотливого крючкотвора Олд-Бейли, и возможность пустить ее в ход доставляла ему сейчас великое облегчение. «Вам, душенька, не удастся оставить меня в дураках! — бормотал он. — А вот вы у меня сядете в лужу!»

Итак, когда мистер Лорри пришел к нему вечером, часов около десяти, мистер Страйвер сидел, уткнувшись в какие-то бумаги, обложенный со всех сторон книгами, которые он нарочно разбросал по всему столу, и казалось, и думать забыл об утреннем разговоре. Он даже выразил удивление, увидев мистера Лорри, и смотрел на него каким-то отсутствующим взглядом, — до такой степени он был поглощен своими делами.

— Так вот… — промолвил добродушный посол после того, как он в течение получаса тщетно старался заставить Страйвера вернуться к предмету их утреннего разговора, — я был в Сохо.

— В Сохо… — рассеянно повторил мистер Страйвер. — Ах, да! Разумеется, я что-то запамятовал.

— И теперь я уже не сомневаюсь, что я был прав, — продолжал мистер Лорри, — мои предположения подтвердились, и я могу только еще раз повторить то, что я вам уже советовал.

— Поверьте, я чрезвычайно огорчен и за вас и за ее бедного отца, — отвечал мистер Страйвер. — Я знаю, как это должно быть неприятно для семьи. Давайте не будем больше говорить об этом!

— Я… я… не понимаю вас, — пробормотал мистер Лорри.

— Ну, разумеется, так и следовало ожидать, — отвечал Страйвер и, словно успокаивая его, энергично закивал головой. — Но это не имеет значения, не имеет значения.

— Да, нет, как же это не имеет значения? — возразил мистер Лорри.

— Ни малейшего, уверяю вас… Я имел неосторожность предположить здравый смысл и похвальное честолюбие там, где их нет и в помине, но вовремя спохватился и счастливо избежал ошибки, так что все обошлось как нельзя лучше. Молодые женщины нередко совершали подобные безрассудства, а потом каялись, когда им приходилось влачить жалкое существование в беспросветной нужде. Говоря совершенно бескорыстно, я жалею, что завел об этом речь, потому что для меня лично, если смотреть на дело практически, ничего хорошего не получилось бы. А с эгоистической точки зрения, я, конечно, рад, что ничего не вышло, потому что в противном случае я от этого только пострадал бы. Это настолько ясно, что и говорить не стоит. Словом, все обошлось как нельзя лучше. Я предложения молодой особе не делал, да между нами говоря, вряд ли, по здравому рассуждению, и рискнул бы сделать… Нет, мистер Лорри, нельзя доверяться глупой суетности и легкомыслию пустоголовых молодых девиц; нечего и пытаться, только себя обманывать. И давайте не будем больше говорить об этом. Я вам уж сказал: что касается их, — мне их просто жаль, ну, а за себя я, конечно, доволен. И я чрезвычайно признателен вам за то, что вы помогли мне все это выяснить и дали

добрый совет. Вы лучше меня знаете молодую особу, и вы были совершенно правы, — ничего путного из этого не могло получиться!

Мистер Лорри был так ошарашен, что только хлопал глазами и слушал мистера Страйвера с тупым изумлением, а тот продолжал разглагольствовать все с тем же великодушным, благожелательным и всепрощающим видом, словно милостиво выговаривая провинившемуся, и потихоньку подталкивал его к двери.

— Не огорчайтесь, дорогой сэр, — говорил он, — не будем возвращаться к этому. Еще раз приношу вам свою благодарность за то, что вы дали мне возможность прощупать почву. Спокойной ночи!

Не успел мистер Лорри опомниться, как он уже очутился на улице. А мистер Страйвер, оставшись один, растянулся па диване, уставился в потолок и, припоминал беседу, подмигивал сам себе и довольно ухмылялся.

Глава XIII

Грубая личность

Если Сидни Картону и случалось где-нибудь блистать, то никак не в доме доктора Манетта. Вот уже целый год как он бывал там, и довольно часто, но держался все так же замкнуто и угрюмо. Когда его иной раз удавалось вовлечь в разговор, он говорил интересно, занимательно. Но его, казалось, ничто не занимало, и сквозь, этот губительный мрак полного безразличия ко всему редко прорывался свет, сиявший в его душе.

И все-таки ему, по-видимому, были не совсем безразличны эти улочки, примыкающие к тупику, и эти бесчувственные плиты тротуара под окнами тихого дома. Как часто, не находя себе места, когда и вино не помогало ему забыться хотя бы на время, он точно потерянный бродил здесь целыми ночами. Как часто в первых проблесках серого рассвета смутно выступал во мгле печальный силуэт одинокого человека, медлившего расстаться с этими улочками, медлившего покинуть их до тех пор, пока первые солнечные лучи, брызнув на шпили церквей, на крыши высоких зданий, внезапно не открывали взору чудесную строгую красоту четко обозначившихся стройных архитектурных линий и контуров; быть может, и его душе открывалось в этот тихий час нечто прекрасное, невозвратимое, утраченное, недостижимое. В последнее время его убогое ложе в Тэмпл-Корте пустовало чаще обычного; случалось, вернувшись к себе, он бросался на кровать, но, полежав несколько минут, вскакивал и опять уходил бродить возле того тупичка.

Однажды в августе, после того как мистер Страйвер (известив своего шакала, что он «оставил мысли насчет женитьбы») переместил свою изысканную особу в Девоншир, когда благоуханье цветов, разносившееся по улицам города, веяло чем-то добрым даже на самых злых, возвращало немножко здоровья безнадежно больным и немножко юности даже самым дряхлым, Сидни незаметно для себя снова очутился на той же мостовой; ноги как-то сами собой привели его сюда; некоторое время он блуждал без всякой цели, а потом вдруг, словно повинуясь какому-то неодолимому стремлению, решительно направился к крыльцу докторского дома.

Его проводили наверх, и он застал Люси одну за каким-то рукодельем. Она никогда не чувствовала себя с ним вполне свободно и сейчас немножко смутилась, когда он сел против нее за ее столик. Но когда он заговорил и Люси, отвечая ему на какой-то вопрос, подняла на него глаза, она заметила, что он сильно изменился.

— Мне кажется, вы не очень хорошо себя чувствуете, мистер Картон?

— Не очень. Но ведь жизнь, которую я веду, вряд ли способствует хорошему самочувствию, мисс Манетт. Да и что хорошего могут ждать для себя беспутные люди вроде меня, да и от них чего можно ждать?

— Но разве вам — простите мне мой вопрос! — разве вам самому не грустно, что вы так живете?

— Господи боже! Конечно, стыд и срам!

— Так почему бы вам не изменить свою жизнь?

И она ласково взглянула на него и с удивлением и огорчением увидела слезы у него на глазах. И в голосе его тоже слышались слезы, когда он сказал тихо:

— Уже поздно. Мне никогда не исправиться. Я буду только еще больше опускаться и меняться к худшему.

Он облокотился на стол и прикрыл глаза рукой. В наступившей тишине слышно было, как поскрипывает стол.

Она никогда еще не видела его таким и очень огорчилась. И он, даже не глядя на нее, чувствовал это.

— Простите меня, мисс Манетт, — сказал он. — Я думал о том, что собирался вам сказать, и не совладал с собой. Вы способны меня выслушать?

— Конечно, мистер Картон, я буду очень рада, если вам от этого станет легче и вы почувствуете себя хоть немножко счастливее.

— Да благословит нас бог за ваше милое участие!

Он посидел так еще минуту, потом отнял руку от лица и заговорил спокойно:

— Не бойтесь выслушать меня. Не пугайтесь, что бы я ни сказал. Я все равно что умер, давно когда-то, в юности. Вся моя жизнь — это только то, что могло бы быть.

— Нет, нет, мистер Картон! Я уверена, что лучшая часть жизни у вас еще впереди, я уверена, что вы можете стать гораздо, гораздо достойнее себя самого!

— Скажите — вас, мисс Манетт, и хотя я прекрасно знаю, что это не так, хотя в тайниках моего горемычного сердца я знаю, что этого не может быть, — я никогда, никогда этого не забуду!

Она смотрела на него, бледная, дрожащая. Он сам пришел ей на помощь, но с таким самоуничижением, отрекаясь ото всяких надежд, что весь их разговор принял какой-то странный и даже невероятный характер.

— Если бы это было возможно, мисс Манетт, что вы способны были бы ответить на чувство такого беспутного, погибшего, ни на что не годного, спившегося забулдыги, как я, — а вы ведь знаете, что я такой и есть, — то каким бы счастливцем он ни почувствовал себя, он в тот же час, в тот же миг сказал бы себе, что он не может принести вам ничего, кроме горя и нужды, что он обречет вас на страдания, заставит вас горько каяться, погубит вас, опозорит, потащит за собой на дно. Я очень хорошо понимаю, что вы не можете питать ко мне никаких нежных чувств, я этого и не прошу. Я даже благодарен судьбе, что этого не может быть.

— А разве без этого я не могла бы как-то вас поддержать, мистер Картон? Не могла бы заставить вас — простите, что я так говорю, — изменить вашу жизнь к лучшему? Неужели я ничем, ничем не могу отплатить вам за ваше доверие? Ведь я понимаю, что вы доверились мне, — промолвила она робко и со слезами на глазах. — Я же знаю, что вы не открылись бы так никому другому. Не могу ли я что-то сделать, чтобы помочь вам, мистер Картой?

Он покачал головой.

— Нет, мисс Манетт. Мне уже ничто не поможет. Если вы еще немножко потерпите и выслушаете меня, вы сделаете для меня все, все, что только в ваших силах. Я хочу, чтобы вы знали, что вы останетесь для меня последней мечтой моей души. Как бы низко я ни пал, душа моя еще не совсем огрубела, — всякий раз, как я приходил к вам в этот дом, который вы сделали таким отрадным приютом, и видел вас рядом с вашим отцом, я чувствовал, как в душе моей оживает что-то давно забытое, что, казалось, уже давным-давно умерло в ней. С тех пор

как я увидел вас, меня снова начали мучить укоры совести, — а я думал, она уже никогда больше не проснется во мне, — и голос, который когда-то звучал в моей душе и смолк, как мне казалось, навеки, снова начал увещевать меня, призывая подняться. И опять во мне забродили смутные желанья начать все сызнова, стряхнуть с себя этот смрад и угар, собраться с силами и еще раз вступить в борьбу, от которой я уже давно отказался. Мечты, сон! Проснешься — и ничего не остается! Проснешься — и опять та же яма, но я хочу, чтобы вы знали, что вы пробудили во мне эти мечты.

— О, неужели ничего не остается? Подумайте, мистер Картон, попытайтесь еще раз!

— Нет, мисс Манетт. Сколько бы я ни пытался, я знаю, что я человек конченый. И все-таки я не мог и не могу не высказать вам всего этого, мне хочется, чтобы вы знали, какую власть вы обрели надо мной, как вы сумели зажечь эту груду остывшего пепла, превратить ее в пламя, но пламя это — увы! такое же, как я сам, — оно не живит, не светит, не приносит пользы, только вспыхивает и сгорает зря.

— Но если я невольно этому виной, если я сделала нас еще несчастнее, чем вы были до того, как встретились со мной…

— Не говорите этого, мисс Манетт, вы спасли бы меня, если бы что-то могло меня спасти. А хуже того, чем я был, вы меня не сделаете.

— Но если это состояние, то, что вы про себя рассказываете, в какой-то мере зависит от меня, если — не знаю, так ли я говорю, я хочу, чтобы вы меня поняли, — если я могу как-то на вас повлиять, не могу ли я употребить это влияние вам на пользу. Неужели я не могу сделать для вас что-нибудь хорошее?

— Самое хорошее, мисс Манетт, я испытал здесь у вас. Позвольте мне до конца моей непутевой жизни сохранить память о том, что вам одной во всем свете я открыл свое сердце и что в нем тогда еще уцелело что-то, что вы могли пожалеть и оплакать.

— О мистер Картон! Поверьте, оно гораздо лучше, оно еще способно на многое доброе, верьте, верьте этому, умоляю вас всеми силами души!

— Не умоляйте, я не стою этого, мисс Манетт. Я уже не раз себя проверял и знаю. Я огорчил вас. Еще несколько слов, и я кончу. Я буду помнить об этом дне, когда я доверился вашему чистому невинному сердцу. Можете вы пообещать, что сохраните в нем мою исповедь и что только вы, вы одна и будете знать о ней?

— О да, если это вас хоть сколько-нибудь утешит!

— Вы никому не откроете ее, даже самому близкому, дорогому для вас существу?

— Мистер Картон, — не сразу ответила она, взволнованная до глубины души. — Ведь это ваша тайна, а не моя, я обещаю вам свято хранить ее.

— Спасибо. Да благословит вас бог! Он поднес ее руки к губам, повернулся и пошел к двери.

— Вы можете быть спокойны, мисс Манетт, — сказал он, остановившись в дверях, — я никогда больше не возобновлю этот разговор и не позволю себе упомянуть о нем ни одним словом. Он останется в тайне, как если бы я унес его с собой в могилу. И когда я буду умирать, это будет мое единственное светлое воспоминание, и я до последнего вздоха буду благодарить и благословлять вас за то, что вы кротко приняли в свое сердце мою последнюю исповедь и сохранили в нем мое имя, мои заблуждения, мои несчастия. Дай бог, чтобы, помимо этого бремени, оно было спокойно и счастливо!

Он был так не похож на того Картона, каким он всегда старался казаться, и так грустно было сознавать, как много хорошего загублено в нем, и как он изо дня в день калечит и заглушает в себе все хорошее, что Люси Манетт не могла удержаться от слез.

— Утешьтесь, я не стою таких добрых чувств, мисс Манетт, — промолвил он. — Пройдет час-другой, и мной опять завладеют мои низкие страсти, меня опять потянет в ту же гнусную

компанию, и как бы я все это ни презирал, я не буду этому противиться. Не плачьте, я не стою ваших слез; какой-нибудь несчастный нищий на улице больше заслуживает вашей жалости, чем я. Но в глубине души я, думая о вас, буду всегда таким, каким вы меня узнали сегодня, хотя внешне я останусь тем же, чем был раньше. Мне бы только хотелось, чтобы вы верили этому, мисс Манетт.

— Я верю, мистер Картон.

— И вот, наконец, моя последняя просьба к вам, после чего я освобожу вас от посетителя, с которым у вас не может быть ничего общего, ведь я понимаю, что между мной и вами лежит непроходимая пропасть. Не надо бы и говорить об этом, но так уж оно само рвется из души. Для вас, мисс Манетт, и для тех, кто вам дорог, я готов сделать все, все на свете! Если бы я занимал какое-то положение и мне представилась возможность пожертвовать для вас чем-то, я с радостью пошел бы на любую жертву для вас и для ваших близких. Вспомните обо мне когда-нибудь в тихую минуту как о человеке, неизменно преданном вам всей душой. Придет время, и оно уже недалеко, когда новые милые и сладостные узы, самые драгоценные и прочные, привяжут вас еще сильнее к вашему дому, в который вы вносите столько радости. О мисс Манетт, когда в личике малютки, прижавшемся к вам, вы будете находить черты счастливого отца, когда в невинном создании, играющем у ваших ног, вы увидите отражение собственной светлой красоты, вспоминайте иногда, что есть на свете человек, который с радостью отдал бы жизнь, чтобы спасти дорогое вам существо.

Прощайте! Да благословит вас бог! — еще раз промолвил он и исчез.

Глава XIV

Честный ремесленник

Перед глазами мистера Джеремайи Кранчера, восседавшего на табурете на Флит-стрит, рядом со своим страшноватым отпрыском, каждый день двигалась пестрая, шумная, многолюдная толпа. Какой человек, просидев несколько часов на Флит-стрит во время дневной сутолоки — посадите его на что угодно, — не почувствовал бы себя оглушенным и не одурел бы от этого непрерывного движения двух бесконечных потоков: один из них неизменно устремлялся вместе с солнцем на запад, другой неизменно катился прочь от него, на восток, но оба они в конце концов стремились в те дальние дали за пределы пурпурного марева зари, за которым скрывается солнце.

Мистер Кранчер, засунув соломинку в рот, сидел и смотрел на оба эти потока, уподобившись тому языческому поселянину, который некогда на многие сотни лет был обречен сидеть и смотреть на течение некоего потока[37] — с той лишь разницей, что Джерри не томился ожиданьем, что его поток когда-нибудь иссякнет. И ему это отнюдь не улыбалось, ибо в какой-то незначительной мере его доходы пополнялись от переправы некоторых робких особ женского пола (преимущественно тучной корпуленции и более чем среднего возраста) со стороны теллсоновского банка на противоположный берег. И хотя в каждом отдельном случае общение мистера Кранчера с дамой было весьма ограничено, все же он успевал проникнуться таким участием к доверившейся ему особе, что всякий раз выражал пламенное желание выпить за ее бесценное здоровье. Вот этими-то щедротами, в которых дамы, конечно, не отказывали ему ввиду такого благородного пожелания, он, как говорилось выше, и пополнял свои финансы.

Было время, когда некий поэт посиживал на скамье на людной площади и, глядя на людей, предавался размышлениям. Мистер Кранчер, сидя на своем табурете на людной улице, не будучи поэтом, по возможности избегал размышлений, но зато усердно поглядывал по сторонам.

Однажды он сидел, поглощенный этим занятием, в такое время, когда народу на улице было мало и женщин, застигнутых уличным движением, тоже не было видно, а с делами ему так не везло, что у него опять зародилось сильное подозрение, не принялась ли миссис

Крaнчер снова за старое, не начала ли она опять бухаться, ему наперекор, — как вдруг его внимание было привлечено необычайной процессией, двигавшейся по Флит-стрит к западу. Мистер Кранчер, приглядевшись, рассмотрел, что это нечто вроде похоронной процессии, но толпа почему-то возмущается этими похоронами и провожает покойника гневными выкриками.

— Джерри, сынок, — сказал мистер Кранчер, оборачиваясь к своему бесценному отпрыску, — похоже, кого-то везут хоронить.

— Ур-ра, папенька! — откликнулся Джерри-младший.

Восторженный возглас юного отпрыска прозвучал с какой-то загадочной многозначительностью. Джерри-старший воспринял это весьма неодобрительно и, недолго думая, закатил сыну здоровую оплеуху.

— Ты что это выдумал? Что за «уры» такие? Что это ты хочешь сказать, молодой висельник, своему родному отцу? Нет, этот малый по мне что-то уж слишком того… — бормотал мистер Кранчер, косясь на свое произведение. — Надо же, — урыкать вздумал! Смотри у меня, чтоб я этого больше не слыхал, а то еще и не то получишь!

— А что я такого сделал, я ничего не… — захныкал Джерри-младший, потирая скулу.

— Заткнись! — прикрикнул на него мистер Кранчер. — Я твоих ничегов знать не желаю! Ну-ка, полезай на табурет да погляди, что там такое творится?

Сынок повиновался; процессия тем временем приблизилась; толпа орала, свистела и неистовствовала вокруг жалких погребальных дрог и не менее жалкой траурной кареты, в которой сидел один-единственный провожающий, облаченный в жалкие траурные доспехи, кои в таком положении считаются необходимыми для поддержания достоинства и соблюдения приличий. Но положение его, по-видимому, было не из приятных: толпа, обступившая карету, кричала, бесновалась, улюлюкала, напирала все сильней и сильней, со всех сторон слышались вопли: «Фискалы! Доносчики!» — и все это сопровождалось свистом и такими лестными эпитетами, что язык не повернется их повторить.

Похороны всегда как-то неотразимо привлекали мистера Кранчера. Он весь настораживался и приходил в сильное волнение, когда мимо банка Теллсона шествовала похоронная процессия. Поэтому естественно, что такие необычные похороны привели его в сильнейшее возбуждение; как только толпа поравнялась с ним, он спросил первого попавшегося человека:

— Что это там происходит, братец? Из-за чего такой шум?

— Не знаю! — ответил тот на бегу. — Фискалы! Доносчики! Фьюить! Долой!

Джерри обратился к другому.

— Кого это хоронят?

— Не знаю, — отвечал и этот и, приложив руки ко рту, заревел во всю глотку: — Фискалы! Фьюить! Фьюить! Долой! — перемежая свист и возгласы целым потоком самых отборных ругательств.

Наконец Джерри попался человек более осведомленный о существе дела, и от него он узнал, что хоронят некоего Роджера Клая.

— А он что, доносчик был?

— Доносчик из Олд-Бейли! — ответил осведомленный человек. — Ого-го! Фьюить! Доносчик из Олд-Бейли!

— А ведь верно! — вскричал Джерри, вспомнив суд, на котором он присутствовал. — Я его там видел! Так он. Значит, помер?

— Околел, падаль! Туда ему и дорога! Все бы они передохли! Фискалы! Эй, выволакивай его! Тащи вон! Долой фискалов!

Это предложение за неимением других так воодушевило толпу, что она, радостно подхватив возглас: «Тащи вон! Выволакивай!» — с жаром бросилась приводить его в исполнение, и так плотно облепила дроги и карету, что им волей-неволей пришлось остановиться. Немедленно распахнули дверцы кареты, и единственный провожающий, не дожидаясь, чтобы его выволокли, поспешно выскочил сам, прямо в руки толпы, однако он оказался таким проворным, что тут же нырнул куда-то вбок, и в следующую минуту уже бежал сломя голову по переулку, оставив в руках своих преследователей черный плащ, шляпу, траурный креп, белый носовой платок и прочие эмблемы скорби.

Все это мгновенно разорвали в клочки и расшвыряли с веселым гиканьем; а лавочники меж тем бросились поспешно запирать лавки, потому что толпы в те времена сильно побаивались, — это было страшилище, которое ни перед чем не останавливалось. Сейчас она уже вошла в азарт и, осадив дроги, собиралась вытаскивать гроб, но тут кого-то осенила блестящая идея — устроить веселое шествие и проводить покойника к месту назначения с пением и плясками. Так как это вполне отвечало настроению толпы, все с восторгом ухватились за эту идею; тотчас же человек двадцать бросились осаждать карету, восемь набились внутрь, остальные примостились снаружи, а на крышу катафалка взгромоздилось столько народу, сколько могло удержаться, не рискуя сломить себе шею. В первой кучке этих добровольных провожатых оказался и Джерри Кранчер, который, забившись в дальний угол траурной кареты, скромно прятал свои ощетинившиеся острия, опасаясь, как бы его не увидели из окон Теллсона.

Служащие бюро похоронных процессий, сопровождавшие катафалк, попробовали было протестовать против таких нарушений церемониала, но угрожающая близость реки и энергичные выкрики, призывавшие окунуть упрямцев для вразумления в холодную воду, быстро пресекли эти робкие попытки к сопротивлению. И так преображенный погребальный кортеж двинулся в путь, — на козлах катафалка восседал трубочист, а рядом с ним, в качестве советника, настоящий кучер, за которым тщательно наблюдали сидящие сзади. На козлы траурной кареты взобрался пирожник, а его премьер-министр примостился рядом. Не успели они проехать по Стрэнду несколько шагов, как к ним присоединились еще две красочные фигуры, довольно часто появлявшиеся в то время на улицах города, — поводырь с медведем; медведь был большой, черный, страшно облезлый, и, когда он зашагал со своим поводырем в последнем ряду толпы, замыкавшем шествие, процессия приобрела поистине мрачно торжественный вид.

Угощаясь пивом, дымя трубками, кривляясь, горланя, передразнивая на все лады скорбные проводы, шумная процессия двигалась по улицам города, с каждым шагом умножая свои ряды, и все лавки поспешно запирались при ее приближении. Она направлялась к старинной церкви св. Панкратия, стоявшей далеко на окраине в поле; достигнув цели своего паломничества, вся толпа ввалилась в кладбищенскую ограду, дабы предать земле тело покойного Роджера Клая; в конце концов сия церемония была совершена, если не совсем обычно, то к полному удовлетворению всех присутствующих.

Разделавшись с покойником, толпа не унялась, ее обуревала жажда новых развлечений; и тут какому-то умнику (быть может, тому же самому) пришла счастливая мысль хватать всех прохожих и подвергать их допросу, и коль среди них обнаружатся фискалы из Олд-Бейли, — учинять над ними расправу. Добычей оказалось несколько десятков ни в чем не повинных жертв, которые никогда в жизни и близко не подходили к Олд-Бейли; разохотившиеся преследователи обошлись с ними весьма сурово и здорово намяли им бока. От этого увлекательного занятия как-то само собой перешли к битью окон, после чего, сильно воодушевившись, бросились громить питейные заведения. Буйное веселье продолжалось несколько часов, и только когда уже успели разнести несколько беседок и повалить заборы, откуда самые отчаянные драчуны понадергали кольев, чтобы орудовать ими в качестве

дубинок, прошел слух, что идет стража. Стража то ли пришла, то ли нет, но толпа постепенно растаяла; как всегда в таких случаях, народ, покуролесив вдоволь, разбежался.

Мистер Кранчер не принимал участия в поминальных игрищах, а остался на кладбище потолковать с могильщиками и выразить им свое сочувствие. Это тихое место подействовало на него успокаивающе. Он раздобыл себе табаку в ближайшем трактире и, покуривая трубку, внимательно разглядывал ограду и запоминал расположение могил.

— Так-то, Джерри, — бормотал он себе под нос, по привычке разговаривая сам с собой, — ты ведь видел там этого Клая, видел собственными глазами, какой он был молодой, здоровый.

Выкурив трубку, он еще посидел, подумал, и затем двинулся в обратный путь, чтобы до конца служебного времени вернуться на свой пост у конторы Теллсона. Возможно, грустные размышления о смерти плохо сказались на его печени или, быть может, он уже давно чувствовал себя неважно, а может статься — ему просто хотелось засвидетельствовать свое почтение знаменитому человеку, — так или иначе следует отметить, что он на обратном пути заглянул ненадолго к своему доктору — известному в то время хирургу.

Юный Джерри, с гордостью заменявший отца, доложил ему, что в его отсутствие никаких поручений не было. Банк вскоре закрылся, древние старички клерки разошлись, у ворот стал часовой, и мистер Кранчер с сыном отправились домой пить чай.

— Я тебя предупреждаю, — сказал мистер Кранчер жене, едва переступив порог, — ежели я нынче сорвусь на своем честном промысле и опять у меня ничего не выйдет, я так и буду знать, что это ты мне своими молитвами дело испортила, и тут уж я с тобой так расправлюсь, как ежели бы я своими собственными глазами видел, как ты мне наперекор бухаешься.

Забитая миссис Кранчер в ответ только покачала головой.

— Ах так, значит ты на своем стоишь?

— Я ничего не говорю.

— Не говоришь, а про себя держишь. Нет, ты это из головы выкинь! Что думать, что об пол бухаться, — разницы нет. Что так, что сяк, ты мне опять, того гляди, все испортишь. Я тебе говорю, выкинь из головы, брось!

— Да, Джерри.

— Да, Джерри! — передразнил мистер Кранчер, усаживаясь за стол. Только от тебя и слышишь «да, Джерри», это тебе ничего не стоит сказать.

Мистер Кранчер ехидно повторял эти слова, не вкладывая в них никакого смысла, он просто давал выход своему недовольству, как это частенько делает каждый из нас.

— Вечно ты со своими «да, Джерри», — ворчливо продолжал он и, откусив кусок хлеба с маслом, так смачно отхлебнул чай с блюдца, словно проглотил крупную устрицу. — Понадейся на тебя! Так я тебе и поверил!

— А ты сегодня на ночь пойдешь? — спросила его тихая жена после того, как он откусил еще кусок.

— Да, пойду.

— А можно мне пойти с вами, папенька? — проворно вставил сынок.

— Нет, нельзя. Я иду — твоя мать знает, куда я иду, — рыбу ловить, вот я куда иду. Понятно тебе? — на рыбную ловлю!

— У вас, папенька, крючки рыболовные здорово заржавели. Правда, папенька?

— Не твое это дело!

— А вы домой принесете рыбки, папенька?

— Вот ежели я не принесу, — отвечал папенька, тряся головой, — придется тебе завтра зубы на полку положить. Прекрати-ка эти расспросы. Я пойду поздно, ты уж давно спать будешь.

Весь вечер он ни на минуту не переставал наблюдать за миссис Кранчер и то и дело отпускал всякие язвительные замечания, настойчиво втягивая ее в разговор, чтобы не дать ей настроиться на молитвенный лад и измышлять молитвы ему во вред. С этой же целью он и сына подстрекал приставать к матери и донимал несчастную женщину всякими попреками, припоминая все ее провинности, лишь бы не давать ей ни минуты покоя и не предоставить ее собственным размышлениям. Никогда ни один святоша не проявлял такой слепой веры в силу молитвы, какую обнаруживал мистер Кранчер в своих опасениях по поводу молений своей жены. Все равно как если бы человек, не верящий в привиденья, до смерти боялся рассказов о привиденьях.

— Попомни мои слова! — говорил мистер Кранчер. — Чтобы мне завтра не было никаких фокусов. Ежели я своим честным промыслом заработаю на кусок мяса, но сметь у меня за столом нос воротить и на одном хлебе сидеть! И если я на свои честно вырученные деньги принесу домой пинту пива к обеду, не вздумай у меня от пива шарахаться да воду цедить! В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Так вот, ежели тебе мой устав не по нраву, я тебе такой устав пропишу, что вовек не забудешь!

И, едва передохнув, он опять принимался ворчать:

— Тоже выдумала, от своих заработанных харчей нос воротить! Да не от твоих ли этих дурацких поклонов, не от твоего ли бесчувствия у нас в доме иной раз ни пить, ни жрать нечего. Ты хоть на него погляди! — Сын он тебе или нет? — худой как щепка! Тоже, мать называется! Где у тебя понятие о своих материнских обязанностях? Ведь первый долг матери сына кормить, чтобы он у нас упитанный был.

Джерри-младшего это наставление задело за живое, и он с ножом к горлу пристал к матери, чтобы она скорее выполняла свой долг, и какие бы у нее ни были другие дела или упущения, не отлынивала бы от своей священной материнской обязанности, о которой ей так мягко и заботливо напомнил его любящий родитель.

Так прошел вечер в семействе Кранчер; наконец Джерри-младшего отправили спать и маменьке приказали последовать его примеру, что она немедленно и сделала. Мистер Кранчер долго сидел один, покуривая трубку, и только когда время стало приближаться к часу, к этому самому глухому и мрачному времени ночи, он поднялся со своего кресла, вытащил из кармана ключ и, отперев шкаф, достал оттуда большой мешок, железный лом, веревку, цепь и прочие рыболовные принадлежности того же рода. Ловко нацепив на себя всю эту снасть и пробормотав на прощанье какие-то угрозы по адресу миссис Кранчер, он задул свет и вышел.

Джерри-младший, который лежал под одеялом одетый и только притворялся спящим, тотчас же выскользнул из постели. Бесшумно двигаясь в темноте, он незаметно выбрался из комнаты, крадучись спустился по лестнице, крадучись юркнул вслед за отцом во двор и крадучись пошел за ним по улицам. Он не испытывал ни малейшего беспокойства по поводу своего возвращения, в доме было много жильцов и наружная дверь стояла всю ночь открытой.

Подстегиваемый похвальным честолюбием проникнуть в тайну честного отцовского промысла и постичь его искусство, Джерри-младший ни на минуту не упускал из виду почтенного родителя и жался как можно ближе к стенам и воротам, совсем так же, как его собственные глаза жались один к другому.

Почтенный родитель направлялся, по-видимому, в северную часть города; довольно скоро к нему присоединился еще один последователь Исаака Уолтона[38], и они зашагали вместе.

Примерно через полчаса ходьбы они оставили позади тускло мигающие фонари и уже не мигающих, а смеживших очи сторожей и вышли на пустынную дорогу. Здесь к ним примкнул еще один рыболов, — причем он появился так беззвучно, что будь Джерри-младший склонен

к суеверию, ему, вероятно, показалось бы, что второй приобщник этого тихого братства вдруг каким-то таинственным образом распался надвое.

Все трое двинулись дальше, а Джерри-младший крадучись следовал за ними, и, наконец, вся троица остановилась под крутым откосом, выступавшим над самой дорогой. Наверху по откосу шла низкая каменная стена с железной оградой. Трое рыбаков свернули с дороги и пошли по тропинке вверх вдоль стены, возвышавшейся здесь футов на девять-десять. Юный Джерри, спрятавшись в тени за стеной, выглянул на тропинку и в бледном свете луны, пробивавшейся из-за облаков, увидел своего почтенного родителя, ловко перелезающего через ворота ограды. В то же мгновенье он исчез по ту сторону стены; за ним следом полез второй рыболов, потом третий. Все они мягко прыгали на землю и некоторое время лежали в траве, должно быть прислушиваясь. Потом поползли на четвереньках куда-то вглубь.

Наконец и юный Джерри, затаив дыхание, приблизился к воротам. Выбрав уголок потемнее, он присел на корточки и, прижавшись лицом к прутьям ограды, увидел, как три рыболова, один за другим, ползут по густой траве, а кругом, как привиденья, все в белом стоят могильные памятники, — оказывается, это было громадное кладбище, — и над ними, словно призрак какого-то страшного великана, возвышается церковная колокольня. Они ползли недолго, тут же невдалеке остановились, поднялись на ноги и принялись удить.

Сначала они удили заступом. Потом почтенный родитель закинул какую-то другую снасть, похожую на громадный штопор. Чем бы они ни удили, они удили старательно, и юный Джерри следил за ними, не отрываясь, до тех пор, пока зловещий бой часов на колокольне не напугал его до смерти: вихры у него стали дыбом, как у отца, и он не помня себя бросился бежать сломя голову.

Однако снедавшее его любопытство узнать побольше про эти таинственные дела пересилило страх, и едва только он остановился, как его потянуло обратно. Когда он второй раз заглянул через прутья ограды, рыбаки все еще усердно удили, но на этот раз рыба, должно быть, клюнула. Из-под земли доносился жалобный скрипящий звук, а согнувшиеся в три погибели рыболовы, надрываясь от усилий, тащили, по-видимому, что-то страшно тяжелое. Наконец этот тяжелый груз пробил державшую его землю и вылез наверх. Юный Джерри давно догадался, что это такое; но когда он увидел это своими глазами и когда на его глазах почтенный родитель принялся отдирать крышку, его охватил ужас — ведь он первый раз в жизни видел такое зрелище, — и он опять бросился бежать, и, должно быть, милю с лишним бежал не останавливаясь.

Не перехвати у него дыхание, он бы так и бежал без оглядки, потому что это был бег не на жизнь, а на смерть, — он спасался от призрака. Ему казалось, что гроб, который он только что видел, гонится за ним; он чуть ли не слышал, как, став стоймя, он скачет за ним по пятам и вот-вот нагонит, запрыгает рядом и, того гляди, схватит за руку. Только бы успеть добежать, спастись от этой погони! А он такой неуловимый и вездесущий, этот адский призрак! Он и там, за его спиной, в этой необъятной тьме, и вот здесь, в одном из этих темных переулков, — Джерри кидался на самую середину дороги — вот он сейчас бросится на него из-за угла, подскакивая, точно разбухший бумажный змей без крыльев и без хвоста; он прятался в темных подъездах, высовывался из дверей и смотрел на него оскалившись, подрагивая страшными плечами, словно давясь от хохота; он забирался в любую тень, протянувшуюся через дорогу, и, распластавшись, поджидал, что Джерри о него споткнется. И в то же время он неотступно гнался за ним вприпрыжку, скакал за ним по пятам, — и вот уже совсем настигал его, так что не удивительно, что Джерри примчался домой еле живой, и даже тут он не отстал от него, а гнался за ним по лестнице, стукая по каждой ступеньке, и только Джерри юркнул в постель, как он навалился ему на грудь, мертвый, тяжелый, — а дальше Джерри уже ничего не помнил, потому что тут же заснул. Солнце еще не взошло, но уже начало светать, когда Джерри-младший проснулся у себя в чуланчике от тяжкого сна, разбуженный голосом отца и какой-то возней в комнате. По-видимому, у него опять что-то сорвалось, так по крайней мере заключил

юный Джерри, когда увидел, как отец, схватив за уши мать, колотит ее головой о стенку кровати.

— Я тебя предупреждал, предупреждал! Ну, вот и получай, — приговаривал мистер Кранчер.

— Джерри, Джерри, Джерри! — всхлипывая, умоляла его миссис Кранчер.

— Ты мне вредишь, срываешь все дело, — говорил мистер Кранчер, — и я и мои компаньоны терпим убыток. Твой долг почитать меня и слушаться, а ты, черт тебя возьми, что делаешь?

— Я стараюсь быть тебе хорошей женой, Джерри, — всхлипывая, говорила бедная миссис Кранчер.

— Вредить мужу — это называется быть хорошей женой? Какая жена, почитающая мужа, станет порочить его честный промысел? Или это, по-твоему, значит слушаться мужа — постоянно перечить ему в самом главном и не давать ему заработать на хлеб?

— Ты ведь раньше не занимался этим ужасным промыслом, Джерри.

— С тебя довольно знать, что ты жена честного труженика, — огрызнулся мистер Кранчер, — и не твоего бабьего ума дело какие-то там счеты вести, с каких пор, чем, да когда он промышляет. Почтительная, послушная жена не станет совать нос в дела своего мужа. А еще святошу из себя корчишь! Знал бы я, что они такие, святоши, лучше бы я себе нечестивицу взял, Где у тебя понятие о долге? Все надо в тебя силком вбивать, все равно как вон ту сваю в дно Темзы.

Это семейное объяснение велось вполголоса и кончилось тем, что честный труженик стащил с ног свои облепленные глиной сапоги, швырнул их в угол, а сам растянулся на полу. Робко высунув голову из чуланчика и убедившись, что отец спит, подложив под голову вместо подушки бурые от ржавчины руки, Джерри-младший тоже улегся и заснул.

Никакой рыбы к завтраку не было — завтрак был более чем скромный. Мистер Кранчер, мрачный, недовольный, сидел насупившись, положив около себя на столе крышку от кастрюли в качестве метательного снаряда для вразумления миссис Кранчер и для пресечения ее попыток прочесть молитву перед едой. К положенному часу он привел себя в порядок, умылся, почистился и отправился вместе с сыном на свою дневную работу.

Джерри-младший, со складным табуретом под мышкой, шагал рядом с отцом по солнечной многолюдной Флит-стрит, и был совсем непохож на того Джерри, который, не помня себя от страха, бежал сломя голову ночью по темным пустым улицам, спасаясь от страшной погоня. Едва наступил день, присущее ему озорство снова проснулось в нем и вместе с ночной темнотой рассеялись все его страхи. Вполне возможно, что в это погожее утро со многими из прохожих, сновавших по Флит-стрит, произошла подобная же счастливая перемена.

— Папенька, — сказал Джерри-младший, поспевая за отцом, но стараясь держаться от него на расстоянии вытянутой руки и на всякий случай прикрываясь табуретом, — папенька, что такое гробозор?

Мистер Кранчер даже остановился от неожиданности.

— Почем я знаю? — буркнул он, помолчав.

— Я думал, вы все знаете, папенька, — промолвил простодушный сынок.

— Хм… — хмыкнул мистер Кранчер и, приподняв с головы шляпу, чтобы освежить свой частокол, зашагал дальше. — Это человек, который поставляет товар.

— А какой у него товар, папенька? — не отставал любознательный Джерри.

— У него товар по ученой части, — подумав, отвечал мистер Кранчер.

— Мертвые тела, папенька? — подсказал смышленый мальчик.

— Да, что-то в этом роде.

— Ах, папенька, как бы я хотел стать таким поставщиком, когда вырасту большой!

Мистер Кранчер заметно смягчился, но, приняв наставительный вид, с сомнением покачал головой.

— Для этого надо в себе способности развивать. Вот старайся, развивай в себе способность, научись держать язык за зубами так, чтобы никогда слова лишнего не сказать, — и кто знает, может, из тебя что и выйдет, может, ты еще далеко пойдешь.

А когда поощренный этим наставлением Джерри побежал вперед, чтобы поставить табурет в тени у Тэмплских ворот, мистер Кранчер промолвил, обращаясь к самому себе: «Похоже, брат Джерри, честный труженик, что сын твой будет тебе опорой и утешеньем в награду за то, что приходится терпеть от его матери».

Глава XV

Она вязала

В этот день с раннего утра, много раньше обычного, в погребке мосье Дефаржа было полно посетителей. Чуть ли не с шести часов изможденные лица, заглядывавшие сквозь прутья решетки, уже видели внутри, за столиками, такие же изможденные лица, склонившиеся над стопками вина. Мосье Дефарж и в самые лучшие времена держал только дешевое вино; но вино, которое он отпускал сегодня, горчило и хмель от него был тяжелый, судя по тому, что посетители, пившие его, только мрачнели. Вино мосье Дефаржа не искрилось буйной вакхической радостью: оно жгло каким-то скрытым огнем, тлеющим в его осадке.

Уже третье утро в погребке мосье Дефаржа люди сходились пить спозаранку. Это началось с понедельника, а сегодня была среда. Пили, впрочем, не так много, больше сидели и помалкивали, потому что среди этих ранних посетителей немало было таких, у которых гроша не было за душой, и, однако, они забрались сюда, едва только стали пускать, и с тех пор так и сидели здесь, слушали, перешептывались. И, по-видимому, они чувствовали себя здесь вполне на месте, как если бы могли заказать по меньшей мере бочку вина; они сновали от стола к столу, присаживались то там, то тут, и с горящим взором жадно упивались не вином, а тем, что им рассказывали.

Несмотря на такой наплыв посетителей, хозяина не было видно в погребке. Его отсутствия не замечали; никто из переступавших порог не искал его глазами, не спрашивал о нем, никто не удивлялся, видя за стойкой одну только мадам Дефарж, которая отпускала вино и бросала в стоящее перед ней глубокое блюдце мелкие монетки, стертые, потемневшие, захватанные и совершенно утратившие свой первоначальный вид, так же, должно быть, как и та человеческая мелочь, которая извлекала их из своих оборванных карманов.

Какое-то сдержанное любопытство и рассеянность владели собравшимися здесь людьми, и, должно быть, это замечали и королевские шпионы, снующие здесь так же, как и в других местах, начиная с королевского дворца и кончая темницей. Карточная игра шла вяло; люди, игравшие в домино, надолго задумывались и, машинально перебирая костяшки, складывали из них домики и башни; те, что сидели за стаканом вина, рассеянно чертили какие-то фигуры, размазывая оставшиеся на столе капли и лужицы: даже сама мадам Дефарж, рассеянно обводя зубочисткой узор на своем рукаве, вглядывалась во что-то незримое и прислушивалась к чему-то надвигавшемуся издалека, чего еще не было слышно.

Так обитатели Сент-Антуанского предместья, собравшиеся в этот день в погребке, сидели до полудня. В двенадцать часов дня по улице Сент-Антуанского предместья под длинным рядом висячих фонарей прошли два человека, покрытые с ног до головы пылью, — один из них был мосье Дефарж, другой — знакомый нам каменщик в синем картузе. Усталые, наглотавшиеся пыли, истомившиеся от жажды, они вдвоем вошли в погребок. С их появлением словно пожар охватил Сент-Антуанское предместье, и огонь побежал, перекидываясь из дома в дом, вспыхивая багровыми отсветами на лицах людей, толпившихся у каждых ворот,

выглядывавших из каждого окна. Но никто не последовал за ними, когда они вошли в погребок, никто не проронил ни слова, только глаза всех присутствующих устремились на этих двоих.

— Добрый день, друзья! — приветствовал собравшихся мосье Дефарж.

И, точно это было условным знаком, все языки развязались и все ответили хором: «Добрый день!»

— Скверная погода, господа, — сказал мосье Дефарж и покачал головой.

Все переглянулись и молча опустили глаза. Все, кроме одного, — тот поднялся и вышел.

— Женушка, — громко сказал Дефарж, повернувшись к жене, — мы отшагали несколько миль с этим добрым каменщиком, он чинит дорогу, а зовут его Жак. Мы встретились с ним случайно — в полутора днях ходьбы от Парижа. Он добрый малый, этот Жак. Налей-ка ему выпить, жена!

Еще один человек поднялся и вышел. Мадам Дефарж поставила вино перед каменщиком Жаком, а тот, сняв свой синий картуз, поклонился честной компании и отхлебнул глоток. За пазухой у него был припрятан кусок черствого темного хлеба; он уселся возле стойки мадам Дефарж и, прихлебывая вино, закусывал хлебом, пил и жевал. Третий человек поднялся и вышел.

Дефарж тоже выпил стаканчик вина, только значительно меньше того, что налили этому чужому — для него ведь это не было чем-то таким редкостным, — и теперь он стоял и ждал, когда малый кончит закусывать. Он не смотрел ни на кого из присутствующих, и на него тоже никто не смотрел, даже мадам Дефарж, которая опять взялась за свое вязанье и углубилась в работу.

— Ну, как, друг, подкрепился? — спросил он немного погодя.

— Да, спасибо.

— Ну, тогда идем! Я тебя провожу на квартиру, как обещал. Там тебе хорошо будет, отлично устроишься.

Они вышли на улицу, свернули во двор, поднялись по крутой лестнице на верхнюю площадку и прошли на чердак — тот самый чердак, где когда-то на низенькой скамейке сидел согнувшись седовласый человек и прилежно тачал башмаки.

Теперь здесь уже не было седовласого человека — а были те трое, которые один за другим поодиночке покинули погребок. Между ними и тем седовласым человеком, который был далеко отсюда, только и была та неощутимая связь, что они когда-то приходили сюда смотреть на него украдкой через щель в стене.

Дефарж осторожно закрыл дверь.

— Жак Первый, Жак Второй, Жак Третий! — тихо промолвил он. — Вот свидетель, с которым я, Жак Четвертый, встретился, как было уговорено. Он вам сейчас все расскажет. Говори, Жак Пятый!

Каменщик, который стоял, вертя в руках свой синий картуз, вытер им свой загорелый лоб и спросил:

— А с чего мне начать?

На что Дефарж рассудительно ответил ему:

— Начинай с начала.

— Так вот, значит, нынче летом год будет, как я его тогда увидел под каретой маркиза, на тормозной цепи. Стало быть, дело так было: кончил я свою работу, собрался уходить, вижу — солнце уже садится, а тут карета маркиза едет, медленно подымается в гору, а он сзади под ней — повис на цепи — вот так…

И он тут же очень живо изобразил всю эту сцену; вот уже почти год он с неизменным успехом занимал этим представлением всю деревню и, должно быть, весьма усовершенствовался в этом.

Его перебил Жак Первый, который спросил, видел ли он когда-нибудь раньше этого человека.

— Нет, никогда, — отвечал каменщик, возвращаясь в исходное положение.

Жак Третий поинтересовался, как же он тогда узнал его.

— А он такой долговязый был, потому вот я и узнал, — тихо отвечал каменщик, приложив палец к носу. — Когда господин маркиз спросил меня в тот вечер: «А какой же он из себя?» — я ему так и сказал: «Длинный, как привиденье».

— Что бы тебе ответить — низенький, сущий карлик? — вмешался Жак Второй.

— Да почем же я знал? Ведь тогда еще ничего не произошло, коли бы он мне хоть слово сказал! Вы поймите, как оно все получилось, разве я сам вылез показывать на него? Господин маркиз остановил карету у водоема и прямо на меня пальцем тычет и говорит: «А ну сюда! Приведите ко мне этого олуха!» Вот вам крест, господа честные, ведь не сам я вызвался!

— Он прав, Жак, — шепнул Дефарж тому, Второму Жаку. — Рассказывай дальше!

— Так вот, значит, — с таинственным видом продолжал каменщик, — этот долговязый пропал. Искали его, уж не знаю сколько месяцев, девять, не то десять или одиннадцать.

— Неважно, — сказал Дефарж. — Он хорошо прятался, да вот по несчастью попался. Рассказывай дальше!

— Работаю я опять там на горе. Гляжу — день уже к концу идет, солнце садится; я стал домой собираться, — дом-то у меня внизу, в деревне, а там уже темнеть начало. Только я глаза поднял, гляжу — конвой идет — шесть солдат, а посередке между ними рослый человек, и руки у него к бокам прикручены, вот так!

И он с помощью своего незаменимого картуза туг же изобразил связанного по рукам человека.

— Ну, я, конечно, стал у своей кучи щебня и смотрю, как солдаты арестанта ведут, — наши места глухие, редко когда кто пройдет или проедет, как же на такое не поглядеть? И пока они еще не подошли, вижу только: идут шесть солдат, посреди высокий связанный по рукам человек, и в сумерках только и видно, что черные фигуры движутся, а с той стороны, где солнце садится, красные лучи их будто каймой обвели. И тени от них такие длинные через дорогу ползут, и по ту сторону обочины тянутся, и дальше по склону холма, громадные, черные, ну прямо как тени великанов. И еще я вижу — пыль над ними облаком висит, и так за ними это облако и движется, и уже слышно, как они шагают — трамп, трамп! И когда они уж почти поравнялись со мной, я смотрю — а это он самый долговязый, и он тоже узнал меня. Эх, и рад бы он был теперь прыгнуть головой вниз прямо с горы в овраг, как в тот вечер, когда мы с ним в первый раз встретились, да чуть ли не на этом же самом месте.

Он рассказывал так, точно сам участвовал в видно было, что все это и сейчас стоит у него перед глазами; должно быть, ему не так много пришлось видеть на своем веку.

— Я, конечно, и виду не подал солдатам, что узнал долговязого, и он тоже не подает виду, что узнал меня, мы только глазами говорим друг другу, что узнали. «А ну прибавь шагу, — командует начальник конвоя и показывает вниз на деревню. — Живей пошевеливайтесь, скорей бы уж сдать его в могилу!» И они прибавляют шагу. А я иду за ними следом. Руки у него распухли, так туго затянуты веревки, на ногах огромные деревянные башмаки, нескладные, еле держатся, и он не может идти быстро, потому как он хромой, спотыкается, а они его мушкетами подгоняют — вот так!

И он изобразил человека, который идет спотыкаясь, а его сзади ружьями подталкивают.

— Стали они с горы спускаться, бегут как очумелые, и он у них упал. Они к нему, тычут его прикладами, хохочут, поставили на ноги. Лицо у него все в крови, грязное, и утереться нельзя, а они прямо от хохоту надрываются. Ведут его в деревню, вся деревня высыпала смотреть, ведут дальше, мимо мельницы, туда на гору, в тюрьму; вся деревня видит, как уж совсем в темноте ворота тюрьмы распахнулись и проглотили его, вот так!

И он широко раскрыл рот и тут же захлопнул его, громко лязгнув зубами.

— Ну, что же ты, продолжай, Жак! — сказал Дефарж, видя, что он так и не разжимает рта, дабы продлить впечатление.

Рассказчик, привстав на цыпочки, продолжал шепотом:

— Вся деревня собирается у водоема, стоят кучками, шепчутся, потом все уходят к себе спать, и всей деревне снится этот несчастный за решеткой, за железными засовами, в темнице, откуда ему уж не выйти до тех пор, пока его не поведут на смерть. Утром я, как всегда, взвалил инструмент на плечо, иду на работу, жую по дороге кусок черного хлеба, только иду не прямой дорогой, а кругом, так, чтобы мимо тюрьмы пройти, и вижу его высоко-высоко за решеткой, все такой же окровавленный, грязный, смотрит он сквозь прутья своей железной клетки, а руки

у него, верно, закованы, помахать не может. Я не смею его окликнуть, а он смотрит на меня, будто уж и не живой человек.

Дефарж и те трое мрачно переглядываются. Они слушают с угрюмыми, замкнутыми и зловеще-непримиримыми лицами. И держатся они как-то отчужденно и вместе с тем необыкновенно властно. Точно суровый трибунал, собравшийся судить преступника. Жак Первый и Жак Второй сидят на соломенном матраце, подперев голову рукой, и не сводят глаз с каменщика. Жак Третий, опустившись на одно колено, присел позади них и тоже глядит на него не отрываясь, беспрестанно поднося руку к лицу и поглаживая сеть тонких прожилок возле рта и носа: Дефарж стоит посредине между этими тремя и рассказчиком, которого он нарочно поставил против окна, чтобы на него падал свет, и то и дело переводит взгляд с него на них, с них на него.

— Ну, что же ты замолчал? Продолжай, Жак, — говорит Дефарж.

— Вот, так, значит, идут дни, а он все сидит в своей железной клетке. Вся деревня ходит смотреть на него, только тайком, потому что боятся. А уж издали все нет-нет да и поглядывают на тот утес, на тюрьму: и вечером, как сойдутся у водоема, так и стоят, обернувшись в ту сторону, на тюрьму смотрят. Прежде, бывало, все на постоялый двор оборачивались, а теперь — нет, все на тюрьму смотрят. Ну, конечно, промеж себя шепчутся; прошел слух, будто он хоть и осужден, а казнить его не будут; будто кто-то прошение подал в Париже и свидетели есть, что он с горя ума решился, потому что ребенка его задавили; будто самому королю прошение подано. Оно, конечно, возможно. Может статься и так, а может и нет.

— Слушай, Жак, — сурово прервал его тезка номер первый. — Знай, что такое прошение действительно было подано королю и королеве. И все, кто здесь есть, кроме тебя, все мы своими глазами видели, как король ехал с королевой и ему подали в коляску прошение. И это не кто иной, как Дефарж, которого ты видишь здесь, бросился, рискуя жизнью, под ноги лошадей с прошением в руке.

— И вот что еще выслушай, Жак, — сказал сидевший на корточках Жак Третий, судорожно проводя пальцами возле рта с таким алчным видом, как будто его томила не жажда, не голод, но что-то такое, чего он не мог утолить, — сейчас же к просителю ринулась стража, конная, пешая, все бросились бить его. Слышишь?

— Слышу, сударь.

— Рассказывай дальше, — сказал Дефарж.

— Потом прошел другой слух, опять же у нас там, у водоема, — продолжал каменщик, — будто его затем в наши края и привезли, чтобы тут же на месте казнить, и конечно казнят. И говорили даже, будто его за это убийство — потому как господин маркиз своим крестьянам отец родной — лютой казнью казнят, как отцеубийцу. Один у нас старик говорил, что ему в правую руку нож вложат и сожгут ему руку у него на глазах, а потом рассекут ему плечи, грудь, ноги и нальют в раны кипящее масло, потом расплавленный свинец, горячую смолу, воск и серу, а под конец привяжут к четырем сильным коням и те разорвут его на части. Старик наш говорил, будто с одним осужденным, который на жизнь покойного короля покушался, все точь-в-точь так и проделали. Ну, а может, он все это и наврал, откуда мне знать. Я человек темный.

— Слушай, Жак! — сказал опять тот же человек с алчным лицом и беспокойно двигающимися пальцами. — Имя того осужденного Дамьен[39], и все это проделали над ним среди бела дня, на виду у всех, на людной площади города Парижа! И в толпе, что собралась смотреть на эту казнь, особенно выделялись нарядные знатные дамы, которым так понравилось это зрелище, что они не отрываясь следили за ним до самого конца — до конца, Жак! — а оно затянулось до темноты, и к этому времени несчастному оторвали обе ноги и руку, а он все еще дышал. И все это происходило… постой-ка, сколько тебе лет?

— Тридцать пять, — сказал каменщик, а на вид ему можно было дать все шестьдесят.

— Выходит, тебе тогда было уже больше десяти. Ты мог бы увидеть это.

— Довольно! — нетерпеливо и мрачно перебил Дефарж. — А ну их к дьяволу! Продолжай, Жак!

— Ну, вот, значит, шепчутся у нас там у водоема, один так говорит, другой этак, но только ни о чем другом больше не говорят, другой раз кажется, даже вода в водоеме только про то и журчит. И вот, стало быть, в ночь под воскресенье, когда все уже спали, вдруг, слышу я, у нас на улице мушкетами стучат, — сверху, оттуда, из тюрьмы солдаты пришли, рабочих пригнали; принялись те что-то копать, молотками дубасят, а солдаты песни орут, хохочут. А утром, глядим, у водоема высоченная виселица стоит, футов сорок вышиной, прямо у водоема торчит, воду поганит.

Запрокинув голову и показывая рукой вверх, каменщик глядит куда-то, словно проникая взглядом через потолок, как будто где-то там, высоко в небе, торчит эта громадная виселица.

— Вся работа в деревне стала, все дела побросали и скотину в поле не гонят, толпится народ у водоема, и коровы тут же. В полдень забили в барабаны. Ночью в тюрьму пригнали много солдат, и вот они теперь его и привели, целым отрядом. Руки у него, как и тогда, связаны, а во рту кляп, и так у него этим кляпом рот растянуло, что кажется, будто он смеется. — И каменщик тут же изобразил это, оттянув большими пальцами углы губ до самых ушей. На виселице, на перекладине, нож всажен, острием вверх. Под тем ножом его и вздернули — высоко, сорок футов от земли, так он там и посейчас висит; воду поганит.

Все четверо переглядываются, а каменщик, которого от этих воспоминаний снова бросило в пот, скомкав свой синий картуз, старательно вытирает лицо.

— Страшное дело, люди добрые, ведь только подумать! Как же теперь детям да женщинам за водой ходить! И вечером ни постоять, ни поговорить под этой черной тенью. И какая тень-то! Вот уже в понедельник под вечер, солнце садилось, когда я из дому пошел; поднялся я на гору, оглянулся назад на деревню, смотрю, а тень эта через всю деревню легла и дальше туда перекинулась, — через церковь, через мельницу, через тюрьму, словно по всей земле протянулась, до самого того края, где небо с землей сходится.

Человек с алчным лицом переглянулся с остальными троими, провел дрожащей рукой по губам и стал кусать палец, словно не в силах побороть снедавший его голод.

— Ну, вот, я вам все рассказал, как было. Вышел я из деревни под вечер (как мне было велено), шел ночь и еще полдня, покуда не повстречался вот с ним, как оно и было уговорено.

Мы с ним еще полдня и ночь отшагали, правда, кой-где нас и подвезли. Ну вот, значит, он меня сюда и привел.

Наступило мрачное молчание.

— Хорошо! — промолвил, наконец, Жак Первый. — Ты поступил правильно, все рассказал, как было. Подожди нас немножко вон там, за дверью.

— Что ж, подожду, — сказал каменщик.

Дефарж проводил его на площадку и велел ему посидеть на ступеньке, а сам вернулся.

Когда он вошел, те трое стояли и, нагнувшись друг к Другу, о чем-то разговаривали шепотом.

— Ну что ты скажешь, Жак? — спросил номер первый. — Занесем в список?

— Занести в список осужденных на истребление, — отвечал Дефарж.

— Отлично! — прохрипел Жак ненасытный.

— Замок и весь род? — спросил первый.

— Замок и весь род, — подтвердил Дефарж. — Уничтожить.

— Отлично! — повторил ненасытный и стал судорожно грызть другой палец.

— А уверен ли ты, — спросил, наклоняясь к Дефаржу, Жак Второй, — что способ, каким мы ведем эти списки, не доставит нам никаких затруднений? Оно, конечно, надежно, никто, кроме нас, не разберет, но сами-то мы сможем их разобрать? Или, вернее, она потом сможет разобрать?

— Знаешь, Жак, — подняв голову и выпрямившись, отвечал Дефарж, — если бы жена моя взялась составлять эти списки просто у себя в памяти, она и тогда не сбилась бы, не упустила бы ни одного слова, ни одной буквы. Но она вяжет их, и вяжет особыми петлями, и каждая петля для нее знак, который ей ничего не стоит прочесть. Ты можешь вполне положиться на мадам Дефарж. Легче самому жалкому трусу вычеркнуть себя из списка живых, чем вычеркнуть хотя бы одну букву его имени или его преступлений из вязаного списка моей жены.

В ответ послышался одобрительный шепот, все закивали; потом Жак ненасытный спросил:

— А этого, деревенщину, мы скоро отправим? Надо бы поскорей. Уж очень он прост. Не вышло бы с ним чего!

— Он ничего не знает, — ответил Дефарж. — Ничего, кроме того, за что и сам может угодить на такую же высокую виселицу. Я за ним пригляжу, он у меня поживет. А потом я его отправлю. Ему хочется на знатных людей посмотреть, короля, королеву со всей их придворной свитой увидеть. Пусть поглядит, полюбуется на них в воскресенье.

— Как? — с изумлением уставившись на него, воскликнул Жак ненасытный. — Чего же тут хорошего, что ему хочется поглазеть на короля да на придворных?

— Жак, — сказал Дефарж, — чтобы приохотить кошку к молоку, надо показать ей молоко. Чтобы научить собаку хватать дичь, надо показать ей дичь.

На этом разговор кончился; они позвали каменщика, который уже задремал, сидя на ступеньке, и посоветовали ему лечь спать. Разумеется, тот не заставил себя просить, тут же растянулся на соломенной подстилке и заснул.

Погребок Дефаржа был неплохим пристанищем для простака-крестьянина, попавшего в Париж из деревни. Все для него здесь было ново и интересно, и он чувствовал бы себя как нельзя лучше, если бы не постоянный страх, который ему внушала мадам Дефарж. Мадам сидела целый день за стойкой и так упорно не замечала его, так явно давала ему понять, что она раз навсегда решила про себя считать его пустым местом, что ему всякий раз хотелось сквозь землю провалиться при виде ее. Ему казалось, что от нее можно всего ждать, мало ли что ей еще взбредет на ум; он был твердо уверен, что, если ей, например, втемяшится в голову,

будто он убил человека, а потом содрал с него кожу, она так и будет стоять на своем и добьется, что все ей поверят.

Поэтому, в воскресенье, каменщик (хоть он и не подал виду) отнюдь не обрадовался, узнав, что мадам поедет с ними в Версаль[40]. Они ехали в дилижансе, и ему было как-то не по себе оттого, что она всю дорогу вязала, и еще больше не по себе потом, когда они стояли в толпе, дожидаясь кареты с королем и королевой, и мадам все так же старательно вязала.

— Усердно вы работаете, мадам, — заметил какой-то человек, стоящий рядом.

— Да, — сказала мадам Дефарж, — работы много скопилось.

— А что вы такое делаете, мадам?

— Да разные вещи.

— Ну, например?

— Например, саваны, — невозмутимо ответила мадам Дефарж.

Человек попятился и, как только ему удалось протиснуться, отодвинулся от нее подальше, а каменщик, которому вдруг стало как-то душно и тяжко, начал обмахиваться синим картузом. Но тут, к счастью, оказалось под рукой средство, которое сразу подействовало на него освежающе, — король с королевой, — они ехали в золотой карете, толстолицый король и красавица королева, а за ними следовала блестящая свита, — роскошно одетые дамы и кавалеры, веселые, смеющиеся; и все это сверкающее великолепие, золото, шелка, драгоценности, пудреные парики, прекрасные надменные лица, презрительно улыбающиеся толпе, вся эта невиданная роскошь так ошеломила бедного каменщика, что он, опьянев от избытка переполнявших его чувств, кричал, захлебываясь от восторга: «Да здравствует король! Да здравствует королева! Да здравствуют все и вся!» — как будто он никогда и не слыхал о вездесущем Жаке[41]. Потом толпа двинулась в парк, и перед ним открылись террасы садов, аллеи, фонтаны, зеленые лужайки, острова, и здесь он опять увидел короля и королеву и всю их блистательную свиту дам и кавалеров, и опять он кричал вместе с толпой: «Да здравствуют все и вся!» — и слезы текли по его лицу, слезы умиления. В течение всего этого парада, длившегося по меньшей мере часа три, все время, пока он, не помня себя, вопил и умилялся вместе с толпой, Дефарж не отходил от него ни на шаг и крепко держал его за ворот рубахи, словно опасаясь, как бы он в пылу восторга не бросился на приворожививших его нарядных куколок и не растерзал их на части.

— Браво! — сказал ему Дефарж, покровительственно похлопывая его по спине, когда вся эта феерия окончилась. — Хороший ты малый.

Каменщик уже несколько пришел в себя и с беспокойством подумывал, не было ли с его стороны неосторожно предаваться таким неумеренным восторгам; но нет.

— Нам вот как раз таких и надо, — наклонившись к нему, говорил Дефарж, — благодаря тебе эти глупцы думают, что как оно идет, так всегда и будет идти. И от этого они еще больше головы задирают, а чем больше они себе воли дают, тем скорее конец настанет.

— Ха! — подумав, отозвался каменщик. — А ведь правда.

— Эти глупцы ничего не понимают, они просто не замечают, что мы существуем; они могут передавить сотни таких, как ты, и без всякой жалости. Собаку или лошадь они скорее пожалеют, а нас… Они видят только, что мы им «ура» кричим да в ноги кланяемся… Что ж, пусть себе до поры до времени обманываются, недолго им осталось тешиться!

Мадам Дефарж окинула своего постояльца уничтожающим взглядом и одобрительно кивнула.

— А вы и рады кричать! — сказала она. — Вам бы только было на что глазеть да шуму побольше, и вы будете плакать от восторга и кричать «ура». Правду я говорю?

— Правду, сударыня. Так оно сейчас будто само собой получилось.

— А вот если бы, например, вам показали роскошных кукол и вы могли бы обобрать их, разломать на части, вы наверно выбрали бы самых богатых и нарядных? Не правда ли?

— Правда, сударыня.

— Так. Ну, а если бы вас привели в птичник и вы увидели бы множество красивых птиц, не умеющих летать, и вам позволили бы ощипать их и взять себе перья, вы наверно начали бы с самых красивых, ведь правда?

— Правда, сударыня.

— Ну, так вот, вы сегодня видели и этих кукол и этих птиц, — сказала мадам Дефарж, махнув рукой туда, где они только что любовались пышным зрелищем, — а теперь можете отправляться домой!

Глава XVI

Она все еще вяжет

Мадам Дефарж с супругом мирно возвращались к себе домой в лоно Сент-Антуанского предместья, а ничтожество в синем картузе брело в темноте по пыльной дороге, по проселкам, миля за милей, медленно приближаясь к тем краям, где замок господина маркиза, ныне покоящегося в могиле, прислушивался к шепоту деревьев. И днем и ночью каменные лица на стенах замка могли теперь без помехи, в полной тишине внимать шепоту деревьев и фонтана. Редко кто из деревенских забредал сюда в поисках травы, годной в пищу, или валежника для топки, и тем из них, кто отваживался заглянуть через ограду на широкий каменный двор и каменную лестницу с балюстрадой, мерещилось с голоду, что каменные лица глядят теперь не так, как прежде. В деревне пошли слухи — пищи для этих слухов было, пожалуй, не больше, чем ее было у жителей деревни, — говорили, что едва только нож вонзился в сердце маркиза, каменные лица, смотревшие с величавой гордостью, мгновенно исказились гневом и болью; а потом, когда того несчастного вздернули на виселицу и он повис на высоте сорока футов над водоемом, они опять изменились, и с тех пор так и глядят, зловещие, с лютым злорадством. А на том каменном лице, что глядит со стены над высоким окном спальни маркиза, где совершилось убийство, все стали замечать четко проступившие на крыльях тонкого носа знакомые впадинки, которых на нем прежде никто не видел. И в тех редких случаях, когда кто-нибудь из кучки оборванных бедняков, забредавших сюда, отваживался показать костлявым пальцем на окаменевшего господина маркиза, стоило им только взглянуть на него, они тут же бросались прочь и, припадая к земле, прятались среди мха и листьев, точно зайцы, которые были много счастливее их, ибо они всегда находили себе пропитание.

Замок и хижины, каменное лицо и тело, качающееся на виселице, кровавое пятно каменном полу и прозрачная вода в деревенском водоеме — тысячи акров господской земли — и вся округа — и вся Франция, — все укрылось под ночным сводом, который сошелся с землей еле видной черточкой горизонта. Так и весь наш мир, со всем, что в нем есть великого и малого, умещается на одной мерцающей звезде. И как жалкий человеческий разум способен расщепить световой луч и постичь тайну его строения, так в слабом мерцанье нашей планеты высший разум читает каждую мысль и поступок, прегрешение и добродетель каждого из земных созданий, отвечающих за свои дела.

Под небом, усеянным звездами, супруги Дефарж ехали из Версаля в дилижансе, медленно двигавшемся к парижской заставе. У заставы, как полагалось, остановились, и караульные с фонарями стали, как обычно, проверять документы проезжих. Мосье Дефарж вышел; у него здесь были знакомые — полицейский и кто-то из караульных. Полицейский был его приятель, и они дружески облобызались.

Когда, наконец, Сент-Антуанское предместье снова укрыло супругов своими темными крылами и они сошли у церкви св. Антуана и пошли пешком по грязным, заваленным отбросами переулкам, мадам Дефарж спросила мужа:

— А что же, мой друг, сказал тебе Жак полицейский?

— Да ничего особенного, сообщил только, что ему известно. Еще одного фискала приставили к нашему кварталу. Может, и не одного, конечно, но он знает про одного.

— Так, хорошо, — деловито сдвинув брови, спокойно протянула мадам Дефарж, — надо будет его занести в список. Как его зовут, этого человека?

— Он англичанин.

— Тем лучше. Фамилия?

— Барсед, — сказал Дефарж, произнося фамилию на французский лад с ударением на конце, но так как ему было важно, чтобы она запомнила правильно, он тут же назвал ее по буквам.

— Барсед, — повторила мадам. — Хорошо. А имя?

— Джон.

— Джон Барсед, — повторила она сначала про себя, а потом еще раз вслух. — А внешность? Известна?

— Возраст около сорока; рост — примерно пять футов девять дюймов, волосы черные, цвет лица смуглый, недурен собой, глаза темные, лицо худощавое, длинное, болезненное, нос с горбинкой, не совсем прямой, слегка перекошен влево; это придает ему зловещий вид.

— Портрет такой, что не ошибешься, — смеясь, сказала мадам. — Завтра же занесу его в список.

Они вошли к себе в погребок, который уже был закрыт (время было за полночь), и мадам Дефарж немедленно уселась на свое обычное место и принялась пересчитывать мелочь, вырученную в ее отсутствие, потом проверила товар, просмотрела записи в приходной книге, тут же занесла в нее что-то еще, отчитала своего сидельца за то, за се и, наконец, отослала его спать. После этого она снова высыпала из блюдца всю мелочь и принялась завязывать ее узелками в носовой платок, чтобы свернуть его жгутом и спрятать на ночь. Дефарж между тем расхаживал с трубкой в зубах, одобрительно поглядывая на жену и ни во что не вмешиваясь; во всем, что касалось его торгового заведения и домашнего хозяйства, он всегда полагался на жену и ни во что не вмешивался.

Ночь была душная, и в наглухо закрытом подвале, который со всех сторон теснили грязные домишки, воздух был тяжелый, спертый. Мосье Дефарж отнюдь не отличался излишней тонкостью обоняния, но винный дух здесь был крепче, чем само вино, и запах рома, коньяка и анисовки ударял в голову. Дефарж выпустил клуб дыма, словно стараясь разогнать винные пары, и отложил докуренную трубку.

— Ты устал, — сказала мадам, взглянув на него, но продолжая завязывать узелки, — пахнет, как всегда, ничего особенного.

— Да, немножко устал, — подтвердил супруг.

— И приуныл, — добавила мадам. Глаза у нее были быстрые, зоркие, и, какие бы сложные расчеты ей ни приходилось вести, достаточно ей было бросить беглый взгляд на мужа, она замечала все. — Ох, уж эта мне мужчины!

— Но, дорогая моя… — начал было Дефарж.

— Но, дорогая моя! — передразнила мадам, энергично кивая головой. — Что «дорогая моя»? Просто ты сегодня хандришь, дорогой мой!

— Да, правда, — вздохнув, сказал Дефарж, как будто из него силком вырвали признанье. — Как все это медленно идет!

— Медленно, — повторила жена. — А что не медленно? Возмездие и кара ждут своего часа. Такой уж закон.

— Молния не медлит, сразу убивает человека, — возразил Дефарж.

— А сколько пройдет времени, пока соберутся тучи, из которых ударит молния? — спокойно спросила мадам. — Ну-ка, скажи мне!

Дефарж задумчиво посмотрел на жену, словно признавая справедливость ее слов.

— Вот и землетрясение тоже за один миг может поглотить целый город, — продолжала мадам. — А как долго что-то готовится в недрах земли, прежде чем произойдет землетрясение?

— Долго, должно быть, — промолвил Дефарж.

— Но вот когда уже там совсем назрело, земля разверзается и сокрушает все до основания, А назревает оно медленно, и покуда там идет брожение, мы его не замечаем и не слышим. Вот чем надо утешаться. Помни об этом!

И она, сверкнув глазами, затянула узел с таким остервенением, точно душила врага.

— Я тебе говорю, — внушительно потрясая рукой, продолжала мадам, — как ни медленно вое идет, — оно приближается. Движется неуклонно, безостановочно. Надвигается все ближе. Погляди кругом, как живут все, кого мы знаем, погляди, с какими лицами они ходят, какое возмущение, какое бешенство кипит в этих людях, к которым Жакерия обращается с каждым днем все смелее и увереннее. По-твоему, это может долго продолжаться? Ха! Ты смешон!

— Ты у меня мужественная, женушка! — промолвил Дефарж; он стоял перед ней, опустив голову и заложив руки за спину, точно послушный ученик, внимательно слушающий наставления своего учителя. — Все это так, бесспорно, да разве я в этом сомневаюсь? Но ведь это так долго тянется, и, может быть, ты сама понимаешь, может статься, мы с тобой этого и не дождемся.

— Ну и что же? — возразила мадам и опять рванула узел, словно расправлялась еще с одним врагом.

— Да то, что мы с тобой не увидим победы, — сказал Дефарж, с огорчением и в то же время будто оправдываясь, пожал плечами.

— Победа придет не без нашей помощи, — показывая рукой на него и на себя, воскликнула мадам. — То, что мы делаем, не пропадет даром. Я верю, верю всей душой, что мы с тобой дождемся победы. Но если даже и нет, если бы я даже наверняка знала, что этого не будет, я все равно не задумалась бы, и прикажи мне вот хоть сейчас задушить любого аристократа или тирана, я своими руками…

И мадам, стиснув зубы, со страшной яростью затянула последний узел.

— Постой! — вскричал Дефарж, вспыхнув, точно его упрекнули в трусости. — Я, милая моя, тоже ни перед чем не остановлюсь.

— Да, но твоя слабость в том, что тебе время от времени для поддержки мужества требуется столкнуться с твоей жертвой и проверить свои силы. Это помогает тебе держаться. А надо быть стойким и без того. Придет время, — дай волю своему возмущению, своей ярости, а до тех пор не показывай их никому, держи в узде, но всегда наготове.

И в подкрепление этого совета мадам изо всех сил стукнула набитым жгутом о прилавок, точно вышибая из него мозги, а потом с самым невозмутимым видом, сунув скрученный платок под мышку, спокойно заметила, что пора спать.

На другой день около полудня эта замечательная особа сидела на своем месте за стойкой и прилежно вязала. Около нее на прилавке лежала роза, и, если она нет-нет да и поглядывала на нее, на лице ее сохранялось все то же деловито-озабоченное выражение. Народу в зальце было немного, несколько человек сидели за столиками, пили, другие стояли, разговаривали. День был очень жаркий; мухи тучами носились в воздухе и с присущей им предприимчивостью лезли всюду, забирались в маленькие липкие от вина стаканчики и тут же, платясь жизнью за свою любознательность, увязали на дне. Их кончина не производила впечатления на других мух, разгуливавших тут же, они смотрели на них с полной невозмутимостью (точно сами они были не мухи, а слоны, или нечто столь же отличное от мух) и в конце концов подвергались

той же участи. Удивительно все же, до чего неосторожны мухи! — вот так же, должно быть, в этот ясный летний день думали и при дворе.

В лавку вошел человек, тень его упала на мадам Дефарж, и она почувствовала, что это чужой. Отложив свое вязанье, она взяла розу, лежавшую возле нее, и, не взглянув на пришельца, стала прикалывать ее к своему тюрбану.

Удивительное дело! Едва только мадам Дефарж подняла розу, все разговоры в зальце прекратились и посетители один за другим стали уходить.

— Добрый день! — поздоровался пришелец.

— Добрый день, мосье.

Она произнесла это громко, а про себя прибавила, снова берясь за вязанье: «Ага! Добро пожаловать, возраст около сорока, рост примерно пять футов девять дюймов, волосы черные, недурен собой, цвет лица смуглый, глаза темные, лицо худощавое, длинное, болезненное, нос с горбинкой, не совсем прямой, слегка перекошен влево, и от Этого зловещий вид. Все приметы налицо. Добро пожаловать!»

— Будьте так добры, мадам, стаканчик старого коньяку и глоток холодной воды.

Мадам с любезным видом поставила перед ним то и другое.

— Превосходный у вас коньяк, мадам!

Впервые этот коньяк удостоился такой похвалы, и мадам Дефарж оценила ее, как должно, — ей ли было не знать происхождение своего коньяка! Тем не менее она сказала, что ей приятно это слышать, и снова принялась за свое вязанье. Посетитель некоторое время следил за ее пальцами и в то же время украдкой поглядывал по сторонам.

— Вы так искусно вяжете, мадам.

— Привычка.

— И какой прелестный узор!

— Вам нравится? — улыбнувшись, спросила мадам, подняв на него глаза.

— Да, очень. Разрешите полюбопытствовать, для чего это предназначается?

— Да просто чтобы не сидеть сложа руки, — отвечала мадам, все так же глядя на него с улыбкой и проворно перебирая спицами.

— А не то чтобы для пользования?

— Там видно будет. Может быть, когда-нибудь и пригодится. Если у меня хорошо выйдет, — вздохнув, сказала мадам и с каким-то мрачным кокетством покачала головой, — наверно пригодится.

Но, право же, это было поразительно: похоже, что в Сент-Антуанском предместье терпеть не могли этой розы на тюрбане мадам Дефарж. Два посетителя порознь вошли в погребок и только было направились к стойке спросить вина, как вдруг, заметив это новшество, стали топтаться на месте, оглядываться по сторонам, и, сделав вид, что разыскивают приятеля, которого здесь не оказалось, тут же повернулись и ушли. А из тех, кто был в зале, когда вошел незнакомец, тоже никого не осталось, все разошлись. Но как ни зорко следил шпион, он ничего не обнаружил, никакого условного знака. Каждый уходил не спеша, и у всех был такой жалкий, забитый, пришибленный вид горемычных бедняков, которые заглянули сюда просто от нечего делать, — что их ни в чем нельзя было заподозрить.

«Джон, — говорила себе мадам, не сводя глаз с незнакомца и мысленно считая петли, в то время как пальцы ее проворно двигали спицами. — Постой здесь еще, и не успеешь ты оглянуться, как у меня будет связан и Барсед».

— Вы замужем, мадам?

— Да.

— И детки есть?

— Нет.

— Торговля, видно, не очень хорошо идет?

— Плохо торгуем. Народ здесь уж очень бедный.

— Ах, несчастный народ! Так бедствует и в таком угнетении, как правильно вы говорите.

— Как вы говорите, — поправила мадам и быстро ввязала в его имя какие-то лишние петельки, не предвещавшие ему ничего доброго.

— Ах, простите, разумеется, это я сказал, но вы же не станете спорить. Я уверен, что вы и сами так думаете.

— Я думаю! — громко воскликнула мадам. — Нам с мужем думать некогда, только бы концы с концами свести. Мы только и думаем, как бы нам не прогореть, и над этим нам с утра до ночи приходится голову ломать. Хватит с нас своих забот, где уж нам о других думать! Нет, нет! Стану я о ком-то еще думать!

Шпион, который явился сюда, чтобы собрать или состряпать годные для доноса сведения, ничем не выдал своего замешательства, и на его зловещем лице не видно было ни смущения, ни досады. Он стоял, облокотившись на стойку, и не спеша потягивал коньяк — вежливый, любезный посетитель, который не прочь поболтать.

— А какая ужасная история с этой казнью Гаспара, мадам! — Он сочувственно вздохнул. — Ах, бедняга Гаспар!

— Ну, знаете, — спокойно и холодно возразила мадам, — если люди идут на такие дела, да ножи в ход пускают, они должны за это расплачиваться. Он ведь знал, на что идет, и что ему это удовольствие дорого станет. Вот и получил.

— Мне кажется, — вкрадчиво сказал шпион, доверительно понижая голос и всеми чертами своего порочного лица пытаясь изобразить совестливого революционера, оскорбленного в своих лучших чувствах, — мне кажется, здесь в округе многие возмущаются этой казнью и жалеют беднягу. Но это, конечно, между нами!

— Разве? — рассеянно спросила мадам.

— А разве нет?

— Вот и мой муж, — сказала мадам Дефарж.

Едва хозяин погребка переступил порог, фискал повернулся к нему и, приподняв шляпу, сказал с приветливой улыбкой:

— Добрый день, Жак!

Дефарж остановился, с изумлением вытаращив глаза.

— Добрый день, Жак! — повторил фискал далеко не так уверенно и с трудом выдавил улыбку под этим немигающим взглядом.

— Вы ошибаетесь, мосье, — сказал хозяин погребка. — Вы принимаете меня за кого-то другого. Меня зовут Эрнест Дефарж.

— Ну, все равно, — с деланной беспечностью, но явно сконфуженный, пробормотал шпион, — добрый день!

— Добрый день, — сухо ответил Дефарж.

— Я только что говорил мадам, с которой я имел удовольствие беседовать, когда вы вошли, — говорят, здесь у вас в Сент-Антуанском предместье (да оно и не удивительно!) все очень жалеют беднягу Гаспара и возмущены, что его постигла такая участь.

— Мне никто ничего не говорил, — отвечал Дефарж, отрицательно покачав головой, — ничего не знаю.

С этими словами он прошел за стойку и стал позади жены, положив руку на спинку ее стула и глядя через этот барьер на врага, который стоял перед ними по ту сторону стойки и которого каждый из них с радостью пристрелил бы тут же на месте.

Шпион, человек бывалый, хорошо знающий свое дело, с полной невозмутимостью осушил свой стаканчик, запил коньяк глотком холодной воды и спросил еще порцию коньяка. Мадам Дефарж налила ему стаканчик и, тихонько напевая себе под нос, снова принялась за свое вязанье.

— А вы, видно, хорошо знаете этот квартал? Я думаю, даже лучше, чем я? — заметил Дефарж.

— Да нет, что вы, но я надеюсь познакомиться с ним поближе, я глубоко сочувствую здешним несчастным жителям.

— Гм, — хмыкнул Дефарж.

— Мне так приятно беседовать с вами, мосье Дефарж, — продолжал шпион, — у меня с вашим именем связаны кой-какие любопытные воспоминания.

— Вот как, — равнодушно буркнул Дефарж.

— В самом деле, уверяю вас. Ведь когда доктора Манетта выпустили из тюрьмы, вы, бывший его слуга, взяли его на свое попечение. Вам его, так сказать, препоручили. Как видите, я хорошо осведомлен об этом обстоятельстве.

— Да, было такое дело, — подтвердил Дефарж. Он сказал это по наущению жены, которая, не переставая вязать, незаметно подтолкнула его локтем и, тихонько напевая себе под нос, намекнула ему, чтобы он не отмалчивался, а отвечал, только покороче.

— К вам потом приехала его дочь, — продолжал шпион, — чтобы взять отца, а с ней еще пожилой господин, чистенький такой, весь в коричневом — как его звали-то? — на нем еще паричок такой гладкий, — Лорри кажется, из банкирского дома Теллсона и Ко. Они его с собой в Англию увезли.

— Да, так оно и было, — повторил Дефарж.

— Очень любопытные воспоминания! — промолвил шпион. — А ведь я потом встречался с доктором Манеттом и с его дочкой в Англии.

— Да? — удивился Дефарж.

— Вы от них последнее время ничего не получали? — поинтересовался шпион.

— Нет, — ответил Дефарж.

— Мы о них ровно ничего не знаем, — вмешалась мадам, поднимая глаза от вязанья. — Известили они нас, что благополучно доехали, потом, кажется, еще раз или два написали, а с тех пор мы так ничего больше о них и не слышали, — у них своя дорога в жизни, у нас своя.

— Совершенно верно, мадам, — подтвердил шпион. — А дочка его замуж выходит.

— Не вышла еще? — подхватила мадам. — Такая красотка, я думала, она уж давно замужем. Холодный вы народ, англичане.

— А откуда вы знаете, что я англичанин?

— Выговор у вас, как у англичанина, ну вот я, значит, и решила — англичанин.

Вряд ли шпион был польщен этим объяснением, но он не подал виду и отделался какой-то шуткой. Осушив второй стаканчик, он сказал, отставляя его:

— Да, мисс Манетт выходит замуж. Но не за англичанина; он так же, как и она, родом из Франции. Вот мы тут говорили о Гаспаре (ах, бедняга Гаспар! жестоко, жестоко с ним расправились!), так вот что любопытно: она выходит за племянника того самого маркиза, из-за которого беднягу Гаспара вздернули на такую страшную высоту, словом, за теперешнего маркиза. Только в Англии про это никто не знает, он там никакой не маркиз, просто Чарльз Дарней — девичья фамилия его матери Д'Онэ.

Мадам Дефарж продолжала невозмутимо вязать, но мужа ее явно взволновало это известие. Нагнувшись над стойкой, он стал набивать трубку, высек огонь, закурил, но как ни

старался, не мог скрыть своего волнения, — руки у него сильно дрожали, и видно было, что он потрясен.

Шпион не был бы шпионом, если бы он этого не заметил и не постарался запомнить.

Убедившись, что здесь он по крайней мере напал на какой-то след, но будет ли ему от этого какая-либо польза — сказать трудно, и что сейчас за отсутствием посетителей ему больше рассчитывать не на что, мосье Барсед расплатился за выпивку и собрался уходить; прощаясь с хозяевами, он очень любезно сказал, что он и впредь надеется иметь удовольствие не раз встретиться с мосье и мадам Дефарж. После того как он скрылся за дверью, муж и жена несколько минут выжидали, не двигаясь с места, на тот случай, если он вздумает вернуться.

— Неужели это правда, — тихо промолвил Дефарж, наклонившись к жене; он все так же стоял позади нее, попыхивая трубкой и опершись одной рукой на спинку ее стула, — вот то, что он про мадемуазель Манетт сказал?

— Раз это говорит он, то, по всей вероятности, вранье, — чуть-чуть приподнимая брови, ответила мадам Дефарж. — Но может статься, что и правда.

— А если это так… — начал было Дефарж и замолчал.

— Ну и что же, если это так? — спросила жена.

— Если то, что мы ждем, свершится и мы дождемся победы, я надеюсь, судьба пощадит его дочь и не приведет ее мужа во Францию.

— Судьба ее мужа, — возразила мадам со своею обычной невозмутимостью, — поведет его туда, куда следует, и не даст ему уйти от того, чего он заслуживает.

— Но как это странно, нет, в самом деле, разве не странно, — настаивал Дефарж, словно пытался убедить жену, склонить ее на свою сторону, — после того, как мы принимали такое участие в ее отце и в ней самой, ты своей рукой заносишь имя ее мужа в список осужденных, рядом с именем этого гнусного негодяя, который здесь только что был.

— Многое нам тогда покажется странным, — отвечала мадам. — И не такие еще странности мы увидим. Оба они у меня занесены в список; обоим им здесь и надлежит быть по заслугам, но довольно об этом.

И она прекратила разговор и, сложив работу, стала откалывать розу, пришпиленную к тюрбану на голове.

То ли в Сент-Антуанском предместье чутьем угадали, что ненавистное им украшение исчезло, то ли кто-то следил за этим, только мало-помалу обитатели его снова стали осторожно заглядывать в дверь, и очень скоро погребок принял свой обычный вид.

В сумерках, когда Сент-Антуанское предместье, вывернувшись наизнанку, вытряхивало из своего нутра всех обитателей и они высыпали на улицу подышать воздухом, сидели на крылечках и подоконниках, толпились на перекрестках грязных улиц или собирались кучками у ворот, мадам Дефарж имела обыкновение прохаживаться с работой в руках от крыльца к крыльцу, от одной кучки к другой и проповедовать — много их было таких проповедников, лучше бы их не водилось на свете, избави нас боже от этой породы! Все женщины вязали. Вязали что придется. Механическая работа притупляла голод — можно было не есть, не пить, руки двигались, работая вместо челюстей и желудков, а едва только костлявые пальцы переставали двигаться, — желудок тотчас же заявлял о себе.

В работе пальцев участвовали и глаза и мысли. И по мере того как мадам Дефарж переходила от одной кучки женщин к другой, в каждой из этих кучек после беседы с ней пальцы, и глаза, и мысли лихорадочно оживлялись, двигались стремительней, яростней.

Муж ее, стоя на крыльце и попыхивая трубкой, следил за ней восхищенным взглядом.

— Замечательная женщина! — говорил он. — Стойкая, мужественная! Поистине замечательная женщина!

Сумрак надвигался. Над городом плыл вечерний благовест, издали доносился барабанный бой — смена дворцового караула, но женщины все так же сидели и вязали. А следом надвигалась другая тьма, когда эти мирные колокола, перекликающиеся сейчас с бесчисленных колоколен по всей Франции, превратятся в грохочущие пушки и гром барабанов заглушит жалкий голос, сейчас еще знаменующий Власть, Изобилие, Свободу и Жизнь. И все это уже надвигалось, смыкаясь вокруг сидящих женщин, которые вязали, вязали не переставая, и казалось — сами они смыкаются тесным кругом, обступая некий, пока еще не возведенный помост, на который они скоро будут жадно глядеть, не переставая вязать, вязать и считать падающие и корзину головы.

Глава XVII

Однажды вечером

Никогда еще в мирном тупичке в Сохо закат не сиял такими чудесными красками, как в тот памятный вечер, когда доктор с дочерью сидели вдвоем под платаном. Никогда еще луна не сияла таким мягким светом над громадным Лондоном, как в тот вечер, когда, заглянув сквозь листву платана, под которым они все еще сидели вдвоем, она озарила их лица своим серебристым сияньем.

Свадьба Люси была назначена на завтра. И этот вечер ей хотелось побыть наедине с отцом.

— Вам хорошо, папа, милый?

— Да, дитя мое.

Они разговаривали мало, хотя уже довольно долго сидели здесь совсем одни. И даже когда еще было совсем светло и можно было читать или рукодельничать, Люси не открыла книги, чтобы почитать отцу вслух, и не притронулась к своему рукоделью. Раньше она, бывало, часто сидела здесь около него с работой или читала ему, но сегодня был совсем особенный вечер, не такой, как все.

— Я так счастлива папа, я благодарю провиденье за это великое счастье, за то, что оно послало мне Чарльза, а Чарльзу меня. Но если бы я не могла по-прежнему жить рядом с вами и для вас, если бы мне после свадьбы пришлось жить врозь с вами, хотя бы вот через эту улицу, я чувствовала бы себя несчастной, без конца упрекала бы себя, мне было бы так тяжко, что и сказать не могу. Даже вот и сейчас…

Даже вот и сейчас голос ее прервался.

В призрачном свете луны она крепко обняла отца за шею и прижалась головкой к его груди. Лунный свет всегда призрачен, так же как и свет солнца, так же как и тот свет, что зовется человеческой жизнью — все, что приходит и уходит.

— Милый мой, любимый, родной! Можете ли вы еще в последний раз сказать мне, что никакие мои новые привязанности, ни новые заботы и ничто на свете никогда не станет между нами? Я-то это хорошо знаю, а вы? Скажите мне, вы уверены в этом?

— Совершенно уверен, милочка, — отвечал отец таким убежденным тоном и с такой подкупающей искренностью, с какой можно говорить только от чистого сердца. — Больше того, — прибавил он, нежно целуя ее, — мне будет радостней жить, видя тебя рядом с любящим мужем, чем если бы мне… чем если бы этого не было.

— Ах, если бы я могла надеяться, что так и будет!

— Поверь мне, милочка, это чистая правда. Подумай сама, дорогая, ведь это так просто и естественно, иначе и быть не может. Я знаю, ты предана мне, но ведь ты еще дитя; ты даже не представляешь себе, как я огорчался, глядя на тебя, как меня угнетала мысль, что жизнь твоя пропадает зря…

Она попыталась было зажать ему рот, но он удержал ее руку в своей и повторил:

— …да, зря, дитя мое, потому что жизнь должна идти своим естественным путем, и я боялся, как бы ты не уклонилась от него из-за меня. Ты со своей самоотверженностью не можешь понять, как меня всегда преследовали эти мысли; но ты сама спроси себя, мог ли я быть вполне счастлив, зная, что тебе не дано изведать счастья в жизни?

— Если бы я не встретилась с Чарльзом, папа, я была бы вполне счастлива с вами.

Он улыбнулся на это невольное признанье, что после встречи с Чарльзом она чувствовала бы себя несчастной без него.

— Дитя мое, ты встретила его, и это Чарльз. А не будь Чарльза, был бы кто-нибудь другой. А если бы не было, то только из-за меня, и тогда мрак, в котором прошла часть моей жизни, отбросил бы свою тень и на тебя.

Первый раз, если не считать суда, он говорил при ней о своем заточении. Она слушала его с каким-то странным чувством и потом не раз вспоминала об этом.

— Посмотри, — сказал доктор из Бове, показывая рукой на луну. — Я смотрел на нее из окна моей тюрьмы, когда свет ее был невыносим для меня; я смотрел на нее и думал: «Вот так же она светит сейчас на все то, что утрачено для меня навсегда», и это была такая нестерпимая мука, что я сходил с ума и бился головой об стену. Я смотрел на нее, когда, уже отупев от отчаяния, я доходил до состояния такого полного безразличия, что не думал ни о чем, а только считал, сколько линий можно провести поперек нее горизонтально, когда она полная, и сколько линий можно провести, чтобы пересечь их по вертикали.

Он задумался на секунду, глядя на луну, и, сосредоточенно сдвинув брови, прошептал, словно обращаясь к самому себе:

— Помнится, так и так получалось двадцать, только двадцатая еле-еле умещалась.

Странное чувство, с каким она слушала эти воспоминания, не покидало ее, а напротив, усиливалось; но это вовсе не было чувство страха за него — он говорил спокойно, словно сопоставляя мысленно свою теперешнюю счастливую мирную жизнь с теми, оставшимися позади, годами страшных мучений.

— Сколько раз, глядя на нее, я думал о своем ребенке, от которого меня оторвали прежде, чем он появился на свет. Жив ли он? Родился ли он живой, или удар, нанесенный несчастной матери, погубил его? Может быть, это сын, который когда-нибудь отомстит за отца. (Одно время меня в заточении преследовала жажда мести.) А может быть, сын ничего не будет знать об отце. Может быть, он, когда вырастет, будет спрашивать себя, не скрылся ли его отец, бросив семью, сам, по доброй воле. А может быть, это дочь, которая вырастет, превратится в замужнюю женщину.

Она прижалась к нему теснее и поцеловала его в щеку, потом прильнула губами к его руке.

— Я представлял себе, что моя дочь совсем забыла — да нет, просто не знает, не подозревает о моем существовании. Я отсчитывал год за годом и следил, как она подрастает. Видел ее замужем за человеком, который никогда ничего не слышал обо мне. Я уже давно исчез из памяти живых, а для следующего поколения я и вовсе не существовал.

— Папочка, дорогой, у меня просто сердце разрывается, что вы могли представлять себе такой свою дочь, как будто я и есть эта дочь.

— Ты, Люси? Ты меня воскресила, только благодаря тебе я ожил и могу спокойно предаваться воспоминаниям, которые встают передо мной в этот наш последний вечер, когда я смотрю на луну и чувствую, что ты здесь рядом. О чем я сейчас говорил?

— Она ничего о вас не знала. Не думала о вас.

— Да, да! Но бывали лунные ночи, когда эта печальная тишина действовала на меня как-то иначе, и я словно погружался в какое-то забытье, которое приходит на смену любому мучительному переживанию, — я представлял себе, как она приходит в мою темницу и

выводит меня на волю из этих стен. Я часто видел ее, как живую, в лунном свете, так же, как сейчас вижу тебя; только я никогда не держал ее в своих объятиях, она всегда стояла между моим заделанным решеткой оконцем и дверью. Но, ты понимаешь, это была не та дочь, о которой я сейчас говорил.

— Образ не тот? Виденье? Фантазия?

— Да, нечто совсем другое. Она стояла перед моим расстроенным зрением, стояла, не двигаясь. Та, что жила в моем воображении, была моей плотью, моей родной дочерью. Я не знаю, какая она была, знаю только, что она была похожа на мать. И эта тоже напоминала ее — так же, как ты, — но это была не она. Ты понимаешь меня, Люси? Нет, наверно? Я думаю, только тот, кто побывал в одиночном заключении, может различать такие тонкости.

Он говорил спокойно, рассудительно, а у нее холод пробегал по спине, оттого что он так углублялся в свои давние переживания, точно пытаясь вскрыть каждое движение души.

— И вот, когда на меня находило такое забытье, я видел, как она вдруг появляется в лунном свете и выводит меня отсюда и ведет к себе домой, где она живет с мужем и где бережно хранится память о пропавшем отце. В комнате ее висит мой портрет, она шепчет мое имя в своих молитвах. Она живет полной, деятельной, полезной жизнью, но память о моей печальной судьбе присутствует во всем.

— Я эта дочь, папа; конечно, не такая хорошая, но по тому, как я вас люблю, это была я.

— И она показывала мне своих детей, — продолжал доктор, — она часто говорила с ними обо мне, и они жалели меня. Когда они проходили мимо тюрьмы, они старались держаться подальше от ее мрачных стен и, поглядывая вверх на толстые прутья решеток, говорили шепотом. Но она не могла вернуть мне свободу. Воображенье всегда рисовало мне, как она ведет меня к себе домой, показывает все это и потом приводит обратно. Но я после этого обретал способность плакать и, обливаясь слезами, падал на колени и благословлял ее.

— Это была я, папочка! О мой дорогой, мой любимый! Можете ли вы обещать мне, что вы вот так же от всего сердца благословите меня завтра?

— Милая Люси, я вспоминаю сегодня эти прежние муки, потому что сегодня я особенно сильно почувствовал и не нахожу слов выразить, как ты дорога мне и как я благодарю бога за свое великое счастье. Никогда я и мечтать не мог о таком счастье, какое узнал с тобой, ни о том, какое нас ждет в будущем.

Он обнял ее и с глубоким волнением благословил, смиренно благодаря небо за то, что оно ниспослало ему такое утешение. Немного погодя они вернулись домой.

На свадьбу никого не приглашали, кроме мистера Лорри, никаких подружек невесты, кроме невзрачной мисс Просс. Молодым не надо было никуда перебираться после свадьбы; на их счастье, оказалось возможным занять комнаты в верхнем этаже, принадлежавшие ранее какому-то мифическому жильцу; это было очень удобно, больше им ничего и не требовалось.

За ужином доктор Манетт был в приподнятом настроении. Они ужинали втроем, третья была мисс Просс. Доктор пожалел, что Чарльза нет с ними; он даже пытался было протестовать против этого заговора, устроенного из любви к нему, и с чувством выпил за его здоровье.

Наконец пора было ложиться спать, он поцеловал Люси, пожелал ей спокойной ночи, и они разошлись.

А ночью, часа в три, когда все уже спали, Люси опять сошла вниз и тихонько проскользнула к нему в комнату; какая-то смутная тревога одолевала ее.

Но все было спокойно, все на своем месте; он спал; седая голова живописно выделялась на несмятой подушке, и руки спокойно лежали поверх одеяла. Она поставила свечу подальше и загородила свет, на цыпочках подошла к постели, нагнулась и поцеловала его, потом немножко постояла, вглядываясь в его лицо.

Тяжкие муки заточенья оставили скорбные следы на этом красивом лице; но он так владел собой, что даже и сейчас, когда он спал, следов этих почти не было видно. Это было поистине замечательное лицо, — твердое, исполненное решимости, свидетельствующей о скрытой непрестанной борьбе с незримым противником, — таким она увидела его в ту ночь, и вряд ли среди бесчисленных спящих можно было найти другое такое лицо.

Она осторожно положила руку ему на грудь, моля бога, чтобы ей было дано на всю жизнь остаться его верным другом, чтобы он всегда находил в ней то, что он заслужил своими страданиями и что она так жаждала дать ему своею любовью. Тихонько убрав руку, она еще раз поцеловала его и ушла. Вскоре взошло солнце, и тень от листвы платана, пронизанной солнечным светом, мягко затрепетала на его лице, скользя по нему так же беззвучно, как беззвучно шевелились ночью губы его дочери, когда она молилась за него.

Глава XVIII
Девять дней

Настал день свадьбы, ясный, солнечный; все собрались в гостиной, смежной с комнатой доктора, куда дверь была закрыта и где он разговаривал с Чарльзом Дарнеем. Все были готовы и ждали их, чтобы ехать в церковь; прелестная невеста, мистер Лорри и мисс Просс, для которой это счастливое событие, после того как она постепенно примирилась с неизбежным, было бы поистине райским праздником, если бы не тайное сожаление, что жених не ее брат Соломон.

— Итак, милая Люси, — говорил мистер Лорри, который никак не мог налюбоваться на невесту и ходил вокруг нее, разглядывая со всех сторон ее красивый скромный наряд, — вот, значит, для чего я вез вас сюда через Ламанш еще вот такой крошкой! Разве мог я тогда думать, что из этого выйдет. Знал бы я, что я так облагодетельствую моего друга Чарльза!

— Вовсе вы не затем ее везли, — деловито одернула его мисс Просс. — Откуда вам было знать? Глупости вы говорите!

— Вы так думаете, правда? Ну, а зачем же плакать? — ласково заметил мистер Лорри.

— Я не плачу! — отрезала мисс Просс. — Это вы плачете.

— Я, милочка Просс? (Мистер Лорри теперь даже позволял себе иногда такие фамильярности с мисс Просс.)

— Да вот только сейчас, я сама видела, да я и не удивляюсь. От такого роскошного подарка, как все это серебро, которое вы им преподнесли, кто не заплачет! Я вчера, как принесли от вас этот ящик, стала его перебирать, так над каждой ложкой да вилкой слезами обливалась, чуть не ослепла.

— Мне, конечно, очень приятно это слышать, — отвечал мистер Лорри. — Но, упаси боже! я совсем не хотел ослеплять кого-нибудь этими пустячками. И знаете, это наводит на размышления, — я только теперь вижу, чего я, оказывается, лишился. Ай-ай-ай! Только представить себе, что вот уже без малого пятьдесят лет со мной рядом могла бы существовать миссис Лорри!

— Вот уж нет! — возмутилась мисс Просс.

— А вы полагаете, что на свете не могло бы быть миссис Лорри? — поинтересовался мистер Лорри.

— Пфф! — фыркнула мисс Просс. — Вы уже с пеленок были старым холостяком!

— Что ж, пожалуй, это и верно! — согласился мистер Лорри, с улыбкой поправляя свой паричок.

— Такой уж вы уродились, таким вас скроили, прежде чем на вас пеленки припасли, — продолжала мисс Просс.

— В таком случае со мной очень несправедливо поступили, — возразил мистер Лорри, — прежде чем кроить, следовало бы посоветоваться со мной. Ну, шутки в сторону! Вот что,

дорогая Люси, — сказал он, ласково обнимая ее за талию, — я слышу, они уже там двигаются в комнате, но пока их еще нет, мы с мисс Просс, оба люди деловые, воспользуемся этим моментом, — наверно, вам не терпится услышать от нас то, что мы сейчас скажем. Вы можете быть совершенно спокойны, вы оставляете своего дорогого батюшку в любящих и заботливых руках; о нем будут заботиться так же, как заботились вы. Эти две недели, что вы будете в Уорвикшире, для меня даже контора Теллсона отойдет на задний план (по сравнению с ним, конечно). А когда через две недели он приедет к вам и вы втроем отправитесь путешествовать по Уэльсу, вы сами увидите его живым и здоровым и в отличном расположении духа. Ну вот, я уже слышу чьи-то шаги. Дайте я поцелую вас, моя дорогая девочка, и пока кто-то еще не хватился своего сокровища, позвольте мне, старику, благословить вас по старому обычаю.

Держа обеими руками хорошенькое личико, он слегка отстранил его от себя, любуясь знакомым выражением, прятавшимся в чуть заметной морщинке между бровей, а потом, обняв Люси, прильнул своим русым паричком к ее золотым кудрям с такой бережной, трогательной нежностью, какую никто не решился бы назвать старомодной, ибо она стара как мир.

Дверь спальни отворилась, и к ним вышел доктор Манетт с Чарльзом Дарнеем. Доктор был мертвенно-бледен — он не был таким, когда уходил, — в лице его сейчас не было ни кровинки. Но держался он, как всегда, спокойно, и только зоркий глаз мистера Лорри по каким-то неуловимым признакам скорее угадал, чем увидел следы прежнего отсутствующего выражения и ужаса, которые, словно страшная тень, дохнувшая холодом, только что сбежали с этого лица.

Доктор взял Люси под руку и повел ее вниз по лестнице к коляске, которую ради такого торжественного случая нанял мистер Лорри. Остальные уселись в карету, и вскоре тут же рядом, в ближайшей церкви, где в этот час никого не было и никто на них не глазел, Чарльз Дарней и Люси Манетт сочетались счастливыми узами.

Когда они выходили из церкви, лица у всех светились улыбками, кой у кого блестели слезы на глазах, а на руке у новобрачной ярко сверкал бриллиантовый перстень, только что извлеченный из темной глубины одного из обширных карманов мистера Лорри. Они вернулись домой и сели завтракать, и все было очень хорошо, и, наконец, наступила минута прощанья; все вышли на крыльцо, и в этот радостный солнечный день золотые локоны дочери снова смешались с седыми волосами отца так же, как в тот день на чердаке парижского предместья, когда они впервые коснулись седой головы бедного башмачника.

Обоим было больно расставаться, хотя они расставались ненадолго. Но отец ободрял дочь, и, наконец, мягко высвободившись из ее объятий, он сказал Дарнею:

— Возьмите ее, Чарльз! Она ваша.

Дрожащая ручка высунулась, махая им из окна кареты, и вот она уже скрылась из глаз.

В тупичок редко когда кто заглядывал, и сейчас не видно было ни прохожих, ни любопытных, — гостей на свадьбу не звали, и после того как проводили молодых, доктор, мистер Лорри и мисс Просс остались совсем одни. Когда они вошли с крыльца в прохладную тень подъезда, мистеру Лорри бросилась в глаза перемена, происшедшая с доктором, — его словно что-то сразило, как если бы золотая рука исполина, торчавшая из стены над крыльцом, обрушилась на него со страшной силой.

Конечно, ему стоило немалого труда побороть свои чувства, и сейчас, когда необходимость в этом отпала, можно было ожидать, что он сдаст. Но мистера Лорри поразил его блуждающий испуганный взгляд, а когда они поднялись наверх и доктор, растерянно озираясь, схватился за голову и, шатаясь, побрел к себе в комнату, мистеру Лорри невольно вспомнился хозяин погребка Дефарж и ночное путешествие под звездным небом.

— Мне кажется, — шепнул он мисс Просс, проводив доктора тревожным взглядом, — мне кажется, лучше сейчас и не пытаться разговаривать с ним, а оставить его в покое. Мне надо

еще зайти в контору, так я, пожалуй, пойду сейчас и тут же вернусь. А потом мы все вместе поедем куда-нибудь за город, пообедаем там, и, я думаю, все обойдется.

Но зайти в контору оказалось много легче, чем выйти оттуда. Мистер Лорри задержался там на два часа. Возвратившись в Сохо, он сразу поднялся наверх, ни о чем не спросив служанку, открывшую ему дверь, и направился прямо в комнату доктора, но вдруг остановился как вкопанный, услышав глухой стук сапожного молотка.

— Боже мой! Что такое? — в ужасе прошептал он.

Мисс Просс с перепуганным лицом стояла у него за спиной.

— О, что нам делать, что нам делать! — воскликнула она, ломая руки. — Что я скажу моей птичке? Он не узнает меня, он шьет башмаки!

Мистер Лорри попытался, как мог, успокоить ее и вошел в комнату к доктору. Низенькая скамеечка стояла под окном, на нее падал свет, как тогда, когда он впервые увидел его на чердаке за работой; он сидел согнувшись и усердно тачал.

— Доктор Манетт! Дорогой друг мой! Доктор Манетт!

Доктор поднял глаза и посмотрел на него как-то недоуменно и в то же время с досадой — что вот опять к нему пристают — и снова согнулся над работой.

Он был без камзола и без жилета, в расстегнутой на груди сорочке, как тогда, когда он занимался сапожным ремеслом; и даже лицо у него было такое же, как тогда, — бледное, осунувшееся, измученное.

Он работал с каким-то ожесточением, — точно он торопился, точно его оторвали от работы и надо было наверстать упущенное.

Мистер Лорри взглянул на башмак у него в руке и увидел, что это тот же прежний башмак старинного фасона. Он поднял второй башмак, лежавший тут же около, и спросил, что это такое.

— Дамский башмак для молодой девушки, на прогулку ходить, — пробормотал тот, не глядя. — Его уже давно надо было кончить. Положите его тут.

— Но, доктор Манетт! Посмотрите на меня! Он тупо и покорно поднял глаза, не отрываясь от работы, — точь-в-точь как прежде.

— Вы узнаете меня, друг мой? Опомнитесь, прошу вас! Это совсем не подходящее для вас занятие. Опомнитесь, дорогой друг!

Доктор молчал, и его нельзя было заставить заговорить. Он на секунду поднимал взгляд, когда к нему обращались, но никакими просьбами, ни убеждениями нельзя было добиться от него ни слова. Он работал, работал, не отрываясь, молча, и все уговоры мистера Лорри отскакивали от него, как от глухой стены, повисали в воздухе. И только то, как он иногда вдруг сам украдкой поднимал глаза и оглядывался по сторонам, еще сулило какую-то надежду и не позволяло мистеру Лорри отчаиваться.

В глазах его в эти минуты мелькало какое-то беспокойство, недоумение, как будто он о чем-то смутно догадывался, силился что-то понять.

Мистер Лорри счел своим долгом прежде всего позаботиться о двух вещах: во-первых, скрыть это от Люси, а затем принять меры, чтобы это не дошло ни до кого из знакомых. Заручившись помощью мисс Просс, он немедленно оповестил всех, что доктор нездоров и что ему в течение нескольких дней предписан полный покой. Что же касается Люси, мисс Просс написала ей, что доктора неожиданно вызвали к больному, и ему пришлось срочно выехать, и что он, кажется, перед отъездом успел написать ей об этом несколько слов.

Приняв все эти меры предосторожности в надежде, что доктор скоро поправится, мистер Лорри решил на будущее — как только доктор придет в себя, посоветоваться с опытным врачом, с таким, который лучше всех других мог бы разобраться в его болезни. А до тех пор

оставить больного в покое и только наблюдать за ним, но так, чтобы он ни в коем случае этого не замечал.

С этой целью мистер Лорри первый раз в жизни отпросился на несколько дней из банка и, расположившись у окна в комнате доктора, приступил к своему дежурству.

Он очень скоро убедился, что все попытки втянуть больного в разговор не только ни к чему не приводят, но действуют на него раздражающе и угнетают его. И он с первого же дня оставил эти попытки и решил просто сидеть с ним в одной комнате, как бы заявляя своим постоянным присутствием молчаливый протест против того помрачения, в которое впал бедный доктор или которое ему угрожает. Итак, мистер Лорри сидел у окна, читал, писал и всеми доступными ему способами старался показать, что он чувствует себя очень приятно и непринужденно, — словом, что он здесь не взаперти, а на свободе.

Доктор Манетт ел и пил все, что ему давали, и в этот первый день работал не разгибаясь, до тех пор, пока уже совсем стемнело и мистер Лорри вот уже полчаса как закрыл книгу, потому что при всем желании не мог разобрать ни строчки. Когда, наконец, он отложил свой молоток, потому что уже совсем ничего не было видно, мистер Лорри поднялся и сказал:

— Не хотите ли пройтись?

Доктор, не поднимая головы, посмотрел куда-то вниз, сначала по одну сторону от себя, потом по другую, потом, вскинув глаза, совсем как прежде, повторил безжизненным голосом:

— Пройтись?

— Ну, да. Погулять. А почему бы и нет?

На это он ничего не ответил. Согнувшись на своей скамейке, он сидел в темноте, подперев голову руками и облокотясь на колени, но мистеру Лорри, наблюдавшему за ним, показалось, что он задумался и шепчет про себя: «А почему бы и нет?» Мистер Лорри, человек деловой и проницательный, усмотрел в этом нечто благоприятное и решил придерживаться своей тактики.

Ночью уговорились с мисс Просс дежурить по очереди и наблюдать за ним из соседней комнаты. Больной долго шагал взад и вперед у себя в спальне, но когда, наконец, лег в постель, сразу уснул. Проснулся он рано и тотчас же уселся за работу.

Утром на второй день мистер Лорри поздоровался с ним как ни в чем не бывало и заговорил о чем-то таком, о чем они часто беседовали последнее время. Доктор не отвечал, хотя, по-видимому, слышал, что ему говорили, и может быть, даже кое-что смутно доходило до него. Мистер Лорри, воспрянув духом, предложил мисс Просс приходить со своей работой в комнату доктора; она в течение дня несколько раз заглядывала к ним, и они спокойно разговаривали о Люся и о ее отце, который сидел тут же, и оба старались держать себя непринужденно и естественно, как будто ничего не случилось. Они делали это не навязчиво и не слишком часто, чтобы не утомлять и не раздражать его своими разговорами. И мистер Лорри, добрая душа, с чувством облегчения замечал, что доктор все чаще поглядывает на них и как будто начинает сознавать, что тут что-то одно с другим не вяжется.

А когда уже совсем стемнело, мистер Лорри, как и накануне, предложил:

— Дорогой доктор, не хотите ли пройтись?

И опять он повторил за ним: «Пройтись?»

— Ну, да. Пойдем погуляем. Почему бы и нет?

И на этот раз не получив никакого ответа, мистер Лорри сделал вид, что уходит гулять, вышел из комнаты и вернулся через час. А тем временем доктор пересел в кресло у окна и сидел там все это время, глядя на старый платан. Но как только мистер Лорри вернулся, он сейчас же перебрался на свою скамью.

Медленно проходили дни, и надежды мистера Лорри угасали, опять у него становилось тяжело на душе, и с каждым днем все тяжелее и тяжелее. Так наступил и прошел третий день, четвертый, пятый. Пять, шесть, семь, восемь, девять дней.

Все эти дни мистер Лорри жил в непрестанной тревоге и уже почти потерял надежду.

Болезнь доктора по-прежнему держали в секрете, Люси ничего не подозревала, была беззаботна и счастлива; а мистер Лорри с болью в душе убеждался, что руки башмачника, который на первых порах не очень умело орудовал своими инструментами, день ото дня становились все более искусными, и никогда еще не замечал он за своим бедным другом такого рвения, никогда его пальцы не двигались с таким проворством и ловкостью, как на исходе этого девятого дня.

Глава XIX

Совет врача

Измученный постоянной тревогой и длительным бденьем, мистер Лорри заснул на своем дежурстве. Утром десятого дня он проснулся от яркого солнечного света, хлынувшего в окна гостиной, где он уснул, должно быть, уже поздно ночью, после того как долго сидел один в темноте.

Он протер глаза, встал, подошел к дверям спальни, и тут ему показалось, что он, верно, еще не совсем проснулся: потому что, когда он заглянул в дверь, он увидел не скамью башмачника с его инструментами — все это было убрано и отставлено в сторону, — а самого доктора, который сидел у окна в кресле и читал. Он был одет по-домашнему, в халате, и лицо его (мистер Лорри видел его отлично), правда, все еще очень бледное, было совершенно спокойно, вдумчиво и сосредоточенно.

Мистер Лорри, теперь уже убедившись, что не спит, все еще не верил себе, у него даже мелькнуло подозрение, не привиделась ли ему во сне вся эта история с башмачником, ведь вот же он, его друг, тут, перед глазами, такой же, как всегда, в своем обычном виде, за своим обычным занятием; и где же хоть какие-нибудь следы того ужасного превращения, которое их так напугало, хотя бы признак того, что это действительно было? Но, конечно, такое подозрение могло возникнуть только в первую секунду, пока он еще не совсем очнулся. А доказательства того, что произошло, были налицо: как же он сам-то очутился здесь, он, Джарвис Лорри, если для этого не было достаточно важной причины? Как случилось, что он уснул одетый на диване в гостиной и вот сейчас ранним утром стоит у дверей докторской спальни и задает себе все эти вопросы.

Через несколько минут за его спиной выросла мисс Просс и возбужденно зашептала ему на ухо. Если бы у него еще оставались какие-нибудь сомнения, они моментально рассеялись бы от этого шепота. Но у мистера Лорри теперь уже совершенно прояснилось в голове, и он больше не сомневался. Он посоветовал не беспокоить доктора до завтрака, лучше они встретятся с ним за столом, как ни в чем не бывало. Если они убедятся, что он в обычном хорошем состоянии, мистер Лорри осторожно заведет разговор и попросит у него совета и наставления, которые он, тревожась за него, давно хотел попросить.

Мисс Просс, положившись на мистера Лорри, пошла распорядиться насчет завтрака, а мистер Лорри тщательно занялся своим туалетом. Времени у него было достаточно, и в положенный час мистер Лорри явился к столу, как всегда в безукоризненном воротничке и манжетах и как всегда щеголяя своими туго обтянутыми икрами.

Доктору доложили, что завтрак подан, и он пришел и сел на свое обычное место.

Насколько можно было судить по завязавшемуся разговору, в котором мистер Лорри с присущей ему деликатностью избегал касаться кой-каких вопросов, доктор пребывал в полной уверенности, что свадьба его дочери состоялась накануне. Когда же мистер Лорри как бы невзначай упомянул, какой сегодня день и число, он задумался, начал что-то высчитывать в уме и явно смутился. Но, в общем, он был совершенно такой же, как прежде, и разговаривал

так спокойно и сдержанно, что мистер Лорри решил, не откладывая, посоветоваться с ним насчет него самого.

Поэтому, как только кончился завтрак, и убрали со стола, и они остались вдвоем с доктором, мистер Лорри завел с ним дружескую беседу:

— Дорогой Манетт, мне бы очень хотелось узнать ваше мнение — но так, чтобы это осталось между нами, — по поводу одного весьма удивительного случая, который меня чрезвычайно заинтересовал; возможно, он вам вовсе не покажется таким удивительным, поскольку вы в этом разбираетесь лучше меня…

Доктор взглянул на свои руки, огрубевшие от работы, и явно смутился, но продолжал внимательно слушать. Он уже не раз поглядывал сегодня на свои руки.

— Доктор Манетт, — продолжал мистер Лорри, мягко беря его за локоть, — случай этот произошел с очень близким и дорогим для меня другом. Я очень прошу вас, подумайте и посоветуйте, что можно сделать, — я обращаюсь к вам и ради него самого, а главное — ради его дочери, дочери, дорогой Манетт.

— Насколько я понимаю, речь идет о каком-то душевном заболевании? — тихо спросил доктор.

— Да!

— Ну, расскажите, как это случилось. Расскажите обстоятельно, ничего не пропускайте.

Убедившись, что они понимают друг друга, мистер Лорри продолжал:

— Дорогой Манетт, это заболевание было вызвано когда-то, очень давно, сильным, длительным и тяжелым потрясением, потрясением всех чувств… ума… сердца… ну, словом, как это у вас говорится… душевным потрясением. Душевным. И вот, в таком душевном потрясении или затмении несчастный больной пребывал очень долго, — как долго, этого никто не знает, потому что сам он вряд ли может припомнить, когда это началось, а без него этого нельзя установить. Затмение это у него прошло, — как, каким образом, он был не в состоянии проследить — я сам слышал и был потрясен, когда он однажды публично рассказывал об этом. Никаких следов заболевания не осталось, никаких! Это человек высокого ума, серьезный ученый, неутомимый труженик науки, очень выносливый физически, человек с обширными знаниями, которые он неустанно пополняет. И вот — надо же такое несчастие! — недавно, — тут мистер Лорри сделал паузу и глубоко вздохнул, — у него это повторилось, правда в слабой форме.

— И как долго это продолжалось? — тихо спросил доктор.

— Девять суток.

— В чем же это проявилось? Не овладела ли им снова, — он опять взглянул на свои руки, — какая-нибудь навязчивая идея, мания, которая была у него и раньше во время болезни.

— Да, вот именно.

— А вам приходилось видеть его прежде, — доктор говорил сдержанно, внятно, но все так же тихо, — когда он был одержим этой манией?

— Да, один раз видел.

— И что же, когда приступ повторился, он и во всем остальном вел себя так же, как раньше, или не совсем так?

— Да, по-моему, так же.

— Вы говорили что-то о его дочери. Знает она об этом приступе?

— Нет. От нее скрыли, и я надеюсь, что она и не узнает. Знаю только я да еще один человек, на которого можно положиться.

Доктор горячо пожал руку мистеру Лорри и прошептал:

— Вот это хорошо. Очень хорошо, что вы об этом подумали!

Мистер Лорри тоже крепко пожал ему руку, и оба некоторое время сидели молча.

— Так вот, дорогой Манетт, — сердечно и задушевно промолвил, наконец, мистер Лорри, — я ведь человек деловой, где мне разбираться в подобных тонкостях. У меня и знаний таких нет, да и не моего это ума дело. Мне нужно, чтобы меня кто-то наставил. И нет человека на свете, на которого я мог бы положиться так, как на вас. Объясните мне, что это был за приступ, надо ли опасаться, что он повторится? Нельзя ли это как-то предотвратить? Что делать в случае, если он повторится? Отчего бывают такие приступы? Чем я могу помочь моему другу? Я для него все на свете готов сделать, только бы знать, как прийти ему на помощь. Сам я понятия не имею, как к этому приступиться. Что я должен в таких случаях делать? Если вы, с вашими знаниями, с вашим умом и опытом, наставите меня на верный путь, я могу ему чем-то помочь; а без наставления, без совета ему от меня мало проку. Я вас очень прошу, не откажите мне в вашем совете, помогите мне разобраться, научите меня, как в таких случаях поступать.

Доктор Манетт сидел глубоко задумавшись и не сразу собрался ответить на эту взволнованную речь. Мистер Лорри не торопил его.

— Я думаю, — вымолвил он, наконец, не без усилия, — что этот приступ, который вы мне описали, не был, по всей вероятности, неожиданностью для самого больного.

— По-вашему, он предвидел и страшился его? — отважился спросить мистер Лорри.

— Да, очень страшился, — невольно передергиваясь, сказал доктор. — Вы не можете себе представить, как ужасно угнетает больного такое предчувствие и как трудно и даже почти невозможно для него заговорить с кем-нибудь о том, что его угнетает!

— А не было бы для него облегчением, если бы он переломил себя и поделился с кем-нибудь из близких тем, что его так тяготит?

— Да, пожалуй. Но, как я уже говорил вам, это для него почти невозможно. И я даже думаю — бывают случаи, когда это совершенно невозможно.

— А скажите, — помолчав, спросил мистер Лорри, снова мягко и осторожно дотрагиваясь до его руки, — чем, по-вашему, мог быть вызван такой приступ?

— Я думаю, что-то внезапно всколыхнуло в нем тяжелые воспоминания и мысли, преследовавшие его еще в ту пору, когда у него только начиналась эта болезнь. В связи с этим мог возникнуть целый ряд каких-то особенно гнетущих ассоциаций. Возможно, он уже давно смутно подозревал и опасался, что эти ассоциации могут возникнуть у него в связи с некиим чрезвычайным событием. Быть может, он старался пересилить себя и как-то подготовиться к этому и ничего из этого не вышло; возможно даже, что эти его тщетные попытки и привели к тому, что он в конце концов надорвался и не выдержал.

— А помнит он, что с ним было во время приступа? — нерешительно спросил мистер Лорри.

Доктор медленно обвел глазами комнату и, с каким-то безнадежным видом покачав головой, ответил тихо:

— Нет, ничего не помнит.

— Ну, а что вы можете посоветовать мне на будущее?

— Что касается будущего, — уверенно сказал доктор, — я бы сказал, у вас есть все основания надеяться. Уж если он милостью провидения пришел в себя, и в такой короткий срок, можно за него быть спокойным. Если этот приступ случился с ним в результате того, что он в течение долгого времени старался подавить в себе какое-то гнетущее предчувствие и страх и не выдержал, столкнувшись с тем, чего он страшился, а потом все же поправился, — то теперь гроза миновала. Я думаю, что худшее уже позади.

— Вот это хорошо, очень хорошо. Это меня утешает. Слава богу! — воскликнул мистер Лорри.

— Слава богу! — повторил доктор, низко склонив голову.

— У меня к вам еще два вопроса, по которым я хотел бы с вами посоветоваться. Можно мне вас спросить?

— Ваш друг должен благодарить вас, вы не можете оказать ему большей услуги, — и доктор пожал ему руку.

— Так вот, значит, первое. Это человек чрезвычайно усидчивый и необыкновенно энергичный. Он с таким рвением отдается своему делу, занимается всякими исследованиями, ставит опыты, словом, трудится неустанно. Не находите ли вы, что ему нельзя так много работать?

— Не думаю. Возможно, при таком душевном складе ему требуется, чтобы ум его всегда был занят. В какой-то мере, это его естественная потребность, а потрясение значительно усилило эту потребность. Недостаток здоровой пищи для такого ума грозит тем, что он будет питаться нездоровыми мыслями. Я так думаю, что он сам наблюдал за собой и пришел к этому разумному выводу.

— А вам не кажется, что такое умственное напряжение вредно для него.

— Нет, могу с уверенностью сказать, что нет.

— Дорогой Манетт, но ведь если он переутомится…

— Друг Лорри, я не думаю, что ему грозит такая опасность. Все его мысли были до сих пор направлены в одну сторону; чтобы восстановить равновесие, им необходимо дать другое направление.

— Простите мне мою настойчивость, мы, дельцы, народ дотошный. Вообразите на минуту, что он слишком много работал и переутомился: может у него от этого повториться приступ?

— Нет, не думаю, — твердо и убежденно сказал доктор Манетт, — я не допускаю мысли, что, помимо некоторых определенных ассоциаций, что-либо другое способно вызвать у него приступ. Я полагаю, что это у него больше не повторится, если только какое-то необыкновенное стечение обстоятельств не заденет в нем эту чувствительную струну. А раз уж после того, что с ним произошло, он выздоровел, я не представляю себе, чтобы ее что-нибудь могло так задеть. Мне думается, и я надеюсь, что такое несчастное стечение обстоятельств больше не повторится.

Он говорил осторожно, как человек, который понимает, что мозг — это такое тонкое и сложное устройство, что достаточно иной раз пустяка, чтобы повредить этот хрупкий механизм. И в то же время он говорил с уверенностью человека, черпающего эту уверенность из собственного горького опыта — долготерпения и страданий. И уж конечно его друг мистер Лорри не пытался поколебать эту уверенность. Он сделал вид, будто успокоился и верит, что все обошлось, хотя на самом деле далеко не был в этом убежден, и перешел ко второму вопросу, который отложил на самый конец. Он понимал, что об этом будет всего труднее говорить, но, вспоминая то, что ему рассказывала мисс Просс, когда он как-то застал ее одну в воскресенье, вспоминая все то, что он видел сам своими глазами за последние девять дней, он чувствовал, что не имеет права уклониться от этого разговора.

— Навязчивая идея, овладевшая им во время приступа, от которого он так быстро оправился, — откашлявшись, заговорил мистер Лорри, — выражалась… гм… ну, назовем это кузнечным ремеслом, вот именно — кузнечное ремесло! Предположим для примера, что он когда-то давно, в самое тяжкое для него время, работал на маленькой наковальне. И вот теперь он вдруг ни с того ни с сего опять стал за свою наковальню. Не находите ли вы, что ему не следовало бы держать ее постоянно у себя на глазах?

Доктор сидел, прикрыв лоб рукой, и нервно постукивал ногой об пол.

— Он ее с тех пор так при себе и держит, — продолжал мистер Лорри, с беспокойством глядя на своего друга. — А не лучше ли было бы ему с ней расстаться?

Доктор, все так же опершись па руку, молча постукивал ногой об пол.

— Вы опасаетесь советовать? — промолвил мистер Лорри. — Я понимаю, конечно, такой щекотливый вопрос. А все-таки мне думается… — Он покачал головой и не договорил.

— Видите ли, — сказал доктор, поворачиваясь к нему после долгого тягостного молчания, — мне очень трудно объяснить вам, что происходит в мозгу вашего бедного друга. Он когда-то так тосковал по этой работе и так радовался, когда ему ее разрешили; ведь это было для него громадное облегчение; когда он работал руками, он ни о чем не думал, кроме своей работы, в особенности на первых порах, пока она ему давалась с трудом; а по мере того как руки его привыкали, сознание и чувства притуплялись, и ему легче было переносить свои мученья; с тех пор он и подумать не мог расстаться со своей работой. И даже теперь, когда он, насколько я могу судить, может быть вполне за себя спокоен и сам чувствует, что может поручиться за себя, стоит ему только представить себе, что его вдруг потянуло к прежней работе, а ее около него нет, — его охватывает такой ужас, какой, должно быть, испытывает ребенок, который сбился с дороги и заплутался в лесу.

Он поднял глаза и беспомощно посмотрел на мистера Лорри, и на лице его и в самом деле был написан ужас.

— А не думаете ли вы — поверьте, я спрашиваю, как человек, который совсем не разбирается в подобных тонкостях, который всю жизнь имеет дело только со счетами, гинеями, шиллингами да банкнотами, — не думаете ли вы, что это постоянное напоминание у него перед глазами невольно возвращает его к прошлому? И если бы он убрал это напоминанье, дорогой Манетт, может быть, он избавился бы и от своего страха? Короче говоря, не уступка ли страху эта его привязанность к наковальне?

Снова наступило молчание.

— Видите ли, — как-то неуверенно промолвил доктор, — ведь для него это старый друг.

— Я бы не стал ее держать, — сказал мистер Лорри, энергично тряся головой; он чувствовал себя гораздо увереннее, видя, что доктор колеблется, — я бы посоветовал ему от нее избавиться. Но, конечно, не без вашего разрешения. Я уверен, что ему это только во вред. Нет, право же, согласитесь, дорогой друг! Разрешите мне сделать это ради его дочери, дорогой Манетт!

Странно было наблюдать борьбу доктора Манетта с самим собой.

— Ну, разве только ради нее. Хорошо, разрешаю вам. Но я не советовал бы убирать эту вещь при нем. Унесите ее, когда он куда-нибудь уедет. Чтобы он не сразу почувствовал, что лишился старого друга, а уже после некоторого отсутствия, когда он немножко отвыкнет.

Мистер Лорри, конечно, не стал возражать, и на том разговор и кончился. Они в этот день поехали за город, и на свежем воздухе доктор почувствовал себя гораздо лучше. Дня через три он совсем поправился, а на исходе второй недели, как и было условлено, отправился в Уорвикшир, чтобы продолжить путешествие с Люси и ее мужем. За несколько дней до его отъезда мистер Лорри рассказал ему, как Люси было объяснено его молчание, и он написал ей, подтвердив свою отлучку, и Люси была спокойна и ничего не подозревала.

Вечером в тот день, когда он уехал, мистер Лорри, вооружившись топором, долотом, пилой и молотком, вошел в его комнату, а за ним шествовала мисс Просс со свечой в руке. Хоронясь, словно заговорщики, они заперли дверь, и мистер Лорри стал рубить топором скамью башмачника, а его помощница мисс Просс светила ему и всем своим угрюмым видом как нельзя более напоминала соучастницу в злодеянии. Труп жертвы (изрубленный на мелкие части) стащили в кухню и тут же сожгли в печке, а сапожные инструменты, башмаки и кожу закопали в саду. Честным людям, вынужденным что-то уничтожать, да еще тайком, кажется,

будто они совершают что-то дурное, и мистер Лорри и мисс Просс, покуда они делали это свое тайное дело и потом прятали следы, чувствовали себя преступниками, да и вид у них был такой же преступный.

Глава XX
Заступничество

Когда молодожены вернулись, первым пришел их поздравить Сидни Картон. Он явился в тот же день, прошло только несколько часов, как они приехали. Сидни был все тот же, что и прежде, и жил по-прежнему, и ни в его внешности, ни в манере держать себя не наблюдалось никаких перемен. Только Чарльз Дарней обнаружил в нем какую-то грубоватую преданность, которой раньше не замечал.

Улучив минуту, когда другие увлеклись разговором, Картон отвел его в сторону, к окну, и сказал ему:

— Мистер Дарней, мне хотелось бы, чтобы мы с вами были друзьями.

— Мне кажется, мы уже давно друзья.

— Конечно, с вашей стороны очень мило, что вы отвечаете мне, как принято отвечать в таких случаях, но я, знаете, не собирался обмениваться любезностями. И когда я сказал, что мне хотелось бы, чтобы мы были друзьями, я, по правде сказать, подразумевал под этим нечто иное.

Чарльз Дарней, как и всякий бы на его месте, спросил его очень дружелюбно и добродушно, что же он, собственно, под этим подразумевал?

— Вот в том-то и беда, — улыбаясь, отвечал Картон, — сам я это очень хорошо понимаю, а вот сказать так, чтобы вы это поняли, оказывается, не так-то легко. Ну, попробую все-таки. Помните вы тот знаменательный день, когда вы видели меня… пьяным несколько более обычного.

— Как не помнить! Вы чуть ли не силком заставили меня признать, что выпили лишнее.

— Вот и я тоже помню. Это мое несчастье, такие дни навсегда остаются у меня в памяти. Надеюсь, когда-нибудь мне это зачтется, хотя бы на том свете. Но вы не бойтесь. Я не собираюсь произносить никаких проповедей.

— А я и не боюсь. Меня радует, когда вы говорите серьезно.

— Эх! — вырвалось у Картона, и он махнул рукой, словно отмахиваясь от того, что ему почудилось за этими словами. — В тот знаменательный день, о котором идет речь (а таких дней у меня, как вы догадываетесь, было немало), я в пьяном виде донимал вас дурацкими разговорами о том, нравитесь вы мне или не нравитесь. Так вот, я бы хотел, чтобы вы об этом забыли.

— Я уже давно забыл.

— Ну, вот вы опять отделываетесь фразой! А для меня, мистер Дарней, забыть это не так просто, как вы стараетесь изобразить. Я-то ведь не забыл, и ваш пренебрежительный ответ вряд ли поможет мне забыть это.

— Если мой ответ кажется вам пренебрежительным, я прошу вас извинить меня, — отвечал Дарней. — Мне, правда, не хочется придавать значения таким пустякам, и меня удивляет, что это вас так беспокоит. Даю вам честное слово джентльмена, я и думать об этом забыл! Да есть ли тут о чем думать, боже праведный! А вот чего я никогда не забуду, так это ту великую услугу, которую вы мне оказали в тот день.

— Что за великая услуга! — возразил Картон. — И если уж вы так об этом говорите, я считаю своим долгом признаться вам, что это был чисто профессиональный трюк. Сказать правду, в то время, когда я оказал вам эту услугу, я вовсе не так уж интересовался вашей судьбой. В то время! — заметьте — я говорю о том, что было.

— Вы стараетесь свести на нет вашу услугу, — сказал Дарней. — Это ли не пренебреженье — но уж я к вам не буду придираться.

— Да, поверьте мне, мистер Дарней, я вам истинную правду говорю! Но я уклонился от того, что хотел сказать. Так вот я предлагаю, чтобы мы с вами были друзьями. Вы меня знаете, мне совершенно несвойственны какие-то возвышенные чувства, благородные порывы. Если вы сомневаетесь, спросите Страйвера, он вам это подтвердит.

— Я предпочитаю иметь собственное мнение, как-нибудь обойдусь без его помощи.

— Ваше дело. Ну, уж во всяком случае вы знаете, что я человек беспутный, никогда от меня проку не было и не будет.

— Вот насчет того, что «не будет», — этого я не знаю.

— Ну, а я-то знаю, можете мне поверить. Так вот, если вы можете терпеть у себя в доме такую никчемную личность с сомнительной репутацией, я бы хотел, чтобы вы позволили мне приходить к вам запросто, когда мне вздумается, чтобы я чувствовал себя у вас своим человеком; смотрите на меня как на лишнюю мебель (я бы сказал — уродливую, — если бы не это сходство, которое есть между нами), этакий старый диван, который не замечают и держат потому, что он долго служил. Не бойтесь, что я стану злоупотреблять этим правом, наверно я воспользуюсь им не больше четырех раз в год. Но мне будет приятно сознавать, что оно у меня есть.

— А вы в этом сомневаетесь?

— Вот это прекрасный ответ, — я вижу, мое предложение принято. Благодарю, Дарней. Вы разрешаете мне называть вас так, просто, без церемоний?

— Конечно, Картон! Давно пора бросить эти церемонии.

Они пожали друг другу руки, и Сидни отошел. А через минуту он уже сидел, как всегда, молча, с обычным своим безучастным видом, ничем не обнаруживая своего присутствия, как будто его здесь и не было.

Вечером, когда он ушел и молодые остались в тесном семейном кругу с доктором, мистером Лорри и мисс Просс, Чарльз Дарней рассказал о своем разговоре с Картоном и заметил, что его удивляет такое ужасное легкомыслие и распущенность. Он не осуждал Картона, не возмущался им, а говорил о нем, как, вероятно, говорил бы всякий, видевший Картона таким, каким он бывал на людях.

Дарней не подозревал, что его слова заставили задуматься его молодую жену; но когда он поднялся вслед за ней наверх и они остались вдвоем у себя в спальне, он увидел на ее лице знакомое ему выражение задумчивой сосредоточенности — чуть заметную морщинку, проступившую между слегка приподнятыми бровями.

— Мы сегодня что-то грустим, — ласково промолвил Дарней, обнимая ее за плечи.

— Да, милый Чарльз, — сказала она и, положив ему руки на грудь, подняла на него задумчивый, озабоченный взгляд, — мне взгрустнулось оттого, что я сегодня о чем-то вспомнила.

— О чем же, Люси?

— Обещай, что, если я попрошу тебя не спрашивать, ты не будешь задавать никаких вопросов?

— Обещаю тебе все, о чем бы ты ни попросила, моя радость.

Он бережно откинул с ее липа золотистую прядь волос, упавшую ей на лоб. Мог ли он ей чего-нибудь не обещать, чувствуя под своей рукой это трепетное сердечко, бившееся любовью к нему!

— Мне кажется, Чарльз, к бедному мистеру Картону надо относиться более внимательно, с большим уважением, чем ты проявил к нему сегодня.

— Ты так думаешь, моя милочка? А почему, собственно?

— Вот об этом не надо спрашивать! Мне думается — я знаю, — что он этого заслуживает.

— Если ты знаешь — для меня этого достаточно. А что бы я мог для него сделать, дорогая?

— Я тебя прошу, мой родной, будь к нему всегда очень бережен и, когда его нет, относись снисходительно к его недостаткам. Поверь мне, это человек с большим сердцем, и оно у него глубоко ранено. Я видела, как оно кровоточит.

— Я очень огорчен, если чем-нибудь его задел, — сказал потрясенный Дарней. — Я как-то не представлял его себе таким.

— Поверь мне, мой дорогой, это так. Боюсь, что его уже ничто не спасет, едва ли можно надеяться, что он исправится или что-то изменится в его судьбе. Но я убеждена, что в нем много хорошего, что он способен проявить настоящую доброту, отзывчивость и даже самоотверженность.

Ее лицо, воодушевленное глубокой верой в этого погибшего человека, было так прекрасно, что Дарней не мог на нее наглядеться, и ему казалось, что он мог бы смотреть на нее часами.

— О мой дорогой, ненаглядный, — говорила она, прижимаясь головкой к его груди и глядя ему в глаза. — Подумай только, мы с тобой такие сильные в нашем счастье, мы можем опираться друг на друга, а он такой бессильный в своем несчастье.

Эти слова глубоко растрогали его.

— Я всегда буду помнить это, голубка моя. Я буду помнить об этом всю жизнь, обещаю тебе!

Он обнял ее и, склонившись к золотоволосой головке, прильнул поцелуем к ее губам. О, если бы тот, кто блуждал сейчас одиноко по темным безлюдным улицам, мог услышать это чистосердечное заступничество, увидел бы слезы жалости в этих кротких синих глазах, которые ее муж с такой любовью осушал поцелуями, он воскликнул бы, простирая руки в глухую ночь — этот возглас уже не первый раз срывался с его уст: — «Благослови ее, боже, за ее милое участие!»

Глава XXI

Эхо доносит шаги

Мы уже говорили о том, как удивительно разносится эхо в тупичке, где живет доктор.

В тихом доме, в заботливых руках Люси золотая нить, связывающая ее мужа, отца, ее самое и старую наставницу и подругу, сплетается в мирную и счастливую жизнь; из гулкой тишины тупика доносится эхо, и Люси год за годом слушает шаги времени.

В первый год ее замужества бывали дни, когда она, счастливая, молодая жена, слушая эти шаги, чувствовала, как работа медленно выпадает у нее из рук и глаза застилаются слезами. В этих доносившихся до нее отголосках она смутно угадывала приближенье чего-то неизведанного, нового, скрытого далеко впереди, от чего сердце ее вдруг замирало в сладкой тревоге. Радостное предчувствие и страх шевелились в нем — радость пробуждающегося к жизни нового чувства и страх, что она не выживет и ей не дано будет насладиться этим счастьем. Иногда шаги, доносившиеся до нее, вызывали в ней непреодолимый ужас — кто-то ступал по ее могиле — и она видела своего убитого горем мужа, безутешно оплакивающего ее, и тут уж она и сама не могла удержаться и плакала навзрыд.

Но это время прошло, и малютка Люси лежала у ее груди. И теперь в доносившихся до нее звуках шагов ей слышался топот маленьких ножек и милый младенческий лепет. И даже когда эхо шагов иной раз отдавалось мощным гулом, юная мать, сидевшая у колыбели, различала и нем милые сердцу звуки. И вот уже тихий дом наполнился этими звуками, — словно солнце ворвалось в окна, — комнаты огласились детским смехом, и казалось,

божественный друг детей, к которому она прибегала в минуты страха, благословил ее дитя и осенил его своей благодатью.

В заботливых руках Люси золотая нить связывает воедино маленькую семью; в этом живом узоре ее доброе влияние, ее незаметное служение красит жизнь каждого из них, и шаги времени звучат для Люси мирно и дружественно. Она слышит в них бодрые и радостные шаги своего мужа; твердые, ровные шаги отца; а вот гулкое эхо разносит по всему дому стремительный топот мисс Просс, — точно пришпоренный конь несется в атаку и вдруг останавливается, храпит, роет землю копытом и, наконец, затихает где-то там в саду, под платаном!

Но даже когда шаги времени приносят сюда горе и скорбь, они не беспощадны, не жестоки. Даже когда головка с золотыми кудрями, похожими на ее собственные, лежит запрокинутая на подушке, и бледное личико в этом золотом сиянии смотрит на нее с ангельской улыбкой, и малютка сын шепчет, прощаясь: «Дорогие мамочка, папочка, мне очень жаль расставаться с вами и с милой моей сестрицей, но господь призвал меня и я должен покинуть вас!» — как ни горько рыдает молодая мать, обливаясь слезами, горе ее не безутешно, вера поддерживает ее, вера в спасителя, призвавшего ее сына, осенившего малютку своей благодатью.

И в гулких шагах, доносящихся до нее, Люси слышит шелест ангельских крыльев, и среди земных звуков душа ее различает дивные звуки небес. Ветер шумит над маленькой зеленой могилкой, и Люси слушает, как шумит ветер, и слышит в нем тихое дыханье легкого, как вздох, сонного прибоя, мягкий всплеск волны на уснувшем песчаном берегу; она слышит его в лепете своей дочурки, когда та с уморительной серьезностью готовит утром уроки или, примостившись на скамеечке у ее ног, наряжает куклу и щебечет что-то, забавно путая речь Двух Городов, двух одинаково родных ей языков отца и матери.

Изредка эхо доносит шаги Сидни Картона. Раз пять-шесть в год, он. пользуясь своим правом, приходит без приглашения и сидит с ними вечер, как когда-то сиживал часто. Он никогда не приходит сюда навеселе. И эхо, подслушав, шепчет о нем то, чего не знают другие, но что всегда было и будет правдой, подслушанной верным эхо.

Когда мужчина, всем сердцем полюбивший женщину, знает, что она никогда не будет ему принадлежать, и остается ей верен, видя ее женой другого, — дети этой женщины как-то инстинктивно тянутся к этому человеку, словно их влечет к нему безотчетное чувство жалости. Какие скрытые струны задевает он в их детских сердцах, этого эхо не говорит, но так оно всегда бывает и так было и с Сидни Картоном. К нему первому из чужих протянула Люси свои пухлые ручонки, и, подрастая, она так же тянулась к своему большому другу. И мальчик вспомнил о нем, покидая землю: «Бедный Картон, поцелуйте его от меня».

Мистер Страйвер, проталкиваясь на судебном поприще, словно громадное судно, рассекающее мутные волны, тащил за собой своего полезного друга, как шлюпку на буксире. И как бедной шлюпке круто приходится в таких случаях, ибо она то и дело зарывается в воду, так и Сидни изо дня в день жил, мирясь со своим положением утопающего. Старая закоренелая привычка владела им с неодолимой силой, и ее власть над ним — увы! — была сильнее, чем желание спастись, чем стыд от сознания своего позора, и она-то и обрекала его на этот образ жизни; он уже теперь и не мечтал избавиться от своей службы льву, оставить свою унизительную роль шакала; для него это было так же невозможно, как для настоящего шакала сделаться львом. Страйвер разбогател; он женился на пышной вдове с солидным состоянием и тремя юными отпрысками, которые, если чем и блистали, то разве только своими прилизанными волосами на круглых, как шары, головах.

Как-то раз, со свойственной ему бесцеремонностью, мистер Страйвер привел этих трех отпрысков в тихий тупичок в Сохо, погоняя их перед собой, как трех баранов, и с видом благодетеля предложил их в ученики мужу Люси в следующих деликатных выражениях:

«Здорово, Дарней, вот вам еще три куска хлеба с маслом, — лишний раз попировать за супружеским столом!»

Когда Дарней вежливо отказался от этих трех кусков хлеба с маслом, Страйвер чуть не лопнул от негодования и долго потом изливал его на своих юных пасынков, наставляя их уму-разуму и предостерегая от нищих спесивцев вроде этого дурака учителя. Он имел также обыкновение, подкрепившись вином, рассказывать миссис Страйвер, к каким хитрым уловкам прибегала когда-то жена Дарнея, чтобы «поймать» его, Страйвера, но что он оказался похитрее, да-с, сударыня, ничего у нее не вышло, он таки сумел вывернуться. Кой-кто из знакомых судейских, которые иной раз собирались у него на предмет возлияний и слушали эти рассказы, прощали ему его вранье, говоря, что он «так часто это рассказывает, что уже и сам этому верит», — но, разве это оправдание, — неисправимый клеветник, упорствующий в своем преступлении, заслуживает того, чтобы убрать его подальше от честных людей и вздернуть на виселицу.

Прислушиваясь к вторившему в тупике эхо, когда задумываясь, когда смеясь и радуясь, Люси растила свою дочурку, которой вот-вот должно было исполниться шесть лет. Нужно ли говорить, как любила она слушать эхо ее детских шагов, или эхо шагов своего отца, таких энергичных и уверенных, и шагов своего дорогого мужа. И как сладостно было ей различать в разноголосом эхо знакомые отзвуки мирной домашней жизни, которой она управляла так искусно, с такой мудрой бережливостью и любовью, что вряд ли у тех, кто может позволить себе швырять деньгами, чувствовалось в доме такое изобилие и достаток. А как радовалась она, когда все кругом вторилоувереньям отца, что с тех пор, как она вышла замуж, он еще сильнее, чем прежде (если только это возможно), чувствует ее нежную заботу, или когда муж удивлялся, что она так незаметно справляется со всеми своими хлопотами и обязанностями и еще находит время помогать ему.

— Каким волшебным секретом владеешь ты, мое солнышко, — спрашивал он, — ведь все мы только тобой и живем, и каждому из нас кажется, что ты всю себя отдаешь ему, и не видно, чтобы ты когда-нибудь суетилась, что у тебя по горло хлопот или ты не успеваешь с чем-нибудь справиться?

Но эхо доносило до них и другие звуки — далекие раскаты грома глухо отдавались в тупике. И незадолго до шестой годовщины со дня рождения маленькой Люси зловещий гул докатился до тихого дома — во Франции разразилась страшная буря, и море, бушуя, вышло из берегов.

Летом тысяча семьсот восемьдесят девятого года, как-то вечером, в половине июля, мистер Лорри, задержавшись допоздна в банке, пришел к ним и, увидев, что Люси с мужем сидят в темноте у окна, уселся рядом с ними. Вечер был душный, жаркий, собиралась гроза, и они вспомнили тот воскресный вечер, когда они вот так же сидели в темноте у окна и смотрели на вспышки молний.

— Я уж думал, что мне придется заночевать у Теллсона, — сказал мистер Лорри, сдвигая на затылок свой паричок, — столько на нас сегодня дел навалилось, что мы просто с ног сбились. В Париже что-то неспокойно, нас прямо завалили вкладами наши тамошние клиенты, один за другим — все спешат перевести нам свои капиталы. У многих это просто до умопомешательства доходит — все, что ни есть, переводят в Англию.

— Плохой признак, — заметил Дарней.

— Плохой признак, говорите вы, дорогой Дарней? Да, но ведь мы-то не знаем, чем все это вызвано. Очень уж бестолковый народ эти наши клиенты. А у нас в банке все служащие в преклонных летах, нельзя же в самом деле такую горячку пороть и столько хлопот создавать, если нет к тому уважительных причин.

— Но ведь вы не можете не знать, — возразил Дарней. — Гроза надвигается, небо обложено тучами.

— Да знаю, конечно, — согласился мистер Лорри, стараясь уверить себя, что он просто раздражен и брюзжит, — но после сегодняшнего сумасшедшего дня я не могу не брюзжать. Где Манетт?

— Вот он, — сказал доктор, входя в комнату.

— Очень рад, что вы дома; от этой сегодняшней горячки и всяких зловещих предсказаний, которых я наслушался за день, мне что-то не по себе, хотя для этого нет никакой причины. Надеюсь, вы никуда не уходите?

— Нет. Хотите, сыграем в триктрак?

— Сказать по правде, кажется, не хочу; мне сегодня не под силу сражаться с вами. А чай еще не убран, Люси, поднос здесь? Я что-то ничего не вижу.

— Конечно, все здесь, нарочно оставили для вас.

— Спасибо, дорогая! А малютка уже в постельке?

— Спит сладким сном.

— Вот и хорошо: все дома, целы и невредимы! И, слава богу, казалось бы, иначе и быть не должно. Но я за сегодняшний день так издергался, годы-то уж не те, стар стал! Это мне чай? Спасибо, дорогая. Ну, а теперь сядьте, побудьте с нами. Давайте посидим спокойно, послушаем эхо, помните, вы нам рассказывали, у вас ведь насчет него целая теория?

— Ну какая там теория, просто фантазия.

— Ну пусть фантазия, моя душенька, — сказал мистер Лорри, поглаживая ее по руке. — А правда, как громко звучат сегодня шаги, и часто, со всех сторон? Нет, вы только послушайте!

Маленькая семья, собравшись в тесный кружок, мирно посиживает у неосвещенного окна в тихом тупичке в Лондоне, а далеко, в Сент-Антуанском предместье неистово, исступленно, яростно мятутся остервенелые шаги, — стоит им только раз оставить за собой кровавый след, как эти следы пойдут множиться, и горе тому, в чью жизнь ворвутся эти шаги.

Утром в тот день весь жалкий сброд, вся рвань, населяющая Сент-Антуанское предместье, высыпала на улицу — над морем голов серой бурлящей толпы вспыхивали, сверкая на солнце, стальные лезвия ножей, острия пик. Страшный рев вырывался из глотки Сент-Антуанского предместья, и целый лес обнаженных рук, словно голые сучья деревьев, мечущихся на зимнем ветру, колыхался в воздухе; пальцы судорожно хватали любое оружие, любой предмет, заменяющий оружие, все, что им ни швыряли откуда-то из подвалов, откуда, — они и сами не знали.

Кто раздавал это оружие, где его раздобыли, как оно сюда попало и как это так получилось, что оно сейчас само летело к ним в руки, со свистом рассекая воздух, вспыхивая, как молния, над головами, — этого никто в толпе не мог сказать. Но вот же оно налицо, это оружие — мушкеты, порох, пули, железные ломы, дубины, ножи, топоры, вилы, все, что может служить оружием тому, кто доведен до отчаяния, и кто, не помня себя от ярости, хватается за что попало. Те, кому ничего не удалось заполучить, выламывают голыми руками камни и кирпичи из стен. Все Сент-Антуанское предместье сегодня охвачено смятеньем, сердца пылают, кровь клокочет в жилах. Эта несчастная голытьба не дорожит жизнью, каждый из них сейчас рвется пожертвовать собой.

Как в бурлящем водовороте вода стремится в образующуюся в центре воронку, так и здесь все кипенье происходит вокруг винного погребка Дефаржа, и каждая капля в этом кипящем котле как будто стремится попасть туда в центр, где сам Дефарж, почерневший от пота и пороха, отдает приказы, раздает оружие, отпихивает одних, вытаскивает из толпы других, отбирает оружие у одного, бросает другому и, сдерживая напирающую на него людскую массу, орудует в самой ее гуще.

— Держись поближе ко мне, Жак Третий! — кричал Дефарж. — А вы, Жак Первый и Жак Второй, разделитесь и станьте во главе отрядов, ведите за собой как можно больше этих патриотов! Где моя жена?

— Я здесь! — невозмутимо, как всегда, отозвалась мадам, отложившая на этот раз свое вязанье. Правая ее рука вместо вязальной спицы решительно сжимала топор, а за поясом торчал пистолет и громадный отточенный нож-резак.

— Ты куда сейчас двинешься, жена?

— Сейчас с тобой, — отвечала мадам, — а потом отделюсь и поведу женщин.

— Идем все! — громовым голосом крикнул Дефарж. — Патриоты, друзья, приготовьтесь! Вперед! На Бастилию![42]

Грозным ревом, который, казалось, исторгла из себя, содрогнувшись, сама Франция, прокатилось это ненавистное слово, и море людское разверзло свои пучины и хлынуло, затопляя город, швыряя волну за волной туда, к Бастилии. Гудит набат, бьют тревогу барабаны, а волны, бушуя, колотятся о каменные стены — море кидается на приступ.

Глубокие рвы, двойной подъемный мост, толстые каменные стены, восемь массивных башен, пушечная и мушкетная пальба, огонь, дым. И за этим дымом и огнем, в самой гуще огня и дыма, виноторговец Дефарж, которого волны людские прибили к пушке, орудует за канонира, и вот уже два страшных часа стойко держится мужественный солдат Дефарж.

Глубокий ров, подъемный мост, толстые каменные стены, восемь массивных башен, пушечная, мушкетная пальба, огонь, дым. Один подъемный мост уже взяли!

— Налегай, товарищи! Налегай, Жак Первый, Жак Второй, Жак Пятисотый, Тысячный, Двухтысячный, Жак Двадцатипятитысячный, ради всего святого или ради самого дьявола — как кому больше нравится — налегайте!

Так взывал виноторговец Дефарж, продолжая орудовать у своей пушки, которая уже давно накалилась от непрерывной пальбы.

— Ко мне, женщины! — кричала его жена. — Мы с вами можем убивать не хуже мужчин, только бы войти в крепость!

И к ней со всех сторон сбегались с воплями женщины, сжимая в руках что ни попадя — любой предмет мог служить оружием, но все они были вооружены местью и голодом.

Пушечная, мушкетная пальба, огонь, дым — и впереди еще глубокий ров, подъемный мост, толстые каменные стены, восемь массивных башен. В передних рядах уже много раненых, но море бушует и дыбится новыми волнами, сверкает оружие, вспыхивают факелы, дымятся возы влажной соломы, в дыму, в огне, под вопли, проклятия, выстрелы, стоны возводятся баррикады, люди с безудержной отвагой рвутся вперед, грохочет пушка, что-то трещит, рушится, и яростно ревет разбушевавшееся неукротимое море; а впереди еще глубокий ров с подъемным мостом, толстые каменные стены, восемь массивных башен, и Дефарж, хозяин погребка, все так же палит из своей пушки, которая уже раскалилась докрасна после жаркой четырехчасовой пальбы.

Но вот над крепостью взвился белый флаг — в реве толпы не слышен сигнал горна, волны теснятся, вздымаются выше, выше и вдруг обрушиваются стремительно, неудержимо, перехлестывают через спущенный мост и несут виноторговца Дефаржа туда, внутрь, где за каменной оградой высятся восемь башен сдавшейся крепости. Он даже не помнит, как это произошло, его словно подхватило прибоем — он не успел ни оглянуться, ни вздохнуть и очнулся только тогда, когда волны отхлынули, прибив его к самым стенам Бастилии. Едва удержавшись на ногах, он прислонился к стене и, с трудом переводя дух, осмотрелся по сторонам. Жак Третий оказался тут же рядом; а чуть подальше, ведя за собой кучку женщин, мадам Дефарж, размахивая ножом, пробивалась вперед. А кругом стоял рев, крик, толпа

бесновалась, ликовала, растекаясь по всему двору с неистовыми исступленными воплями; и все это, несмотря на шум, было похоже на какую-то безумную пантомиму.

— Узников!

— Списки!

— Секретные камеры!

— Орудия пытки!

— Узников!

Из всех исступленных возгласов, прорывавшихся сквозь невообразимую сумятицу, громче всех раздавался возглас «Узников!». С каждой новой волной, врывавшейся в стены крепости, этот возглас повторялся снова и снова, и волнам этим не было конца, словно массы людские подобно пространству и времени столь же бесконечны и вечны. Когда первые валы схлынули, прокатившись дальше, унося за собой тюремное начальство и стражу и угрожая им немедленной расправой, если они не откроют им всех дверей в этом узилище, Дефарж, схватив за плечо одного из тюремщиков, седого человека с факелом в руке, оттащил его своей могучей рукой в сторону и прижал к стене.

— В Северную башню, живо! — сказал он.

— Идемте, я провожу, — отвечал тот, — только там никого нет.

— А что значит «Северная башня, помер сто пять»? Отвечай сейчас же!

— Как — что значит?

— Что это — номер заключенного или камеры? Не мямли, отвечай, или убью на месте!

— Убей его, — подойдя к ним, прохрипел Жак Третий.

— Это камера, сударь.

— Идем, покажешь мне.

— Идемте сюда, сударь.

Жак Третий, все такой же алчный и явно разочарованный тем, что разговор не кончился сразу кровопролитием, ухватился за руку Дефаржа, а тот крепко держал за плечо тюремщика. Разговаривая, все трое сблизили головы, чтобы удобней было кричать на ухо, потому что иначе они не слышали бы друг друга, все заглушал рев океана, ворвавшегося в крепость; он затопил дворы, лестницы, переходы, а там, снаружи, он по-прежнему бился в стены с глухим, хриплым, протяжным гулом, который, словно всплесками волн, прорывался звонкими выкриками.

Мрачными подземными коридорами, куда не проникал дневной свет, мимо страшных каменных клеток и склепов, заделанных железными дверями, то спускаясь по выщербленным ступеням в какие-то зияющие провалы, то снова поднимаясь по крутым переходам, похожим на высохшее русло водопада, Дефарж, тюремщик и Жак Третий шагали, держась за руки. Вначале толпы, наводнившие крепость, захлестывали и обгоняли их; но когда они, наконец, выбравшись из этого подземного лабиринта, стали подниматься по винтовой лестнице, ведущей в башню, их уже никто не нагонял, они были одни. В каменной толще стен, обступивших их со всех сторон, под низко нависшими каменными сводами они вдруг очутились почти в полной тишине, как будто грохот, из которого они только что вырвались, повредил им слух.

Тюремщик остановился у низенькой двери, вставил ключ, с трудом повернул его в скрипучем замке, медленно отворил дверь и, когда они, нагнув головы, вошли один за другим, сказал тихо:

— Номер сто пять, Северная башня.

Высоко в стене виднелось узкое оконце без стекла, заделанное толстыми прутьями; сверху его до половины закрывал каменный выступ, так что небо в эту щель можно было увидеть, только низко нагнувшись и глядя вверх; маленький камин тоже был заделан внутри

толстенными прутьями, а внизу на решетке лежала серая кучка золы. Табуретка, стол, соломенный тюфяк, четыре голых почерневших стены и в одной из них толстое железное кольцо, рыжее от ржавчины.

— Проведи-ка факелом по стенам, чтобы я мог осмотреть их, — сказал Дефарж тюремщику.

Тюремщик повиновался, и Дефарж, медленно водя глазами за светом, внимательно вглядывался в стены.

— Стой! Посмотри сюда, Жак!

— А. М., — прохрипел Жак, жадно уставившись на стену.

— Александр Манетт, — шепнул ему на ухо Дефарж, обводя буквы грязным указательным пальцем, почерневшим от пороха. — А вот тут он приписал: «несчастный доктор». И он же, конечно, нацарапал и этот календарь, вот Здесь, на камне. Что это у тебя? Лом? Давай-ка сюда!

Дефарж все еще держал в руке пальник от своей пушки. Он быстро сунул его Жаку и, выхватив у него лом, мгновенно разнес в щепки ветхий табурет и стол.

— Держи факел! — гневно крикнул он тюремщику. — А ты, Жак, осмотри внимательно обломки. Да вот, на тебе мой нож, распори тюфяк, прощупай солому. Выше свети, выше, говорят тебе!

И, грозно покосившись на тюремщика, Дефарж полез в камин и, просунув руки меж прутьев, стал постукивать ломом по его стенкам. Через несколько секунд сверху посыпалась известка, пыль, и он отвернулся, чтобы ему не попало в лицо; прощупав все стенки, он стал рыться в золе, потыкал в пол, заглянул в трещину, которая образовалась от удара его лома, и осторожно пошарил кругом.

— Ничего не нашел в обломках и в соломе, а, Жак?

— Ничего.

— Ну-ка, тащи все на середину, сюда в кучу. Так! Ну, теперь поджигай!

Тюремщик поднес факел к соломе, и вся куча вспыхнула ярким веселым пламенем. Оставив горящий костер, они, согнувшись, вышли из низкой двери и пошли обратно вниз; когда они спустились с винтовой лестницы и вступили в подземелье, к ним словно возвратился слух, и через несколько минут они очутились в самой гуще толпы.

Толпа бушевала и металась — разыскивали Дефаржа: Сент-Антуанское предместье требовало, чтобы виноторговец возглавил конвой, под которым поведут коменданта Бастилии, защищавшего крепость и стрелявшего в народ. Без Дефаржа его не решались вести в ратушу на суд. Без Дефаржа он того и гляди улизнет, и тогда кровь народа (до сих пор она ничего не стоила, а теперь ее вдруг стали ценить) останется неотмщенной.

В грозно ревущей толпе, обступившей угрюмого старика коменданта, в сером мундире с алой орденской лентой, только одна женщина сохраняла невозмутимое спокойствие.

— Вот он, мой муж! — крикнула она в толпу, указывая на Дефаржа. Вот он, Дефарж!

Она стояла не двигаясь рядом с угрюмым стариком комендантом и не отходила от него ни на шаг; она пошла с ним рядом, когда отряд патриотов во главе с Дефаржем двинулся с ним по улицам; она спокойно стояла рядом с ним, когда его привели к ратуше и на него посыпались первые удары; спокойно смотрела, когда его бросились избивать, а когда он, бездыханный, рухнул наземь, она вдруг рванулась вперед и, наступив ему на затылок, взмахнула ножом, который давно сжимала в руке, и одним ударом отсекла ему голову.

Настал час, когда Сент-Антуанское предместье могло, наконец, претворить в жизнь свою страшную мечту — вешать на улицах людей вместо фонарей, чтобы показать всем, на что оно способно. Гнев, накопившийся в сердце Сент-Антуана, прорвался и вспыхнул пожаром в крови, который можно было затушить только кровью тиранов и угнетателей, кровью, что сейчас

пролилась на ступени ратуши, где лежал мертвый комендант Бастилии, кровью, которой окрасился башмак мадам Дефарж, когда она наступила на его труп, чтобы отсечь ему голову.

— А ну-ка, опустите фонарь! — крикнул кто-то. — Вот один из его стражников, вздернем его, пусть несет при нем караул! — И толпа с радостью хватается за этот новый способ расправы. Часового вздергивают, труп его остается висеть вместо фонаря, а волны людские катятся дальше.

Грозные бушующие волны — выше и выше поднимаются они из разверзшейся пучины; кто знает, какова ее глубина и какую разрушительную силу несет в себе эта беспощадная стихия. Вздыбленные в ярости руки, голоса, взывающие к мщению, лица, закаленные в горниле адских мук и ожесточившиеся до того, что уже ничто не может их смягчить, — страшная, безжалостная стихия.

И над этим мятущимся морем лиц — грозных, свирепых, разгневанных — высоко вверху, словно обломки крушения на гребнях бушующих волн, выделяются два ряда других лиц — семь лиц в каждом ряду, — непохожие на все те, что их окружают: лица семи узников, вырванных ураганом из склепов, где они были замурованы заживо, вознесены над толпой; толпа несет освобожденных на плечах — и на этих измученных, ошеломленных, потрясенных лицах написан ужас, словно их подняли из могил на Страшный суд и темные силы, ликуя, уже завладели ими. Другие семь лиц — лица мертвецов — вознесены еще выше, их тусклые очи глядят из-под полуопущенных век и тоже как будто ждут Страшного суда. Бесстрастные мертвые лица, но в этих недвижных чертах не чувствуется отрешенности, они словно застыли в зловещем ожидании, и кажется, веки вот-вот поднимутся и бескровные уста произнесут: «Это сделал ты».

Семь освобожденных узников, семь окровавленных голов, насаженных па пики, ключи от проклятой крепости, от всех ее восьми массивных башен, старые письма и прочие памятки, уцелевшие от бедных страдальцев, погибших в страшной неволе, — вот трофеи, с которыми толпа из Сент-Антуанского предместья шествовала по улицам Парижа в середине июля тысяча семьсот восемьдесят девятого года, и гулкое эхо далеко разносило ее грозные шаги. Не приведи бог сбыться фантазиям Люси Дарней, упаси ее господи от этой толпы! Да не вторгнется она в ее жизнь! Ибо она безудержна в своей исступленной ярости, а если стопы ее окрасятся кровью, как когда-то давно они окрасились вином из разбившейся бочки, что упала возле погребка Дефаржа, от них надолго останутся кровавые следы.

Глава XXII

Море бушует

Всего только неделя как в Сент-Антуанском предместье идет ликование и его взбудораженные обитатели приправляют братскими поцелуями и поздравлениями свой черствый и горький хлеб, а мадам Дефарж уже сидит на своем обычном месте за стойкой и приглядывает за посетителями погребка. Мадам Дефарж теперь не прикалывает розу к своему тюрбану, ибо славная братия фискалов за одну эту неделю сделалась чрезвычайно осмотрительной и старательно избегает попадаться жителям Сент-Антуанскою предместья. Уличные фонари в предместье зловеще покачиваются на проволоке, и ее мигом можно опустить, если кому-нибудь вздумается заменить фонарь чем-то другим.

В это солнечное, знойное утро мадам Дефарж сидела сложа руки и поглядывала на толпившихся в погребке посетителей и на уличных прохожих. И там и тут собирались кучками оборванные, голодные, слонявшиеся без дела люди, но сейчас сквозь все это убожество в них, несомненно, чувствовалось сознание собственной силы. Самый жалкий оборванец так заносчиво сдвигал на затылок свой колпак, словно говорил встречным: «Я знаю, что я нищий, мне нечего терять, жизнь моя немногого стоит, но знаете ли вы, что мне, нищему, ничего не стоит отправить вас на тот свет?» Тощие оголенные руки, не занятые делом, нашли себе работу — убивать, и в пальцах женщин, проворно шевеливших спицами, появилась какая-то

судорожная алчность, — им пришлось по вкусу разрывать на части живое тело. И даже во внешнем облике жителей Сент-Антуанского предместья произошла какая-то перемена — он складывался веками, но последние завершающие штрихи внесли в него что-то новое и как-то особенно оттенили его выражение.

Мадам Дефарж наблюдала все это со спокойным одобрением, как оно и подобает командирше, сплотившей вокруг себя сент-антуанских женщин. Одна из ее приспешниц сидела подле нее с вязаньем в руках. Это была маленькая, довольно плотная женщина, жена обнищавшего бакалейщика, мать двоих детей, верная сподручница мадам, вполне достойная заслуженного ею лестного прозвища Месть.

— Что это там? Слышите? — сказала Месть. — Кто-то идет.

Взволнованный ропот, словно огонь, бегущий по запальному шнуру, проложенному через все предместье до крыльца погребка, докатился до них с улицы.

— Это Дефарж! — сказала мадам. — Внимание, патриоты!

Дефарж вошел, запыхавшись, и, сдернув с головы свой красный колпак, огляделся вокруг.

— Слушайте все! — повторила мадам. — Слушайте его!

Дефарж стоял, тяжело дыша, а за дверями лавки уже собралась толпа, и все смотрели на него жадными глазами, разинув рты; посетители, сидевшие за столиками, повскакали с мест.

— Говори! Что случилось? — сказала мадам Дефарж.

— Вести с того света!

— Что! — презрительно вскричала мадам. — Как это так — с того света?

— Все вы помните старого Фулона[43], который говорил голодному народу: «Ешьте траву», а потом издох, и дьявол уволок его в преисподнюю?

— Все, все помним! — заревела толпа.

— Так вот — вести о нем. Он, оказывается, тут как тут!

— Как? — ахнула толпа. — Мертвый?

— Нет, живой. На него такой страх напал — а ему есть за что нас страшиться, — что он распустил слух, будто помер, и похороны были торжественные, и все честь честью. А оказывается, он жил себе в деревне, прятался и вот — его нашли и привезли сюда. Я сейчас сам, своими глазами, видел, как его вели в ратушу[44] под конвоем. Я говорю, что у него были причины нас бояться. А ну-ка, скажите все, правду я говорю? Были причины?

Несчастный грешник — если он, дожив до семидесяти с лишним лет, мог не понимать этого, то сейчас у него, должно быть, открылись глаза, — стоило только послушать рев, каким толпа ответила на слова Дефаржа.

Наконец толпа стихла, и на минуту воцарилась глубокая тишина. Дефарж с женой обменялись многозначительным взглядом. Месть наклонилась и выкатила ногой из-под стойки внезапно загудевший барабан.

— Патриоты! — решительно крикнул Дефарж. — Готовы ли мы?

У мадам Дефарж уже торчал за поясом нож, а барабан уже гремел на улице, словно он каким-то волшебством вмиг перенесся туда вместе с барабанщиком, и Месть с диким воем, размахивая руками над головой, точно все сорок фурий разом, ринулась созывать женщин

Страшно было смотреть на мужчин — с искаженными гневом лицами, они высовывались из окон, хватали первое попавшееся под руку оружие и бежали на улицу; но зрелище разъяренных женщин заставило бы содрогнуться и самого смелого человека. Побросав свои домашние дела, от которых еще не освободила их нужда, оставив детей, стариков, больных, скучившихся на голом полу, раздетых, голодных, они, как безумные, выбегали из дому, нечесаные, с распущенными волосами, подстрекая друг дружку неистовыми выкриками, потрясая кулаками: «Злодея Фулона поймали, сестрица!», «Старика Фулона захватили,

матушка!», «Негодяй Фулон попался, дочка!» И на эти возгласы толпами сбегались женщины из всех домишек и с исступленными воплями били себя в грудь, рвали на себе волосы. «Фулон жив! Фулон, который говорил людям, подыхающим с голоду: „Жрите траву!‟, Фулон, который сказал моему старику отцу, когда в доме не было ни куска хлеба, — „жри траву!‟. Фулон, который сказал, чтобы мой ребенок сосал траву, когда у меня грудь высохла от голода! О матерь божия! Покарай нечестивца Фулона! О боже! Сколько мы натерпелись! Услышьте меня на том свете, о мой ненаглядный малютка, мой бедный отец! Вот здесь, на этих камнях, на коленях клянусь отомстить за вас Фулону! Мужья, братья, вы, молодые люди, дайте нам кровь Фулона, дайте нам голову Фулона! Дайте нам сердце Фулона! Тело и душу Фулона! Разорвать его на части, этого Фулона, втоптать его в землю, пусть вырастет из него трава!» Не помня себя от ярости, толпы обезумевших женщин, возбужденно размахивая руками, кидались в остервенении друг на друга, выли, голосили, ревели; некоторые из них доходили в своем неистовстве до того, что бились на земле в судорогах или падали без чувств, и тогда мужья, сыновья или братья оттаскивали их в сторону, чтобы их не растоптала толпа.

Но патриоты не медлили. Нельзя было терять ни минуты! Фулон в ратуше, его могут выпустить. Нет, этому не бывать, Сент-Антуан этого не позволит — слишком живы в его памяти страданья, обиды и притесненья, все, чего натерпелись от изверга бедняки. Толпа вооруженных мужчин и женщин двинулась из предместья, так стремительно увлекая за собой всех, кто ни попадался ей на пути, что через четверть часа во всем квартале не осталось ни души, кроме дряхлых стариков и плачущих ребят.

Ни души во всем квартале. Все они устремились в ратушу, набились битком в зал суда, куда привели этого уродливого страшного старика, запрудили площадь перед зданием и ближайшие улицы. Дефаржи — муж и жена, Месть и Жак Третий очутились в первых рядах, совсем близко от пленника.

— Смотрите! — вскричала мадам Дефарж, указывая на него своим ножом. — Он связан, старый негодяй! И кто то догадался прицепить ему на спину пучок травы! Ха-ха-ха! Вот это хорошо придумано! Пусть-ка он теперь поест травки! — И мадам Дефарж, сунув нож под мышку, за хлопала в ладоши, словно на представлении.

Люди, стоявшие позади мадам Дефарж, передали ее слова другим, стоявшим дальше, пояснив, от чего она в таком восторге, и так это и пошло по рядам, и вскоре весь зал, и площадь, и ближайшие улицы огласились громкими рукоплесканиями. И в течение двух-трех часов, пока тянулось разбирательство и бочки красноречия переливались из пустого в порожнее, каждое нетерпеливое замечание мадам Дефарж подхватывалось и передавалось с удивительной быстротой, чему весьма способствовали некоторые молодые люди, которые с непостижимой ловкостью взобрались по лепным украшеньям на стены здания и, заглядывая в окна, ловили на лету словечки мадам Дефарж и тут же передавали их толпе, стоявшей на улице.

Наконец солнце поднялось так высоко, что один из его лучей, словно смилостивившись над стариком подсудимым, упал ему на голову и озарил его своим благодатным светом. Этой милости толпа была не в силах стерпеть; барьер пустых словопрений и препирательств, который до сих пор каким-то чудом удерживал ее, мигом полетел к черту, и Фулон очутился во власти Сент-Антуанского предместья.

Весть эта тотчас же донеслась до толпы на площади, до самых ее отдаленных рядов. Едва только Дефарж прыгнул через загородку и схватил презренного негодяя мертвой хваткой, как мадам Дефарж уже очутилась рядом с ним и вцепилась в веревку, которой был связан подсудимый. Месть и Жак Третий еще не успели присоединиться к ним и те, что лепились снаружи у окон, еще только собирались ринуться сверху в зал, словно хищные птицы, падающие камнем на добычу, как на улице уже раздались крики, которые, казалось, подхватил весь город: «Сюда его! Давайте сюда! На фонарь!»

Старика сшибают с ног, волокут за веревку головой вниз по ступеням, вон из ратуши; на улице его заставляют подняться, он стоит перед толпой на коленях, его поднимают на ноги, он падает то навзничь, то ничком, со всех сторон на него сыплются удары; сотни рук суют ему в рот пучки травы; растерзанный, весь в крови, чуть живой, он не перестает молить о пощаде; как только круг сомкнувшейся толпы отступает на секунду, чтобы пропустить людей, рвущихся сзади, он начинает судорожно биться на земле, пытаясь подняться, и снова на него сыплются удары и его волокут, как бревно, подталкивая ногами; у ближнего перекрестка, где висит, раскачиваясь на ветру, роковой фонарь, толпа останавливается. Мадам Дефарж выпускает жертву из рук, как кошка выпускает мышь из когтей, он молит ее, припадая к ее ногам, она смотрит на него молча, невозмутимо: мужчины отцепляют фонарь, женщины исступленно вопят, в толпе раздаются выкрики: «Набить ему глотку травой! Травы ему, травы! Пусть подавится травой!» И вот, наконец, его вздергивают, но веревка обрывается, он падает с воплем, толпа подхватывает его и вздергивает снова, и снова он падает; и только третья петля милосердно затягивается и держит его. Вскоре голова его, насаженная на пику, поднимается высоко над толпой, и толпа ликует и пляшет, глядя на эту окровавленную голову с торчащей изо рта травой.

Но кровавая работа еще не кончена. Сент-Антуанское предместье так разбушевалось, что ярость его не унимается, и когда уже под вечер проносится слух, что зять казненного[45] Фулона, тоже враг и притеснитель народа, схвачен и его везут в Париж под конвоем пятисот конников, жители Сент-Антуана бросаются составлять перечень его преступлений, заносят их на огромные листы, и разъяренная толпа отбивает пленника у конвоя и расправляется с ним так же, как с Фулоном, — охраняй его стотысячное войско, и оно не устояло бы перед этой толпой: голову и сердце растерзанного насаживают на пики, и с этими кровавыми трофеями страшная, ликующая процессия шествует по улицам Парижа.

Уже совсем поздно ночью мужчины и женщины возвращаются домой к своим голодным, плачущим детям. И с ночи по всему предместью у жалких пекарен выстраиваются длинные очереди за хлебом, и голодные люди терпеливо стоят часами. Но сегодня время летит незаметно: люди в очереди бросаются друг другу в объятия, вспоминают события дня и заново переживают их, делясь впечатлениями. Мало-помалу длинные хвосты убывают, кое-где в окнах наверху зажигаются тусклые огоньки, а жильцы нижних этажей и подвалов раскладывают костры на улицах, и готовят скудную пищу сообща, и ужинают тут же на крыльце или у порога дома.

Да какой это ужин — одно убожество, — мяса нет и в помине, редко какая приправа, кроме кипятка, сдабривает мякинный хлеб. И все же дружеское общение помогает им насытиться этой скудной пищей и даже поддерживает в них какую-то искру веселости. Отцы и матери, деятельно участвовавшие во всех страшных событиях нынешнего дня, сейчас мирно возятся со своими хилыми ребятишками; влюбленные, на глазах у которых творятся все эти ужасы и которые ничего другого не видали и не увидят в жизни, — любят и надеются.

Было уже почти светло, когда дверь погребка закрылась за последними посетителями, и мосье Дефарж, задвигая засов, сказал охрипшим голосом своей супруге:

— Наконец-то мы дожили до этого, дорогая!

— Д-да, — протянула мадам, — почти.

Сент-Антуанское предместье спит. Спят супруги Дефарж. Даже Месть спит со своим изможденным лавочником, и барабан ее безмолвствует. После этого кровавого дня, когда все надсадились от крику, только у барабана не изменился голос, у него одного во всем предместье. Если бы Месть, которой поручили хранить барабан, разбудила его сейчас, он заговорил бы точно таким же голосом, каким говорил до взятия Бастилии и до расправы с Фулоном, — не то что жители Сент-Антуанского предместья, которые охрипли все до одного: их голоса нельзя было и узнать.

Глава XXIII
Пожар занялся

Какая-то перемена произошла в деревне, где струилась вода в водоеме и где каменщик, мостивший дорогу, добывал себе молотком из камней каждодневное пропитание — скудный кусок хлеба, позволявший его бедной неразумной душе держаться в отощалом теле. Тюрьма на скале уже не вселяла такого страха, как прежде, ее охраняли солдаты, но их было немного, солдатами командовали офицеры, но ни один из них не был уверен в своих подчиненных, — скорее они были уверены в том, что солдаты не только не подчинятся приказу своего командира, но поступят как раз наоборот.

Далеко кругом простирался разоренный край, истощенная земля, на которой не родилось ничего кроме запустения. Каждый зеленый листик, каждый стебелек травы, каждая былинка — все было такое же хилое и чахлое, как и жившие здесь люди. Все было задавлено, пришиблено, задушено, сломлено. Жилища, изгороди, домашний скот, мужчины, женщины, дети, самая земля, на которой они родились, — все дышало на ладан, все еле-еле держалось.

Господин и владелец этих обширных земель, нередко весьма достойный человек по своим личным качествам, гордость страны, хранитель рыцарских доблестей, являл собой изящный пример отменной учтивости, уменья роскошно жить и многих иных добродетелей того же порядка. И оказывается, он-то, если рассматривать его как класс, — он-то и довел страну до всего этого. Странно, как это так получилось, что все созданное для монсеньера так скоро пришло в полное запустение и негодность. Подумать только, какая недальновидность в извечном устройстве мира! Но как бы там ни было, факт оставался фактом. Да, все было выжато до конца, до последней кровинки. И как бы не тщился монсеньер покрепче зажать тиски, из этого ровно ничего не получалось. Поистине это было какое-то совершенно непостижимое, непристойное явление! Что оставалось делать монсеньеру, как не бежать!

Но не в этом заключалась перемена, происшедшая в деревне маркиза и во многих других, таких же обнищавших деревнях. На протяжении многих десятилетий — из рода в род — именитые владельцы выжимали из них все, что можно, редко удостаивая их своим посещением, разве только когда им приходило желание позабавиться охотой — когда на людей, а когда и на диких зверей, для которых в господских владениях отводились обширные угодья, превращенные в бесплодные пустоши. Нет, перемена заключалась не в том, что в деревне совсем перестали показываться благородные аристократические лики богоданных и богоравных господ, а в том, что в ней с некоторых пор стали появляться какие-то незнакомые личности низшей касты.

Последнее время каменщику, который чинил дорогу, согнувшись над кучей щебня и земли, и думал не о том, что и он тоже земля и в землю тую же пойдет[46], а о том, как мало у него еды на вечер и что хорошо бы поесть чего-нибудь посытнее, да нечего, — нередко случалось видеть на пустынной дороге, когда он невзначай поднимал глаза от работы, бредущего вдалеке путника, что в прежнее время в здешних краях было целым событием, а нынче стало довольно обычным явлением. По мере того как путник приближался, каменщик, ни мало не удивляясь, рассматривал этого высокого, косматого, похожего на какого-то лесного дикаря человека в грубых деревянных башмаках, которые, даже и бедняку каменщику, казались нескладными, в рваной одежде, пропитавшейся пылью и грязью проселочных дорог, заскорузлой от ходьбы по болотам, всю в колючках, листьях и мхе, приставших к ней, когда он пробирался лесной чащей.

Вот такой человек вырос перед ним внезапно, как призрак среди бела дня, однажды в июле месяце, когда он сидел на куче щебня, укрывшись под откосом от сильного града.

Человек поглядел на него, окинул взглядом деревню к ложбине, мельницу, тюрьму на. утесе. И когда он каким-то смутным чутьем угадал, что это и есть то, что ему нужно, он обратился к каменщику: говорил он как-то чудно, его не сразу можно было понять.

— Ну, как дела, Жак?

— Ничего, все спокойно, Жак.

— Так, значит, по рукам!

Они потрясли друг друга за руку, и путник опустился на кучу щебня рядом с каменщиком.

— Пополдничать нечем?

— Нет, уж теперь до вечера, — ответил каменщик, глотая слюну.

— Так уж оно теперь водится, — буркнул пришелец. — Не полдничают нигде.

Он вытащил почерневшую трубку, набил ее, высек огня, затянулся разок-другой, пока она не раскурилась, потом вдруг отдернул ее и другой рукой быстро насыпал что-то в тлеющий табак; табак вспыхнул, и из трубки повалил густой дым.

— Так, значит, по рукам! — промолвил на этот раз каменщик, внимательно наблюдавший за ним. И они опять потрясли друг друга за руки.

— Нынче ночью? — спросил каменщик.

— Нынче ночью, — отвечал пришелец, попыхивая трубкой.

— Где же?

— Здесь.

Они сидели рядом на куче щебня, молча поглядывая друг на друга, а град так и сыпался и стучал по камням, точно крошечные штыки в жаркой атаке; наконец небо над деревней начало светлеть и проясняться.

— А ну-ка, покажи мне, — сказал путник и, поднявшись, взошел на косогор.

— Смотри, — сказал каменщик, показывая пальцем, — вот здесь спустишься и пойдешь прямо по улице мимо колодца у водоема.

— А ну тебя к черту! — огрызнулся путник, окидывая взглядом горизонт. — Я никакими улицами не хожу, да еще мимо колодцев… Понял?

— Понял! Тогда, значит, верхом пойдешь вон той горой, в двух милях от деревин выйдешь.

— Хорошо. Ты когда работу кончаешь?

— Как солнце зайдет.

— Разбуди меня перед уходом. Я две ночи шагал без отдыха. Вот только докурю трубку, растянусь и засну, как сурок. Разбудишь, значит?

— Разбужу.

Путник докурил трубку, сунул ее за пазуху, сбросил с ног громадные деревянные башмаки и, растянувшись на куче щебня, тут же заснул как убитый. Каменщик вернулся к своей тяжкой грязной работе; в разрывах туч там и сям проступала яркая синева, отражавшаяся в блестевших на солнце лужах, а пришелец спал себе на куче щебня, и каменщик (он теперь ходил в красном колпаке вместо прежнего синего картуза) то и дело оглядывался на него, словно тот его чем-то приворожил. Взгляд его так и тянулся к спящему, и хотя он и продолжал машинально орудовать молотком и киркой, толку от этого было мало. Бронзовое от загара лицо путника, заросшее густой бородой, черные всклокоченные волосы, красный шерстяной колпак, пестрая одежда из грубой ткани вперемежку с какими-то шкурами, могучее тело, исхудавшее от тяжкой нужды, мрачная и свирепая складка губ, стиснутых даже во сне, — все в нем внушало деревенскому жителю благоговейное изумление. Должно быть, он проделал немалый путь, ноги у него были стерты до волдырей, а кожа на щиколотках содрана до крови: трудно ему, верно, было шагать столько миль в этаких громадных тяжелых башмаках, набитых листьями и травой, и одежда на нем изорвалась в клочья, и сам он был весь в синяках и ссадинах. Нагнувшись над спящим, каменщик старался разглядеть, какое оружие спрятано у него на груди, либо где-нибудь еще, но все его старания были тщетны: путник спал, скрестив

руки так же крепко, как крепко были стиснуты его губы. Каменщик смотрел на него, и ему казалось, что никакие укрепленные города, с крепостными стенами и рвами, с караульными будками и часовыми у чугунных ворот, с подъемными мостами и бойницами не устоят перед этим человеком, — для него не существует никаких преград. И когда он, задумавшись, поднял глаза и окинул взглядом горизонт, ему представилось, что со всех сторон, стягиваясь к городам Франции, движутся сонмы таких, как этот, сметающих на своем пути все преграды и не останавливающихся ни перед чем.

Путник спал, не чувствуя ни порывов ветра, ни посыпавшего его временами града, ни солнца, которое, прорываясь из-за туч, светило ему прямо в лицо, ни прыгавших по телу льдинок, вдруг превращавшихся в стоцветные алмазы, а небо между тем уже окрасилось заревом заката и солнце пылало низко над горизонтом. Каменщик стал собираться домой: сложив свои инструменты, он подошел к спящему и тронул его за плечо.

— Так! — молвил путник, приподнявшись на локте. — Значит, в двух милях по ту сторону холма?

— Да, примерно так.

— Примерно говоришь? Хорошо!

Каменщик пошел домой, и ветер, обгоняя его, как и подобает ветру, крутил перед ним облака пыли. Поравнявшись с водоемом, он протиснулся в середину толпы, расталкивая тощих коров, которых привели на водопой, и возбужденным шепотом стал рассказывать что-то обступившим его людям и так увлекся, что обращался даже к коровам. В тот вечер после скудного ужина деревенские жители не завалились спать, как обычно, а снова высыпали на улицу. Столпившись кучкой у водоема, они стояли в темноте и словно на них что-то напало, все о чем-то возбужденно шептались, повернувшись в одну сторону и уставившись куда-то вдаль, на небо. Мосье Габелль, почтмейстер и управляющий, почувствовал что-то неладное. Он поднялся к себе на крышу дома и тоже стал смотреть в ту сторону, потом, укрывшись за трубами, глянул на толпу, темневшую внизу, и послал сказать церковному сторожу, у которого хранились ключи от церкви, что надо быть наготове, как бы не пришлось ударить в набат.

Густая тьма окутала землю. Деревья, стоявшие на страже вокруг старого замка и охранявшие его величественное уединение, задвигались, заметались на ветру, словно грозя в темноте угрюмо насупившемуся зданию. Но мраморным ступеням широкой лестницы, ведущей с двух сторон к главному входу, захлестал дождь, забарабанил в тяжелую дверь, словно гонец, который нетерпеливым стуком спешит разбудить спящих обитателей дома: ветер пронесся по мрачной прихожей, увешанной копьями и мечами, с жалобным воем ринулся по лестнице и судорожно задергал шелковый полог кровати, где опочил последний маркиз. С севера, востока, юга и запада, тяжело ступая по высокой траве, палой листве и валежнику, пробирались лесной чащей четверо косматых всклокоченных путников — все четверо сошлись во дворе замка. В ночном мраке вспыхнули четыре огня, метнулись прочь друг от друга в разные стороны, и снова стало не видно ни зги.

Но ненадолго. Постепенно в темноте стали выступать явственные очертания замка, пронизанные странным светом, точно он вдруг засветился изнутри. Внезапно за лепными украшениями фасада заметался в окнах тонкий язычок пламени, заиграл на стекле, побежал по карнизам, озаряя балюстрады, арки, ниши, двери. И вот он уже взвился вверх широкой огненной лентой, и вскоре из десятков окон вырвалось бушующее пламя, и каменные лица проснулись и в ужасе глядели из огня.

В доме послышались испуганные голоса, кое-кто из слуг еще оставался там. Кто-то стремглав бросился седлать лошадь, и верховой сломя голову поскакал в ненастную тьму. У ворот Габелля против водоема всадник осадил взмыленного коня. «На помощь, Габелль! Все на помощь!» Ударили в набат, но как ни взывал колокол, никакой помощи так и не добились. Каменщик и все его двести пятьдесят закадычных приятелей стояли сложа руки у водоема и

смотрели на огненный столб, поднявшийся высоко в небо. «Футов сорок в вышину будет, пожалуй!» — мрачно поговаривали в толпе, и никто не двигался с места.

Всадник из замка пришпорил взмыленную лошадь и помчался из деревни вверх по крутому склону, на утес, к тюрьме. У тюремных ворот стояла кучка офицеров и смотрела на пожар: а поодаль толпились солдаты. «Помогите, господа офицеры! Замок горит, можно еще успеть спасти ценное добро! Помогите!» Офицеры покосились на солдат, глядевших на пожар, и не решились отдать приказ: закусив губы, они пожали плечами. «Придется ему, видно, сгореть», — сказали они.

Когда всадник, спустившись с горы, снова скакал на деревне, во всех окнах светились огни. Каменщик и две с половиной сотни его закадычных приятелей, все, как один, внезапно воодушевились мыслью устроить иллюминацию в деревне: все разом бросились в свои лачуги, повытаскивали свечи и огарки, зажгли и выставили их в каждом подслеповатом оконце. В свечах, как и во всем другом, был недостаток, и они весьма решительно потребовали у мосье Габелля, чтобы тот им выдал свечи, а когда управляющий стал мяться да отговариваться, каменщик, прежде такой смиренный н законопослушный, сказал ему с усмешкой, что для костра годятся и почтовые кареты, а лошадей можно отлично зажарить.

Горящий замок оставили гореть. Яростный ветер с ревом кидался в огонь, вылетал, раскаленный, из огненного пекла и, как одержимый, бросался на стены замка, словно пытаясь сокрушить, снести их с лица земли. В мятущихся языках пламени каменные лица, казалось, судорожно дергались, искаженные адскими муками. А когда тяжелая балка обрушилась, увлекая за собой каменные своды, каменное лицо с впадинами на крыльях носа исчезло в дыму и пламени; но через минуту оно снова выглянуло из дыма, словно это было живое лицо бездушного маркиза, который, корчась на костре, боролся с огнем.

Замок пылал: ближние деревья, охваченные огнем, стояли обугленные, голые; деревья подальше, подожженные четырьмя угрюмыми пришельцами, опоясывали пылающее здание черным кольцом дыма. Расплавленные свинец и железо кипели в мраморном бассейне фонтана, вода в нем иссякла. Шпили четырех башен таяли, как лед на солнце, и медленно стекали в четыре страшных котла клокочущего пламени. Массивные стены потрескались, и громадные щели поползли во все стороны лучами, образуя причудливые узоры; очумелые птицы беспомощно носились в дыму и падали в пламя; четверо угрюмых путников разошлись в разные стороны — на север, восток, юг и запад, и, руководясь маяком, который они засветили в ночи, двинулись по лесным дорогам, окутанным ночною тьмой, к следующей намеченной цели. В празднично сиявшей деревне жители завладели колокольней и, спровадив звонаря, подняли веселый трезвон.

Мало того, от голода, пожара и трезвона они все точно опьянели, и им почему-то взбрело в голову, что налоги, подати, арендная плата — все это выдумки мосье Габелля, хотя, сказать по правде, с них в последнее время почти не взимали податей, не говоря уже об арендной плате; короче говоря, они решили поговорить с ним по душам и, окружив его дом, потребовали, чтобы он вышел к ним объясниться. Мосье Габелль заперся у себя в доме, задвинул засовы у дверей и стал думать, что ему делать дальше. После недолгих размышлений он крадучись поднялся на крышу и примостился там, спрятавшись за печными трубами; на этот раз он твердо решил, если толпа ворвется к нему в дом (он был южанин, маленький, щуплый, но нрав у него был горячий) — он бросится головой вниз прямо в толпу и уж одного-двух подомнет и придавит.

Медленно, должно быть, тянулось время для мосье Габелля в эту ночь, когда он сидел на крыше, глядя на полыхающий вдали замок, и слушал, как толпа гулко барабанит в ворота под веселый трезвон деревенского колокола; а тут еще и зловещий фонарь как раз напротив, у почтового двора, — толпе явно не терпелось отцепить его, а на его место вздернуть почтенного Габелля. Тяжкое испытание — провести целую ночь над этой черной людской пучиной, готовясь каждую минуту ринуться в нее. Но, наконец, забрезжил желанный рассвет,

последние огарки свечей потухли в окнах, толпа, слава богу, разошлась, и мосье Габелль спустился с крыши, на этот раз целый и невредимый.

На сотни миль кругом пылали другие усадьбы, и не всем управляющим так посчастливилось в эту или в другие ночи. Многих рассвет заставал висящими вместо фонаря на проволоке, протянутой поперек улицы, мирной когда-то, деревенской улицы, где они родились и выросли. И не все деревенские жители и горожане отделались так счастливо, как каменщик и его закадычные приятели: там, где управляющие и солдаты взяли верх, понаставили виселиц и повесили зачинщиков и бунтовщиков. А четверо угрюмых путников двигались неуклонно на север, юг, запад и восток, и что бы там ни творилось, кто бы кого ни вешал, пожары не унимались, и усадьбы вспыхивали одна за другой. И ни один управляющий, как бы он ни был силен в арифметике, не мог бы рассчитать, какой вышины нужно воздвигнуть виселицу, которая, превратившись в водяной столб, затушила бы эти пожары.

Глава XXIV

Притянут магнитной силой

Пожары не унимались, и буря не затихала: разгневанное море людское бушевало все сильнее и волны вздымались все выше и выше — к изумлению и ужасу тех, кто оставался на берегу, тщетно дожидаясь затишья, которое наступает во время отлива; но отлив не наступал, разъяренные волны захлестывали сушу, и земля содрогалась от их грозного натиска — так прошло три года. День рождения маленькой Люси трижды вплелся золотой нитью в мирную ткань жизни в тихом доме.

Как часто днем или вечером, когда многоголосое эхо гулко повторяло шаги, раздававшиеся на улице, обитатели дома прислушивались к ним с замиранием сердца; им слышался в этих шагах топот возмущенной толпы, шествующей с красным флагом там, на далекой родине, которая сейчас была объявлена в опасности и где люди, словно под действием злых чар, надолго превратились в диких зверей.

Французская аристократия распалась от непостижимого явления — ее перестали почитать, более того — она стала столь неугодной Франции, что народ жаждал не только отделаться от нее, но и по возможности разделаться с ней. Как деревенский простак в сказке, который всеми силами старался вызвать нечистого, а когда тот явился ему, — лишился языка от страха и со всех ног бросился бежать; так и знатные господа Франции: на протяжении многих лет они нарушали все заповеди, читали отче-наш наоборот, творили бесовские заклинания и всячески вызывали дьявола, а когда он явился им во всей своей адской силе, бросились бежать без оглядки, не помня себя от страха.

Бежала блестящая свита, зеница королевского ока, страшась оказаться мишенью, по которой народ палит без промаха. Око сие никогда не отличалось зоркостью, ибо, ослепленное сатанинской гордостью и блеском Сарданапаловой роскоши[47], оно, словно крот, видело только в темноте; теперь оно смежилось и исчезло. Весь пышный двор, начиная с замкнутого кружка приближенных фаворитов и кончая широкими кругами продажных клик, изощрявшихся в интригах, мошенничестве и гнусном лицемерии, рассыпался и исчез. И королевская власть исчезла: по последним слухам короля схватили в его дворце и заставили отречься от престола.

Стоял август месяц тысяча семьсот девяносто второго года, и французские вельможи к этому времени разбежались по чужим странам.

Банк Теллсона как-то само собой превратился в главную квартиру монсеньера в Лондоне и место постоянного сборища французской знати. Дух, разлученный с телом, обычно посещает те места, где осталось его тело, так и французских вельмож, лишившихся своих луидоров, невольно тянуло в то место, где некогда обретались их луидоры; к тому же это было место, куда вести из Франции приходили с наименьшим промедлением и за их достоверность можно было поручиться. Кроме того: банкирский дом Теллсона с великодушной щедростью оказывал широкую поддержку своим старым клиентам, впавшим в ничтожество: но были среди его

клиентов и дальновидные люди, которые предвидели надвигающуюся катастрофу и, опасаясь грабежей и конфискации, позаботились своевременно перевести свои капиталы в Англию, и банк Теллсона никогда не отказывался указать на них их нуждавшимся соотечественникам. И так уж повелось, что всякий, кто ни приезжал из Франции, являлся первым делом к Теллсону получить нужные ему сведения и поделиться последними новостями. В силу всех этих разнообразных причин банк Теллсона по части всего, что касалось Франции, представлял собой своего рода биржу, и все это знали, и столько народу приходило сюда справляться о том о сем, что Теллсон частенько вывешивал последние новости в окнах конторы, чтобы их могли прочесть все проходящие через Темпл-Бар.

Однажды в туманный пасмурный день мистер Лорри сидел за своей конторкой и беседовал вполголоса с Чарльзом Дарнеем, который стоял против него, облокотившись на край стола. Тесный закуток, некогда отведенный для аудиенций, коими удостаивал посетителей сам глава фирмы, теперь превратился в биржу, где обменивались новостями, и был битком набит народом; до закрытия банка оставалось примерно полчаса.

— Право, вашей молодости может позавидовать всякий, — с некоторым сомнением в голосе говорил Чарльз Дарней, — но я все же осмелюсь заметить, что…

— Понимаю, что я слишком стар? — перебил его мистер Лорри.

— Погода сейчас неустойчивая и пускаться в такое дальнее путешествие… да и как вы еще доберетесь, неизвестно, ведь там сейчас полный хаос в стране, а в Париже и для вас может оказаться небезопасно.

— Милый мой Чарльз, — с подкупающей уверенностью сказал мистер Лорри, — все, что вы говорите, не только не останавливает меня, а наоборот убеждает в необходимости ехать. Мне никакая опасность не грозит. Кто станет обращать внимание на старика, которому скоро стукнет восемьдесят; найдется и без него немало людей, более заслуживающих внимания. Что же касается того, что в Париже сейчас царит хаос, так ведь, не будь этого, не было бы необходимости посылать отсюда в наше тамошнее отделение человека, пользующегося доверием, знающего все дела и архивы и хорошо знакомого с городом. Ну, а что до того, что путешествовать неудобно, и дорога дальняя, и зима на носу, так уж если я после стольких лет службы у Теллсона не могу претерпеть ради дела таких пустяков, так на кого же ему тогда рассчитывать?

— Да я бы и сам поехал! — не утерпев, сказал Чарльз Дарней, как бы подумав вслух.

— Вот как! А еще советы дает! Так что же вы меня отговариваете! — воскликнул мистер Лорри. — Вы бы поехали? Вы, француз? Нечего сказать, хорош советчик!

— Дорогой мистер Лорри, именно потому, что я француз, меня и преследует эта мысль (только я, право, не собирался говорить об этом). Ведь как-то невольно думается, что человек, который всегда сочувствовал несчастному народу, отказался в его пользу от кое-каких своих прав, может повлиять на этих заблудших людей, заставить их образумиться. Вот только вчера вечером, когда вы ушли от нас, мы говорили с Люси…

— С Люси! — подхватил мистер Лорри. — И вам не стыдно произносить имя Люси! Подумать только! Мечтает поехать во Францию! Это в такое-то время!

— Да ведь я не еду, — рассмеялся Чарльз Дарней. — И разговор-то, собственно, идет о том, что вы едете.

— Да, еду, и не о чем тут и говорить. Сказать вам правду, дорогой Чарльз, — мистер Лорри покосился на сидящего в отдалении «самого» и понизил голос, — вы и понятия не имеете, как трудно сейчас вести дела и какой опасности подвергаются там, в Париже, ваши бумаги и архивы! Ведь если иные из хранящихся у нас документов будут захвачены, или уничтожены, бог знает чем это может грозить кое-кому из наших клиентов! А это, вы сами понимаете, может случиться в любую минуту. Кто может поручиться, что в Париже вот-вот не вспыхнут пожары или что его сегодня-завтра не бросятся громить? Поэтому надобно как можно скорей отобрать

нужные документы, припрятать их в надежное место или суметь вывезти, чтобы они сохранились в целости, — а ведь это не так просто, и время не терпит! А кто же это может сделать, кроме меня? И что ж? Только из-за того, что у меня коленки не гнутся, я, по-вашему, могу отказаться? Подвести Теллсона, который мне доверяет и сам же мне это и поручил, Теллсона, который вот уже шестьдесят лет обеспечивает мне хлеб насущный? Ну нет, сэр! Вы бы посмотрели, какие у нас здесь древние развалины работают, я перед ними сущий юнец!

— Я, мистер Лорри, просто восхищаюсь вашим юношеским пылом!

— Ш-ш-ш! Глупости, сэр! Но вот что я вам еще скажу, милый Чарльз, — продолжал мистер Лорри, снова покосившись на «самого», — вы же должны понимать, что сейчас вывезти из Парижа что бы то ни было, мало сказать, чрезвычайно трудно, — почти невозможно; вот только сегодня нам привезли оттуда кое-какие документы и ценности (это строго между нами, по-настоящему мне не следовало бы и заикаться об этом, даже вам), вы себе представить не можете, какие странные личности взяли на себя эту миссию — и ведь каждый из них на всех парижских заставах рисковал головой. Прежде, бывало, наши пакеты и посылки и туда и оттуда доставлялись без проволочек, запросто, как у нас в Англии, а теперь все задерживают.

— Но неужели вы действительно едете сегодня же?

— Да, сегодня вечером, время не терпит.

— И вы никого не берете с собой?

— Мне предлагали многих, да я не хочу ни с кем связываться. Я думаю взять с собой Джерри, он столько лет состоит при мне телохранителем, провожает меня домой по вечерам каждое воскресенье, я к нему привык. Кому придет в голову в чем-либо его заподозрить, сразу видно — этакий английский бульдог, верный страж, который только одно и знает — охранять своего господина и не давать спуску никому, кто осмелится его тронуть!

— Могу только еще раз повторить, что я восхищаюсь нашим юношеским пылом и мужеством.

— А я вам опять скажу — глупости и глупости! Вот когда я справлюсь с этим маленьким поручением и вернусь домой, ну, тогда, может быть, я и соглашусь на предложение Теллсона — уйти на покой. Тогда у меня будет время подумать о старости.

Разговор этот происходил у конторки мистера Лорри, в нескольких шагах от толпившихся в закутке французских аристократов, которые возмущались и грозились, что они еще покажут этой голытьбе, что недалеко то время, когда она у них за все поплатится. Как это было похоже на французских аристократов, спасавшихся в эмиграции, — впрочем, той же точки зрения придерживались и в аристократических кругах Англии — так уж оно было принято рассуждать об этой грозной революции, словно о чем-то таком, что стряслось нежданно-негаданно; как будто все, что ни делалось или все что так и оставалось несделанным, не вело неотвратимо к этой катастрофе и люди, способные наблюдать и мыслить, которые из года в год видели миллионы голодающих во Франции и все бессмысленные излишества и роскошь, разорявшие несчастный народ, не предрекали задолго, чем это должно кончиться, не говорили об этом настойчиво тысячи раз. Ни один человек, знающий истинное положение вещей и способный рассуждать здраво, не мог бы без раздражения слушать эту заносчивую болтовню французских аристократов, строивших какие-то невероятные планы и готовых пуститься на любую авантюру для восстановления старого порядка, который уж давно пришел в полную негодность, истощил терпение неба и земли и, наконец, рассыпался в прах. И от этой пошлой болтовни, не умолкавшей у него над ухом, у Чарльза Дарнея начинало стучать в висках, он чувствовал, как в нем растет смутное беспокойство, и едва сдерживал закипавшее в нем раздражение.

Среди этих болтунов был член Королевского суда Страйвер, ставший теперь весьма видной персоной; его голос раздавался громче других; он с необычайным апломбом распространялся о том, какие надо принять меры, чтобы стереть чернь с лица земли, подавал аристократам всякие советы, как им за это взяться, как уничтожить эту породу; все выходило

удивительно просто, совсем как в рассказе о ловле орлов — их, как известно, переловить ничего не стоит, надо только насыпать им соли на хвост. Его разглагольствования как-то особенно раздражали Дарнея; он несколько раз порывался уйти, чтобы не слышать всего этого, но в то же время его так и подмывало вступить в разговор и высказать им свое мнение; так он стоял в нерешительности, а тем временем случай решил его судьбу.

К конторке мистера Лорри приблизился «сам» и, положив перед ним грязное завалявшееся нераспечатанное письмо, спросил его, нельзя ли разыскать человека, которому оно адресовано. Он положил письмо так близко от Дарнея, что тому невольно бросился в глаза написанный на конверте адрес и прежде всего бросилось в глаза его собственное имя. Адрес в переводе на английский гласил: «Очень спешно. Господину бывшему французскому маркизу Сент Эвремонду через банкирский дом Теллсона и Ко. Лондон, Англия».

В день свадьбы Чарльза Дарнея доктор Манетт взял с него клятвенное обещание, что он никому не откроет своего настоящего имени и что до тех пор, пока сам он не снимет с Дарнея этого обещания, оно останется тайной для всех, кроме них двоих. Никто, кроме них, и не знал его прежнего имени; даже его жена, не говоря уж о мистере Лорри.

— Нет, — ответил мистер Лорри главе фирмы. — Я спрашивал о нем всех, кто здесь бывает, никто ничего не может сказать об этом джентльмене.

Стрелки на часах уже показывали время закрытия банка, и публика стала расходиться; эмигранты, не переставая болтать, толпой повалили к выходу мимо конторки мистера Лорри. Мистер Лорри, держа на виду письмо, переданное ему «самим», останавливал каждого проходившего. И каждый из этой толпы возмущенных, озлобленных беглецов, взглянув на конверт, бросал по-английски или по-французски какое-нибудь презрительное замечание по адресу пропавшего маркиза.

— Племянник, кажется никчемный субъект, и, к сожалению, наследник того достойнейшего маркиза, которого убили, — сказал один. — Мне, к счастью, не приходилось с ним встречаться.

— Жалкий трус, изменивший своему долгу, — заметил другой. — Удрал из Парижа еще несколько лет тому назад, спрятавшись в возу с сеном, говорят, чуть не задохся, его еле живого вытащили за ноги.

— А, это тот, что заразился новыми веяниями, — сказал третий, прищурившись и разбирая в монокль надпись на конверте, — он был не в ладу со старым маркизом и, когда вступил во владение наследством, отказался от своих прав и отдал все этой подлой голытьбе. Вот теперь они его отблагодарят. Надо надеяться, он получит по заслугам!

— Как? Неужели он выкинул такую штуку? — воскликнул Страйвер. — Хорош молодчик! Дайте-ка я взгляну, как звать этого подлеца! Ну и мерзавец!

Тут Дарней, который был не в силах больше сдерживаться, тронул его за плечо и сказал:

— Я знаю этого человека.

— Вы знаете, вот как? Ну, я вам не завидую, ей-богу, вас можно только пожалеть.

— Почему?

— Как почему, мистер Дарней? Вы слышали, какую он штуку выкинул? Вы знаете, какое сейчас время, и вы спрашиваете, почему?

— Да, спрашиваю, почему?

— Ну, я могу только повторить, мне жаль вас, мистер Дарней. И мне прискорбно слышать, что вы задаете такие странные вопросы. Ведь этот молодчик, заразившийся самыми что ни на есть опасными, отвратительными мерзостными идеями, отдал свое состояние грязным подонкам, гнусным душегубам, убивающим направо и налево, а вы спрашиваете, почему мне прискорбно слышать от наставника юношества, что он водится с таким негодяем? Хорошо, я

отвечу вам. Мне жаль вас потому, что вы подвергаетесь заразе, с такими людьми опасно водиться. Вот почему.

Дарней едва сдерживался, но, помня обещание хранить тайну, он пересилил себя и сказал:

— Может статься, вы плохо понимаете этого джентльмена.

— Я прекрасно понимаю, что вам, собственно, нечего возразить, и вот я вас сейчас и припру к стенке, — злобно огрызнулся Страйвер. — Если это, по-вашему, джентльмен, я действительно его не понимаю. Так ему от меня и скажите, а заодно передайте, что я искренне удивляюсь, как это он, отдав свои владения и права озверелым убийцам, не догадался стать во главе этой разбойничьей шайки. О нет, господа, — продолжал он, окидывая взглядом стоящих кругом и пощелкивая пальцами. — Я на своем веку достаточно изучил человеческую природу, и я вам скажу, господа, ни один из таких смутьянов никогда не рискнет довериться своим друзьям-приятелям. Нет, его дело только мутить, а как дойдет до драки, он первый покажет пятки, только его и видели!

Закончив на этом свою речь, мистер Страйвер еще раз выразительно щелкнул пальцами и, провожаемый одобрительными возгласами своих слушателей, поспешно устремился к выходу и вскоре зашагал по Флит-стрит. Следом за ним разошлись все, и мистер Лорри с Чарльзом Дарнеем остались одни в конторе.

— Так вы возьметесь передать это письмо? — спросил мистер Лорри. — Вы знаете, куда его доставить?

— Да, знаю.

— Вы объясните там, что письмо адресовали к нам, полагая, по-видимому, что мы знаем, куда его переслать, и оно у нас несколько залежалось.

— Да, разумеется, объясню. Вы. наверно, поедете прямо отсюда?

— Да, отсюда, в восемь часов.

— Я еще вернусь проводить вас.

Досадуя на себя и на Страйвера и чуть ли не на весь свет, Дарней пошел к Тэмплским воротам и, очутившись на тихой безлюдной улочке, распечатал письмо и стал читать его: вот что там было написано.

«Тюрьма Аббатства[48] *июнь 21, 1792*

Господин бывший маркиз!

После, того как я долгое время жил в деревне под страхом смерти, меня схватили и силком, с угрозами и побоями, повели в Париж, весь путь заставили пешком отшагать, чего только я не натерпелся дорогой. Но это еще не все: дом мой разорили дотла, сровняли с землей. Преступление, за которое меня засадили к тюрьму, господин бывший маркиз, и за которое меня будут судить и отрубят мне голову (если только вы не вступитесь за меня), это, как они говорят, — измена его величеству народу, — потому как я будто бы действовал ему во вред на службе у эмигранта. И сколько я им ни объясняю, что я по вашему приказанию действовал не во вред, а на пользу, — все напрасно. Напрасно я им доказываю, что еще до того, как владения эмигрантов отошли в казну, я перестал взимать подати, не требовал арендной платы и не предъявлял никаких исков. Ответ на все один: я состоял на службе у эмигранта, и где он, этот эмигрант?

Ах, милостивый господин мой бывший маркиз! Где же он, этот эмигрант? Я и во сне не перестаю стенать — где он? Тщетно молю я небеса, боже милосердный, пошли его выручить меня. Ах, господин бывший маркиз! К вам из-за моря взываю я, да не лишит меня господь последней надежды, что вы услышите мой отчаянный вопль, через славный банк Теллсона, известный в Париже.

Ради господа бога и святой справедливости, вашим великодушием и честью вашего славного имени заклинаю вас, господин бывший маркиз, не откажите мне в помощи, придите, спасите меня! Вся моя вина в том, что я до конца был предан вам. О господин бывший маркиз! Умоляю вас, не предавайте меня!

Из страшного сего узилища, где час моей гибели надвигается все ближе и ближе, шлю вам, господин бывший маркиз, уверения в неизменной преданности на тяжкой моей горемычной службе.

Ваш злосчастный Габелль».

Дарнея уже давно снедало какое-то смутное беспокойство, и это письмо всколыхнуло и потрясло его до глубины души. Мысль о страшной угрозе, нависшей над его добрым старым слугой, вся вина которого была в том, что он верой и правдой служил его семье и ему, преследовала его неотступным укором; раздумывая, как ему поступить, он шагал взад и вперед по тихой улочке Тэмпла и с чувством самоуничижения и стыда прятал лицо от прохожих.

Он не скрывал от себя, что кровавое преступление, к коему привели чудовищные злодеяния и дурная слава хозяев старого замка, и страшные подозрения и неприязнь, какие внушал ему его родной дядя, и этот ненавистный разваливающийся уклад жизни, который ему полагалось поддерживать, — все это вызывало у него такое омерзение и ужас, что у него не хватило сил сделать то, что он намеревался сделать. Он понимал, что недостаточно было отказаться от своих нрав и привилегий, надо было довести задуманное до конца и самому позаботиться о том, чтобы все это претворилось в жизнь. Но, поглощенный своим чувством к Люси, он стремился как можно скорее вернуться в Англию, и так все это и осталось недоделанным.

В мирном домашнем приюте, который он обрел в Англии, он наслаждался счастьем семейной жизни, много работал и не замечал, как идет время, а между тем грозные события следовали одно за другим с такой неудержимой стремительностью, что, если у него иной раз и возникали какие-то проекты, они через несколько дней оказывались никуда не годными. Он сознавал, что отступил перед этими трудностями, и хотя смутное беспокойство не покидало его, он не приложил никаких усилий преодолеть возникающие препятствия. И так время шло и он со дня на день менял и откладывал свои планы, выжидая благоприятного момента, пока, наконец, сам не понял, что время упущено: теперь уже было поздно, ничего нельзя было сделать, французские дворяне и помещики бежали из Франции, спасаясь, кто как может; усадьбы их пылали, имущество было конфисковано или разграблено, и самые имена их были вычеркнуты из списка живых. Он уже был бессилен что-либо сделать и понимал это не хуже тех, кто сейчас вершил судьбы Франции и вправе был призвать его к ответу.

Но он никого не притеснял, никого не сажал в тюрьму; он не только не пользовался своим правом взимать с крестьян арендную плату и поборы, но добровольно отказался от этого права, и не опираясь ни на кого, кроме себя, сам пробил себе дорогу в жизни и своим трудом зарабатывал себе на хлеб. Мосье Габелль, оставшийся управлять перезаложенным, доведенным до полного разорения родовым поместьем, получил от него письменные указания заботиться о крестьянах, снабжать их всем, что уцелеет от жадных кредиторов, — зимой дровами, а летом — урожаем, который удастся спасти от запрета по долговым обязательствам, и нет сомнения, что мосье Габелль представил в свое оправдание и его распоряжения и все доказательства того, что он действовал согласно им; в конце концов это же должно выясниться.

Раздумывая обо всем этом, Чарльз Дарней все больше убеждался в необходимости ехать в Париж. Словно того мореплавателя в старинном предании, который плыл по течению, доверившись попутному ветру, и был притянут магнитной скалой, все как бы само собой, с какой-то неодолимой силой толкало его на этот страшный шаг. Последнее время он тщетно старался подавить в себе грызущее его беспокойство и стыд, оттого что на его несчастной родине пapод, сбитый с толку дурными людьми, ступил на дурной путь, а он, Чарльз Дарней,

считающий себя лучше этих людей, — он не двигается с места, не делает ничего, чтобы удержать народ, пробудить в нем человеческие, чувства, терпимость, сострадание, и прекратить это кровопролитие. Он только старается заглушить в себе угрызения совести, и вот перед ним разительный пример преданности долгу, — этот честный старик мистер Лорри, который не щадит себя; с чувством унижения и стыда он невольно сравнивает себя с ним, и в ту же минуту слышит язвительные насмешки своих соотечественников-эмигрантов; каково ему было это терпеть, а в особенности грубое зубоскальство Страйвера, с которым у них давние счеты. И в довершение всего письмо Габелля, невинно пострадавшего старого слуги, которому грозит смерть, и он молит его о помощи, взывает к его справедливости, чести, к его доброму имени.

Какие же тут могут быть колебания! Конечно, он должен ехать в Париж.

Да, теперь ему уже ничего другого не оставалось — магнитная скала притягивала его с неодолимом силой. Сам Дарней не видел этой скалы; он и не подозревал, какая опасность ему угрожает. Он был уверен, что его благородные начинания, даже если ему и не удалось довести их до конца, завоюют ему уважение во Франции, когда он явится и объяснит, как обстояло дело. И вот ему уже предоставляется широкая возможность творить добро — радужные мечты, которыми так часто тешат себя многие хорошие люди, — и он уже видел, как он, Дарней, помогает унять эту страшную бурю и направить бушующую Революцию в более спокойное русло.

Решив окончательно и бесповоротно, что он едет, Чарльз Дарней продолжал расхаживать по переулкам Тэмпла, раздумывая о том, что ему следует скрыть свое решение и от Люси и от ее отца. Они не должны знать ничего до его отъезда, Люси надо избавить от тягостного прощания, а ее старика отца, который избегает касаться всего, что напоминает ему мучительное прошлое, лучше поставить перед совершившимся фактом, чем подвергать опасности тревожных сомнений и колебаний. Дарней не позволял себе задумываться над тем, насколько постоянные опасения за отца Люси и страх разбередить в нем тяжелые воспоминания затрудняли для него возможность действовать. Но, несомненно, и это в значительной мере определяло его поведение.

Поглощенный своими мыслями, он бродил до тех пор, пока не подошло время вернуться к Теллсону проводить мистера Лорри. Как только он приедет в Париж, он первым делом явится к своему старому другу, но сейчас ему ни в коем случае нельзя ничего говорить.

У дверей банка уже стояла почтовая карета, а рядом суетился Джерри в высоких сапогах и полном дорожном снаряжении.

— Я вручил письмо адресату, — сказал Чарльз Дарней мистеру Лорри. — Мне показалось неудобным обременять его письменным ответом, но, может быть, вы не откажетесь передать устный?

— Разумеется, охотно передам, — ответил мистер Лорри, — если в этом нет ничего опасного.

— Нет, ровно ничего. Но этот ответ нужно передать заключенному в Аббатстве.

— Как имя? — спросил мистер Лорри, открыв свою записную книжку.

— Габелль.

— Габелль. И что же нужно передать этому несчастному узнику Габеллю?

— Да просто, что письмо получено и он приедет.

— А когда, — неизвестно?

— Он выедет завтра вечером.

— Имени не называть?

— Нет.

Дарней помог мистеру Лорри укутаться в бесчисленное множество теплых жилетов и плащей, и они вместе вышли из жарко натопленной конторы в промозглую сырость, на Флит-стрит.

— Обнимите за меня Люси и малютку Люси, — сказал мистер Лорри на прощанье, — да смотрите берегите их без меня!

Чарльз Дарней как-то неуверенно улыбнулся и кивнул, и карета покатила.

В этот вечер четырнадцатого августа он сидел далеко за полночь и написал два прочувствованных письма — одно Люси, в котором он объяснял ей, что не может пренебречь долгом и вынужден поехать в Париж и, подробно излагая все обстоятельства дела, убедительно доказывал ей, что ему не грозит никакая опасность; второе письмо — доктору, где он повторял то же самое, уверяя, что за него нечего беспокоиться, и поручал Люси и малютку его попечению. И в том и в другом письме он обещал написать тотчас же по приезде, дабы они знали, что все обстоит благополучно.

Тяжко ему было весь следующий день, впервые за всю их совместную жизнь держать от них что-то в тайне, тяжко было сознавать, что он их обманывает и они ничего не подозревают. Но всякий раз, когда взгляд его с нежностью устремлялся на жену, поглощенную мирными домашними делами, такую спокойную и счастливую в своем неведении, он укреплялся в своем решении не говорить ей ничего (как ни хотелось ему довериться ей и как ни странно было отстраняться от ее помощи и участия), и так незаметно промелькнул день. Под вечер он нежно простился с женой и столь же дорогой его сердцу малюткой дочкой и, пообещав скоро вернуться (он сказал, что едет куда-то по делу, и потихоньку ото всех заранее уложил свой чемодан), вышел с тяжелым сердцем на улицу в тяжко нависший серый холодный туман.

Неведомое притягивало ею теперь с неудержимой силой, и все словно подгоняло его. Он оставил оба письма верному привратнику, чтобы тот вручил их не ранее половины двенадцатого ночи, и отправился почтовой каретой к Дувр. «Ради господа бога и святой справедливости!» — этим воплем несчастного узника, взывавшего к его великодушию н чести, Чарльз Дарней поддерживал в себе мужество, едва не изменившее ему, когда он, поднявшись на борт, почувствовал, что отрывается от всего самого дорогого для него, и корабль, подгоняемый ветром, понес его к магнитной скале.

КНИГА ТРЕТЬЯ

«ПО СЛЕДАМ БУРИ»

Глава I

В секретную

Долгое медлительное путешествие предстояло тому, кто отваживался ехать из Англии в Париж в 1792 году. Дрянные дороги, дрянные экипажи, дрянные клячи — все это и раньше препятствовало быстрой езде, когда несчастный низложенный король Франции еще восседал на престоле во всей своей славе; но с тех пор многое изменилось, и ко всем прежним препятствиям прибавились другие, новые. Каждая городская застава, каждый деревенский шлагбаум охранялись кучкой граждан-патриотов, которые с мушкетом на взводе останавливали всех проезжающих в ту или другую сторону, допрашивали их, проверяли документы, искали их имена в имевшихся у них списках, а вслед за этим — кого поворачивали обратно, кого пропускали, кого задерживали и брали под арест, — словом, поступали, как им взбредет в голову, исходя из каких-то своих, в высшей степени своеобразных суждений о благе новорожденной Республики — Единой, Неделимой, несущей Свободу, Равенство, Братство или Смерть.

Чарльз Дарней проехал всего несколько миль по французской земле, и ему уже стало ясно, что дороги обратно для него нет и что до тех пор, пока его не признают в Париже достойным гражданином Республики, для него нет никакой надежды вернуться в Англию. Что бы ни случилось, он должен продолжать свое путешествие до конца.

После каждой деревенской околицы, через которую он проезжал, после каждого шлагбаума, опускавшегося за его спиной, он чувствовал, как замыкается за ним еще один железный барьер, отделяющий его от Англии. Все кругом проявляли столь неусыпную бдительность, что Дарней чувствовал себя связанным по рукам и ногам, — все равно как если бы он попался в сети или сидел закованный за решеткой в железной клетке.

Эта неусыпная бдительность не только останавливала его двадцать раз на дню на каждом перегоне, она двадцать раз на дню задерживала его, посылала за ним вдогонку, возвращала обратно, перехватывала по дороге, приставляла к нему провожатых, не выпускала его из глаз ни на миг. Так с бесконечными задержками он ехал по Франции уже несколько дней и, вконец измученный, остановился на ночлег в маленьком городке, все еще на значительном расстоянии от Парижа.

Если бы не письмо злосчастного Габелля из тюрьмы в Париже, которое Дарней предъявлял на заставах, ему вряд ли позволили бы доехать и до этого городка. А здесь, при въезде в этот захолустный городишко, дело дошло до того, что он и сам понял, что это добром не кончится. Поэтому он нисколько не удивился, когда его разбудили ночью, явившись к нему в номер на постоялом дворе, куда его препроводили до утра.

Разбудил его перепуганный представитель местной власти, которого сопровождали трое вооруженных патриотов в красных колпаках; они вошли, дымя трубками, и уселись к нему на кровать.

— Эмигрант, — сказал представитель власти, — я отправляю вас в Париж под конвоем.

— Гражданин, я ничего другого и не желаю, как попасть поскорее в Париж, но я предпочел бы обойтись без конвоя.

— Молчать! — рявкнул один из красных колпаков, стукнув о постель прикладом своего мушкета. — Не спорить, аристократ!

— Достойный патриот правильно говорит, — робко заметил представитель власти. — Вы аристократ, вас надлежит препроводить под конвоем, и вы должны его оплатить.

— Ну, раз у меня нет выбора… — сказал Чарльз Дарней.

— Выбора! Нет, вы послушайте его! — вскричал тот же грозный патриот. — Точно это не для него же стараются, чтобы он не повис вместо фонаря!

— Достойный патриот правильно говорит, — поддакнул представитель власти. — Вставайте, одевайтесь, эмигрант!

Дарней повиновался, и его опять повели в караульню на заставе, где, собравшись вокруг сторожевого костра, другие патриоты в красных колпаках дымили трубками, пили или спали. Здесь с него взяли изрядную сумму за приставленный к нему конвой, и в три часа ночи он двинулся под охраной по мокрой скользкой дороге.

Конвой состоял из двух патриотов в красных колпаках с трехцветными кокардами, вооруженных мушкетами и саблями; они ехали верхом по обе стороны конвоируемого, и хотя Дарней сам правил своей лошадью, к ее уздечке была привязана длинная веревка, конец которой один из патриотов намотал себе на руку. И так они двинулись от заставы под мелким холодным дождем, хлеставшим им в лицо; рысью проскакали по городу, по неровной булыжной мостовой и захлюпали по осеннему бездорожью, непролазной слякоти и лужам. И так то рысью, то шагом, время от времени останавливаясь сменить лошадей, но сохраняя все тот же неизменный порядок — Дарней в середине, те по бокам, — они ехали многие, многие мили по затопленным грязью дорогам к столице Франции.

Они ехали ночью, а едва наступал день, через час, через два после того, как начинало светать, останавливались где-нибудь на постоялом дворе и отдыхали, пока не стемнеет. Одежда на конвоирах была вся рваная, они обертывали свои разутые ноги соломой и соломой же прикрывались от дождя, засовывая ее себе под лохмотья на плечи. Если не считать того,

что Дарней чувствовал себя несколько неловко с такими провожатыми и ему приходилось быть постоянно настороже, потому что один из них был всю дорогу пьян и слишком резво обращался со своим мушкетом, никаких серьезных опасений от того, что ему навязали конвой, у него не было; он говорил себе, что это не может иметь никакого отношения к его частному делу, которого он еще никому не излагал, ни к его показаниям, которые, несомненно, подтвердит узник Аббатства.

Но когда они приехали в город Бове, — это было под вечер и на улицах толпилась масса народу, — он уже больше не мог закрывать глаза на истинное положение вещей и понял, что все это может кончиться для него очень плохо. Едва они остановились у почтового двора, их тотчас же обступила возбужденная, враждебная толпа. Дарней только что перекинул ногу через седло, собираясь спешиться, как в толпе раздались выкрики: «Долой эмигранта!» Чувствуя себя в большей безопасности верхом на лошади, Дарней остался в седле и, повернувшись к толпе, сказал громко:

— Какой же я эмигрант, друзья? Ведь я сам приехал во Францию, по своей доброй воле.

— У, эмигрант проклятый, гнусный аристократ! — крикнул кузнец и, протискавшись через толпу, бросился к Дарнею, грозно размахивая молотом.

— Оставь, оставь его! — сказал смотритель почтового двора, становясь впереди лошади и не давая кузнецу схватить ее за уздечку (на что тот явно покушался). — Его будут судить в Париже.

— Судить! — повторил кузнец, все еще размахивая молотом. — Тогда, значит, его ждет смерть предателя! — Толпа одобрительно заревела.

Дарней остановил смотрителя, который уже взял его лошадь под уздцы, чтобы ввести ее во двор (пьяный патриот с намотанным на руку концом веревки сидел, развалясь в седле, и преспокойно смотрел на эту сцену), и, подождав, пока толпа стихла, сказал, стараясь говорить так, чтобы его все слышали:

— Вы заблуждаетесь, друзья, или вас кто-то ввел в заблуждение. Я не предатель.

— Врет! — крикнул кузнец. — По новому декрету он предатель. Жизнь его принадлежит народу, он не вправе распоряжаться собой, гнусный аристократ!

Дарней увидел устремившиеся на него со всех сторон злобные взгляды и почувствовал, что толпа вот-вот ринется на него, но в эту минуту смотритель повернул лошадь, и Дарней, а за ним следом, не отставая ни на шаг, оба его конвоира, все трое, въехали во двор, и смотритель поспешил закрыть покосившиеся ворота и задвинуть их болтом. Кузнец грохнул молотом в ворота. В толпе пронесся гул — и этим все кончилось.

Поблагодарив смотрителя, Дарней сошел с лошади.

— Что это за декрет, о котором говорил кузнец? — спросил он.

— Верно, вышел такой декрет, чтобы продавать с торгов имущество эмигрантов.

— А когда же он вышел?

— Четырнадцатого этого месяца.

— В тот самый день, как я выехал из Англии!

— Все говорят, что это не один такой декрет будет, готовится еще несколько, может они уже и вышли — всех эмигрантов объявить вне закона, смертная казнь всем, кто вернется. Должно быть, он на этот декрет и намекал, когда говорил, что вы своей жизнью не распоряжаетесь.

— Но ведь этих декретов еще нет?

— А кто его знает, — отвечал смотритель. — Да и не все ли равно, вышли они или вот-вот выйдут, тут уж ничего не поделаешь!

Они улеглись спать на сеновале и поднялись уже далеко за полночь, когда все кругом угомонилось и город спал глубоким сном. Среди многих диковинных перемен, поражавших Дарнея во время этого фантастического путешествия, его особенно поражало странное ночное оживление, люди здесь как будто совсем не ложились спать. Когда после долгой езды по безлюдным дорогам им случалось проезжать мимо какой-нибудь жалкой глухой деревушки, он с удивлением видел светящиеся окна и залитую огнями деревенскую улицу, где люди, взявшись за руки, водили хоровод среди ночи, кружась словно призраки вокруг чахлого деревца, именуемого древом Свободы, — или распевали хором гимн, прославляющий Свободу. Но город Бове в эту ночь, на их счастье, спал, и они выбрались безо всяких помех и вскоре снова очутились среди голых равнин на пустынной дороге под холодным дождем, моросившим на заброшенные поля, на черные обгорелые развалины сожженных усадеб, из-за которых, внезапно преграждая путь, выскакивал ночной патруль — кучки вооруженных патриотов, охранявших все тропы и дороги.

На рассвете они, наконец, подъехали к стенам Парижа. Ворота были закрыты, и у заставы был выставлен сильный караул.

— Где бумаги арестанта? — спросил суровый властный человек, вызванный дежурным часовым.

Возмущенный словом «арестант», Чарльз Дарней поспешил заметить этому человеку, что он вольный путешественник, французский гражданин, что ему навязали охрану ввиду неспокойного состояния страны и что он за нее уплатил. — Где бумаги арестованного? — переспросил тот, не слушая Дарнея.

Пьяный патриот извлек их из своего колпака и подал ему.

Пробежав письмо Габелля, суровый человек нахмурился, на лице его выразилось глубокое изумление, он поднял глаза и внимательно поглядел на Дарнея.

Затем, не сказав ни слова, он повернулся и пошел в караульню, оставив конвоиров с их узником перед запертыми воротами. Дожидаясь, когда их впустят, Чарльз Дарней с интересом поглядывал по сторонам. Прежде всего он обратил внимание, что ворота охранялись смешанной стражей — тут были и солдаты и патриоты, причем последних было значительно больше; он заметил, что крестьян с телегами и торговцев провизией сравнительно легко пропускали в город, тогда как выход из города, даже, казалось бы, для самых безобидных обывателей, был сильно затруднен. Пестрая толпа мужчин и женщин с возами, телегами и домашней скотиной дожидалась пропуска. Но каждого, кого выпускали из города, подвергали такой тщательной проверке, что очередь подвигалась чрезвычайно медленно. Многие из ожидающих, видя, что им еще долго томиться, растянулись тут же на земле и спали, другие курили и разговаривали, а кто просто слонялся, прохаживаясь взад и вперед. Почти на всех — и мужчинах и — женщинах — были красные колпаки с трехцветными кокардами.

Так, не слезая с коня, Дарней ждал у ворот уже около получаса и, поглощенный своими наблюдениями, не заметил, как подошел тот же человек и приказал караульному открыть ворота. Затем он вручил конвоирам, пьяному и трезвому, расписку в том, что принял от них доставленного арестанта с рук на руки, и приказал Дарнею спешиться. Дарней соскочил на землю, один из конвоиров подобрал поводья его усталой лошади, и оба патриота, не заезжая к город, повернули и поскакали обратно.

Дарней вместе со своим провожатым вошел в караульное помещение; там было сильно накурено, воняло перегаром, солдаты и патриоты, пьяные н трезвые, кто спал, кто бодрствовал, кто клевал носом, и в зависимости от степени опьянения и усталости одни еще держались на ногах, другие лежали вповалку на полу. Свет в помещении от выгоревших за ночь масляных фонарей и хмурого утра, глядевшего в окно, тоже был какой-то неверный, располагающий но то ко сну, не то к бодрствованию. В глубине за столом сидел угрюмый, нахмуренный человек, по-видимому начальник караула, и перелистывал какие-то списки.

— Гражданин Дефарж, — сказал он провожатому Дарнея, положив перед собой узкую полоску бумаги и берясь за перо, — это эмигрант Эвремонд?

— Да, он самый.

— Сколько вам лет, Эвремонд?

— Тридцать семь.

— Женаты. Эвремонд?

— Да.

— Где женились?

— В Англии.

— Можно не сомневаться. Где каша жена. Эвремонд?

— В Англии.

— Несомненно. Вы отправитесь отсюда в тюрьму Лафорс[49]. Эвремонд.

— Боже правый! По какому же это закону? — вскричал Дарней. — Какое преступление я совершил?

Начальник на секунду поднял глаза от бумаги и поглядел на Дарнея.

— У нас теперь новые законы и новые преступления, вы здесь давно не были, Эвремонд..

Он сказал это с жесткой усмешкой, продолжая что-то писать.

— Я прошу вас принять во внимание, что я приехал сюда добровольно, по просьбе моего соотечественника, откликнувшись на его письмо, которое лежит перед вами. Я только о том и прошу, чтобы мне дали возможность как можно скорей удовлетворить эту просьбу. Разве это не мое законное право?

— У эмигрантов нет прав, Эвремонд! — последовал невозмутимый ответ.

Записав то, что требовалось, начальник перечел написанное, посыпал листок песком и протянул его Дефаржу со словами: — В секретную.

Дефарж махнул листком, приказывая арестованному следовать за ним, за его спиной тотчас же выросли два вооруженных патриота с мушкетами наперевес, и они все вместе вышли из помещения.

— Так это вы женились на дочери доктора Манетта? — тихо спросил его Дефарж, когда они сходили с крыльца караульни, направляясь в город, — того самого, что был заточен в Бастилии, которой больше не существует?

— Да, — глядя на него с удивлением, отвечал Дарней.

— Меня зовут Дефарж, я держу винный погребок в предместье Сент-Антуан. Может быть, вы слышали обо мне?

— Как же, конечно! Моя жена приезжала к вам за своим отцом.

Слово «жена» как будто заставило Дефаржа спохватиться, он сказал с мрачным раздражением:

— Во имя недавно рожденной зубастой женушки Гильотины, зачем вас принесло во Францию?

— Вы слышали, зачем, ведь я только что объяснил это при вас. Или вы не верите, что это правда?

— Скверная правда для вас, — сказал Дефарж, нахмурившись и глядя прямо перед собой.

— Да, я чувствую себя здесь совершенно потерянным. Все так изменилось, так ни на что не похоже, такой произвол и несправедливость во всем, что не знаешь, как и подступиться. Вы не могли бы немножко помочь мне?

— Нет! — отрезал Дефарж, глядя все так же прямо перед собой.

— Но, может быть, вы не откажетесь ответить мне на один вопрос?

— Возможно. Зависит от того, что за вопрос. Спрашивайте.

— В этой тюрьме, куда меня так несправедливо отправляют, будет у меня возможность общаться с внешним миром?

— Это вы сами увидите.

— Неужели я буду погребен заживо, без суда, и мне даже не дадут возможности ничего сказать в свое оправдание?

— Там видно будет. Ну, а если и так, что в этом особенного? А других прежде не погребали заживо, да еще не в таких тюрьмах?

— Я никогда этого не делал, гражданин Дефарж.

Дефарж мрачно покосился на него, но ничего не ответил и продолжал шагать, не разжимая рта. Чем больше он замыкался в это суровое молчание, тем меньше было надежды смягчить его хоть немного, — так по крайней мере казалось Дарнею, — и он поспешил сказать:

— Для меня чрезвычайно важно (вы, гражданин, лучше меня понимаете, насколько это важно) дать знать мистеру Лорри в банк Теллсона, — это англичанин, он сейчас здесь, в Париже, — что меня подвергли заключению в Лафорсе, просто только самый факт, без всяких подробностей. Не возьметесь ли вы это сделать для меня?

— Я ничего для вас не возьмусь делать, — угрюмо ответил Дефарж. — Мой долг служить родине и народу. Я присягал в верности им обоим, я не с вами, а с ними, против вас. Для вас я ничего не стану делать.

Чарльз Дарней понял, что просить его о чем бы то ни было бесполезно, да и гордость не позволяла ему так унижаться. Они долго шагали молча, и Дарней невольно изумлялся, до какой степени народ привык к тому, что по улицам водят арестантов, даже дети при встрече с ним не обнаруживали ни малейшего любопытства. Кое-кто из прохожих обернулся ему вслед, погрозил аристократу, но никого, по-видимому, не удивляло, что прилично одетого человека ведут под стражей в тюрьму, это было столь же обычное зрелище, как встретить на улице мастерового в рабочей блузе, идущего на работу. На какой-то грязной и темной улочке они, проходя, видели оратора, который, стоя на табурете, взывал к возмущенной толпе, оглашая многочисленные преступления короля и королевской фамилии, совершенные ими против народа. Из того, что он успел уловить на ходу, Дарией только теперь узнал, что король заключен к тюрьму и что все до единого иностранные послы покинули Париж. За нее время своего путешествия он нигде (за исключением Бове) ни о чем, ни от кого не слышал. Охрана и неизменно окружавшая его бдительность совершенно изолировали его. Дарней теперь понимал, что опасности, которым он здесь подвергался, гораздо серьезнее, чем он мог предположить, когда уезжал из Англии. Он понимал, что опасности эти увеличиваются с каждым днем, ибо атмосфера становится все более неблагоприятной и угрожающей. Он признавался себе, что, если бы он мог предвидеть события, которые разыгрались здесь за эти последние дни, он не рискнул бы отправиться в это путешествие. И все же его положение отнюдь не представлялось ему таким безнадежным, каким он увидел его несколько позднее и каким оно оказалось в действительности. В смутной неизвестности будущего, каким бы оно ни казалось темным, мелькала надежда, рожденная неведением. Мог ли он представить себе, что через несколько суток в городе подымется чудовищная резня, страшное кровопролитие, не прекращающееся ни днем, ни ночью, которое оставит неизгладимый кровавый след на этом благословенном времени жатвы. И откуда ему было знать о только что появившейся на свет «зубастой женушке Гильотине», которую еще никто не видел в действии? Даже и те, кто потом совершал с ее помощью неисчислимые злодеяния, вряд ли в то время могли вообразить себе все эти ужасы. А человеку такого мирного склада, как Дарней, конечно, и в голову не могло прийти ничего подобного.

Он допускал, что с ним могут поступить несправедливо, упрятать его надолго в тюрьму, обречь на жестокую разлуку с женой и ребенком, но дальше этого его опасения не шли. Поглощенный этими мыслями, он не заметил, как они подошли к воротам мрачного двора, в глубине которого высилась тюрьма Лафорс.

Человек с отекшим лицом отпер чугунную калитку, и Дефарж, пропустив арестанта, сказал: «Эмигрант Эвремонд».

— А ч-черт! Да что же, им конца не будет! — выругался человек с отекшим лицом.

Дефарж не ответил ни слова, взял с него расписку о доставке арестанта и ушел с обоими патриотами.

— А черт бы их всех побрал! — продолжал ругаться тюремщик, оставшись с женой. — Да что же, это им конца не будет?

Жена тюремщика, разумеется, не могла ответить на этот вопрос, но ей хотелось успокоить мужа. «Что же делать, приходится терпеть, голубчик», — сказала она. Трое сторожей, явившихся на ее звонок, тотчас же поддакнули ей, а один из них прибавил: «Во имя свободы», что прозвучало по меньшей мере неожиданно в этом узилище.

Тюрьма Лафорс была мрачное, темное, грязное здание. Воздух здесь был невыносимо спертый. Удивительно, как скоро образуется этот особенный, тяжелый, застоявшийся воздух в плохо проветриваемом помещении, где люди спят вповалку, не раздеваясь.

— Да еще в секретную! — продолжал ворчать тюремщик, бегло просматривая бумагу. — Точно у меня везде не набито битком! Кажется, уж больше некуда!

Он с раздражением наколол бумагу на проволоку, и прошло еще примерно полчаса, прежде чем он соизволил обратиться к арестованному. Все это время Чарльз Дарней шагал из угла в угол под низко нависшими каменными сводами, изредка присаживаясь на каменную скамью, а тюремщик и сторожа молча наблюдали за ним: для этого его и задержали здесь, чтобы хорошенько запомнить его лицо.

— Ну, идемте, — сказал, наконец, тюремщик, беря свою связку с ключами. — Идемте со мной, эмигрант.

В мрачной тюремной полумгле Дарней пошел за своим новым провожатым по длинным коридорам, по каменным лестницам; много раз они останавливались, и тюремщик, гремя ключами, отпирал и снова запирал железные двери, и, наконец, они вошли в большое помещение с низким сводчатым потолком, тесно набитое заключенными обоего пола. Женщины сидели за длинным столом, читали, писали, вязали, шили, вышивали; мужчины стояли за их стульями или расхаживали взад и вперед.

Отождествляя по привычке понятие арестанта с преступлением и бесчестием, Дарней невольно отшатнулся при виде столь многочисленного сборища. Но как и во время бесконечной езды с конвойными, когда у него вдруг появлялось чувство, что все это ему только снится, так и сейчас он точно во сне увидел, как вся эта арестантская компания поднялась ему навстречу и приветствовала его с такой необыкновенной учтивостью и непринужденным изяществом, точно его принимали во дворце.

Эти галантные манеры, изящные реверансы и поклоны так не вязались с грубым убожеством тюрьмы, что Дарнею казалось, будто его обступили выходцы с того света. Призраки! Да, призраки красоты, величия, грации, призраки гордости, легкомыслия, остроумия, юные и старые призраки, всех их прибило к этому брегу отчаяния, где они ждут переправы, и смерть, наложившая на них свою печать, едва они ступили сюда, уже глядит на него из этих глаз.

Дарней смотрел на них остолбенев. Тюремщик, стоявший рядом с ним, и тюремные надзиратели, которые расхаживали по камере и были бы вполне на месте среди обычного состава заключенных, так странно выделялись своей неотесанной грубостью среди этих

скорбных матерей, прелестных цветущих девушек, среди всех этих призрачных видений, юных кокетливых красавиц, величественных благородных дам, что Дарнея все сильнее охватывало чувство, что этого не может быть в действительности, что все это ему только снится или он в самом деле уже попал в царство теней. Все, что он видит, — это призраки. И это его дикое путешествие, — что это, как не горячечный бред, от которого он никак не может очнуться?

— От имени всех присутствующих здесь товарищей по несчастью, — сказал, выходя вперед, человек благородной внешности и с манерами царедворца, — имею честь приветствовать вас в Лафорсе и выразить вам наше сочувствие по поводу постигшего вас бедствия, которое привело вас к нам. Желаем вам, чтобы все кончилось для вас благополучно и как можно скорей! В любых иных условиях было бы дерзостью, но здесь — разрешите узнать ваше имя и звание.

Чарльз Дарней с трудом вышел из своего оцепенения и ответил, стараясь попасть ему в тон.

— Но я надеюсь, — продолжал его собеседник, провожая взглядом тюремщика, который направился в другой конец помещения, — я надеюсь, вы не в секретную?

— Я не знаю, как это надо понимать, но я слышал, что они употребили именно это выражение.

— Ах, как это грустно! Мы глубоко сочувствуем вам! Но мужайтесь, из нашего общества кое-кто сначала находился в секретной, но это продолжалось недолго. — Затем, повернувшись к остальным, он прибавил, повысив голос: — С сокрушением сообщаю: в секретную.

Сочувственный шепот провожал Чарльза Дарнея, когда он шел через камеру к заделанной железными прутьями двери, где его дожидался тюремщик, и в хоре голосов, напутствующих его добрыми пожеланиями, особенно участливо и сердечно звучали голоса женщин. У двери он обернулся поблагодарить их от всей души; тюремщик, пропустив его вперед, захлопнул дверь, и все эти призрачные виденья навеки скрылись из глаз Дарнея.

Дверь открывалась на площадку каменной лестницы, ведущей наверх. Они поднялись на сорок ступеней (всего каких-нибудь полчаса, как Дарней стал узником, а он уже считал ступени), тюремщик отпер низкую черную дверь, и они вошли в одиночную камеру, холодную, сырую, но не темную.

— Вот ваша камера, — сказал тюремщик.

— А почему я в одиночном заключении?

— Откуда я знаю.

— Могу я купить чернила, перо, бумагу?

— Насчет этого мне никаких распоряжений не давали. Придут вас проверять, тогда спросите. А пока что ничего, кроме еды, покупать нельзя.

В камере был стол, стул и матрац, набитый соломой. В то время как тюремщик, прежде чем уйти, внимательно оглядывал все четыре стены и эти предметы, узник стоял, прислонясь к притолоке, и странные мысли бессвязно проносились у него в голове: «Вот этот тюремщик, он весь точно налит водой, совсем как утопленник, распух с головы до ног…» А когда тюремщик ушел, у него так же бессвязно завертелась другая мысль: «Похоронили меня, как будто я уже умер». Затем он шагнул к матрацу и нагнулся, чтобы осмотреть его, но тотчас же отшатнулся с омерзением. «Вот эта ползучая мразь, как только человек умер, сейчас же и заводится в трупе», — подумал он.

«Пять шагов по этой стене, четыре с половиной по той. Пять на четыре с половиной, пять на четыре с половиной». Узник шагал взад и вперед, вдоль и поперек по камере и считал шаги, а уличный шум города глухо звучал за стенами, сливаясь в сплошной гул неумолчного барабанного боя и дикого неистового рева многоголосой толпы. «Он шил башмаки — шил башмаки — шил башмаки». Узник метался по камере и снова и снова принимался считать шаги,

стараясь отвлечься от повторения этих привязавшихся к нему слов. «Как они внезапно исчезли, эти призраки, когда захлопнулась дверь. Там, среди этих видений, мелькнула женщина в черном; она стояла в амбразуре окна, и свет падал на ее золотистые волосы, она чем-то напомнила мне… О господи! Лучше уж ехать опять по бесконечным дорогам, мимо светящихся огней деревень, где не спят по ночам!.. Он шил башмаки — шил башмаки — шил башмаки. Пять на четыре с половиной…» Все эти бессвязные обрывки всплывали неожиданно откуда-то из глубины его сознания, и он шагал все быстрее, быстрее, не переставая лихорадочно считать; а в неумолчном шуме города сквозь рев многоголосой толпы, звучавший по-прежнему глухим барабанным боем, ему слышались горестные, скорбные, милые его сердцу голоса.

Глава II

Точильный камень

Банк Теллсона в Сен-Жерменском квартале в Париже помещался во флигеле большого особняка, стоявшего в глубине двора, за высокой оградой с чугунными воротами. Дом принадлежал знатному вельможе, который жил в нем до тех пор, пока волнения и беспорядки не вынудили его обратиться в бегство. Переодевшись в платье собственного повара, он перебрался через границу. Но и после этого превращения в загнанного зверя, спасающегося от преследующих его охотников, он сохранил свои прежние черты и остался тем самым монсеньером, которому три молодца лакея, не считая вышеупомянутого повара, подавали в постель утренний шоколад.

Монсеньер скрылся, трое молодцов, повинных в том, что им за такие услуги платили высокое жалованье, изъявили пламенную готовность искупить свою вину и перерезать горло своему господину, чтобы принести его в жертву на алтарь новоявленной Республики, единой, неделимой, несущей Свободу, Равенство, Братство или Смерть, и дом был сначала опечатан, а затем объявлен государственной собственностью. События так быстро следовали одно за другим, и декрет за декретом издавались с такой стремительностью, что третьего сентября вечером народные блюстители закона уже распоряжались в доме монсеньера; они водрузили на нем трехцветный флаг и, расположившись с удобством в парадном зале, распивали коньяк.

Если бы банк Теллсона в Лондоне поместить в таком доме, какой занимала парижская контора, глава фирмы очень скоро сошел бы с ума и его имя неминуемо попало бы в Лондонскую Газету, в коей сообщаются имена банкротов. Ибо трудно даже и вообразить себе, чтобы трезвое английское здравомыслие и английская респектабельность могли мириться с рядами померанцевых деревьев в кадках на дворе банка или, еще того хуже, с купидоном над кассой. А ведь так оно и было на самом деле. И хотя купидона замазали штукатуркой, его все равно отлично было видно на потолке; одетый как нельзя более откровенно, он с утра до вечера прицеливался сверху к деньгам (что, вообще говоря, свойственно купидонам). Да, конечно, банк Теллсона на Ломберд-стрит в Лондоне потерпел бы неминуемый крах из-за этого юного язычника, чему немало способствовал бы также и глубокий альков за тяжелыми драпировками, здесь же, за спиной бессмертного шалуна, и громадное зеркало в стене, да и сами банковские служащие, отнюдь не старые и чуть что готовые пуститься в пляс, тут же, на людях. Однако парижская контора Теллсона отлично уживалась со всем этим, и пока все шло мирно и гладко, никого не пугала такая легкомысленная обстановка и никто не требовал своих вкладов обратно.

Какие вклады будут теперь изъяты из банка, какие так и останутся невостребованными, забытыми; сколько серебра, золота и драгоценностей будет лежать в подвалах Теллсона, постепенно теряя свой блеск, в то время как люди, отдавшие их на хранение, будут гнить в тюрьмах, а иных постигнет лютая смерть; сколько текущих счетов, так и оставшихся незакрытыми, Теллсону придется захватить с собою на тот свет, — этого еще никто не мог сказать, и сам мистер Джарвис Лорри тщетно ломал голову весь вечер, стараясь найти какие-то концы. Он сидел у только что затопленного камина (в этот ужасный голодный год холода

наступили рано), и такая мрачная тень лежала на его честном мужественном лице, что и тень от висячей лампы и причудливые тени от мебели, стоящей в комнате, отступали перед этим мраком, ибо это был мрак ужаса, от которого содрогалась душа.

Мистер Лорри поселился в банке из преданности фирме, ибо за долгие годы своей службы он сросся с ней наподобие старого плюща, врастающего корнями в стены. С тех пор как главное здание заняли патриоты, здесь стало более или менее безопасно, но честный, преданный старик вовсе и не рассчитывал на это. Он поступил так, как диктовало ему чувство долга, и никаких других соображений у него не было. Против окон банка, по ту сторону двора, под крытой колоннадой, где когда-то теснились ряды экипажей и где и сейчас еще стояло несколько карет и колясок бежавшего монсеньера, два громадных пылающих факела были прикреплены к выступам двух крайних колонн, а рядом, под открытым небом, в круге света, отбрасываемого факелами, громоздился большой точильный круг; это было очень нескладное сооружение, его, должно быть, смастерили кое-как, наспех, в соседней кузнице или еще какой-нибудь мастерской, и притащили сюда. Мистер Лорри встал, подошел к окну, бросил взгляд на это безобидное приспособление, передернулся и, закрыв окно, вернулся к своему креслу у камина. До сих пор у него было открыто не только окно, но и наружные ставни; сейчас он закрыл и то и другое, и все равно он весь дрожал как в ознобе.

Из-за высокой ограды с чугунными воротами доносился с улицы обычный городской шум, но сегодня в него врывались такие страшные, исступленные вопли, словно чьи-то дикие, отчаявшиеся нечеловеческие голоса взывали к небу.

— Господи боже! — прошептал мистер Лорри, сжимая руки. — Какое счастье, что никого из близких и дорогих мне людей нет сегодня в этом ужасном городе. Смилуйся, боже, надо всеми, кому грозит опасность!

Через несколько минут у ворот раздался трезвон.

«Вот, опять они пришли!» — подумал мистер Лорри и замер, прислушиваясь. Он знал, что во дворе сейчас поднимется шум и возня, но до него донесся только стук захлопнувшихся ворот, и все снова стихло.

К чувству ужаса, которое он не мог в себе побороть, примешивались теперь тревожные опасения за банк — в эту ночь всего можно было ожидать, ибо город был охвачен безумием. Банк хорошо охранялся, и он решил пойти поговорить с верными сторожами, на которых вполне можно было положиться, но только успел подняться с кресла, как дверь в кабинет распахнулась, и две знакомые фигуры стремительно бросились к нему. Мистер Лорри так и обомлел и бессильно упал в кресло.

Люси с отцом! Люси в отчаянье простирала к нему руки, устремив на него молящий взор, и на лице ее точно застыло то хорошо знакомое ему мучительно недоумевающее выражение, — в котором сейчас было что-то до того хватающее за сердце, как будто сама душа ее молила, вопрошала и заклинала судьбу в этот страшный для нее час.

— Что, что такое? — не веря своим глазам, едва выговорил мистер Лорри. — Что это значит? Люси! Манетт! Что случилось? Как вы попали сюда? Зачем?

Не сводя с него умоляющих глаз, бледная, обезумевшая от горя Люси бросилась к нему на грудь.

— О мой дорогой друг! Моего мужа…

— Что с вашим мужем, Люси?

— Чарльза…

— Что с Чарльзом?

— Он здесь…

— Как здесь, в Париже?

— Здесь вот уже несколько дней — три, четыре, не могу вспомнить, у меня как-то все путается… Он уехал тайком, из чувства долга, его задержали у заставы и отправили в тюрьму.

Старик невольно ахнул. В ту же минуту у ворот снова раздался трезвон, и во дворе послышался гвалт, шум и топот ввалившейся толпы.

— Что это за шум? — спросил доктор, подходя к окну.

— Не смотрите, Манетт! Заклинаю вас, не открывайте ставни!

Доктор обернулся и, не отнимая руки от задвижки, запиравшей окно, сказал с невозмутимой улыбкой:

— В этом городе, дорогой друг, меня никто пальцем не тронет. Моя жизнь заколдована. Я — бывший узник Бастилии. Ни у одного патриота в Париже, — да что я говорю — в Париже! во всей Франции не поднимется на меня рука. Всякий, узнав, что я сидел в Бастилии, бросится душить меня в своих объятиях. Что вы, меня здесь будут на руках носить! Я за свои былые мученья пользуюсь теперь таким почетом, что нас беспрепятственно пропустили через заставу, дали нам все сведения о Чарльзе и доставили сюда. И я знал, что так будет, знал, что я смогу вызволить Чарльза. И так я и говорил Люси. Да, но что это за шум? — И он дернул задвижку.

— Не смотрите! — вне себя закричал мистер Лорри. — Нет, Люси, дорогая моя, не подходите туда! — И он обхватил ее рукой за плечи и держал, не отпуская. — Не дрожите так, милочка моя! Клянусь вам, у меня нет никаких сведений о том, что с Чарльзом случилось что-то дурное, я и понятия не имел, что он здесь, в этом ужасном городе. Куда его отправили, в какую тюрьму?

— В Лафорс.

— В Лафорс! Люси, дитя мое, мужайтесь, наберитесь терпения! Вы всегда были терпеливой, мужественной, так вот возьмите себя в руки, успокойтесь и делайте то, что я вам скажу! Поверьте мне, от этого зависит гораздо больше, чем я могу вам сказать. Вы сегодня ничего не можете сделать, вам отсюда никуда нельзя выходить. Я говорю вам это потому, что я знаю — как бы вам ни было трудно, вы ради Чарльза сделаете то, о чем я вас сейчас попрошу. Вы будете меня слушаться во всем. Так вот, вы сейчас успокоитесь и будете отдыхать. Позвольте, я провожу вас в соседнюю комнату, мне надо поговорить с глазу на глаз с вашим отцом, и сейчас же. Жизнь и смерть не в наших руках, но медлить нельзя ни минуты.

— Я подчиняюсь вам. Я вижу по вашему лицу, что мне ничего другого не остается. Я верю, что вы меня не обманываете.

Старик обнял ее и поспешил увести в свою спальню, запер дверь на ключ и чуть не бегом вернулся к доктору, открыл окно, приподнял ставню и, опершись на плечо доктора, выглянул вместе с ним во двор.

Они увидели толпу мужчин и женщин; их было не так много, человек сорок — пятьдесят, и все они толпились в другом конце двора. Люди, в распоряжении которых сейчас находился дом, впустили их в ворота, и они все бросились к точильному станку, — его, по-видимому, нарочно поставили здесь, во дворе, в таком отгороженном, уединенном месте.

Но для чего, для какого страшного дела!

У точильного круга была двойная рукоятка с ручками в обе стороны, и двое всклокоченных мужчин, с силой налегая на них, крутили его с каким-то остервенением. Когда бешеное вращение колеса заставляло их откидываться назад, их длинные космы падали на плечи, а страшные перекошенные физиономии с нелепо торчащими наклеенными усами и бровями напоминали свирепых дикарей, разукрашенных для воинственной пляски. Потные, с ног до головы забрызганные кровью, с воспаленными глазами, горевшими какой-то звериной яростью, они с диким ревом налегали на рукоятку и крутили, крутили, как одержимые. Слипшиеся волосы то падали им на глаза, то космами свисали на плечи, а женщины в это время подносили им ко рту кружки с вином; вино расплескивалось, пот лил с них ручьями, и в

снопах искр, летевших от круга, окровавленные лица и руки выступали словно в адском пламени. Среди всех этих людей не было ни одного человека, не забрызганного кровью. В тесной толпе, обступившей точильный круг, иногда поднималось какое-то движение и в свете факелов мелькали протискивающиеся вперед фигуры, обнаженные по пояс, руки по локоть в крови, фигуры в окровавленных лохмотьях, всклокоченные головы, обмотанные красным тряпьем, намокшими в крови обрывками шелка, пропитанными кровью обрывками кружев, лентами. Ножи, шпаги, пики, топоры, все, что ни точилось на круге, было красно от крови. У многих шпага висела на руке на перевязи, сделанной из каких-то окровавленных лоскутьев шелка, батиста, клочьев разорванного белья или платья. Вырвав отточенное оружие из снопа искр, они опрометью кидались на улицу, и тот, кто заглянул бы им в глаза, увидел бы в них то же багровое пламя, которое можно было погасить только пулей, и всякий порядочный человек сделал бы это не дрогнув, даже если бы ему пришлось поплатиться за это двадцатью годами жизни.

Все это с ужасающей отчетливостью мелькнуло перед ними за одно мгновенье. Так, за одно мгновенье перед человеком на краю гибели, перед глазами утопающего или обреченного на смерть проносится вся его жизнь. Они тут же отшатнулись, и доктор, глядя в посеревшее от ужаса лицо своего друга, не решился спросить, что все это означает.

— Они убивают узников, — прошептал мистер Лорри, опасливо покосившись на запертую дверь. — И если вы уверены в том, что вы говорили, если вы действительно пользуетесь здесь влиянием, — а я думаю, что так оно и есть, — идите назовите себя этим дьяволам, требуйте, чтобы они провели вас в Лафорс. Может быть, уже поздно, не знаю, но каждая минута промедления может оказаться роковой!

Доктор Манетт крепко сжал ему руку и с непокрытой головой, без шляпы бегом бросился из комнаты; и когда мистер Лорри снова выглянул в окно, он уже был во дворе.

Его седая голова, необыкновенная внешность, властная уверенность, с какою он отстранил размахивающие оружием руки, сразу покорили толпу, — она раздвинулась и, пропустив его вперед, молча сомкнулась за ним. На мгновенье все стихло, потом толпа задвигалась, пронесся какой-то ропот, среди которого выделялся громкий голос доктора, и мистер Лорри увидел, как толпа стала поспешно строиться плечом к плечу, и доктор оказался в самой середине, и колонна человек в двадцать устремилась в ворота с громкими криками:

— Да здравствует узник Бастилии! На выручку родственника Бастильского узника, в Лафорс! Дорогу Бастильскому узнику! Выручим из Лафорса узника Эвремонда! — и другими возгласами того же рода.

Мистер Лорри, взволнованный, потрясенный, опустил ставню, захлопнул окно, задернул шторы и поспешил к Люси, рассказать ей, что ее отец, заручившись поддержкой народа, отправился разыскивать ее мужа. Он застал около нее мисс Просс и малютку Люси и в первую минуту даже не удивился, увидев их, и только потом, много позже, когда он сидел около них в эту тревожную ночь, он с недоумением спрашивал себя, как же они там очутились?

Люси в полном оцепенении сидела на ковре у его ног, ухватившись обеими руками за его руку. Мисс Просс уложила малютку на его кровать и сама прилегла головой на подушку рядом со своей хорошенькой питомицей. О! Как бесконечно долго тянулась эта ночь! Как надрывали душу слезы несчастной жены! Как медленно проходил час за часом, а отец все не возвращался, и они ничего не знали.

Дважды ночью у ворот поднимался трезвон, во двор с шумом врывалась толпа, и точильный круг снова начинал крутиться с глухим скрежетом.

— Что это? — в ужасе кричала Люси.

— Шш! дитя мое, — успокаивал ее мистер Лорри, — это солдаты точат на дворе свои сабли. Дом теперь принадлежит государству, у них здесь что-то вроде арсенала.

Это повторилось еще только два раза за всю ночь, второй раз возня продолжалась недолго. И через несколько минут все стихло. Вскоре затем начало светать, и мистер Лорри, осторожно высвободив руку из рук Люси, подошел к окну и украдкой выглянул во двор. Какой-то человек, весь в крови, лежал на земле возле точильного круга — его можно было принять за тяжело раненного солдата, очнувшегося на поле битвы; приподнявшись на локте, он тупо водил кругом мутным взором. Разглядев в полумгле карету монсеньера, этот выбившийся из сил убийца с трудом поднялся на ноги, шатаясь подошел к роскошному экипажу, рванул дверцу, взобрался в него и, пачкая кровью нарядные подушки, завалился спать. Когда мистер Лорри снова выглянул в окно, большой точильный круг — земля — уже совершил полный оборот, и первые солнечные лучи окрасили двор красным огненным светом. А тот другой точильный круг стоял покинутый, один, в недвижной тиши ясного прохладного утра; он тоже был весь красный, но не от солнца — оно не задевало и не касалось его своими лучами.

Глава III

Тень

Как только наступившее утро заставило мистера Лорри вернуться к делам, он со свойственной ему деловитостью прежде всего подумал о том, что не имеет права подвергать риску фирму Теллсона и давать приют в стенах банка жене арестованного эмигранта. Если бы речь шла о его личной собственности или опасность грозила ему самому, он бы, не задумываясь, пошел на любой риск ради Люси и ее ребенка. Но доверие, оказанное ему, возлагало на него ответственность за чужое имущество, а во всех своих деловых обязательствах он всегда руководствовался только деловыми соображениями.

Сначала у него мелькнула мысль разыскать виноторговца Дефаржа и поговорить с ним, не поможет ли он подыскать квартиру, где приезжие могли бы чувствовать себя в безопасности в такое тревожное время. Но он тут же решил, что это не годится. Дефарж жил в самом бунтарском квартале и наверно был замешан во все эти опасные дела и даже пользовался среди своих большим влиянием.

Настал полдень, доктор все еще не возвращался, а каждая минута промедления угрожала репутации фирмы, и мистер Лорри решил поговорить об этом с Люси. Она сказала ему, что отец собирался подыскать квартиру в этом же квартале, где-нибудь поближе к банку. И так как никаких деловых возражений против этого у мистера Лорри не было и он предвидел, что, даже если с Чарльзом все разрешится благополучно и его выпустят, ему все равно не позволят выехать из Парижа, — он тут же отправился искать квартиру и очень скоро нашел вполне подходящее помещение в уединенном переулке, где притихшие дома с закрытыми ставнями грустно свидетельствовали о том, что их покинули.

Он тотчас же отвез туда Люси с ребенком и мисс Просс и постарался устроить их как можно удобнее, во всяком случае куда удобнее, чем ему самому жилось в конторе банка. Он приставил к ним Джерри, который в качестве привратника являл достаточно внушительную фигуру и в случае чего мог выдержать любую потасовку; после этого мистер Лорри вернулся к своим банковским делам. Но на душе у него было неспокойно, тяжелые мысли не покидали его и за работой, и время тянулось томительно долго.

Но вот день подошел к концу, банк закрылся, мистер Лорри остался один и совсем пал духом. Он сидел, затворившись у себя в комнате, и раздумывал, как же им теперь быть дальше, как вдруг на лестнице послышались шаги и через несколько секунд в дверях появился человек, который окинул мистера Лорри быстрым внимательным взглядом и обратился к нему по имени.

— К вашим услугам, — сказал мистер Лорри. — Вы меня знаете?

Это был рослый человек, лет около пятидесяти, с темной курчавой головой. Он ответил мистеру Лорри его же вопросом, даже не изменив интонации:

— А вы меня знаете?

— По-моему, мы где-то встречались.

— Может быть, у меня в винном погребке?

Мистер Лорри сразу оживился и заволновался.

— Вы от доктора Манетта? — спросил он.

— Да, я по поручению доктора Манетта.

— А что же он поручил передать? Он прислал что-нибудь?

Дефарж молча вложил в его дрожащую от волнения руку измятый клочок бумаги. На нем было написано рукою доктора:

«Чарльз невредим, но я еще опасаюсь уйти отсюда. Я упросил моего посланца передать от Чарльза маленькую записку жене. Пусть он повидается с женой Чарльза».

Записка была из Лафорса и написана всего какой-нибудь час тому назад.

Мистер Лорри прочел ее вслух, и у него отлегло от сердца.

— Вы пойдете со мной к его жене? — спросил он.

— Да, — ответил Дефарж.

Мистер Лорри, все еще не замечая ни удивительной сдержанности, ни деревянного тона, каким говорил с ним Дефарж, надел шляпу, и они вместе спустились во двор.

У ворот стояли две женщины, одна из них с вязаньем в руках.

— А, да это мадам Дефарж! — воскликнул мистер Лорри, вспомнив, что видел ее тому назад семнадцать лет, и за этим же самым занятием.

— Да, это она, — сказал ее супруг.

— Мадам пойдет с нами? — поинтересовался мистер Лорри, видя, что она следует за ними.

— Да. Чтобы знать их в лицо и запомнить. Для их же безопасности.

Тут мистеру Лорри впервые показалось несколько странным поведение Дефаржа, он с сомнением покосился на него и прибавил шагу. Обе женщины шли за ними следом; вторая была не кто иная, как Месть.

Они поспешно прошли маленькой улочкой, поднялись по лестнице, и Джерри встретил их в дверях и проводил в комнаты, где они застали плачущую Люси. Боже, как она обрадовалась, когда мистер Лорри сообщил ей известия о ее муже, и с каким жаром, от всего сердца бросилась она пожимать руку, вручившую ей записку! Разве могла она подозревать, что творила эта рука нынешней ночью совсем неподалеку от ее мужа и что грозило ему от этой руки, если бы его не спас случай.

— «Дорогая моя, не падай духом. Я жив и здоров, и твой отец пользуется влиянием у тех, от кого я завишу. Ты не можешь ответить на мое письмо. Поцелуй за меня нашу малютку».

Вот все, что было в записке. Но и это было так много для той, которая сейчас словно воскресла, читая ее, что она бросилась к жене Дефаржа и поцеловала ее руку, шевелившую спицами. Это было пылкое движение любящего женского сердца, преисполненного благодарности, — но рука не ответила на него — холодная, грузная, она отдернулась и продолжала вязать.

И Люси словно почувствовала какую-то угрозу в этой холодной руке. Она только что собиралась спрятать записку у себя на груди, но так и остановилась, судорожно сжав руки, устремив на мадам Дефарж испуганный, недоумевающий взгляд. Мадам Дефарж спокойно, невозмутимо смотрела на эти приподнятые брови и страдальческую морщинку на лбу.

— В городе сейчас тревожно, моя дорогая, — попытался успокоить Люси мистер Лорри, — уличные бои, стычки, и хоть вас это не должно касаться и вам ничто не грозит, мадам Дефарж пожелала познакомиться с вами, чтобы в случае чего защитить, оградить вас, а ей для этого нужно знать вас в лицо. Мне кажется, я вас правильно понял, — не совсем уверенно добавил

мистер Лорри, которому тоже становилось не по себе от каменного молчания этих троих. — Не правда ли, гражданин Дефарж?

Дефарж мрачно покосился на жену и в ответ что-то буркнул себе под нос.

— И хорошо бы, моя милочка, — продолжал мистер Лорри, изо всех сил стараясь разрядить атмосферу, — позвать сюда нашу малютку и мисс Просс. Наша добрейшая Просс — англичанка, Дефарж, она совсем не знает французского языка.

Особа, о которой шла речь, вошла и остановилась посреди комнаты; ее-то уж ничто не могло испугать и ничто не могло поколебать ее убеждение, что ни одна чужестранка ей и в подметки не годится. Сложив руки на животе, она смерила взглядом Месть, которая первая попалась ей на глаза, и произнесла по-английски: «Ну, грубиянка? Уж ты-то, наверно, превосходно себя чувствуешь!» Потом хмыкнула что-то тоже по-английски в сторону мадам Дефарж; но ни та, ни другая почти не обратили на нее внимания.

— Это его ребенок? — спросила мадам Дефарж, в первый раз отрываясь от вязанья и указывая спицей на маленькую Люси, словно перстом судьбы.

— Да, сударыня, — поспешно ответил мистер Лорри. — Это дочурка нашего бедного узника, его единственное дитя.

Тень, которая, казалось, вошла в комнату вместе с мадам Дефарж и ее спутниками, двинулась и легла на девочку такой страшной темной полосой, что мать невольно бросилась к ребенку и, опустившись на колени, прижала его к своей груди. Страшная черная тень накрыла и мать и ребенка.

— Достаточно, — молвила мадам Дефарж своему супругу. — Я видела их. Можно идти.

Но в этих как будто недоговоренных словах чувствовалась такая угроза, — невысказанная, непонятная, скрытая, притаившаяся, — что Люси, не в силах совладать с собой, умоляюще протянула руку и чуть коснулась платья мадам Дефарж:

— Вы заступитесь за моего мужа. Вы не сделаете ему никакого зла, вы поможете мне увидеться с ним, если это в вашей власти?

— Я пришла сюда не ради вашего мужа, — ответила мадам Дефарж, невозмутимо глядя на нее сверху вниз. — Я пришла сюда ради дочери вашего отца.

— Ну, хотя бы ради меня пощадите моего мужа! Ради моего ребенка! Вот посмотрите, как она сложила ручки и молит вас, чтобы вы сжалились над ним! Мы боимся вас больше, чем тех, других!

Мадам Дефарж приняла это как нечто весьма лестное для себя и покосилась на мужа. Дефарж, который, не сводя с нее глаз, досадливо покусывал ноготь, сразу изменился в лице — оно стало холодным и суровым.

— Что пишет вам муж в этой записке? — спросила мадам Дефарж с зловещей улыбкой. — Что-то насчет влияния? Что он там говорит? О каком влиянии?

— Это про моего отца, — ответила Люси, поспешно доставая записку из выреза платья, но не отрывая испуганных глаз от лица мадам Дефарж, — что он пользуется там большим влиянием.

— Вот он и повлияет, чтобы его освободили! — сказала мадам Дефарж. — Пусть-ка он это сделает!

— Умоляю вас! — жалобно вскричала Люси. — Умоляю вас, как жена и мать, сжальтесь надо мной, если у вас есть какая-то власть, не употребляйте ее во зло против моего ни в чем не повинного мужа, умоляю вас, заступитесь за него. Вы женщина, сестра моя, пожалейте меня, умоляю вас, как жена и мать!

Мадам Дефарж смотрела на молящую ее молодую женщину все тем же холодным, невозмутимым взглядом, потом повернулась к своей подруге Мести.

— А жалел ли кто тех жен и матерей, которых мы видели вокруг себя, — спросила она, — мы с тобой всю жизнь, с тех пор, как были вот такими, как эта девчонка, или, может, еще меньше? Нам ли не помнить, как часто их мужей и отцов сажали в тюрьму, отрывали от семьи? Всю жизнь на наших глазах наши сестры-женщины мучились, выбивались из сил, смотрели, как мучаются их дети, голодные, раздетые, нищие, и все терпели и голод, и нищету, и болезни, и обиды, и притеснения, и гнет.

— За всю нашу жизнь ничего другого не видели, — подхватила Месть.

— Долго мы все это терпели, — продолжала мадам Дефарж, снова поворачиваясь к Люси. — Так посудите же сами, может ли для нас что-нибудь значить горе одной жены и матери!

И снова зашевелив спицами, она повернулась и пошла, а за ней следом Месть. Дефарж вышел последним и закрыл дверь.

— Мужайтесь, дорогая Люси, — сказал мистер Лорри, поднимаясь. — Мужайтесь! Пока что для нас все обошлось благополучно, много, много благополучнее, чем для стольких других. Ну, приободритесь же, вы должны быть благодарны судьбе…

— Я благодарна, у меня появилась надежда, но эта ужасная женщина точно каким-то мраком дохнула, словно какая-то черная тень надвинулась на меня, на мои надежды.

— Ну, полно, полно! — успокаивал ее мистер Лорри. — Такое мужественное сердечко, ну, можно ли так падать духом! Тень! Что такое тень, Люси, — рассеялась и нет ничего.

Но тень, которую своим непонятным поведением заронили в его душу Дефаржи, не давала и ему покоя, и мрачные мысли не покидали его, хоть он и старался этого не показывать.

Глава IV

Затишье перед шквалом

Доктор Манетт вернулся домой только на четвертый день, утром. Чему только он не был свидетелем за эти страшные дни; но все это, или во всяком случае многое, тщательно скрывалось от Люси и только уже долгое время спустя, после того как они покинули Францию, она узнала, что тысяча сто узников было отдано на расправу толпе, что четверо суток не прекращалась страшная резня[50] и что даже самый воздух кругом был насыщен запахом крови. Теперь же ей рассказали только, что толпа пыталась ворваться в тюрьмы, что все политические узники были под угрозой смерти и несколько человек попали в руки толпы и были зверски убиты.

Но мистеру Лорри доктор под строгим секретом рассказал, что он сам был очевидцем этой резни в ту ночь, когда толпа провожала его в Лафорс; что там в это время заседал самозванный революционный трибунал, узников вызывали поодиночке, и тут же на месте мгновенно выносилось решение — отдать его на растерзание толпе, выпустить на свободу или (в редких, исключительных случаях) отправить обратно в камеру. Доставленный толпой в этот трибунал, доктор назвал свое имя и звание и рассказал, что он восемнадцать лет без всякого обвинения и суда пробыл в одиночном заключении в Бастилии; и тут поднялся один из членов трибунала и заявил, что он его знает и может подтвердить его слова: это был не кто иной, как Дефарж.

После этого доктору позволили самому убедиться по спискам, лежавшим на столе, что его зять жив, и он выступил в защиту Чарльза и всячески старался отстоять его жизнь и свободу перед этими вершителями правосудия, из которых кое-кто уже спал, иные бодрствовали, одни были под хмельком, другие трезвые и у многих руки были запятнаны кровью. В первый момент, после бурных оваций и рукоплесканий, которым его приветствовали, как мученика низвергнутого деспотического строя, трибунал постановил немедленно вызвать и допросить Чарльза, и по всему казалось, что его тут же и выпустят; но затем произошло что-то непонятное (доктор не мог объяснить, чем это было вызвано), и члены суда, наклонившись друг к другу, стали о чем-то тихонько совещаться между собой, после чего председатель

трибунала объявил доктору, что арестованный должен остаться в заключении, но что ввиду ходатайства доктора ему гарантируется безопасность и его не выдадут толпе, и вслед за этим узника тут же увели обратно в камеру. Тогда доктор снова обратился к трибуналу и стал настоятельно просить, чтобы ему позволили остаться в тюрьме, потому что он опасается, как бы по какой-нибудь несчастной случайности или умышленному недосмотру его зятя не отдали в руки разъяренной толпе. В конце концов ему разрешили это, и он оставался в этой кровавой бане до тех пор, пока не миновала опасность.

Не будем вдаваться в описание всех ужасов, на которые он там нагляделся; вынужденный все время быть настороже, он спал и ел урывками, и все, что там ни происходило, происходило у него на глазах. Бурная радость толпы, приветствовавшей каждого освобожденного узника, поражала его едва ли не больше, чем ее слепая жестокость по отношению к осужденным. Одного узника, выпущенного на свободу, какой-то злодей по ошибке проткнул пикой; доктора вызвали перевязать раненого; он вышел за ворота тюрьмы и увидел добрых самаритян, которые, присев на трупы своих растерзанных жертв, обнимали и поддерживали раненого. Доктор рассказывал об этом, как о каком-то невообразимом кошмаре, в котором перемешалось все; они так бережно ухаживали за раненым, принимали в нем такое горячее участие, сами соорудили носилки, позаботились, чтобы его отнесли домой, а потом тут же схватились за оружие, и опять пошла такая резня, что доктор не выдержал — он закрыл лицо руками, чтобы не видеть этого, и потерял сознание.

Мистер Лорри слушал эти рассказы и с тайным опасением вглядывался в лицо своего шестидесятидвухлетнего друга — он боялся, как бы эти страшные впечатления не вызвали повторения его болезни. Но он должен был признаться себе, что никогда еще не видел его таким; точно он вдруг обнаружил в нем какие-то новые черты. Да, только теперь доктор почувствовал, что пережитые им страдания наделили его силой и властью; что на лютом огне мучений медленно ковалось оружие, которым он прошибет двери тюрьмы и спасет мужа дочери.

— Все это было не напрасно, мой друг, все оказалось на благо. Как когда-то моя милая, дорогая дочь помогла мне вернуться к жизни, так я теперь помогу ей вернуть самое для нее дорогое, с божьей помощью я сделаю это.

Так говорил доктор Манетт. Мистеру Лорри всегда казалось, что жизнь этого человека остановилась однажды, как часы, которые прекратили свой бег и долгое время бездействовали, но когда их завели, они снова пошли верно и точно, без перебоев, ибо механизм их сохранился в полной исправности. И сейчас, глядя в сверкающие решимостью глаза этого спокойного, твердого, уверенного и себе человека, мистер Лорри невольно заражался его уверенностью.

Сколько великих дел мог бы совершить доктор, если бы он положил на это всю ту энергию, упорство и усилия, с какими ему приходилось преодолевать всяческие препятствия. Пользуясь своим правом врача, обязанного прийти на помощь всякому больному, будь он в заключении или на свободе, богатый или бедный, хороший или дурной, он сумел так расположить к себе всех, с кем имел дело, и завоевал такое доверие, что ему предложили взять на себя постоянный врачебный надзор над тремя тюрьмами, в том числе и над крепостью Лафорс. Таким образом он мог сам убедиться и уверить Люси, что ее муж сейчас уже не в одиночном заключении, а в большой общей камере, где много других узников. Он видел его каждую неделю и, приходя домой, передавал Люси привет от мужа, непосредственно из его уст, слова, которые он слышал от него только что; она даже иногда получала письма от Чарльза (только не через доктора, а по почте), но ей не разрешалось писать ему, потому что все, кто попадал в тюрьму, подозревались в заговорах, но самые нелепые и чудовищные преступления приписывались эмигрантам, у которых были друзья или знакомые за границей.

Конечно, доктору приходилось нелегко, и жизнь его была полна тревог и забот; и все же мудрому мистеру Лорри казалось, что у него последнее время появилось какое-то чувство

гордости, которое поддерживало и воодушевляло его. Это была вполне оправданная, законная гордость, в ней не было ничего недостойного; и мистер Лорри наблюдал ее не без любопытства. Доктор, конечно, сознавал, что его долголетнее заключение представлялось до сих пор его дочери и другу бессмысленным бедствием, которое лишило его разума, разрушило его здоровье. Но теперь все изменилось — именно это страшное испытание облекло его той силой, на которую оба они сейчас возлагали все надежды, ибо только эта сила и могла выручить Чарльза, вырвать его из когтей смерти. Доктор Манетт был так горд этим, что и с ними он теперь держался иначе, — они были беспомощны и слабы, а он поддерживал, ободрял их и требовал, чтобы они во всем положились на него. Прежде он всегда опирался на Люси, а теперь они как будто поменялись ролями, но с какой признательностью и с какой любовью он взял на себя ее роль: ведь она так много для него сделала — наконец и он может что-то для нее сделать. «Да, любопытно наблюдать; но так оно и должно быть, — благожелательно думал мудрый мистер Лорри, — вы, друг мой, стали теперь главой и опорой семьи, вот и хорошо, более надежной опоры нечего и желать».

Но как ни старался доктор, какие только шаги не предпринимал, чтобы добиться освобождения Чарльза или хотя бы разбирательства его дела в суде, — время было против него, атмосфера с каждым днем становилась все более накаленной. Наступила новая эра[51]: короля судили, вынесли ему смертный приговор и казнили[52]. Республика, несущая Свободу, Братство, Равенство или Смерть, бросила вызов ополчившемуся против нее миру, решив победить или умереть; над высокими башнями Нотр-Дам день и ночь реяло черное знамя; триста тысяч человек вступили в ряды войск, готовившихся в поход против тиранов во всем мире; как будто драконовы зубы, посеянные на французской земле, дали обильные всходы всюду, куда они ни упали, и поднялись по всему краю, — на равнинах и горах, на песке, на скалах и на заливных лугах, под солнечным небом Юга и угрюмо нависшими тучами Севера, в лесах и болотах, в виноградниках и оливковых рощах, на скошенных лугах и истоптанном жниве, на плодородных берегах рек и пустынном морском побережье. До человека ли с его личным горем было этой бушующей стихии Первого года Свободы, стихии, хлынувшей не из тверди небесной, а из разверзшейся бездны, от коей отвратились небеса.

Ни отдыха, ни передышки, ни жалости, ни колебаний, ни даже счета времени не существовало в те дни. И хотя дни и ночи чередовались по-прежнему, в том же неизменном круговороте, как и в первозданные времена, когда ночь впервые сменилась утром и наступил первый день, люди потеряли им счет. Страна, охваченная буйной горячкой, утратила представление о времени, словно горячечный больной, впавший в беспамятство. Вот, в мертвой тишине затаившего дыхание города, палач показывает толпе голову короля, и кажется, не прошло и мгновенья, как ей уже показывают голову красавицы королевы[53], а она восемь месяцев томилась в тюремных стенах и за время своего вдовства успела поседеть от горя.

И, однако, по какому-то непостижимому противоречию, которому подчиняются подобные явления, время, проносившееся ураганом, казалось, едва двигалось. Революционный трибунал в столице, сорок, пятьдесят тысяч революционных комитетов по всей стране, закон о «подозрительных», грозивший потерей свободы и жизни всякому, ибо любой добропорядочный честный человек мог оказаться жертвой любого негодяя и мошенника, тюрьмы, переполненные ни в чем не повинными людьми, которых держали там без суда и следствия, — все это стало обычным, узаконенным порядком вещей, и хотя прошло всего лишь несколько недель, как были введены эти законы, они так прочно вошли в жизнь, словно так оно и было всегда и все уже давно свыклись с этим. Но самым привычным, примелькавшимся зрелищем, без которого нельзя было и представить себе этот город, как будто неразрывно связанный с ним испокон веков, было чудовищное сооружение на площади — зубастая кумушка Гильотина.

В каких только шуточках и остротах не изощрялись на ее счет! — Незаменимое лекарство от головной боли, верное средство, предупреждающее седину, лучшее средство для восстановления цвета лица; народная бритва — бреет быстро и чисто; ступай, поцелуй Гильотину, она тебе откроет окошечко, и ты тут же чихнешь в мешок. Гильотина стала символом возрождения человечества, она заменила собой крест. Кресты поснимали с шеи и на груди носили маленькие изображения гильотины; ей поклонялись, в нее веровали, как когда-то веровали в крест.

Она что ни день рубила несчетное множество голов, и не только сама она стала багрово-красной, но и земля под ней набухла и пропиталась кровью. Ее можно было разобрать на части, как игрушечный домик с чертиком, а как только возникала надобность, ее тут же собирали и снова пускали в ход. Она заставляла умолкнуть речистых, повергала сильных, не щадила ни прекрасных, ни добрых. Двадцать два друга народа — двадцать один живой и один мертвый[54] — предстали перед ней в одно утро, и она мигом снесла головы всем. Именем библейского исполина нарекли главного палача[55], приставленного к гильотине, но он с этим орудием был сильнее своего тезки, и слепота его была еще более страшной, ибо он каждый день сокрушал врата храма господня.

И среди всех этих ужасов и всего, что они порождали, доктор неизменно сохранял твердость духа; уверенный в своей силе, он действовал осторожно и упорно и ни минуты не сомневался, что он в конце концов спасет мужа Люси. Но разбушевавшаяся стихия, в которой смешалось и перевернулось все, захлестнула и перевернула время, и Чарльз вот уже год и три месяца томился в тюрьме, а доктор все продолжал надеяться и не терял твердости духа. В декабре того года революция вступила в такую грозную фазу, что на юге Франции реки были запружены трупами казненных ночью, а утром с первыми лучами бледного зимнего солнца из тюрем выводили новые партии осужденных, выстраивали их шеренгой и расстреливали целыми партиями. И среди этого террора доктор сохранял бодрость духа. Ни один человек в Париже не пользовался такой широкой известностью. Эта известность создавала ему совершенно особое положение. Спокойный, отзывчивый, всегда готовый прийти на помощь своими знаниями и опытом любому больному, будь то убийца или жертва, он сумел сделаться необходимым и в госпитале и в тюрьме. Искусный врач, он был предан своему делу, а его необыкновенная внешность и легенды, ходившие об узнике Бастилии, отличали его от всех других людей. Он был вне всяких подозрений, и никому не приходило в голову усомниться в нем, как если бы он и в самом деле восстал из гроба восемнадцать лет тому назад или дух его явился с того света и остался на земле среди живых.

Глава V

Пильщик

Год и три месяца. И все это время Люси жила в постоянном страхе, у нее никогда не было уверенности, что гильотина вот-вот не отрубит голову ее мужу. Каждый день по мостовой громыхали телеги, битком набитые осужденными на смерть. Миловидные девушки, красивые женщины, черноволосые, белокурые, седые; юноши, мужчины в цвете лет, старики; дворяне и простолюдины — все это было пряным питьем для гильотины, красным вином, которое изо дня в день вытаскивали на свет из мглы страшных тюремных подвалов и везли по улицам, дабы утолить ее ненасытную жажду. Свобода, Равенство, Братство или Смерть! Последнюю ты, не скупясь, жалуешь всем, о Гильотина!

Если бы бедняжка Люси, сраженная обрушившимся на нее бедствием и этим бесконечным ожиданьем, в отчаянии опустила руки, в этом не было бы ничего удивительного, — в таком состоянии пребывали многие. Но с того самого дня, когда на чердаке в Сент-Антуанском предместье она впервые прижала к своей юной груди седую голову отца, она поддерживала его своею любовью и преданностью и неустанно заботилась о нем. И теперь, когда судьба послала ей это испытание, она продолжала заботиться о нем с той же неизменной преданностью, на какую способны лишь истинно добрые, глубоко отзывчивые натуры.

Как только они поселились на новой квартире и доктор Манетт всецело посвятил себя своему призванию, Люси постаралась наладить их домашнюю жизнь, и делала это так же заботливо и любовно, как если бы муж ее был здесь с ними. Все в доме всегда было в полном порядке, всему было свое время и место. Каждый день она занималась с маленькой Люси, уделяя этому столько же времени и внимания, как если бы они жили по-прежнему у себя дома в тихом тупичке в Лондоне. Словно стараясь поддержать в себе веру, что они вот-вот заживут все вместе, по-старому, она обманывала себя разными невинными выдумками, — вдруг затевала уборку в надежде на внезапное возвращение Чарльза, раскладывала на столе его книги, подвигала для него кресло, — и только в этом, да в пламенных молитвах перед сном, когда она, горячо помолившись за всех заключенных страдальцев, томившихся в тюрьмах под угрозой смерти, шептала имя одного дорогого ей узника, она давала выход своему молчаливому горю.

Внешне она мало изменилась. Она ходила теперь всегда в темном простом платье и так же одевала и малютку Люси, но и эта траурная одежда отличалась таким же изяществом и была ей так же к лицу, как и светлые нарядные платья прежней счастливой поры. Она побледнела, и на лице ее точно застыло то недоуменно-сосредоточенное выражение, которое прежде появлялось и исчезало. Но она была все так же хороша.

Иногда, прощаясь на ночь с отцом, она, обняв его, разражалась слезами и говорила ему, что все надежды ее на него одного. И он успокаивал ее и утешал своей твердой уверенностью:

— Без моего ведома с ним ничего не может случиться, я уверен, что спасу его, Люси.

Как-то раз вечером, спустя несколько недель после того как они поселились в Париже, отец, вернувшись домой, сказал ей:

— Люси, дорогая моя, в верхнем этаже тюрьмы есть окно, у которого Чарльз может иногда постоять в третьем часу дня. Если ему удастся подойти к этому окну — а это зависит от разных обстоятельств и случайностей, — он сможет тебя увидеть, так он по крайней мере думает, надо только, чтобы ты стояла на улице в определенном месте, которое я тебе покажу. Но ты, бедняжка, не сможешь его увидеть, а если бы и могла, все равно тебе нельзя было бы подать ему никакого знака. Это для вас слишком опасно.

— О, покажите мне это место, папа! Я буду ходить туда каждый день.

И с тех пор каждый день, в любую погоду Люси простаивала там по два часа. В два она уже была там, стояла до четырех, потом грустно уходила. Когда на улице было не слишком сыро и можно было не опасаться за малютку, она брала с собой маленькую Люси; в дурную погоду она ходила одна; но она ни разу не пропустила ни единого дня. Это был темный грязный закоулок маленькой кривой улочки. На ней в этом конце стояла только лачуга пильщика, а дальше по обе стороны тянулись глухие стены. На третий день пильщик заметил ее.

— Добрый день, гражданка!

— Добрый день, гражданин!

Эта форма обращения недавно была введена законом. Так до сих пор обращались друг к другу ярые патриоты, теперь это стало обязательным для всех.

— Опять сюда гулять пришли, гражданка?

— Как видите, гражданин!

Пильщик, низенький подвижный человечек с очень выразительной мимикой (он раньше был каменщиком, чинил дороги), покосился на тюрьму, показал на нее пальцем, поднес обе руки к лицу и, растопырив все десять пальцев, чтобы изобразить прутья решетки, осклабившись уставился на Люси.

— Но меня это не касается, не мое это дело, — сказал он и опять принялся пилить.

На другой день он уже поджидал Люси и, как только она появилась, тут же окликнул ее:

— Что, опять гуляете здесь, гражданка?

— Да, гражданин.

— И с дочкой! Это мама твоя, да, гражданочка?

— Сказать да, мамочка? — прошептала маленькая Люси, прижимаясь к матери.

— Да, детка.

— Да, гражданин.

— Ага! Ну, да это не мое дело! Мое дело дрова пилить. Видишь, какая у меня пила! Я называю ее моя гильотиночка. Джиг-джиг-джиг — и голова долой!

Чурка упала, и он швырнул ее в корзину.

— А себя я называю Самсоном дровяной гильотины. А ну-ка, смотри! Джиг-джиг, джиг-джиг — вот и ее голова долой! А теперь малютка: чик-чик, чок-чок! — вот и ее головенка прочь. Вся семейка!

Люси, вздрогнув, отвернулась, когда он, смеясь, швырнул обе чурки в корзину; но как можно было избежать его, когда он работал на том самом месте, куда она приходила стоять. Теперь уже она сама первая здоровалась с ним, стараясь задобрить его, и частенько совала ему деньги на выпивку, которые он охотно принимал.

А его, видно, разбирало любопытство: иногда, глядя на решетку окна и забыв, что он тут рядом, она всем существом своим мысленно переносилась к мужу и потом, вдруг очнувшись, ловила на себе любопытный взгляд, — пильщик стоял, упершись коленом в скамью, и, прервав работу, следил за нею, не сводя глаз. — А меня это не касается, не мое дело! — спохватившись, говорил он и принимался усердно пилить.

В любую погоду, будь то снег или мороз, и в ветреные весенние дни, и в солнечный летний зной, и в ненастную осеннюю пору, и снова в зимнюю стужу — Люси каждый день выстаивала на этом месте два часа н всякий раз, уходя, целовала стену тюрьмы. Мужу не всегда удавалось ее видеть — раз в пять-шесть дней (это она знала от отца), иногда три дня подряд, а иногда он не видел ее неделю-две. Но Люси достаточно было знать, что он может увидеть ее и видит иногда, и если бы ради этого надо было стоять здесь с утра до вечера, она ходила бы сюда дежурить день за днем.

Так прошел год и больше, наступил декабрь, и хотя ничто не изменилось и по-прежнему продолжал свирепствовать террор, отец Люси не падал духом и не сомневался в благополучном исходе. Как-то раз в мягкий снежный день Люси в обычное время пришла на свой заветный угол. Был какой-то праздник, и на улицах шло буйное веселье. Люси по дороге видела, что на многих домах водрузили пики с развевающимися на них красными колпаками и трехцветными лентами; кое-где на фронтонах красовались огромные надписи (их теперь тоже делали трехцветными буквами): Республика Единая, Неделимая — Свобода, Равенство, Братство или Смерть.

На маленькой убогой лачуге пильщика едва хватило места для этой надписи; но, как-никак, ему кто-то намалевал ее, и только Смерть пришлось сильно ужать, видно было, что ее втиснули с трудом. На крыше у него, как и всех добропорядочных граждан, красовалась пика с красным колпаком, а в окне он выставил свою пилу с надписью «Святая Гильотиночка», ибо большая зубастая кумушка Гильотина давно уже попала в святые и так ее и величали в народе. Сарай пильщика был закрыт, и самого его не было видно. Люси вздохнула с облегчением, — наконец-то она здесь совсем одна и он ей не будет мешать! Но он оказался неподалеку; вскоре она услышала какой-то шум, крики, топот и со страхом обнаружила, что все это приближается к ней. Через минуту из-за тюремной стены показалась толпа, и она увидела пильщика, который, схватившись за руки с Местью, кружился в пляске. Толпа была громадная, человек пятьсот, и все они плясали как одержимые. Музыки не было, они плясали под собственное пение. Пели сложенную в то время излюбленную революционную песню[56] с грозным отрывистым ритмом, напоминавшим какое-то дикое лязганье или скрежет зубовный.

Схватившись за руки — мужчины с женщинами, женщины с женщинами, мужчины с мужчинами, — кружились кто с кем придется. Вначале даже нельзя было разобрать, что это пляска; казалось, это какой-то бешеный вихрь стремительно мелькающих красных колпаков и пестрых лохмотьев. Но когда вся толпа вышла на открытое место и закружилась перед тюрьмой, что-то похожее на фигуры какого-то дикого неистового танца стало проступать в этом круженье. Став друг против друга, они сходились, потом, отпрянув назад, ударяли друг дружку в ладоши, хватали друг друга за головы и, снова отпрянув, кружились сначала в одиночку, потом, схватившись за руки, парами, все быстрей и быстрей, пока многие не падали в изнеможенье; тогда, сомкнувшись в хоровод, толпа кружила вокруг упавших, затем распадалась на маленькие кружки; кружились четверками, парами, а потом вдруг все сразу останавливались; и опять все начиналось сначала, сходились, отпрядывали, хлопали в ладоши и снова принимались кружиться в другую сторону. Наконец, когда они уже в который раз внезапно остановились, на минуту водворилась тишина; потом, хлопнув в ладоши, они снова затянули песню, грозно отбивая такт, построились в колонну, во всю ширину улицы, и, опустив головы и вскинув руки, с воем ринулись дальше.

Что-то поистине дьявольское было в этой пляске; никакая ожесточенная битва не могла бы произвести такого страшного впечатления; невинное здоровое развлечение — танец, превратилось в какой-то бесовский пляс, гневный, дурманящий голову и разжигающий ярость. И когда в Этих порывистых движениях мелькало что-то грациозное, они казались еще ужаснее, оттого что природная грация и красота были так жестоко изуродованы. Юная девическая грудь, обнаженная в неистовом исступлении, прелестное, почти детское личико с дико остановившимся взглядом, маленькая ножка, топтавшая кровавое месиво, — вот что мелькало в бешеном вихре этой бесовской пляски.

Это была карманьола. Она умчалась дальше, и Люси осталась одна; испуганная, потрясенная, она стояла, прислонившись к стене убогой лачужки пильщика, а снег падал беззвучно, большими белыми пушистыми хлопьями, и кругом было так тихо, как будто ничего этого и не было. Она стояла, закрыв лицо руками, и не видела, как подошел отец.

— Ах, папа! — воскликнула она. — Какое ужасное Зрелище!

— Да, да, дорогая моя. Я уже не первый раз его вижу. Не бойся, тебе их нечего бояться.

— Я не за себя боюсь. Но ведь эти люди держат в своих руках жизнь Чарльза.

— Мы скоро вызволим его… Чарльз сейчас у окна, я, уходя, видел, как он пробирался туда, и пришел тебе сказать. Кругом сейчас никого нет, можешь послать ему поцелуй, он смотрит на тебя вон из-под того выступа, под самой крышей.

— Да, папочка! Ах, если бы я могла и душу свою послать ему туда с этим поцелуем!

— Тебе совсем не видно его, бедняжка моя?

— Нет, — отвечала Люси, запрокинув голову, жадно вглядываясь полными слез глазами в защищенную выступом решетку и посылая туда воздушный поцелуй, — нет!

Чьи-то шаги, заглушенные снегом. Мадам Дефарж.

— Добрый день, гражданка, — приветствует ее доктор.

— Добрый день, гражданин, — отвечает мадам Дефарж. И проходит мимо. И опять никого нет. Точно черная тень перерезала белую дорогу и скрылась.

— Обопрись на меня, милочка. Идем отсюда. Ну, приободрись же, смотри повеселей, ради Чарльза. Вот и хорошо. — Они вышли из переулка. — Этим ты и его подбодрила. Завтра его вызывают в суд.

— Завтра!

— Больше уже нельзя оттягивать. Я все, что мог, подготовил, надо бы еще предпринять кое-какие шаги, но этого нельзя сделать, пока не соберется трибунал. Чарльза еще не

уведомляли, но сегодня ему объявят об этом и переведут в Консьержери[57]. Мне сообщили заблаговременно. Ты, надеюсь, не боишься?

— Вся моя надежда на вас, — с трудом вымолвила Люси.

— Ты можешь быть совершенно спокойна, дитя мое, твои мученья подходят к концу. Еще несколько часов, и тебе возвратят его. Я постарался склонить в его пользу всех, от кого зависит решение. Мне надо повидать Лорри.

Он остановился. Грохот колес по мостовой гулко прокатился где-то рядом. Оба, и отец и дочь, знали, что это значит. Одна. Две. Три. Три телеги, битком набитые страшным грузом, двигались по заснеженной мостовой.

— Мне необходимо повидать Лорри, — повторил доктор, быстро сворачивая с Люси в первый переулок.

Преданный своему долгу, честный старик все еще возился с запутанными делами фирмы; он не считал возможным сложить с себя ответственность. В связи с конфискацией имущества в банк поступали частые запросы, и он удовлетворял их с помощью своих книг. Он не щадил усилий, чтобы спасти все, что можно, для законных владельцев, и ему это иногда удавалось. Никто лучше его не мог бы уберечь вверенные Теллсону ценности и избежать при этом всяких неприятностей и огласки.

Сумрачно-багровое небо чуть золотилось на западе, над Сеной стелился туман, надвигались сумерки. Когда они подошли к банку, уже почти стемнело. Угрюмый, пустынный, вырос перед ними в темноте величественный дворец монсеньера. На дворе над кучей мусора белела громадная вывеска: Народная собственность. Республика Единая, Неделимая, Свобода, Равенство, Братство или Смерть!

Кто бы это мог быть у мистера Лорри? Чей это дорожный плащ брошен на стуле? Кто этот посетитель, который только что прибыл откуда-то и не желает показываться? Мистер Лорри, взволнованный и удивленный, бросился к Люси и горячо обнял свою любимицу. Кому он повторил то, что она ему сказала? С кем это он говорил, когда, повернувшись к дверям спальни, откуда он только что вышел, он повторил за ней, повысив голос:

— Переводят в Консьержери, суд назначен на завтра!

Глава VI

Радость

Грозный трибунал, состоявший из пяти судей, общественного обвинителя и несменяемых присяжных, заседал каждый день. Каждый вечер тюремщики во всех тюрьмах оглашали списки тех, кого вызывали в трибунал. И так уж оно повелось, что все тюремщики, входя вечером в камеру, выкрикивали: «А ну, подходи слушать Вечернюю газету, вы там!»

— Шарль Эвремонд, он же Дарней.

Так наконец-то в этот раз началась Вечерняя газета в Лафорсе.

Когда тюремщик выкрикивал имя, тот, кого он называл, выходил и становился в сторону, за загородку; для тех, кто значился в этом роковом списке, в камере было огорожено особое место. Шарль Эвремонд, он же Дарней, успел изучить это тюремное правило: сотни людей на его глазах проходили за эту загородку и исчезали.

Опухший тюремщик в очках, которые он нацепил, чтобы читать список, глянул поверх очков и, убедившись, что он стал, куда ему полагалось, выкрикнул следующее имя; так, останавливаясь после каждого имени, он огласил весь список.

Названо было двадцать три имени, налицо оказалось двадцать. Один из названных умер в тюрьме, о чем, как видно, успели позабыть, а двое сложили головы на гильотине, и об этом тоже забыли. Список читали в том самом помещении с низким сводчатым потолком, где Дарней увидел такое множество заключенных в тот день, когда его только что привели сюда. Все они

погибли, когда толпа расправлялась с узниками. Исчезли и все те, к кому он успел привязаться за это время, все они до одного погибли на эшафоте.

Товарищи по камере подходили прощаться, дружески ободряли, пожимали руки, но явно спешили вернуться в свой тесный круг. Для них это не было событием, все это повторялось изо дня в день, а светское общество Лафорса в этот вечер собиралось играть в фанты и устраивало маленький концерт. Они теснились у загородки, прощались, вытирая слезы, но ведь надо же было успеть заменить кем-то двадцать выбывших из игры, а времени оставалось немного, скоро общие камеры запрут на ночь, а в коридоры выпустят свирепых собак, которые будут сторожить заключенных до утра. Узники были отнюдь не бессердечные, черствые люди; просто в то страшное время чувства и нравы стали иными. Так, например, некоторые люди в ту пору в припадке какого-то умоисступления сами рвались на гильотину и погибали. И это вовсе не было каким-то удальством, бесшабашностью — нет, это было одним из многих проявлений повального безумия, которое в то безумное время охватило всю страну. Так, во время чумы, когда смерть косит людей, многих обуревает тайное влечение к этой страшной болезни, жажда погибнуть от чумы. У каждого из нас есть свои непостижимые странности, скрытые в тайниках души, и они ждут только благоприятного случая, чтобы прорваться наружу.

Ночью узников быстро перевезли в Консьержери; долго тянулась эта ночь в холодной завшивленной камере. На следующий день пятнадцать из двадцати предстали перед трибуналом до того, как вызвали Чарльза Дарнея. Все пятнадцать были присуждены к смертной казни, и суд над ними продолжался не более полутора часов.

Наконец дошла очередь и до него.

— Обвиняемый Шарль Эвремонд, он же Дарней.

За столом восседали судьи в шляпах с перьями, а кругом было море голов в красных колпаках с трехцветными кокардами. Глядя на присяжных и на всю эту буйную толпу в зале, можно было подумать, что здесь все перевернулось: преступники собрались судить честных людей. Казалось, самый озлобленный сброд, все что есть самого дурного среди населения города, — а в каждом городе всегда есть дурные, озлобленные, жестокие люди — они-то и вершили здесь суд; они вмешивались во все, кричали, топали ногами, рукоплескали, выражая свое неудовольствие или одобрение, они заранее предрешали приговор и требовали, чтобы он был утвержден немедленно. Почти все мужчины были как-то вооружены, у многих женщин торчали за поясом ножи, кинжалы; некоторые из них принесли с собой еду и тут же закусывали и пили, другие вязали. Среди этих вязальщиц особенно выделялась одна: зажав под мышкой свернутое вязанье, она проворно шевелила спицами. Она сидела в переднем ряду, и рядом с ней сидел человек, в котором Дарней сразу узнал Дефаржа, хотя не видел его со дня своего ареста у заставы. Раза два он заметил, как она что-то шепнула ему на ухо; по-видимому, это была его жена, он заметил также, что ни он, ни она — это как-то невольно бросалось в глаза — ни разу не взглянули в его сторону, хотя они сидели совсем близко от него; оба они не сводили глаз с присяжных и, казалось, с какой-то непреклонной настойчивостью дожидались чего-то. Председатель трибунала восседал в кресле на возвышении, а рядом, чуть пониже, сидел доктор Манетт, одетый, как всегда, скромно и просто. Насколько мог судить Дарней, доктор и мистер Лорри были единственными лицами в зале, непричастными к суду, которые пришли сюда в обычной одежде и не имели вида участников карманьолы.

Общественный обвинитель предъявил Шарлю Эвремонду, именующему себя Дарнеем, обвинение в том, что он эмигрант и как таковой объявлен Республикой вне закона. По закону Республики все эмигранты лишаются права вернуться на родину под страхом смертной казни. То обстоятельство, что закон этот был издан после его возвращения во Францию, не меняет дела. Существует закон об эмигрантах: он эмигрант, пойман во Франции и должен поплатиться за это головой.

— Отрубить ему голову! — кричат в зале. — Он враг Республики!

Председатель звонит в колокольчик, призывая зал к тишине, затем обращается к подсудимому:

— Правда ли, что он долгое время жил в Англии?

Да, совершенно верно.

Следовательно, он эмигрант, не так ли? Как он считает сам?

Нет, он не считает себя эмигрантом в том смысле, как это толкуется законом.

Почему же нет? — спрашивает председатель.

Потому что он добровольно отрекся от ненавистного ему титула и положения и покинул свою отчизну до того, — он просит принять это во внимание, — как слово «эмигрант» приобрело то значение, в каком оно ныне толкуется законом и судом; он уехал в Англию, чтобы жить собственным трудом, а не трудом угнетенного французского народа.

Чем он может подтвердить это?

Он назвал имена двух свидетелей, — Теофиля Габелля и Александра Манетта.

Однако он женился в Англии, напоминает председатель.

Да, но не на англичанке.

Его жена французская гражданка?

Да. Родом из Франции.

Имя и фамилия?

Люси Манетт. Единственная дочь присутствующего здесь уважаемого доктора Манетта.

Этот ответ моментально изменил к подсудимому отношение всего зала. Имя всем известного доброго доктора приветствовали восторженными возгласами. И так мгновенно совершился этот переход, так бурно прорывались наружу чувства, волновавшие толпу, что те самые люди, которые минуту тому назад яростно требовали смерти Дарнея, теперь проливали слезы, умиляясь, сочувствуя ему. Доктор Манетт, предвидя все опасности, которыми грозил Дарнею этот краткий допрос, старательно наставлял его, чтобы он не допустил никакого ложного шага и заранее обдумад свои ответы на все, о чем его могут спросить.

Председатель задал ему вопрос, почему он не вернулся во Францию раньше, а приехал именно теперь.

Дарней ответил, что он не мог вернуться во Францию потому, что у него здесь не было никаких средств к существованию, кроме поместья, от которого он добровольно отказался, тогда как в Англии он зарабатывал на жизнь преподаванием французского языка и литературы. В настоящее время он приехал по настоятельной просьбе французского гражданина, которому его отсутствие, как свидетеля, грозило смертной казнью. Он приехал во Францию, дабы своими показаниями спасти жизнь этого гражданина, с каким бы риском это не было сопряжено для него самого. Разве это преступление в глазах Республики?

— Нет, нет! — восторженно заревела толпа. Председатель зазвонил в колокольчик. Но это не подействовало. «Нет», — раздавалось со всех сторон до тех пор, пока крикуны не унялись сами.

Председатель спросил имя и фамилию этого гражданина. Подсудимый ответил, что это первый из названных им свидетелей. Он сослался также на письмо гражданина, которое у него отобрали в караульной на заставе. Его, надо полагать, приобщили к делу и со всеми другими документами передали в суд.

Доктор позаботился, чтобы письмо было приложено к делу, — он твердо обещал зятю, что оно будет представлено в суд — письмо оказалось на месте, и его огласили. Вслед за тем вызвали гражданина Габелля, и тот подтвердил, что он действительно написал это письмо. При этом Габелль почтительно и осторожно пояснил, что ввиду того, что трибунал завален

делами и едва успевает расправиться со всеми врагами Республики, о нем, надо полагать, несколько забыли и он все это время сидел в тюрьме Аббатства. Действительно, почтенный Габелль начисто вылетел из патриотической памяти сурового трибунала. О нем вспомнили только три дня тому назад, немедленно вызвали в суд, допросили и отпустили на все четыре стороны, сняв с него все обвинения, поскольку ответчик по его делу, гражданин Эвремонд, он же Дарней, находится в руках правосудия и скоро предстанет перед судом.

Затем допросили доктора Манетта. Народ знал и любил доктора Манетта, и его ясные, исчерпывающие показания произвели впечатление на публику; отвечая на вопрос о своем знакомстве с подсудимым, он рассказал, что, когда он пришел в себя после своего долголетнего заключения, этот человек стал его первым другом, верным и преданным другом его дочери; что он не только не пользовался милостью людей, стоящих у власти в Англии и английских аристократов, но был привлечен к суду, как враг Англии и друг Соединенных Штатов, и едва избежал смертной казни; доктор рассказывал об этом просто, без всяких прикрас, но с той убеждающей силой, какой обладает лишь истина, — и присяжные, как и весь зал, слушали его с явным сочувствием. Наконец, когда он назвал имя мистера Лорри, англичанина, присутствующего в зале, который, как и он, был свидетелем на этом суде в Англии и может подтвердить все, что он здесь говорил, присяжные заявили, что они слышали достаточно и пришли к единодушному заключению, каковое могут объявить сейчас же, если на то будет воля председателя.

Голосование происходило открыто, каждый присяжный по очереди объявлял свое решение вслух, и каждый раз зал разражался рукоплесканиями. Все высказались в пользу подсудимого, и председатель объявил, что он свободен.

И тут началось нечто невообразимое; свидетельствовало ли это о легкомыслии и непостоянстве толпы, или о том, что она способна поддаваться великодушным добрым порывам, или, может быть, она сейчас вознаграждала себя за все, на что толкала ее слепая ярость? Кто может сказать, какая сила вызвала эту бурю восторга! Наверно, тут действовали все три импульса сразу, но могучая сила второго подчиняла себе оба другие.

Как только председатель объявил, что Дарней свободен, те самые люди, которые только что проливали кровь, бросились, обливаясь слезами, обнимать и целовать узника. Ослабевший от долгого заточенья, ошеломленный Дарней смотрел на эту толпу, и ему казалось, что его вот-вот вытащат на улицу и разорвут на части; и когда вся эта толпа ринулась к нему, он едва не лишился чувств.

Его спасло то, что в зал ввели других подсудимых. Перед судом предстало сразу пять человек, пять врагов республики, все преступление коих заключалось в том, что они ни словом, ни делом не помогали ей. Спеша возместить упущенное и восстановить престиж суда и народа, трибунал всем пятерым мгновенно вынес смертный приговор. Дарней еще не успел покинуть здание суда, как всех пятерых осужденных свели вниз; им предстояло сегодня же взойти на эшафот, и тот, кого вели первым, сам сообщил об этом Дарнею условным тюремным знаком: он поднял указательный палец — это означало Смерть! — и все они воскликнули хором: «Да здравствует Республика!»

Суд над ними не затянулся еще и потому, что народ уже успел разбежаться из зала: когда Дарней с доктором подошли к воротам, там уже стояла толпа, и Дарней узнал те же лица, которые он видел в суде, не было только тех двоих — он тщетно искал их глазами. И тут опять все бросились к нему — обнимали, обливали слезами, прижимали к груди, трясли за руку, вешались на шею, все вместе и поодиночке, плакали, смеялись, кричали, неистовствовали так, что у него опять все поплыло перед глазами, как будто река, шумевшая тут же внизу, вырвалась, обезумев, из берегов и захлестнула его своими волнами.

Его усадили в большое кресло, которое, по-видимому, вытащили из зала суда или из какой-нибудь другой комнаты в том же здании, кресло покрыли красным флагом, а к спинке

прикрепили пику, увенчанную красным колпаком. Невзирая на его протесты и уговоры доктора, эту триумфальную колесницу торжественно подняли на плечи и так, через весь город, понесли Дарнея к его дому. В теснившихся вокруг него бурных людских волнах, в этом необозримом море красных колпаков мелькали иногда, словно вынырнув откуда-то из глубины, такие страшные, обезумевшие лица, что Дарней, у которого не переставала кружиться голова, снова минутами впадал в какое-то странное забытье, — ему казалось, будто его везут на гильотину.

Все это точно происходило во сне. Люди обнимались со встречными, показывали на него, толпа увеличивалась, и процессия двигалась дальше. Алым цветом Республики окрашивались занесенные снегом улицы, по которым медленно двигалось триумфальное шествие, и, наверно, под снегом на мостовой еще сохранились багровые следы, оставленные этой толпой, которая сейчас торжественно несла Дарнея. Так, на плечах, донесли его до самого дома.

Доктор пошел вперед предупредить Люси. Когда толпа, войдя во двор, опустила Дарнея, Люси без чувств упала к нему на грудь.

Прильнув к ее губам, он держал ее в своих объятиях, заслонив ее головой от толпы, и слезы текли по его лицу и смешивались с ее слезами, а толпа между тем пустилась в пляс. Через минуту на дворе уже кружилась карманьола. Подхватив какую-то молодую женщину, толпа усадила ее в освободившееся кресло, подняла на плечи и, провозгласив ее богиней Свободы, ринулась на улицу, оттуда на набережную Сены и дальше через мост, ширясь, разрастаясь, не переставая отплясывать карманьолу.

Дарней долго тряс руку доктору, который стоял около Люси, гордый, счастливый одержанной им победой, затем бросился пожимать руку мистеру Лорри; старика чуть не сбила с ног карманьола, он едва пробрался сквозь толпу; потом маленькая Люси, которую мисс Просс подняла на руки, чтобы она могла расцеловать отца, обхватила его своими ручками; он расцеловал ее, а вместе с ней и верную, преданную Просс, а потом подхватил на руки жену и понес ее наверх в комнаты.

— Люси! Родная моя! Я спасен!

— О мой дорогой Чарльз! Давай возблагодарим бога, я так молилась за тебя! — И Люси упала на колени.

Все благоговейно склонили головы. А когда она поднялась, Дарней крепко сжал ее в своих объятиях и сказал:

— А теперь, дорогая, поблагодари своего отца. Ни один человек во Франции не мог бы сделать того, что он сделал для меня.

Она подошла к отцу, и он прижал ее головку к своей груди, как когда-то, давным-давно, она прижимала к своей груди его бедную седую голову. Он был так счастлив тем, что возвратил ей Чарльза, что сумел отплатить ей за все, что она для него сделала, — наконец-то он был вознагражден за все свои мученья и мог гордиться сознанием своей силы.

— Не надо ничего бояться, моя милочка! Отчего ты так дрожишь? Успокойся, — уговаривал он ее. — Я спас твоего Чарльза.

Глава VII

Стучат

«Я спас его». И это был не сон; как часто ей снилось, что он вернулся, — и вот, он теперь здесь, с ними, дома! Но почему же она дрожит и смутное, гнетущее чувство страха не покидает ее.

В воздухе словно что-то нависло, — страшное, темное; мстительная злоба бушует все с той же неунимающейся яростью, малейшее подозрение или клевета обрекают на смерть ни в чем не повинных людей; как можно хотя бы на минуту забыть обо всех этих безвинно осужденных — хорошие, честные люди, такие вот, как ее Чарльз, и у них есть свои близкие, и

они так же дороги им, как ей Чарльз, — и таких людей день за днем постигает страшная участь, от которой едва спасся ее муж; не оттого ли у нее так тяжело на сердце, что она не может об этом забыть? Зимний день клонился к концу, надвигались сумерки, а по улицам все еще громыхали страшные телеги. Люси невольно представляла себе несчастных осужденных, и среди них своего Чарльза, и ее еще сильней охватывала дрожь, и она тесней прижималась к мужу.

Отец подбадривал ее; с какой покровительственной нежностью подшучивал он над ее женской слабостью! Чердак, башмачное ремесло, номер сто пять, Северная башня — всего этого как будто и не было! Он поставил себе целью освободить Чарльза и добился этого. Она должна верить в него. Пока он с ними, им ничего не грозит.

Они жили очень скромно, не только потому, что скромный образ жизни не давал лишних поводов к подозрениям, не раздражал голодный народ, но и потому, что у них было мало денег, Чарльзу в тюрьме приходилось втридорога платить и за скверную еду и за услуги тюремщиков, а кроме того, он помогал неимущим заключенным. Отчасти из экономии, а также для того, чтобы избежать домашнего соглядатайства, они не держали прислуги; дворник с женой, жившие во дворе, оказывали им кой-какие услуги, и Джерри, которого мистер Лорри предоставил чуть ли не в полное их распоряжение, дневал и ночевал у них в доме.

По приказу Республики. Единой Неделимой, несущей Свободу, Равенство, Братство или Смерть, полагалось, чтобы на входных дверях каждого дома на высоте человеческого роста были обозначены крупными буквами имена всех жильцов. В силу этого имя мистера Джерри Кранчера красовалось на столбе у крыльца, а к концу дня и сам носитель этого имени вышел на крыльцо отпустить маляра, которому доктор Манетт поручил пополнить список жильцов дома именем Шарля Эвремонда, именующего себя Дарнеем.

Люди в то время жили в непрестанном страхе, страх и подозрительность изменили весь уклад жизни; самые безобидные мелочи могли внушить подозрение. В маленьком семействе доктора, как и во многих других, провизия на день закупалась теперь вечером в небольших количествах в разных мелочных лавочках. Так поступали многие, чтобы избежать толков и пересудов, чтобы поменьше привлекать к себе внимание.

Последнее время, уже в течение нескольких месяцев, мисс Просс и мистер Кранчер вместе ходили покупать провизию: она распоряжалась деньгами, он нес корзину. Как только начинало темнеть и на улицах зажигали фонари, они отправлялись за покупками и приносили домой все, что требовалось на один день. Мисс Просс столько лет прожила во французской семье, что могла бы знать французский язык не хуже своего родного, будь у нее на то желание, но она этой «белиберды», как она выражалась, знать не желала и понимала на этом языке не больше Кранчера. Войдя в лавку, она, даже и не пытаясь ничего объяснить, сразу ошеломляла лавочника каким-нибудь звучным существительным, и если оно не совпадало с требуемым предметом, она, оглядевшись кругом, отыскивала глазами желаемое и, вцепившись в него всей пятерней, начинала торговаться и не отпускала руки до тех пор, пока торг не был доведен до конца. Она ничего не покупала, не торгуясь, и какую бы цену ни называл лавочник, прибегая для наглядности к пальцам, она возмущенно трясла головой и показывала ему на палец меньше.

— Ну, мистер Кранчер, — сказала мисс Просс, — если вы готовы, идемте! — Она так разволновалась сегодня, что глаза у нее были совсем красные.

Джерри хрипло подтвердил, что он готов. Вся ржавчина с него давно сошла, но острия на его голове по-прежнему торчали частоколом.

— Сегодня у нас много покупок, — сказала мисс Просс. — Придется побегать. Надо достать вина. Воображаю, какие тосты произносят красные колпаки в этих погребках, куда нам придется зайти.

— А вам-то что до них, мисс? — возразил Джерри. — Я так думаю, вы все равно не поймете, будут они пить за вас или за его бабушку.

— Какую бабушку? — удивилась мисс Просс.

Джерри замялся.

— Нечистого бабушку, — помолчав, пояснил он.

— Пфф! — фыркнула мисс Просс. — А что там понимать, — всякому и без переводчика известно, что у них на уме, у этих образин, — одни только злодейства да убийства!

— Тише, дорогая, не надо, — остановила ее Люси. — Будьте осторожны, умоляю вас!

— Да, да, я уж и так остерегаюсь, — отвечала мисс Просс, — но ведь могу же я сказать между нами, что всякий раз, как выходишь на улицу, только и думаешь, как бы тебе не нарваться на этих одержимых, которые пляшут и обнимаются на мостовой, а от них так и разит табачищем да луком. Вы, птичка моя, смотрите никуда не трогайтесь с места, покуда я не вернусь! И мужа своего никуда не пускайте. Вот так и сидите вдвоем у камелька, положите ему головку на грудь и не вставайте до моего прихода. Можно мне задать вам один вопрос, доктор Манетт?

— Можете позволить себе такую вольность, — с улыбкой отвечал доктор.

— Ах, бога ради, не произносите этого слова! Довольно с нас всяких вольностей!

— Шш! дорогая! Опять вы… — остановила ее Люси.

— Хорошо, хорошо, милочка, не буду! — Мисс Просс энергично затрясла головой. — Я только хочу сказать, что я — подданная его величества, всемилостивейшего короля Георга Третьего! — произнося это имя, мисс Просс почтительно присела в реверансе, — и «я смутьянов презираю, ненавижу козни их, на монарха уповаю, боже, короля храни!»[58]

Мистер Кранчер, в порыве верноподданнических чувств, хриплым басом повторял за ней, слово за словом, точно за священником в церкви.

— Рада за вас, вы показали себя истинным англичанином, — похвалила его мисс Просс, — жаль только, что вы так простудили себе горло. Но вот о чем я хочу спросить доктора Манетта… — Мисс Просс, добрая душа, заводя речь о каком-нибудь важном деле, которым были озабочены все, всегда делала вид, будто разговор идет о пустяках; так и теперь она коснулась этого как бы невзначай. — Скоро ли мы отсюда выберемся?

— Боюсь, что нет. Сейчас поднимать разговор об отъезде было бы небезопасно для Чарльза.

— Ну, что ж, потерпим! — бодро отвечала мисс Просс, подавляя вздох и глядя на золотистую головку, освещенную пламенем камина. — Как говорил мой брат Соломон — «держи голову выше, а надо — прикинься мышью»! Идемте, мистер Кранчер!.. А вы, птичка моя, никуда не двигайтесь с места!

Они ушли, а Люси с мужем, ее отец и дочурка остались сидеть у яркого пылавшего камина. Мистер Лорри должен был вот-вот прийти из банка. Мисс Просс перед уходом зажгла лампу, но поставила ее от них подальше, на угловой столик, чтобы она не мешала им наслаждаться светом камина. Маленькая Люси сидела, прижавшись к дедушке, ухватившись ручонками за его руку, и он шепотом рассказывал ей сказку о том, как одна могущественная фея заставила раздвинуться стены тюрьмы и вывела на свободу узника, который когда-то оказал ей услугу. Все было тихо и спокойно, и у Люси как будто отлегло от души.

— Что это там? — вздрогнув, вскричала она.

— Успокойся, душенька, — сказал отец, прерывая на полуслове свой рассказ и тихонько поглаживая ее руку. — У тебя просто нервы не в порядке. Ну, можно ли так пугаться! Дрожишь от всякого пустяка. И это ты, Люси, дочь своего отца!

— Мне показалось, папа, — прерывающимся голосом виновато промолвила Люси, повернув к нему бледное испуганное личико, — мне показалось — кто-то идет по лестнице.

— Никого на лестнице нет, милочка. Тишина, как в могиле. — Не успел он сказать это, как в дверь раздался стук.

— О папа, папа! Кто это может быть? Спрячьте Чарльза, спасите его!

— Дитя мое, я спас твоего Чарльза, — сказал доктор вставая и положил ей руку на плечо. — Ну, как можно так не владеть собой! Подожди, я открою.

Он взял лампу и, пройдя через две смежных комнаты в переднюю, открыл дверь. Чьи-то тяжелые шаги затопали по паркету, и четверо патриотов в красных колпаках, вооруженные саблями и пистолетами, ворвались в комнату.

— Гражданин Эвремонд, он же Дарней! — громко произнес первый вошедший.

— Кто спрашивает его? — отозвался Дарней.

— Я. Мы за тобой пришли. Ты Эвремонд, я тебя узнал. Видел тебя сегодня в суде. Вернешься снова в тюрьму. Именем Республики ты арестован!

Все четверо окружили его; он стоял посреди комнаты, жена и дочь в ужасе прижались к нему.

— Скажите, что это значит? За что меня опять арестуют?

— Довольно того, что мы сказали. Пойдешь с нами в Консьержери, больше тебе ничего не положено знать, — завтра узнаешь. Завтра предстанешь перед трибуналом.

Доктор Манетт, который до сих пор стоял не двигаясь, с лампой в руке, словно каменная статуя со светильником, внезапно очнулся, поставил лампу на стол, подошел к патриоту и схватил его за расстегнутую на груди красную шерстяную рубаху.

— Вы говорите, вы знаете его. А меня вы знаете? — спросил он.

— Да, гражданин доктор, я знаю вас.

— Мы все знаем вас, гражданин доктор, — подхватили остальные.

Он медленно окинул их растерянным взглядом, помолчал немного, потом сказал, понизив голос:

— Тогда, быть может, вы мне ответите, что это значит?

Патриот замялся.

— Донос на него поступил, гражданин доктор, — мрачно ответил он, — в комитет Сент-Антуанского предместья… Вот этот гражданин из Сент-Антуана, — и он указал на патриота, стоявшего рядом.

Тот, кивнув, подтвердил:

— По обвинению Сент-Антуанского предместья.

— В чем же его обвиняют? — спросил доктор.

— Гражданин доктор, — сурово и с явной неохотой сказал первый, — не задавайте больше вопросов. Если Республика требует от вас жертвы, мы не сомневаемся, что вы, как добрый патриот, с радостью принесете ей любую жертву. Республика прежде всего. Воля народа — закон. Скорей, Эвремонд, мы спешим!

— Еще одно слово, — остановил его доктор. — Скажите мне, кто на него донес?

— Мне не положено отвечать. Спросите у этого гражданина из Сент-Антуана.

Доктор перевел на него взгляд.

Тот молчал, в нерешительности переминаясь с ноги на ногу, потом, глядя куда-то в сторону, подергал себя за бороду и, наконец, вымолвил:

— Оно, конечно, не положено, но к нам поступило донесение от гражданина и гражданки Дефарж. И еще от одного человека.

— От кого же еще?

— И вы это спрашиваете, гражданин доктор?

— Да.

Тот глядел на него каким-то странным взглядом.

— Ну, так завтра вам ответят. Больше я ничего не могу сказать.

Глава VIII

Партия в карты

Не подозревая о новом обрушившемся на семью ствии, мисс Просс бодро шагала по узеньким улочкам, перебирая в уме все, что ей нужно было купить. Мистер Кранчер с корзиной шагал рядом с ней. Перейдя Новый мост[59], они пошли медленней, заглядывая по пути во все лавки, попадавшиеся им на той или другой стороне улицы, и сворачивая в сторону всякий раз, как только видели издалека кучки оживленно разговаривающих людей. Вечер был сырой, холодный; в сером тумане, низко нависшем над рекой, тускло светились огни барж и слышались глухие удары молота и лязг железа: это кузнецы, работавшие на баржах, ковали оружие для республиканской армии. Горе тому, кто позволил бы себе обмануть *эту* армию или попытался бы выдвинуться в ней незаслуженно! Не сносить головы такому человеку, живо скашивала ее Народная Бритва.

Набрав понемножку в разных лавках всякой снеди и не забыв запастись бутылкой лампового масла, мисс Просс вспомнила, что нужно купить вина. Она заглянула в окно нескольких винных лавок и, наконец, остановилась у погребка под вывеской «Славный Республиканец Брут»[60], неподалеку от Национального дворца, бывшего (и затем снова ставшего) Тюильри; это заведение показалось ей приличней других. Здесь было как будто потише, и хотя за столиками сидели все те же красные колпаки, их было не так много. Посоветовавшись с мистером Кранчером и убедившись, что и он того же мнения, мисс Просс, сопровождаемая своим кавалером, храбро вошла в погребок «Славного Республиканца Брута».

Здесь в облаках дыма тускло светились закопченные масляные лампы. Стараясь не смотреть по сторонам, она прошла к стойке мимо сидящих за столиками людей, которые, дымя трубками, с увлечением хлопали об стол затрепанными картами или пожелтевшими костяшками домино; один какой-то, весь в саже, с засученными рукавами и в расстегнутой на груди рубахе, читал вслух газету обступившей его кучке слушателей; многие были вооружены, другие, отстегнув оружие, положили его тут же, перед собой; кое-кто спал, облокотившись на стол; в черных мохнатых куртках со вздернутыми плечами, как носили в то время, они были похожи сзади на сидящих медведей или на лохматых собак; подойдя к стойке, двое посетителей-иностранцев жестами показали, что им нужно.

Глава IX

Сыграли

В то время как им отмеривали и наливали вино, какой-то человек, сидевший в углу, поднялся и, простившись с соседом по столику, направился к выходу. Ему надо было пройти мимо мисс Просс, которая в эту минуту случайно повернула голову. Увидев его, она громко вскрикнула и всплеснула руками.

Кругом повскакали с мест. Споры в кабачках нередко завершались убийством, и это никого не удивляло. Все бросились смотреть, чем кончится драка и кто кого укокошит, но вместо этого увидели остолбеневших от изумления мужчину и женщину, уставившихся друг на друга; мужчина, судя по всему, был француз, чистейший республиканец, а женщина, скорей всего, англичанка. Разочарованные завсегдатаи «Славного Республиканца Брута» смотрели с недоумением на эту сцену и громко тараторили между собой, но, что они говорили на этом своем тарабарском языке, мисс Просс и ее спутник не поняли бы, даже если бы и прислушались. Но они ничего не слышали, оба были вне себя от изумления. Мисс Просс явно

была потрясена, но надо заметить, что и мистер Кранчер — и, видимо, совсем по другой, ему одному известной причине, — тоже был в сильном волнении.

— Что такое, что вам от меня надо? — спросил незнакомец, который от вопля мисс Просс остановился как вкопанный. Он сказал это сердитым отрывистым голосом, негромко и по-английски.

— Ах, Соломон, дорогой Соломон! — снова всплеснув руками, воскликнула мисс Просс. — Сколько лет мы с тобой не видались, и я ничего о тебе не знала, и вот наконец-то я тебя вижу, и где же?

— Не называй меня Соломоном. Ты что, погубить меня хочешь? — испуганным шепотом сказал он, украдкой оглядываясь по сторонам.

— Братец, братец! — заливаясь слезами, пролепетала мисс Просс. — Да разве я тебе враг, что ты говоришь мне такие вещи?

— Тогда придержи свой глупый язык, — сказал Соломон. — И выйдем отсюда, если хочешь со мной поговорить. Расплатись за вино, и пойдем. Кто этот человек?

— Мистер Кранчер, — всхлипнула мисс Просс, грустно качая головой и глядя влюбленными глазами на своего не очень-то нежного братца.

— Пусть тоже выйдет, — сказал Соломон, — чего он на меня уставился, точно я привидение?

И правда, можно было подумать, что мистеру Кранчеру явилось привидение. Но он только хлопал глазами и ничего не говорил. Мисс Просс долго рылась в своем ридикюле, слезы застилали ей глаза; наконец она с трудом отсчитала деньги и расплатилась за вино. А Соломон тем временем, повернувшись к приверженцам Славного Республиканца Брута, что-то объяснял им на французском языке, после чего те, видя, что им нечего дожидаться, вернулись к своим столикам.

— Ну-с? — сказал Соломон, когда они вышли и остановились в темноте на углу улицы. — Чего тебе от меня нужно?

— Ах, братец, как это жестоко с твоей стороны, что ты меня так встречаешь! — жалобно вскричала мисс Просс. — Неужели у тебя не найдется ни одного доброго слова для любящей сестры, которая тебе все прощала?

— Вот дура! — огрызнулся Соломон, чмокая ее в губы. — Ну, черт с тобой! Что, теперь ты довольна?

Мисс Просс молча трясла головой и только всхлипывала.

— Ты думаешь, для меня это неожиданность? — продолжал Соломон. — Нисколько! Я знал, что ты здесь, я знаю обо всех приезжих. И если ты не хочешь моей гибели — а мне, кажется, ты только этого и добиваешься! — оставь меня, пожалуйста, в покое, живи, как жила до сих пор, и отвяжись от меня. Мне некогда с тобой цацкаться, я занят. Я человек служащий.

— Мой родной брат Соломон! Англичанин! — причитала мисс Просс, возводя к небу полные слез глаза. — С такими способностями и задатками! Ведь ты бы мог быть великим человеком у себя на родине, а ты служишь этим чужеземцам, санкюлотам!.. Уж лучше бы мне знать, что мой дорогой братец лежит в преждевременной…

— Ну, вот, что я говорил! — возмущенно прервал ее Соломон. — Так я и знал! Ты хочешь меня погубить, хочешь, чтобы меня взяли на подозрение, — и это родная сестра! А я только-только начал продвигаться!

— Боже упаси и помилуй! — вскричала мисс Просс. — Что ты, дорогой Соломон! Да пусть я тебя больше никогда в глаза не увижу, как я тебя ни люблю и всю жизнь буду любить! Скажи мне только хоть одно доброе слово, скажи, что ты на меня не сердишься, не отвернулся от меня, не питаешь ко мне никакого зла.

Добрейшая мисс Просс! Как она его уговаривала! Как будто он отвернулся от нее потому, что она его чем-то обидела! Ведь мистер Лорри давным-давно, когда они еще жили в Сохо, разузнал про нее все и выяснил достоверно, что этот драгоценный братец обобрал свою сестру дочиста, пустил в трубу ее денежки и бросил ее на произвол судьбы.

А все-таки он снизошел и выдавил из себя несколько добрых слов, но при этом с таким покровительственным видом, как если бы не он ей, а она ему была чем-то обязана (так уж оно спокон веков водится на белом свете!). Но тут мистер Кранчер хлопнул его по плечу, и из его хриплой глотки вырвался загадочный вопрос:

— Постойте-ка! Что я вас хочу спросить… Как вас по-настоящему-то звать? Джон Соломон или Соломон Джон?

Служащий братец, опешив, уставился на него опасливым взглядом. До сих пор Кранчер не открывал рта.

— Что ж вы молчите? — продолжал мистер Кранчер. — Кажется, я ясно спрашиваю, можете вы мне сказать (сам Кранчер, по-видимому, не мог) — вы Джон Соломон или Соломон Джон? Она вас зовет Соломон, кому же как не ей знать, коли она ваша родная сестра. А вот я знаю, что вас зовут Джон. Так какая же ваша фамилия, а которое имя? И как же это выходит, что она — Просс? Там у нас вы по-другому назывались.

— Что это вы хотите сказать?

— Да вот то и хочу сказать! Только я запамятовал и не могу припомнить, как это вы у нас звались!

— Так не можете?

— Нет, не могу. Но готов поклясться, что ваше имя из двух слогов было!

— Вот даже как?

— Да. А у того другого — короткое, в одни слог. Я вас хорошо помню. Вы были фискальным свидетелем в Олд-Бейли. И как это у меня, дьявол окаянный, отец лжи, ваш прародитель, память отшибло? Как же вас тогда звали?

— Барсед, — неожиданно подсказал чей-то голос.

— Да, верно! То самое имя. Хоть сейчас на тысячу фунтов поспорю, то самое! — воскликнул Джерри.

Человек, так внезапно вступивший в разговор, был не кто иной, как Сидни Картон. Он вышел из-за спины мистера Кранчера и остановился, заложив руки за фалды своего дорожного сюртука с таким же скучающим видом, с каким он когда-то сидел в Олд-Бейли.

— Не пугайтесь, дорогая мисс Просс. Я приехал вчера вечером к мистеру Лорри, старик просто глазам своим не поверил! Мы с ним уговорились, что я никуда не буду показываться до тех пор, пока все не уладится, разве только, если я смогу быть чем-нибудь полезен. Я пришел сюда потому, что я рассчитывал поговорить с вашим братом. Я бы желал вам не такого брата, мисс Просе, и не в такой должности, в какой подвизается здесь мистер Барсед. Ради вас я желал бы, чтобы мистер Барсед не был тюремной овечкой.

Овечками в тюрьмах называют доносчиков, фискалов, которых тюремщик подсаживает к заключенным. Бледное лицо фискала стало совсем серым.

— Да как вы смеете, сударь… — накинулся он на Картона.

— Сейчас скажу, — перебил его Сидни. — Я видел вас, мистер Барсед, когда вы выходили из Консьержери; это было примерно час тому назад, я стоял против тюрьмы и разглядывал стены. У вас такое лицо, что его не скоро забудешь, а я вообще памятлив на лица. Меня заинтересовало, какое вы имеете касательство к тюрьме, а так как вы в свое время немало способствовали — и вы это знаете не хуже меня — несчастьям, обрушившимся на моего злосчастного друга, то я решил последить за вами. Я вошел за вами в погребок и сел за соседний столик. Из вашего весьма откровенного разговора и более чем откровенных

высказываний ваших почитателей мне не трудно было заключить, чем вы занимаетесь. И так постепенно из всех этих случайных открытий у меня, мистер Барсед, созрел определенный план.

— Какой такой план? — буркнул фискал.

— Ну, знаете, рассказывать об этом не совсем удобно, может быть даже и опасно. Я думаю, вы не откажетесь уделить мне несколько минут, мы с вами могли бы поговорить по душам, — ну хотя бы, скажем, в банке Теллсона.

— Это надо понимать как угрозу?

— Что вы! Разве я вам угрожал?

— С какой стати я с вами пойду?

— Вот этого я не могу вам сказать, если вы сами не знаете.

— Вернее, не желаете сказать? — нерешительно промолвил фискал.

— Вы совершенно правильно угадали, мистер Барсед. Не желаю.

Беспечный пренебрежительный тон и быстрая сообразительность, несомненно, помогли Картону добиться того, чего он хотел от такого человека, как Барсед. Глаз у него был хорошо наметан, он видел, с кем имеет дело, и знал, что именно так с ним и надлежит действовать.

— Ну, вот, что я тебе говорил? — накинулся фискал на сестру. — Если у меня теперь будут неприятности, так и знай, все из-за тебя!

— Полноте, мистер Барсед, — остановил его Сидни. — Можно ли быть таким неблагодарным? Если бы не мое глубокое уважение к вашей сестре, разве я стал бы предлагать вам мой план, который, я надеюсь, подойдет нам обоим. Угодно вам идти со мной в банк?

— Мне угодно послушать, что вы мне имеете сказать. Да, иду.

— Но только давайте прежде проводим до дому вашу сестрицу. Разрешите взять вас под руку, мисс Просс. В этом городе для вас небезопасно ходить по улицам одной, да еще в такое позднее время, а так как ваш провожатый знает мистера Барседа, я попрошу и его пойти с нами к мистеру Лорри. Ну, как, готовы? Идемте!

Мисс Просс потом вспоминала — и это воспоминание сохранилось у нее на всю жизнь, — как она схватилась обеими руками за руку Сидни и, заглядывая ему в лицо, стала умолять его, чтобы он пощадил ее брата Соломона, и вдруг почувствовала такую твердую решимость в руке Картона и увидела такое пламенное воодушевление в его глазах, что он показался ей совсем непохожим на того непутевого человека, каким она его знала, он сразу как-то весь преобразился и вырос в ее глазах. Но в ту минуту она была так поглощена опасениями за своего недостойного брата и так обрадовалась, когда Картон очень дружески сказал ей, что она может быть совершенно спокойна, — что ничто другое не доходило до ее сознания.

Они расстались с ней на углу ее улицы, и Картон, повернув в переулок, направился к мистеру Лорри, который, как известно, жил в банке, всего в нескольких минутах ходьбы от дома доктора. Джон Барсед, он же Соломон Просс, шел рядом с ним.

Мистер Лорри только что пообедал; он сидел у камина и глядел на весело потрескивающий огонь, и, может быть, ему вспоминался некий пожилой джентльмен из теллсоновского банка, который много лет тому назад, когда он был гораздо моложе, чем теперь, сидел вот так же у камина в гостинице «Короля Георга» в Дувре и смотрел на тлеющие угли.

Он обернулся, когда они вошли, и с удивлением уставился на незнакомого человека.

— Это брат мисс Просс, — сказал Сидни, — мистер Барсед.

— Барсед, — повторил старик, — Барсед… кажется, я что-то припоминаю, да и лицо знакомое.

— Я вам говорил, мистер Барсед, что у вас примечательная внешность, — невозмутимо заметил Картон. — Присаживайтесь, пожалуйста.

Пододвигая себе стул, он наклонился к мистеру Лорри и сказал, слегка нахмурившись:

— Свидетель на том суде.

Мистер Лорри сразу вспомнил и покосился на своего гостя с нескрываемым омерзением.

— Мисс Просс узнала в мистере Барседе своего бесценного братца, о котором вы когда-то слышали, — пояснил Сидни, — и засвидетельствовала это родство. Ну, а теперь я сообщу вам печальную весть. Дарней опять арестован.

— Что вы говорите! — ужаснулся старик. — Да ведь я всего два часа тому назад видел его дома невредимым и сейчас собирался пойти к ним.

— Да, все это так, и тем не менее он арестован. Когда это случилось, мистер Барсед?

— Если это случилось, так только что.

— Мистер Барсед осведомлен о таких вещах лучше, чем кто-либо другой, — сказал Сидни. — Я узнал об этом из разговора мистера Барседа с его другом и собратом по ремеслу, такой же тюремной овечкой, как и он; они сидели за бутылкой вина, и мистер Барсед рассказывал ему об аресте; он сам проводил до ворот уполномоченных патриотов и видел, как привратник их впустил. Можно не сомневаться, что Дарнея снова упрятали.

Мистер Лорри понял по лицу Картона, что расспрашивать сейчас не время. Как ни был он потрясен и взволнован, он постарался взять себя в руки; он понимал, что ему сейчас более чем когда-либо необходимо сохранить присутствие духа, и молча приготовился слушать Картона.

— Я пока еще не теряю надежды, — обратился к нему Сидни, — что имя и влияние доктора Манетта выручат его завтра, — вы, кажется, говорили, что он завтра же предстанет перед трибуналом, мистер Барсед?

— Да, по всей вероятности.

— …так же, как они выручили его сегодня. Но, может статься, что и не выручат. Признаюсь, мистер Лорри, что мои надежды на благоприятный исход сильно поколебались оттого, что доктор Манетт оказался не в силах предотвратить сегодняшний арест.

— Он мог не знать этого заранее, — заметил мистер Лорри.

— Вот это-то меня и пугает. Ведь им же известно, как близко это его касается.

— Это верно, — потирая подбородок, грустно согласился мистер Лорри и грустно посмотрел на Картона.

— Иными словами, время сейчас страшное, — продолжал Сидни, — игра идет не на жизнь, а на смерть. Пусть доктор делает ставку на жизнь, а я поставлю на смерть. Жизнь человеческая здесь ни во что не ценится. Сегодня человека с триумфом несут на плечах, а завтра — выносят ему смертный приговор. Так вот, на этот худой конец я и делаю ставку. Мой козырь — это друг в Консьержери, и козырь этот, который я надеюсь заполучить, не кто иной, как мистер Барсед.

— Для этого вам нужно иметь на руках хорошие карты, — отозвался фискал.

— Посмотрим, что у меня есть, какая карта. Мистер Лорри, вы знаете, какое я несообразительное животное, — нет ли у вас коньячку?

Мистер Лорри поставил перед ним коньяк. Сидни налил себе стаканчик, выпил, налил еще и тоже выпил и не спеша отодвинул бутылку.

— Так, так, — задумчиво промолвил он, как будто и в самом деле разглядывал имеющиеся у него в руке карты, — мистер Барсед, тюремная овечка, тайный агент республиканских комитетов, действует иногда под видом тюремщика, иногда изображает из себя заключенного, но всегда остается тем, что он есть — шпионом, тайным осведомителем, услуги которого высоко ценятся, тем более что он к тому же англичанин; здешние хозяева предпочитают

держать на такой службе англичанина, полагая, что его не так легко подкупить, как француза, но сей англичанин представился своим хозяевам под вымышленным именем. По-моему, это очень неплохая карта. Мистер Барсед, тайный агент на службе французского республиканского правительства, состоял раньше на службе у английского аристократического правительства, — на службе врагов Франции и свободы. Я бы сказал, превосходная карта. При нынешней особо направленной подозрительности вывод напрашивается сам собой — мистер Барсед и сейчас состоит на службе английского аристократического правительства, он не кто иной, как шпион, подосланный Питтом, гнусный предатель, вкравшийся в доверие Республики, которая пригрела эту гадину на своей груди; несомненно, он и есть тот самый злоумышленник, коварный англичанин, которому приписываются всяческие козни; чего о нем только не рассказывают — и все никак не могут напасть на его след! Эту карту уж ничем не побьешь! Как, по-вашему, мистер Барсед, неплохая карта?

— Не понимаю я вашей игры, — насупившись, буркнул шпион.

— Хожу с туза — подаю донос на мистера Барседа в ближайший комитет. Посмотрите ваши карты, мистер Барсед, подумайте, не торопитесь.

Картон пододвинул бутылку, налил себе еще коньяку и выпил. Он видел, что шпион побаивается, как бы он не напился и не пошел спьяну доносить на него. Он нарочно налил себе еще стакан и выпил.

— Посмотрите хорошенько ваши карты, мистер Барсед, не торопитесь.

Карты у фискала были плохие, хуже даже, чем предполагал его партнер. Среди этих плохих карт мистер Барсед видел такие, о которых Сидни Картон даже и представления не имел. Отставленный от своей почетной должности в Англии — не потому, что в его услугах перестали нуждаться (ведь только самое последнее время у нас вздумали хвастаться, будто мы презираем секретную службу и шпионов), а потому, что его слишком часто изобличали как лжесвидетеля, — мистер Барсед переправился через Ламанш и поступил на службу во Франции, — сначала провокатором и доносчиком среди своих соотечественников, живших во Франции, потом постепенно в той же роли среди местного населения. При свергнутой ныне власти он был полицейским фискалом в Сент-Антуанском предместье и посещал погребок Дефаржа; чтобы облегчить ему разговор с супругами Дефарж, прежняя бдительная полиция сообщила ему кой-какие сведения в жизни доктора Манетта, о его долголетнем заключении н освобождении; он попробовал было заговорить с мадам Дефарж, но из этого ничего не вышло. Его и сейчас бросало в дрожь при одном только воспоминании об этой страшной женщине, которая, слушая его, зловеще шевелила спицами и ни на минуту не сводила с него глаз. Он потом не раз видел ее в комитете Сент-Антуанского предместья, она предъявляла там свои вязаные списки и требовала ареста отмеченных ею людей, которых немедленно настигала гильотина. Как все, кто состоит на такой службе, он никогда не чувствовал себя в безопасности; бежать не было никакой возможности — он был связан по рукам и ногам, и грозная тень гильотины неусыпно сторожила его; и как бы он ни изощрялся в наушничестве, предательстве и доносах, как бы ни старался подладиться к установившемуся режиму террора, он знал — достаточно одного слова, и нож гильотины неумолимо обрушится на него. Если только на него поступит донос, да еще с такими ужасными обвинениями, на которые намекал его собеседник, эта страшная женщина (он не раз имел случай убедиться в ее жестокости) сейчас же выступит против него со своим вязаным списком, — и тогда уж у него не останется никаких шансов уцелеть. Люди, которые идут в тайные осведомители, не отличаются высоким мужеством, но мистеру Барседу, когда он заглянул в свои карты, было от чего побледнеть: у него на руках сплошь, точно на подбор, оказалась одна черная масть.

— Вам, кажется, не очень нравятся ваши карты? — хладнокровно заметил Сидни. — Ну, как? Играем?

— Я полагаю, сэр, — с униженным и жалким видом сказал шпион, нерешительно обращаясь к мистеру Лорри, — вы, как добрый и почтенный джентльмен, не откажетесь заступиться за меня и поставить на вид этому молодому джентльмену, что ему в его положении не пристало прибегать к этому козырному тузу, о котором он здесь говорил. Пусть я фискал, я признаю это, признаю, что это считается недостойным ремеслом, — хотя надо же кому-нибудь этим заниматься; но ведь молодой джентльмен не фискал, зачем же ему так унижаться и брать на себя роль доносчика?

— Даю вам еще несколько минут, мистер Барсед, — поспешно ответил за мистера Лорри Картон, доставая из кармана часы, — и затем без всяких угрызений совести, не задумываясь, хожу тузом.

— Я позволю себе надеяться, джентльмены, — растерянно проговорил фискал, глядя на мистера Лорри и стараясь втянуть его в разговор, — что вы из уважения к моей сестре…

— Вот этим я и проявлю уважение к вашей сестре, — избавлю ее от такого брата!..

— Вы так не поступите, сэр!

— Я уже решил, и я это сделаю.

Вкрадчивая угодливость фискала, совсем не вязавшаяся с его нарочито простецкой одеждой, да, вероятно, и с его обычной развязностью, наталкиваясь на невозмутимое хладнокровие Картона, которое ставило в тупик и более умных и порядочных людей, постепенно изменяла ему и переходила в какую-то жалкую растерянность. Он смешался и не находил что сказать, а Картон продолжал тем же невозмутимым тоном, словно обдумывая вслух следующий ход:

— Да ведь у меня, оказывается, есть еще одна недурная карта, а я о ней и забыл, — очень недурная: этот ваш приятель, который говорил про себя, что он пасется в провинциальных тюрьмах, кто он такой?

— Француз. Вы его не знаете, — поспешно ответил фискал.

— Француз, хм… — задумчиво повторил Картон, как будто разговаривая вслух сам с собой, — что же, все может быть…

— Уверяю вас, он француз, хотя вам это, конечно, ничего не говорит.

— Не говорит… не говорит… — так же машинально, словно думая о чем-то своем, повторил Картон. — Нет, конечно, не говорит! Но вот лицо его мне что-то говорит, по-моему я где-то видел это лицо.

— Не думаю. Вы ошибаетесь. Этого не может быть!

— Не может быть… — бормотал Картон и, мучительно стараясь вспомнить, налил себе еще коньяку (к счастью, стакан был небольшой). — Не может быть… французским владеет свободно… а все-таки с иностранным акцентом, а?

— С провинциальным, — поправил шпион.

— Нет! С иностранным! — вскричал Картон, вспомнив внезапно то, что он силился припомнить, и с удовлетворением хлопнул рукой по столу. — Это Клай! Он сильно изменил свою внешность, но это он. Он тоже был на том суде в Олд-Бейли.

— Позвольте вам сказать, сэр, вы ошибаетесь, — сказал Барсед с улыбкой, от которой его горбатый нос как будто еще больше скривился в сторону. — На этот раз ваша карта бита. Клай (теперь за давностью времени я могу открыто признаться, он действительно был моим партнером) умер несколько лет тому назад. Я был при нем до конца, ухаживал за ним во время его болезни. Его похоронили в Лондоне, на кладбище святого Панкратия на лугах. Толпа взбунтовавшейся черни разогнала похоронную процессию и помешала мне отдать ему последний долг, но я своими руками помогал положить его в гроб.

Тут мистер Лорри, сидевший в кресле у окна, увидел на стене какую-то страшную тень. Не понимая, откуда она могла взяться, он оглянулся через плечо и сообразил, что это тень от

головы мистера Кранчера, у которого все его острия, и без того торчавшие торчком, внезапно встали дыбом.

— Вы же не будете спорить с фактами, — продолжал шпион. — А чтобы убедить вас, что вы не правы, и доказать вам ошибочность вашего предположения, я сейчас покажу вам свидетельство о погребении Клая. Оно у меня с тех пор так и лежит в бумажнике, — и он поспешно достал бумажник и вытащил из него сложенную вчетверо бумагу. — Вот оно, — сказал он, разворачивая се. — Посмотрите сами, посмотрите, возьмите в руки, можете убедиться, оно не подделано.

Мистер Лорри увидел, как тень на стене внезапно вытянулась и мистер Кранчер, выступив из-за кресла, шагнул вперед. Казалось, вздыбившийся частокол на его голове только что прочесала своим сломанным рогом легендарная корова из «дома, который построил Джек»[61]. Фискал сидел к нему спиной. Мистер Кранчер тронул его за плечо, и тот вздрогнул, словно почувствовав на своем плече руку судебного пристава.

— Так вот, мистер, насчет этого Роджера Клая, — прохрипел мистер Кранчер, наклонив к нему свою мрачную физиономию. — Вы говорите, вы сами клали его в гроб?

— Да.

— А кто же его оттуда вынул?

Барсед вздрогнул и откинулся на спинку стула.

— Что вы хотите этим сказать?

— А вот то и хочу сказать, что его там никогда не было. Нет! Не было его там! Голову даю на отсечение — никогда он в том гробу не лежал!

Фискал растерянно переводил взгляд с мистера Картона на мистера Лорри, а они оба, ничего не понимая, смотрели на Джерри.

— Я вам скажу, что там лежало, — продолжал Джерри, — Вы наложили в гроб земли да булыжников. И не рассказывайте мне, будто вы хоронили Клая. Все обман. И не я один, а еще два человека про то знают.

— Откуда вы это можете знать?

— А тебе что за дело? — огрызнулся мистер Кранчер. — Ну и жулье! Выходит, у меня с тобой еще старые счеты! Надо же дойти до такого бесстыдства — честных ремесленников в обман вводить, морочить голову порядочным людям! Так бы вот взял за глотку да придушил собственными руками за полгинеи!

Тут Сидни Картон, которого такой оборот дела поверг в не меньшее изумление, чем мистера Лорри, попросил мистера Кранчера успокоиться и объяснить, что все это значит.

— В другой раз, сэр, — уклончиво отвечал Джерри, — сейчас оно, знаете, неудобно входить в объяснения. Но только я голову на отсечение дам, что ему и самому хорошо известно, что никакого Клая в том гробу и в помине не было. Пусть только попробует сказать, что был, я из него тут же на месте дух выпущу, своими руками за полгинеи задушу, — мистер Кранчер почему-то все время напирал на полгинеи как на вполне достаточное вознаграждение, — а не то, так пойду, куда нужно, и сам на него донесу!

— Хм… мистер Барсед, — промолвил Картон, — выходит, у меня на руках еще одна недурная карта. Если сейчас, когда в Париже свирепствует террор и всех обуяла подозрительность, на вас поступит донос, что вы поддерживаете сношения с тайным агентом, который так же, как и вы, состоял на службе аристократического правительства враждебного государства, где он будто бы и умер, а потом, оказывается, преспокойно воскрес во Франции, вам, мистер Барсед, не сносить головы. Явный заговор в стенах тюрьмы, сговор с иностранцами против Республики. Это — верная карта, прямо сказать гильотинная карта! Ну, как, играем?

— Нет! — вскричал шпион. — Сдаюсь, ваша взяла! Я вам скажу все, как есть, начистоту: этот бунтовщический сброд так ненавидел нас, что мне только чудом удалось убраться из

Англии, а за Клаем охотились по всему городу, и не разыграй он эти похороны, не уйти бы ему живым. Но вот каким чудом ему стало про это известно, для меня загадка.

— Насчет «его» можете не трудиться думать, — с негодованием вмешался мистер Кранчер. — Лучше подумайте-ка над тем, что вам говорит этот джентльмен. Не то — гляди у меня, живо расправлюсь, — мистер Кранчер не мог удержаться, чтобы еще раз не поразить всех своим бескорыстием, — собственными руками за полгинеи задушу!

Фискал повернулся к нему спиной и деловито заговорил с Картоном:

— Ну, так на чем же мы с вами остановились? Мне скоро на дежурство идти, я не могу опаздывать. Вы хотите, чтобы я что-то для вас сделал, ну, так что это, говорите! Только предупреждаю заранее: на многое не рассчитывайте. Если вы потребуете, чтобы я для вас пренебрег своими служебными обязанностями и сам себя под гильотину подвел, так уж лучше мне и не связываться с вами — все равно так и так рисковать. Короче говоря, я на это не пойду. Вот вы тут сами говорили, какое у нас сейчас время отчаянное. Не забудьте, ведь и я тоже могу на вас донести, и все что надо показать, и свидетелей найти. Так говорите, что вам от меня нужно?

— Да не так уж много. Вы тюремщик в Консьержери?

— Говорю вам заранее, бежать оттуда нет никакой возможности, — решительно заявил шпион.

— Зачем вы мне говорите то, о чем я вас вовсе и не спрашиваю? Вы служите тюремщиком в Консьержери?

— Дежурю иногда.

— Вы можете бывать там, когда вам вздумается?

— Да, я вхожу и выхожу свободно.

Сидни Картон нацедил еще стаканчик коньяку и медленно вылил его на угли в камине; он смотрел, как стекают со дна последние капли, и, когда в стакане больше ничего не осталось, поднялся и сказал:

— До сих пор мы с вами разговаривали при свидетелях, я хотел, чтобы они видели наши с вами карты. А теперь пройдемте в эту темную комнату и потолкуем с глазу на глаз.

В то время как Сидни Картон с тюремной овечкой, закрывшись в соседней комнате, разговаривали так тихо, что оттуда не доносилось ни звука, мистер Лорри неодобрительно и с подозрением поглядывал на Джерри. Смущенный вид честного ремесленника, которому было явно не по себе от этого взгляда, не внушал доверия; переминаясь с ноги на ногу, как будто у него их было по меньшей мере штук пятьдесят и ему надо было непременно испробовать их одну за другой, он с каким-то подозрительным упорством внимательно разглядывал свои ногти, а когда мистеру Лорри удавалось перехватить его взгляд, он начинал смущенно покашливать себе в руку, а говорят, люди, у которых душа нараспашку, никогда не страдают такими приступами кашля.

— Джерри! — окликнул мистер Лорри. — Подите-ка сюда!

Мистер Кранчер подошел не прямо, а боком, выставив одно плечо вперед.

— Чем вы еще занимались, кроме того, что были рассыльным?

Мистер Кранчер долго раздумывал, вперив умоляющий взгляд в своего патрона, и, наконец, его осенило.

— По земельной части работал, — смиренно пробормотал он.

— Я подозреваю, — сказал мистер Лорри, сердито грозя ему пальцем, — что вы, прикрываясь своей службой рассыльного в солидной почтенной фирме Теллсона, занимались какими-то постыдными делами. Если это так, не думайте, что я буду потакать вам, когда мы

вернемся в Англию. И не надейтесь, что я буду молчать об этом. Я не допущу никаких злоупотреблений именем Теллсона.

— Смею надеяться, сударь, — растерянно забормотал пристыженный мистер Кранчер, — что такой джентльмен, как вы, которому я имел честь служить верой и правдой, до седых волос дослужился, не позволит себе сгоряча погубить человека, даже если бы все то, что вы изволили говорить, было правдой. Я не говорю, что это правда, но даже если бы оно и было так, разве вся вина на одной стороне? Надо же принять во внимание и другую сторону. Что же тогда сказать про наших знаменитых лекарей? Кто как не они наживаются на том, на чем честный ремесленник еле-еле заработает себе грош на пропитание, или и того меньше? Он себе золото гребет да откладывает, ездит в банк к Теллсону да растит себе капитал, а сам глядит да помаргивает. Ты ему подошел дверцу открыть, честь по чести, а он тебе подмигнет своим докторским глазом, где тут против него устоять честному ремесленнику — это же клиент Теллсона! Вот тут поди разберись, кто из них виноват, кто кого вводит в обман да злоупотребляет именем Теллсона. А то выходит — с гуся вода, а с гусака перья! А тут еще миссис Кранчер, не скажу сейчас, а вот когда мы еще дома в Англии были, — да ей только повод дай, она опять за свое примется, — как я за дело, она мне наперекор головой об пол бухается, богу молится, чтобы меня в разоренье ввести, вот так оно одно к одному и получается — себе в убыток! Уж, верно, эти лекарские жены не бухаются мужьям наперекор, за ними этого не водится. Они для мужей стараются, усердствуют, чтобы им господь бог больных побольше послал. А ведь в этом деле, сами знаете, одно за собой другое тянет, одно без другого не обходится. И опять же вся эта приходская братия, могильщики, гробовщики, сторожа кладбищенские (уж такой народ скаредный! И со всеми надо делиться!) — много ли после всего этого честному человеку останется, даже если он за такое дело взялся? Да ежели что и заработает, все равно ему это впрок не пойдет, мистер Лорри: не будет ему от этого добра, нет! Только у него и думы, как бы ему с этим делом распутаться. Вот как оно, к примеру сказать, получается — ежели, конечно, все это на самом деле так было.

— Тьфу! — вырвалось у мистера Лорри, хотя по всему было видно, что он несколько смягчился. — Мне просто гадко смотреть на вас!

— Позвольте покорнейше просить вас, сэр, — продолжал мистер Кранчер, — ежели бы оно, конечно, на самом деле так было, — а я не говорю, что оно так было…

— Не виляйте, Джерри, — одернул его мистер Лорри.

— Нет, нет, что вы, помилуйте, сэр, — поспешно ответил мистер Кранчер, как если бы это было совсем не в его натуре, — но вот ежели бы оно так было, вот о чем я хотел покорнейше просить вашу милость: на той самой табуретке у ворот Тэмпл-Бара сидит теперь мой сын, которого я воспитывал и растил, чтобы он служил у вас на посылках, исполнял все ваши приказания, бегал по вашим поручениям и слушался вас беспрекословно, даже если бы вы заставили его вверх ногами стоять. Так вот, ежели бы оно так было, а я, сэр, не говорю этого (потому как я не хочу вилять), я бы осмелился вас покорнейше просить за моего сына, позвольте ему занять место отца, чтобы он мог стать опорой своей матери, и не губите, сэр, его отца, дайте ему искупить свою вину и стать исправным могильщиком, чтобы он на совесть закапывал то, что ему случалось откопать — ежели с ним такое случалось, — и мог бы поручиться, что, уж коли он кого зароет, никто того из земли не выроет. Вот, сэр, о чем я хотел покорнейше просить вас, — заключил мистер Кранчер, старательно утирая пот со лба и как бы показывая этим жестом, что он выговорил все. — Как поглядишь на то, что здесь творится, невольно задумаешься, сэр, — этакие ужасы кругом, пропасть людей — и все без голов. Какая же на них теперь цена, разве что за доставку, да и кто за это что даст, бери да неси куда хочешь. Да, сэр, человеку, который наглядится на все это, какие только мысли не лезут в голову, вот я и позволил себе, сэр, выложить вам все начистоту, чтобы вы знали, сэр, что у меня теперь совсем не то на уме, а коли бы это не так было, разве меня кто за язык тянул, какой бы мне был расчет вам об этом говорить?

— Вот это, пожалуй, правда, — сказал мистер Лорри. — И не говорите мне больше ничего. Может статься, я и окажу вам поддержку, если вы это заслужите и раскаетесь, — не на словах, а на деле. Слов я от вас слышал более чем достаточно.

Мистер Кранчер, попятившись, поднес два пальца ко лбу, и в это время Сидни Картон с фискалом вышли из темной комнаты.

— Adieu, мосье Барсед, — сказал Сидни, — итак, мы с вами сговорились, и вы можете не опасаться, вам от меня ничего не грозит.

И он сел на стул у камина и, облокотившись на спинку, повернулся к мистеру Лорри. Когда они остались одни, мистер Лорри поинтересовался, удалось ли ему чего-нибудь добиться.

— Очень немногого. Если дело обернется плохо, меня пропустят в тюрьму повидаться с ним.

Лицо мистера Лорри омрачилось.

— Это все, чего я мог добиться, — сказал Картон. — Требовать от него большего опасно, как бы не подвести под гильотину, а он правильно сказал, хуже этого с ним ничего не может случиться, даже и по доносу. Тут уж, как ни грустно, а приходится пасовать, ничего не попишешь.

— Но ведь если дело в суде кончится плохо, свиданье с вами его не спасет.

— А я и не говорю, что спасет.

Мистер Лорри медленно отвел глаза и уставился в огонь. Чувство глубокой жалости и сострадания к Люси и этот неожиданно обрушившийся удар вторичного ареста сразили старика; последнее время он жил в непрестанном беспокойстве, силы его были надорваны, он не мог совладать с собой, слезы покатились по его щекам.

— Хороший вы человек и преданный друг, — каким-то изменившимся голосом промолвил Картон. — Простите, что я позволяю себе говорить о том, чего мне не следовало бы замечать. Но если бы мой отец плакал при мне, я не мог бы смотреть на это безучастно. А ваше горе внушает мне такое же глубокое уважение, как если бы вы были моим отцом. Бог помиловал вас от этого несчастья!

Последние слова вырвались у него как бы нечаянно, но все, что он говорил до этого, было проникнуто таким искренним уважением и сочувствием, что мистер Лорри, который никогда не видел его таким, невольно пораженный этой переменой, растроганно протянул ему руку. И Картон молча, с чувством пожал ее.

— Так вот, что касается бедняги Дарнея, — помолчав, сказал Картон, — не говорите ей ни о встрече с Барседом, ни о нашем с ним уговоре. Ей все равно не позволят увидеться с ним, а она может подумать, что я добивался этого свидания, чтобы передать ему средство избежать казни.

Мистеру Лорри это не приходило в голову; он быстро взглянул на Картона, стараясь прочесть по его лицу, не это ли он в самом деле задумал; да, так оно, по-видимому, и было. Картон ответил ему спокойным понимающим взглядом.

— Да мало ли что она может подумать, — продолжал Картон, — и все это будет только лишнее мученье и страх. Вы ей ничего не говорите про меня, мне лучше у них и не появляться, я ведь вам так и сказал, когда приехал. Если я смогу хоть чем-нибудь быть ей полезен, я, конечно, и так все сделаю, не показываясь к ним. Вы, надеюсь, пойдете туда сегодня? Она, должно быть, в отчаянии!

— Да, я сейчас к ним иду.

— Вот это хорошо. Она ведь так привязана к вам, так доверяет вам. Что, она очень изменилась?

— Измучилась очень, видно, что у нее душа не на месте. Но хороша, как ангел, — все такая же.

— Ах! — вырвалось у Картона.

Был ли это протяжный вздох, или стон, или сдавленное рыдание? — Мистер Лорри невольно поднял глаза, и взгляд его остановился на лице Картона, освещенном пламенем камина. Что-то словно пробежало по этому лицу — тень или отсвет огня, старик не мог уловить, — так в ветреный облачный день скользит по склону холма солнечный свет, перемежаясь с тенью, — Картон наклонился и толкнул носком сапога отлетевшую на край головешку. В красном свете камина, озарившем его светлый дорожный сюртук и ботфорты с высокими отворотами, какие тогда носили, он казался очень бледным; длинные темные волосы беспорядочно свисали на плечи. Он, по-видимому, задумался, и мистер Лорри, удивленный его нечувствительностью к жару, только успел предостеречь его, как головешка, которую он придерживал носком сапога, вспыхнула и рассыпалась у него под ногой.

— Я и забыл, — сказал Картон.

Взгляд мистера Лорри снова задержался на его лице. Он обратил внимание на его изможденный вид, что-то болезненно-горестное проступало в этих красивых чертах — мистеру Лорри невольно вспомнились лица узников, которых он видел сегодня, — вот точно такое же выражение застыло на лице Картона.

— А вы уже совсем покончили с делами, сэр? — спросил Картон, поворачиваясь к нему.

— Да. Я вам вчера только начал говорить, когда Люси с отцом неожиданно пришли сюда вечером, что я, наконец, разобрался во всем, в чем здесь можно было разобраться. Понадеявшись, что у них теперь все благополучно и я могу спокойно уехать, я уже достал подорожную и пропуск и совсем приготовился к отъезду. Некоторое время оба сидели молча.

— Вы прожили большую жизнь, сэр, есть на что оглянуться, — задумчиво проговорил Картон.

— Да. Семьдесят семь стукнуло.

— И ваша жизнь была полезна; вы неустанно работали, и все относились к вам с уважением, доверяли вам, полагались на вас.

— Я всю жизнь при деле, с тех пор как я себя помню, еще мальчиком.

— И вот смотрите, какое положение вы занимаете в семьдесят семь лет. Многие будут горевать, когда вы покинете свое место.

— Я старый одинокий человек, холостяк, — отвечал мистер Лорри, качая головой. — Обо мне некому плакать.

— Как вы можете так говорить! А она не будет о вас плакать? А ее дочка?

— Да, да! Благодарение господу богу! Я просто не так выразился.

— Да, вам есть за что благодарить бога, разве нет?

— Несомненно!

— Если бы вы сегодня, оставшись наедине с самим собой, действительно почувствовали свое одиночество и сказали себе: «Я не заслужил ничьей любви, ни привязанности, ни благодарности, ни уважения; ни одно человеческое существо не питает ко мне добрых чувств; я никому не приносил пользы и не совершил ничего хорошего, чтобы оставить по себе добрую память», вот тогда в ваши семьдесят семь лет вы бы семьдесят семь тысяч раз прокляли свою жизнь. Разве не правда?

— Правда, мистер Картон, так оно, верно, и было бы.

— Мне хочется задать вам один вопрос: когда вы вспоминаете свое детство, оно вам кажется ужасно далеким? Дни раннего детства, когда вы сидели на коленях у своей матушки, — вам, наверно, кажется, что это было бог весть как давно!

Мистер Лорри, растроганный его необычайной мягкостью, отвечал задумчиво:

— Так мне казалось лет двадцать назад, а теперь — нет. Когда жизнь подходит к концу, ты словно завершаешь круг и все ближе подвигаешься к началу. Так высшее милосердие сглаживает и облегчает для нас конец нашего земного пути. Все чаще встают теперь передо мной воспоминания, которые, казалось, давным-давно были погребены. Мне вспоминается моя дорогая матушка, совсем молодая, красивая (а я-то — такой старик!), и я переношусь душой в ту счастливую пору, когда мир еще не предстал передо мной в своем истинном свете, да и во мне еще не так укоренились мои недостатки к слабости.

— Ах, как мне все это знакомо! — с просветлевшим лицом вскричал Картон. — И после этого даже как будто становишься лучше.

— Да, пожалуй.

Картон поднялся помочь старику надеть пальто.

— Но ведь вы-то, — сказал мистер Лорри, продолжая разговор, — вы еще так молоды!

— Да, — промолвил Картон. — Я, конечно, не стар, но я смолоду шел не по тому пути, каким приходят к старости. Да что обо мне говорить.

— Ну, а уж обо мне-то тем более, — сказал мистер Лорри. — Вы идете?

— Я вас провожу до ее ворот. Вы ведь знаете, какой я бродяга, люблю шататься по ночам. Если меня долго не будет сегодня, не беспокойтесь, утром я непременно появлюсь. Вы завтра пойдете на суд?

— Да, к несчастью.

— Я тоже пойду. Но только я буду в толпе. Мой фискал прибережет для меня местечко. Обопритесь на меня, сэр.

Мистер Лорри взял Картона под руку, и они спустились по лестнице и вышли на улицу. Через несколько минут они остановились у ворот дома, куда шел мистер Лорри, и Картон простился с ним; но он подождал, когда ворота захлопнулись, снова подошел к ним и дотронулся до них рукой. Он слышал, что Люси каждый день ходила стоять у тюрьмы.

— Вот здесь она проходила, — промолвил он, оглядываясь по сторонам, — потом поворачивала сюда и, должно быть, всякий раз ступала по этим плитам. Пойду-ка и я сейчас той же дорогой.

Часы пробили десять, когда он остановился против тюрьмы на том самом месте, где столько раз, изо дня в день простаивала Люси. Пильщик уже закрыл свою мастерскую и вышел покурить на крыльцо.

— Добрый вечер, гражданин, — сказал Сидни Картон, видя, что тот уставился на него с любопытством.

— Добрый вечер, гражданин.

— Ну, как дела в Республике?

— Вы, верно, спрашиваете про Гильотину? Неплохо. Шестьдесят три нынче. Скоро, гляди, и до сотни дойдем. Самсон со своими помощниками жалуются, говорят, из сил выбились. Ха-ха-ха! Чудак он, этот Самсон! А цирюльник знатный!

— Вы что, часто ходите смотреть…

— Как он бреет? Всегда хожу, ни одного дня не пропустил. Вот это мастер! Видали вы, как он работает?

— Нет, никогда не видал.

— А вы сходите посмотрите, когда у него хороший привоз, как, например, нынче. Вы только представьте себе, гражданин, — шестьдесят три головы, и я не успел даже вторую трубку докурить. Двух трубок не выкурил! Правду вам говорю!

Человечек, ухмыляясь, тыкал в Картона своей трубкой, поясняя, как он ведет счет, сколько голов можно отрубить и за какое время, а Картону, глядя на него, так хотелось свернуть ему шею, что он поспешил отойти.

— А вы разве англичанин, что ходите в английском платье? — окликнул его пильщик.

— Англичанин, — отвечал Картон, оборачиваясь и замедляя шаг.

— А говорите как француз.

— Я здесь учился, когда еще студентом был.

— Ага! Совсем как настоящий француз! Доброй ночи, англичанин.

— Доброй ночи, гражданин.

— А вы сходите непременно поглядеть на нашего брадобрея, — крикнул ему вдогонку пильщик, — да не забудьте взять с собой трубку!

Скрывшись из глаз пильщика, Сидни прошел несколько шагов, остановился у фонаря посреди улицы и, вынув карандаш, написал что-то на клочке бумаги. Потом решительным шагом, как человек, хорошо знающий дорогу, быстро зашагал по грязным неосвещенным улицам, которые были теперь еще грязнее, чем раньше, потому что в страшные дни террора даже самые бойкие и людные улицы совсем не убирались. В темном кривом переулке, круто поднимающемся в гору, он остановился у лавки аптекаря. Это была темная невзрачная лавчонка, не внушающая доверия, и хозяин ее, маленький невзрачный человек, тоже не внушающий доверия, уже собирался запирать на ночь.

Картон подождал, пока он вернулся к прилавку, вежливо поздоровался и положил перед ним клочок бумаги.

— Фью! — тихонько свистнул аптекарь, прочитав бумажку.

Сидни молчал.

— Это для вас, гражданин? — спросил аптекарь.

— Да, для меня.

— Держите их в отдельности, эти порошки, гражданин. Вы знаете, что получится, если их смешать?

— Знаю отлично.

Аптекарь приготовил порошки и дал Картону несколько маленьких пакетиков. Картон спрятал их один за другим во внутренний карман сюртука, отсчитал деньги, простился и вышел из лавки.

— Ну, сегодня все, — промолвил он, закинув голову и глядя вверх на вынырнувший из-за облаков месяц, — до завтра. А спать — не заснешь!

Он сказал это не обычным своим небрежным тоном. В этих словах, которые он произнес вслух, глядя вверх на быстро бегущие облака, не было ни пренебрежения, ни вызова; в них скорее чувствовалась глубокая удовлетворенность усталого человека, который долго плутал, сбившись с дороги, отчаивался, но, наконец, вышел на верный путь и видит, что его странствие подходит к концу.

Тому назад много лет, в ранней юности, когда он в кругу своих сверстников считался одним из самых способных юношей, подающим блестящие надежды, он хоронил своего отца и шел за его гробом. Мать его умерла намного раньше. И вот теперь, когда он блуждал по темным улицам, где черные тени домов угрюмо выступали из мглы, а высоко вверху над его головой месяц катился по небу среди быстро бегущих облаков, ему вспомнились торжественные слова, которые он слышал над могилой отца: «Я есмь воскресение и жизнь, — сказал господь, — верующий в меня если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек».

Не удивительно, что ему припомнились эти слова: один, ночью в городе, где царила гильотина, он не мог не испытывать гнетущего чувства, вспоминая об этих шестидесяти трех

казненных за сегодняшний день, и о множестве других, томящихся за решеткой, которых завтра ожидает такая же участь, завтра, — мысль его непрестанно возвращалась к этому завтра и, словно стараясь зацепиться за что-то, хваталась за эти слова и держалась за них, как ставшее на причал судно держится за старый заржавленный якорь, зарывшийся на дне моря. Впрочем, Картон не отдавал себе в том отчета, он шел и повторял про себя эти слова.

Взгляд его задумчиво скользил по освещенным окнам домов, где люди готовились отойти ко сну, который хотя бы на несколько часов позволит им забыть о кровавых ужасах; по темным силуэтам церквей, где теперь никто не молился, потому что за долгие годы подчинения своим духовным пастырям народ так возненавидел этих ханжей, лихоимцев и развратников, что потерял веру в молитву и забыл о спасении души. Картон переносился мысленно за ограду виднеющегося вдалеке кладбища, сулящего вечный покой всем, кто обретал в нем последний приют, и в переполненные тюрьмы, откуда он вместе с шестьюдесятью обреченными следовал по этим улицам на смерть, которая стала чем-то таким обыденным и привычным, что даже не задевала воображения и не создавала горестных легенд о страшных призраках, рожденных неутомимым мечом гильотины. Так, поглощенный мыслями о жизни и смерти, Сидни Картон бродил по темным улицам затихшего города, который, набушевавшись за день, отходил ко сну; незаметно для себя он вышел к мосту через Сену и, перейдя на другой берег, очутился в освещенных кварталах.

Здесь жизнь еще не замерла, еще попадались экипажи, но редко, потому что всякий, кто ездил в карете, навлекал на себя подозрение, и бывшие господа напялили на головы красные колпаки и ходили пешком в грубых башмаках. Но театры были полны, и как раз сейчас из театральных подъездов публика высыпала на улицу и, оживленно болтая, расходилась по домам. У одного из театров он увидел маленькую девочку с матерью, которые не решались перейти через улицу, боясь увязнуть в грязи. Он взял девочку на руки и перенес ее, и прежде чем он поставил ее на ноги и робкая ручка, обхватившая его за шею, соскользнула с его плеча, попросил поцеловать его.

«Я есмь воскресение и жизнь, — сказал господь, — верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек».

Теперь, когда и здесь постепенно все стихло и ночь окутала город, эти слова раздавались в его ушах, словно эхо шагов, разносившихся далеко в воздухе. С чувством глубокого спокойствия и решимости он шел и время от времени повторял их про себя, и они не переставая звучали в его ушах.

Ночь еще лежала над городом, когда он остановился на мосту, прислушиваясь к плеску воды о каменные берега острова в сердце Парижа[62], где сейчас, залитые лунным светом, выступали башни собора и сомкнувшиеся вокруг него величественные здания. Но вот в предрассветной мгле, серый, как лик мертвеца, забрезжил холодный день; ночь отступила, луна и звезды побледнели и погасли, и казалось, на какой-то миг над всей вселенной воцарилась смерть.

И вдруг взошло солнце, и, брызнув ослепительным светом, протянуло свои длинные огненные лучи как будто к самому сердцу Картона, и засияло в нем этими словами, которые он носил в себе всю ночь. И, прикрыв глаза ладонью, он посмотрел на эти лучи и увидел точно огненный мост, протянувшийся к нему от солнца, а под ним сверкающую реку.

В быстром течении реки, бегущей в этой недвижной тишине раннего утра таким стремительным, глубоким, сильным, неудержимым потоком, Сидни почувствовал что-то дружественное, близкое; он пошел берегом, удаляясь от домов, и когда город остался далеко позади, лег под откосом на пригретой солнцем земле и заснул. Проснувшись, он еще посидел на берегу, глядя на быстро бегущую воду, на отбившуюся от течения струйку, которая кружила, кружила бесцельно на одном месте, пока, наконец, поток не подхватил ее и не понес к морю.

— Вот так и меня.

Вдали показалось парусное торговое судно; парус был чуть желтоватый, цвета поблекших листьев; судно медленно прошло мимо и скрылось из глаз; когда след его исчез на воде, в душе Картона страстной молитвой, молитвой о милосердии и снисхождении к его жалкой слепоте и порокам снова зазвучали слова: «Я есмь воскресение и жизнь».

Мистер Лорри уже ушел, когда он вернулся, и нетрудно было догадаться, куда он ушел. Сидни выпил чашку кофе с хлебом, умылся, переоделся и отправился в суд.

В зале суда стоял гул и народу было полным-полно; фискал, от которого многие шарахались в ужасе, провел Картона через толпу и втиснул его куда-то в угол. Мистер Лорри был уже здесь, и доктор Манетт. И она была здесь, сидела рядом с отцом.

Когда ввели ее мужа, она устремила на него такой ободряющий, такой утешительный взгляд, полный пламенной любви и сострадательной нежности и вместе с тем такой самоотверженной силы, что он вспыхнул, просиял, глаза его оживились, душа воспрянула. Такое же действие оказал этот взгляд и на Сидни Картона, в чем убедился бы всякий, кто вздумал бы за ним понаблюдать.

В этом неправедном суде не соблюдалось никаких правил судебной процедуры, обеспечивающей подсудимому более или менее беспристрастное разбирательство дела. Народ, опрокинувший ненавистный режим, при котором он столько лет терпел чудовищные нарушения закона и порядка, чудовищные злоупотребления властью — все то, что привело к революции, — сокрушил и растоптал все установления, уставы и своды законов, не оставив от них камня на камне.

Глаза всех в зале устремились на присяжных, это были все те же бессменные верные патриоты, ярые республиканцы, которые заседали здесь вчера и третьего дня и будут заседать завтра и все следующие дни. Среди них особенно выделялся один с алчным лицом, который непрестанно поглаживал пальцами углы губ; публика следила за ним с явным одобрением. Это был известный своей кровожадностью и всегда настаивающий на смертном приговоре Жак Третий из Сент-Антуана; да и вся эта кучка присяжных напоминала свору борзых, собравшихся судить оленя.

Затем все глаза устремились на пятерых судей и на общественного обвинителя. Вид у них сегодня был отнюдь не склонный к поблажкам, решительный, убийственно деловой, беспощадный. Нет, сегодня ему не уйти от гильотины! И люди в зале одобрительно переглядывались, подмигивали друг другу, кивали головами и с удовлетворением готовились слушать.

Шарль Эвремонд, он же Дарней, — освобожден вчера из тюремного заключения, — и вчера же по вновь поступившему обвинению снова водворен в тюрьму. Обвинительный акт представлен вчера вечером. Обвиняется как враг Республики, аристократ из проклятого рода угнетателей, объявленного вне закона и подлежащего полному истреблению до последнего колена, ибо, пользуясь своими, ныне упраздненными правами и привилегиями, эти ненавистные тираны всячески притесняли народ. На основании вышеизложенного отпрыск сего рода Шарль Эвремонд, он же Дарней, считается объявленным вне закона и лишен всех гражданских прав.

Вот, собственно, и все, что сказал в своем кратком выступлении общественный обвинитель.

Председатель суда спросил, каким образом был изобличен подсудимый, тайно или открыто.

— Открыто, гражданин председатель.

— Кем?

— Тремя лицами. Эрнестом Дефаржем, виноторговцем из Сент-Антуана.

— Хорошо.

— Терезой Дефарж, его женой.

— Хорошо.

— Доктором Александром Манеттом.

Публика зашумела, заволновалась, и все увидели, как доктор Манетт, бледный, дрожащий, поднялся со своего места.

— Я возмущен, я отрицаю это, гражданин председатель! Это возмутительный обман и злоупотребление моим именем. Вам известно, что подсудимый — муж моей дочери. Моя дочь и все, кто ей дорог, для меня дороже жизни. Кто этот подлый злоумышленник, который осмелился сказать, что я подал донос на мужа моей дочери?

— Успокойтесь, гражданин Манетт! Неуважение к суду и неподчинение власти трибунала — это преступление, которое карается законом. Что же касается того, что вам дороже жизни, — для честного гражданина ничто не должно быть дороже Республики.

Зал бурно приветствовал суровое выступление председателя суда. Председатель позвонил в колокольчик и продолжал с жаром:

— Если Республика потребует от вас, чтобы вы пожертвовали ради нее родной дочерью, ваш долг повиноваться и принести эту жертву. Итак, слушайте, что говорит суд, и не прерывайте его!

Зал снова огласился восторженными рукоплесканиями и криками. Доктор Манетт опустился на стул, растерянно оглядываясь по сторонам; губы его дрожали; дочь пододвинулась поближе и тесно прильнула к нему. Присяжный с алчным лицом потер руки и тотчас же привычным движением поднес правую руку ко рту и погладил себя по губам.

Вызвали свидетеля Дефаржа, и когда в зале водворилась тишина, он кратко рассказал, что еще мальчиком был в услужении у доктора, и как доктора на долгие годы заточили в Бастилию, и в каком виде его оттуда выпустили и отдали ему на попечение. Суд сегодня не мешкал, свидетеля Дефаржа допросили очень кратко.

— Вы принимали деятельное участие во взятии Бастилии, гражданин?

— Да, принимал.

В толпе раздался пронзительный женский голос:

— Вы были одним из наиболее отличившихся патриотов! Почему вы молчите об этом? Вы были канониром в тот день и одним из первых ворвались в эту проклятую крепость. Патриоты, разве я не правду говорю?

Это была Месть, которая не побоялась прервать заседание суда и заслужила бурное одобрение всего зала. Председатель зазвонил.

— Подумаешь, испугалась я вашего звонка! — воодушевленная поощрением публики, крикнула Месть, и в зале снова раздались дружные хлопки и громкие одобрительные возгласы.

— Расскажите суду, гражданин, что вы сделали, когда проникли в Бастилию?

Дефарж взглянул на жену, которая стояла внизу у ступеньки, ведущей на трибуну для свидетелей, и не сводила с него глаз.

— Мне было известно, что узник, о котором я сейчас говорил, был заключен в Северной башне в одиночной камере номер сто пять. Он не помнил своего имени, когда мне отдали его на попечение. Все время, пока он жил у меня и шил башмаки, он так и называл себя номер сто пять, Северная башня. И вот, в тот день, когда я бил из пушки по стенам Бастилии, я решил, что первым делом, как мы войдем в крепость, я разыщу эту камеру. Крепость пала. Я с одним моим товарищем, присутствующим здесь в качестве присяжного, заставил тюремщика проводить нас в Северную башню, номер сто пять. Я очень тщательно осмотрел всю камеру и в одной из стенок камина обнаружил трещину, заложенную камнем, и в ней исписанные листки.

Вот эти листки. Мне хорошо знаком почерк доктора Манетта. Это написано его рукой. Я передаю этот документ, написанный рукой доктора Манетта, в руки председателя суда.

— Огласите документ!

Мертвая тишина воцарилась в зале; подсудимый не сводил глаз с жены, она смотрела на него и лишь иногда переводила тревожный участливый взгляд на отца; глаза доктора Манетта были прикованы к чтецу; мадам Дефарж впилась глазами в подсудимого, а Дефарж настороженно следил за торжествующим лицом жены; глаза всех в зале были устремлены на доктора, а он, не замечая никого, смотрел остановившимся взглядом на чтеца.

Глава X

Тень облекается плотью

«Я, Александр Манетт, несчастный доктор, уроженец города Бове, впоследствии поселившийся в Париже, пишу эту горестную повесть в моем тяжком заточении в стенах Бастилии на исходе тысяча семьсот шестьдесят седьмого года в декабре месяце. Пишу урывками, тайком, и это сопряжено для меня с неимоверными трудностями. Я решил спрятать эти листки в стене камина, где я упорно и кропотливо готовил для них надежный тайник. Быть может, чья-нибудь сострадательная рука извлечет их оттуда, когда я со всеми моими горестями уже обращусь в прах.

Я пишу ржавым гвоздем, с трудом выводя буквы сажей, которую соскребаю со стены камина и смачиваю кровью, пишу в последний месяц десятого года моего заточения. Я уже не надеюсь выйти отсюда. По некоторым страшным признакам я предвижу, что разум мой скоро откажется мне служить, но в настоящее время я со всей ответственностью заявляю, что сейчас я нахожусь в здравом уме и твердой памяти, помню все до мельчайших подробностей, и все, что я пишу здесь, чистая правда, и за каждое написанное мною слово, будут ли последние мои слова прочитаны людьми или нет, я отвечаю перед всевечным судьей.

Однажды пасмурным вечером во второй половине декабря (кажется, двадцать второго числа) тысяча семьсот пятьдесят седьмого года я вышел подышать свежим воздухом и, удалившись от своего дома, что на улице Медицинской школы, примерно на расстояние часа ходьбы, прогуливался по пустынной набережной Сены; внезапно позади меня раздался грохот мчавшейся во весь опор кареты. Я посторонился, чтобы пропустить экипаж, и увидел, как из окна кареты высунулась голова и громкий голос крикнул кучеру: «Стой!».

Кучер не сразу сдержал лошадей, и тот же голос окликнул меня по имени. Я отозвался. Карета, промчавшись мимо, остановилась в нескольких шагах от меня, и когда я подошел, из нее уже успели выйти двое мужчин. Я обратил внимание, что оба они кутались в плащи и явно старались остаться неузнанными. Они стояли рядом у дверцы кареты, и я только успел заметить, что они оба примерно моего возраста и очень похожи друг на друга, — фигурой, осанкой, голосом, и насколько я мог судить в темноте, и лицом.

— Вы доктор Манетт? — спросил один из них.

— Да.

— Доктор Манетт из города Бове, — сказал другой, — молодой врач, искусный хирург, который за последние два года стал знаменитостью в Париже?

— Я тот самый доктор Манетт, господа, — ответил я, — о котором вы столь лестно отзываетесь.

— Мы были у вас, — пояснил первый, — но, к сожалению, не застали вас дома, и, так как нам сказали, что вы отправились гулять и по всей вероятности в эту сторону, мы, надеясь догнать вас, поехали сюда. Не угодно ли вам будет сесть в карету?

С этими словами, произнесенными властным, настоятельным тоном, оба они отступили на шаг, как бы давая мне дорогу, и я очутился между ними у дверцы кареты. Они были вооружены, а я нет.

— Простите, господа, — сказал я, — но когда меня вызывают к больному, я всегда осведомляюсь, кто делает мне честь обращаться к моей помощи и на что жалуется больной.

— Люди, обратившиеся к вам за помощью, принадлежат к высшему обществу, — отвечал второй, — что же касается болезни пациента, то мы, полагаясь на ваш опыт и знания, считаем излишним пускаться в описания и предоставляем вам самому определить характер недуга. Не будем терять время, пожалуйте, доктор, в карету!

Мне не оставалось ничего другого, как повиноваться, и я молча вошел в карету; они последовали за мной, последний закинул подножку и, проворно вскочив, захлопнул за собой дверцу. Кучер повернул лошадей, и мы во весь опор помчались в обратную сторону.

Я привожу здесь этот разговор так, как он происходил. Я не сомневаюсь, что он записан у меня совершенно точно, слово в слово. Я описываю все, как было, и не позволяю себе отвлекаться. Когда я ставлю многоточие, как сейчас, это значит, что я вынужден прервать рассказ и спрятать листки…

Карета миновала Северную заставу, город остался позади; мы быстро катили по Просслочной дороге. Примерно в миле от заставы, — я тогда не следил за расстоянием, я высчитал его, когда мне пришлось ехать туда в другой раз, — мы свернули с дороги и скоро увидели стоявший в отдалении дом. Мы сошли у садовой калитки и прошли к дому по мягкой влажной тропинке, куда натекла вода из фонтана, перехлестнувшая через край бассейна. Дверь не сразу открыли на звонок, и один из моих провожатых ударил открывшего нам человека своей тяжелой кожаной перчаткой прямо по лицу.

В этом не было ничего, что могло бы поразить меня, я часто видел, как простых людей били, как собак. Но когда и второй тоже ударил провинившегося наотмашь по лицу, меня поразило это необычайное сходство во всем, и тут я догадался, что они близнецы.

С той самой минуты, как мы сошли у калитки (она была заперта, один из братьев открыл ее и, пропустив нас, снова запер изнутри), я услышал крики, доносившиеся из верхнего этажа дома. Меня проводили наверх, и, по мере того как мы поднимались по лестнице, крики становились все громче; когда меня ввели в комнату и я подошел к постели, я увидел метавшуюся в горячечном бреду женщину, в полном беспамятстве.

Это была очень красивая молодая женщина, едва ли старше двадцати лет. Волосы ее разметались по подушке и спутались с вырванными прядями; руки ее были привязаны к туловищу платками, салфетками, шарфами; мне бросился в глаза шарф с кистями, составлявший, по-видимому, часть придворного наряда; на нем был вышит герб и вензель «Э».

Все это я увидел сразу, с первого же взгляда; бедняжка так металась из стороны в сторону, что сползла на край кровати и, лежа ничком, вцепилась зубами в шарф; я первым делом поспешил извлечь шарф у нее изо рта, чтобы она не задохнулась, и вот тут-то мне и попался на глаза вышитый конец.

Бережно повернув ее на спину, я положил руки ей на грудь, чтобы удержать и успокоить ее, и заглянул ей и лицо. Ее широко раскрытые глаза дико блуждали, и она не переставая кричала, повторяя одни и те же слова: «Мой муж, отец, брат!» — и считала до двенадцати; потом вскрикивала: «Затих!» — на секунду умолкала, прислушивалась и опять начинала кричать: «Мой муж, отец, брат!» — и снова считала до двенадцати и вскрикивала: «Затих!» И опять все повторялось сначала без всяких изменений. Она кричала, не умолкая, и каждый раз, остановившись на секунду, прислушивалась после слова «затих».

— Давно ли это с ней? — спросил я.

Для различия я буду называть братьев старшим и младшим; мне ответил старший, тот, что держался более властно:

— Со вчерашнего вечера, примерно с этого же часа.

— Есть у нее муж, отец, брат?

— Брат.

— Не с братом ли я говорю?

Он с уничтожающим презреньем бросил:

— Нет.

— Не было ли у нее недавно какого-нибудь потрясения, которое было как-то связано с числом двенадцать?

— С двенадцатью часами дня, — с раздражением ответил младший.

— Видите, господа, — сказал я, не снимая рук с ее груди, — как бесполезно было привозить меня сюда. Если бы я знал, в каком состоянии найду больную, я бы захватил все, что нужно. А теперь мы столько времени потеряли зря. Ведь здесь в глуши не достанешь никаких лекарств.

Старший брат переглянулся с младшим, и тот сказал надменно:

— У нас есть аптечка, — и, подойдя к шкафу, достал ящик с лекарствами и поставил его на стол.

Я открыл один за другим несколько пузырьков, понюхал и приложился губами к пробкам. Если бы я не собирался дать ей снотворное, а это, как и всякий наркотик, тоже яд, я бы не решился прибегнуть ни к одному из этих средств.

— У вас вызывают сомнения эти лекарства? — спросил младший.

— Как видите, сударь, я собираюсь прибегнуть к ним, — коротко ответил я.

С большим трудом и не сразу мне удалось заставить больную проглотить отмеренную мною дозу лекарства. Так как я через некоторое время рассчитывал повторить прием лекарства, а до этого необходимо было проследить за его действием, я сел у ее постели. К больной была приставлена робкая забитая женщина (жена человека, открывшего нам дверь), она отошла в другой конец комнаты и села в углу. В доме пахло сыростью, он был ветхий, обставлен кое-как, наспех, в нем, по-видимому, поселились недавно и не предполагали остаться надолго. Чтобы заглушить крики больной, окна завесили тяжелыми старыми занавесями, прибив их гвоздями к карнизу. Она продолжала кричать, не умолкая, непрестанно повторяя одно и то же: «Мой муж, отец, брат!» — потом считала до двенадцати и вскрикивала: «Затих!» Она так ужасно металась, что я не решился развязать ей руки и только ослабил повязки, чтобы они не причиняли ей боли. Но все-таки моя рука, по-видимому, действовала на нее успокаивающе, время от времени она переставала метаться и по нескольку минут лежала спокойно, и это было единственное, что меня как-то ободряло. Но кричать она не переставала ни на минуту, и выкрики ее раздавались неумолчно с постоянством и однообразием маятника.

Видя, что больная немножко успокаивается, я, должно быть уже с полчаса, сидел около нее, не отнимая руки, и оба брата сидели тут же и наблюдали за мной; внезапно старший сказал:

— Здесь есть еще больной.

Я очень удивился.

— Он требует неотложной помощи? — спросил я.

— Вам лучше знать, посмотрите, — спокойно ответил он и, взяв в руки свечу, направился к двери…

Второй пациент лежал в верхнем этаже с другой стороны дома. Мы поднялись по черной лестнице на самый верх и очутились в просторном помещении с низким оштукатуренным потолком, доходившим не больше чем до половины чердака: над остальной его частью видна была черепичная крыша и под ней перекрещивающиеся балки. Здесь были свалены сено, солома, хворост для растопки и куча яблок, засыпанных песком.

Я с трудом пробрался через все это, чтобы подойти к больному. Память не изменила мне, я помню все до мельчайших подробностей, и все, что я описываю сейчас, на десятом году моего заточения в одиночной камере, в Бастилии, я вижу перед собой так же ясно, как видел тогда. На полу, на охапке сена и подсунутой под голову подушке лежал красивый юноша-крестьянин, лет семнадцати, не больше. Он лежал на спине, стиснув зубы, прижав правую руку к груди и устремив вверх недвижно остановившийся взгляд. Наклонившись над ним, я стал на одно колено, и хотя мне не удалось обнаружить раны, — я увидел, что он ранен, и ранен смертельно.

— Послушай, бедняжка, я доктор, — сказал я, — дай я осмотрю твою рану.

— Нечего ее осматривать, чего уж там! — отвечал он.

Он судорожно зажимал ее рукой, и я уговорил его отнять руку. Рана была нанесена ударом шпаги, по крайней мере часов двадцать или сутки тому назад, но никакое врачебное искусство не спасло бы его, даже если бы ему сразу оказали помощь. Я поднял глаза на старшего брата; он стоял рядом и смотрел на умирающего юношу, как если бы это был подстреленный заяц, а не такой же человек, как он сам.

— Как это случилось, сударь? — спросил я.

— Взбесившийся щенок! Холуй! Кинулся на моего брата и вынудил его обнажить шпагу, пал от его руки, точно дворянин.

В его словах не было ни огорчения, ни жалости, ни тени человеческого участия, в них чувствовалась только досада, что вот произошел такой нелепый случай и это существо низшей породы подыхает здесь, под его кровом, а не где-то там, у себя в берлоге, где надлежит быть этой грязной твари. Он был не способен просто, по-человечески, пожалеть бедного мальчика, которого постигла такая страшная участь.

Когда он заговорил, юноша медленно поднял на него угасающий взгляд, потом так же медленно перевел его на меня.

— Гордецы они, доктор, эти дворяне, но и у нас, бедных тварей, тоже есть своя гордость. Они грабят нас, унижают, бьют, убивают, и все-таки мы еще не совсем потеряли гордость. А она — вы ее видели, доктор?

Крики больной доносились и сюда, хотя несколько заглушенные расстоянием. Он говорил о ней так, как будто она лежала здесь же.

— Да, видел, — сказал я.

— Это моя сестра, доктор. Наши господа много лет пользовались своим постыдным правом, надругались над невинностью наших сестер, но и у нас есть порядочные честные девушки. Я и сам это знаю, да и отец мой то же говорит. И сестра моя была честная девушка. И она была помолвлена с хорошим честным парнем из его крестьян. Все мы его крестьяне, вот этого маркиза, что стоит здесь. Тот, другой — его брат, из всего их злодейского рода хуже его нет и не было.

Юноше стоило невероятных усилий говорить. Но дух его еще не был сломлен, и он придавал его словам страшную, потрясающую силу.

— Вот этот человек, что стоит здесь, грабил нас без зазрения совести, как все эти знатные господа грабят нас, ничтожных тварей, облагают нас чудовищными податями, заставляют работать на себя без отдыха и все даром. Нам нельзя было молоть свое зерно нигде кроме как на его мельнице, его птица кормилась на наших полях, но не приведи бог кому-нибудь из нас завести свою, хотя бы одного куренка, у нас не было ничего своего, нас обирали до нитки, а если в кои-то веки кому-нибудь из нас случалось раздобыть кусок мяса, мы ели его тайком, заперев двери и окна, чтобы никто не видел, не то тут же явятся господские слуги и отнимут. До того уж нас разорили и забили, до такой нищеты мы дошли, что отец нам часто говорил, на

такую жизнь детей рожать — только горе плодить, и мы должны бога молить, чтобы наши женщины бесплодными были и чтобы весь наш люд горемычный поскорее вымер.

Я никогда не видел такого бурного негодования, такого взрыва оскорбленных чувств у подневольного человека. Я давно подозревал, что угнетенный народ таит в душе чувства возмущения и обиды, но, глядя на этого умирающего юношу, я понял, с какой неудержимой силой эти чувства рвутся наружу.

— И все-таки, доктор, сестра моя вышла замуж. Он хворал, бедняга, и она жалела его, заботилась о нем, ей хотелось выходить своего милого, и она стала его женой, и он поселился с нами, в нашей лачуге, в конуре, как сказал бы этот гордец. Как-то раз, не прошло и нескольких недель, как они поженились, сестра моя попалась на глаза его брату и так приглянулась ему, что он попросил нашего господина уступить ее, отдать ему, — ну, а то, что она мужняя жена, им до этого, конечно, не было дела. Он охотно согласился, но сестра у меня хорошая, честная, и она так же, как и я, ненавидела его брата. И что же они надумали, эти двое, чтобы заставить мужа отказаться от жены, чтобы он сам уговорил ее пойти к этому человеку? Юноша все время смотрел мне в глаза, но сейчас он с усилием перевел взгляд на невозмутимое лицо холодно смотревшего на него маркиза, и я, глядя на них обоих, понял: все то, что он говорит, — правда. Я как сейчас вижу их перед собой, даже вот здесь, в тюрьме, эти скрестившиеся взгляды, полные взаимоуничтожающей гордости, гордости знатного дворянина и гордости простого крестьянина; презрительного равнодушия и задушенных чувств ярости и неутоленной мести.

— Известно вам, доктор, что эти знатные господа имеют право запрягать нас, как скот, и возить на нас тяжести? Вот так они и запрягали его, и он возил тяжести! А знаете ли вы, что у них также есть право заставлять нас караулить всю ночь на пруду, в парке, гонять лягушек, чтобы они своим кваканьем не мешали спать господам? Вот так они и держали его — ночью на пруду в парке, в тумане и сырости, а днем запрягали в телегу. Но он все равно не сдавался. Нет, не сдавался! И вот однажды днем, когда его отпрягли и отпустили домой полдничать — а была ли в доме еда, про то они не спрашивали, — он пришел к жене, упал ей на грудь и забился в рыданиях, а тут как раз часы били двенадцать, вот он на последнем ударе и затих, помер у нее на груди.

Только непреодолимое желание высказать все, что у него наболело, и поддерживало жизнь в юноше. Он отталкивал надвигавшуюся смерть, он не давал ей коснуться его так же, как не давал мне коснуться своей раны, зажимая ее судорожно стиснутой рукой.

— А потом, вот с его согласия, и даже с его помощью, брат увез мою сестру, несмотря на то, что она ему все высказала; вы про это от нее самой услышите, доктор, или, может, она вам уже все рассказала; он увез ее к себе на время, позабавиться, получить удовольствие. Я работал на дороге, видел, как ее провезли мимо. Когда я пришел домой и рассказал про это отцу, сердце у него не выдержало, слишком много в нем обид накопилось, слишком долго он терпел и молчал.

Тогда я взял младшую сестру (у меня их две) и увез ее, чтобы она не попалась на глаза ни своему господину, ни его брату, чтобы хоть ее-то избавить от позора. А потом выследил его брата и прошлой ночью я, жалкий пес, пробрался сюда с саблей в руке, в слуховое окно. Где-то оно тут должно быть?

В глазах у него уже темнело. Он почти ничего не различал. Я огляделся по сторонам и увидел истоптанную солому и раскиданное сено, видно тут и происходил поединок.

— Она услышала шум, догадалась, что это я, и прибежала сюда. Я сказал ей, чтобы она не приближалась, покуда он не падет от моей руки. А он как вошел, сначала швырнул мне пригоршню золотых монет, а потом ударил меня хлыстом. Но хоть я и жалкая тварь, я бросился на него с саблей и заставил его обнажить шпагу. Пусть он потом разломал ее, все равно она

обагрена моей подлой кровью. Ему пришлось обнажить ее и драться со мной не на жизнь, а на смерть, защищать себя.

Я уже и раньше заметил разбросанные на полу на соломе обломки шпаги. Тут же валялась старая солдатская сабля.

— А теперь поднимите меня, доктор, я хочу встать, поднимите меня! Где он?

— Его нет здесь, — сказал я, поддерживая юношу (я понял, что он имеет в виду младшего брата).

— Нет? Как ни горд, а боится, видно, со мной встретиться! А где же тот, который только что был здесь? Поверните меня к нему лицом!

Я повернул его голову, прислонив ее к своему колену. Но он ухватился за мое плечо и — откуда только у него взялись силы — поднялся во весь рост, и я тоже поднялся с колен, чтобы поддержать его.

— Маркиз, — сказал юноша, устремив на него широко раскрытые глаза и подняв правую руку, — в тот день, когда нас призовут на суд, дать ответ за наши дела, я заставлю вас и весь ваш проклятый род до последнего отпрыска ответить за все вами сделанное. Я мечу вас этим кровавым крестом, в знак того, что вы не уйдете от суда. И брат ваш, худший из вашего злодейского рода, ответит за то, что он сделал. Я мечу и его этим кровавым крестом и клянусь, что он не уйдет от суда.

Он дважды приложил руку к своей кровоточащей ране и окровавленным пальцем начертал в воздухе крест. Рука его на секунду застыла в воздухе, потом опустилась, он пошатнулся и повис у меня на руках. Я осторожно опустил его на пол. Он был мертв.

Когда я вернулся к постели больной, я застал молодую женщину в том же состоянии. Она все так же бредила. Я знал, что это может продлиться долго и кончится, по всей вероятности, ее смертью.

Я заставил ее еще раз принять лекарство и сел возле нее. Она продолжала кричать, не умолкая, все тем же душераздирающим голосом, без конца повторяя одно и то же: «Мой муж, отец, брат! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать! Затих!»

С того момента как я увидел ее, это продолжалось безостановочно двадцать шесть часов. Я два раза уезжал домой и снова возвращался. Когда я, вернувшись во второй раз, опять сидел у ее постели, она начала успокаиваться. Я сделал все возможное, чтобы заставить ее уснуть, и постепенно она погрузилась в какое-то забытье, похожее на летаргический сон; можно было подумать, что она умерла.

Как будто долго бушевавшая буря унялась наконец, — сразу наступила тишина. Я развязал ей руки и позвал женщину помочь мне как следует уложить больную и снять с нее разорванное платье. И тут только я обнаружил, что она в тягости, и перестал надеяться на ее выздоровленье.

— Кончилась? — спросил, входя в комнату, маркиз, которого я по-прежнему буду называть старшим братом. Он был в высоких сапогах, видно только что приехал откуда-то верхом.

— Нет, — ответил я, — но выживет вряд ли.

— Какая выносливость и сила в этих простолюдинах, — сказал он, глядя на нее с любопытством.

— Горе и отчаянье таят в себе непостижимую силу, — заметил я.

Он рассмеялся на мои слова, но тут же нахмурился. Затем пододвинул стул ногой, сел около меня и, приказав женщине уйти, заговорил, понизив голос:

— Доктор, когда я увидел, в каком неприятном и затруднительном положении очутился мой брат из-за этой деревенщины, я посоветовал ему прибегнуть к вашей помощи. У вас

прекрасная репутация, вы еще молоды и можете сделать блестящую карьеру. Я полагаю, вы соблюдаете свои интересы. Все, что вы видите здесь, должно остаться при вас. Говорить об этом не следует.

Я прислушивался к дыханию больной и промолчал.

— Вы изволите слушать меня, доктор?

— В моей профессии, сударь, все, что врач слышит от пациента, остается между ними. — Я отвечал осторожно, потому что был глубоко удручен и взволнован тем, что я здесь видел и слышал.

Дыхание больной было так слабо, что я нагнулся пощупать ее пульс и проверить сердце. Оно едва билось. Когда я, выпрямившись, откинулся на спинку стула, я увидел, что оба брата следят за мной, не сводя глаз.

Писать очень трудно, такой невыносимый холод, и я так боюсь, что меня застанут и отправят в штрафную камеру, в подвал, в полную темноту, что я вынужден сократить свой рассказ. Это не потому, что мне изменяет память, я помню все до мельчайших подробностей и могу повторить все разговоры, каждое слово, произнесенное братьями.

Она протянула неделю. Незадолго до ее кончины мне удалось разобрать несколько слов, которые она прошептала мне на ухо. Она спросила меня, где она? Я сказал ей. Потом она спросила меня, кто я? Я ответил. Но я тщетно пытался узнать ее имя. Чуть заметным движением головы она так же, как и ее брат, отказалась назвать себя.

Мне ни разу не представилась возможность расспросить ее о чем-нибудь, пока я не сказал братьям, что она вряд ли доживет до следующего дня. До тех пор, хотя она не видела никого, кроме меня и прислуживающей женщины, всякий раз, когда я сидел у ее постели, кто-нибудь из братьев непременно находился тут же за занавеской у ее изголовья. Но когда я сказал им, что она умирает, их, по-видимому, перестало беспокоить, что она о чем-то может проговориться, — как будто и я тоже обречен умереть, невольно подумалось мне.

Я давно заметил, что гордость братьев была сильно уязвлена тем, что младший вынужден был драться на шпагах с простолюдином, да еще с таким мальчишкой. Это ставило их в смешное положение, оскорбляло их фамильную честь, и, очевидно, только это и удручало их. Всякий раз, когда я ловил на себе взгляд младшего брата, я видел по его глазам, что он не может простить мне того, что я узнал о нем от погибшего юноши. И хотя он был со мной гораздо любезнее и учтивее, чем старший, я не мог не чувствовать его неприязни. Но я видел, что и старший тяготится мною.

Моя пациентка скончалась в десять часов вечера по моим часам, чуть ли не минута в минуту в то самое время, как я увидел ее первый раз. Я был один около нее, когда ее юная беспомощная головка бессильно склонилась к плечу и все ее земные горести и несчастья кончились.

Братья собирались уезжать и нетерпеливо дожидались меня внизу. Я, сидя у ее постели, слышал, как они расхаживали взад и вперед, похлопывая хлыстами по сапогам.

— Кончилась наконец? — спросил меня старший, когда я сошел к ним.

— Умерла, — ответил я.

— Поздравляю, братец, — вот все, что он сказал, повернувшись к младшему.

Он протянул мне сверток сложенных столбиком золотых монет. Я взял его и положил на стол. Они уже и раньше предлагали мне деньги, но я отказывался. Я твердо решил не брать денег.

— Простите, — сказал я, — обстоятельства таковы, что я не могу принять платы.

Они переглянулись, молча кивнули в ответ на мой поклон, и мы расстались…

У меня совсем нет сил, нет сил… Несчастье сломило меня, я даже не в состоянии перечесть то, что написала моя онемевшая рука.

На следующий день рано утром я обнаружил сверток с золотом в маленьком ящичке, оставленном у моей двери; на крышке ящичка было написано мое имя. Меня с первого же дня мучила мысль, как я должен поступить. В этот день я решил написать секретное письмо министру, изложить все обстоятельства дела, историю пациентов, к которым меня вызывали, и указать адрес дома, куда меня привезли. Я знал, что люди, близкие ко двору, пользуются неограниченной властью и что знатным людям все сходит с рук безнаказанно, и я не думал, что дело это будет предано гласности, но я решил сообщить все, что знаю, чтобы не мучиться угрызениями совести. Я никому ни словом не обмолвился об этой истории, даже жене, о чем тоже написал в письме. Я нимало не опасался за себя и не думал, что мне что-нибудь грозит, но я считал, что другим не следует знать то, чему я был свидетелем, ибо для них это может оказаться опасным.

В тот день я был очень занят и не успел закончить письмо. На другой день я встал раньше обычного и дописал его. Это был канун Нового года. Я только что отложил законченное письмо, когда мне доложили, что меня желает видеть какая-то дама…

Я с каждым днем слабею и уже почти не в силах писать. Холодно, темно, и такой страшный мрак в душе, словно я впадаю в какое-то оцепенение.

Дама была красивая, молодая, приветливая, но, по-видимому, очень хрупкого здоровья, и чем-то сильно потрясена. Она представилась мне как маркиза Сент-Эвремонд. Я вспомнил, что юноша, умерший у меня на руках, называл так старшего брата, вспомнил вензель, вышитый на шарфе, и, естественно, пришел к заключению, что я имел дело с ее супругом.

Память еще не изменяет мне, но я не могу записать подробно наш разговор. Мне кажется, за мной следят теперь более тщательно, и мне страшно, как бы меня не застали… Она, должно быть, о чем-то догадывалась и каким-то образом узнала о некоторых фактах этой ужасной истории, о том, что в этом участвовал ее муж, что меня вызывали к больной. Она не знала, что молодая женщина умерла. Страшно огорченная, она сказала мне, что надеялась с моей помощью выразить ей тайком свое женское сочувствие, поддержать ее; она жаждала отвратить гнев господень от этого дома, стяжавшего дурную славу и ненависть многих пострадавших от него.

По ее сведениям в семье осталась младшая сестра, и она всей душой стремилась помочь этой сестре. Я мог только подтвердить, что сестра существует, но больше я ничего не знал. Она надеялась узнать от меня имя и местопребывание сестры. Но я и до сего злополучного часа пребываю в полном неведении…

Последние клочки бумаги. Вчера у меня отобрали один листок со строгим предупреждением. Сегодня я должен дописать все.

Моя посетительница, добрая, отзывчивая молодая женщина, была очень несчастлива в своей супружеской жизни. Могла ли она быть счастливой с таким мужем? Деверь относился к ней недоверчиво и враждебно и восстанавливал против нее брата; она боялась его, боялась мужа. Когда я вышел проводить ее, я увидел в карете ее сына, хорошенького мальчика двух-трех лет.

— Ради него, доктор, — сказала она, со слезами показывая на ребенка, — я готова сделать все, что в моих силах, чтобы хоть немного искупить содеянное зло. Иначе страшно подумать, какое тяжкое наследство достанется на его долю. Меня гнетет предчувствие, что, если я не смогу ничем загладить преступление, искупить вину, ему когда-нибудь придется ответить за это. Все, что я могу считать своей личной собственностью, несколько драгоценных безделушек, — все это я завещаю ему с тем, чтобы он разыскал сестру и передал ей с добрыми пожеланиями от своей покойной матери, которая всей душой сочувствовала ее горю.

Она поцеловала мальчика и сказала, обнимая его:

— Это для твоего же блага, мой ненаглядный! Ты обещаешь маме выполнить ее волю, да, Шарль? — И малютка, не задумываясь, ответил: — Да, мама.

Я поцеловал ей руку; она взяла мальчика к себе на колени, обняла его, и они уехали. Я больше никогда не видел ее.

Я понимал, что она назвала мне имя своего мужа, полагая, что я уже знаю его, и я воздержался назвать его в своем письме. Запечатав пакет, я не решился доверить его посыльному и сам отнес куда следовало.

В тот же день вечером, — это был последний день старого года, — часов около девяти у крыльца раздался звонок, и какой-то человек в черном, сказав, что ему нужно меня видеть, незаметно последовал за моим молодым слугой Эрнестом Дефаржем наверх в комнаты. Когда слуга пришел доложить мне в гостиную, где я сидел с женой (я был женат на прелестной молоденькой англичанке), о моя бесценная возлюбленная жена! — мы увидели, что этот человек, которому слуга сказал подождать внизу, стоит позади него.

— Требуется немедленная помощь больному на улице Сент-Оноре, — сказал он. — Карета дожидается внизу, вас доставят мигом.

И меня доставили сюда и погребли здесь, в этой могиле. Как только мы вышли из ворот, кто-то схватил меня сзади; мне завязали рот какой-то черной тряпкой, скрутили руки. Братья вышли из-за угла и молча кивнули слуге. Маркиз вынул из кармана мое письмо к министру, помахал им у меня перед глазами и поднес его к свече фонаря, который держал перед ним слуга. Письмо вспыхнуло, он бросил его на землю и, когда оно догорело, затоптал пепел ногой. Все это он проделал молча. Потом меня привезли сюда и погребли заживо в этой могиле.

Если бы за все эти страшные годы в черствой душе того или другого брата затеплилась хотя бы искра сострадания и мне бы дали знать о моей возлюбленной жене, сказали бы — жива она или умерла, — я бы мог думать, что господь бог еще не совсем отвернулся от них. Но теперь я знаю, что печать кровавого креста заклеймила их вечным проклятием, и господь не прострет на них свое милосердие. И я, Александр Манетт, несчастный узник, в эту последнюю ночь тысяча семьсот шестьдесят седьмого года в моей нестерпимой муке обличаю их и все их потомство до последнего колена и призываю их на суд грядущих времен, да ответят они за все свои дела. Да услышат меня небо и земля!»

Едва только чтение кончилось, в зале поднялась буря. Неистовые выкрики толпы, яростно требующей крови, слились в сплошной рев. Этот горестный рассказ взывал к самой неистовой страсти, бушевавшей в сердцах людей, — к жажде мщения, и ни одному человеку, обреченному пасть жертвой этой страсти, никакие силы не помогли бы сохранить голову на плечах.

Какой смысл было доказывать этому трибуналу и этой публике, что Дефаржи умышленно не огласили в свое время найденный документ вместе с другими, захваченными в Бастилии, а припрятали его до поры до времени; и что весь этот ненавистный род давно был предан проклятью Сент-Антуаном и занесен в его роковой список. Ни один человек, каковы бы ни были его заслуги и добродетели, ничего не мог сделать против такого обличения.

И тем хуже было для обвиняемого, что обличитель его был человек, пользующийся широкой известностью, всеми уважаемый гражданин, преданный ему близкий друг, отец его жены. В те времена французский народ был одержим подражанием некиим сомнительным гражданским доблестям древних, — самозакланию, самопожертвованию на алтаре отчизны и народа. Поэтому, когда председатель суда сказал в заключительной речи (а то бы ему самому не сносить головы!), что добрый врач Республики, споспешествуя искоренению проклятого рода аристократов, станет еще более достойным в ее глазах, и что у него, несомненно, должно быть чувство священной радости и гордости, оттого что он сделает свою дочь вдовой и осиротит ее дитя, публика без тени сострадания в бурном патриотическом восторге приветствовала эти слова.

— Ну, много ли у него теперь влияния, у этого доктора? — шепнула, усмехаясь, мадам Дефарж, повернувшись к Мести. — Попробуй-ка его теперь спасти, ну-ка, спаси его, доктор!

Голосование присяжных происходило под оглушительный рев толпы. Каждого встречали и провожали неистовым ревом.

Смертный приговор был вынесен единогласно. Аристократ по происхождению и по натуре, враг Республики, заведомый угнетатель народа. Вернуть в Консьержери и в течение двадцати четырех часов привести приговор в исполнение.

Глава XI
Сумерки

Этот приговор, словно смертельный удар, обрушился на несчастную жену невинно осужденного человека. Но из уст ее не вырвалось ни звука, и так сильно было чувство, говорившее ей, что только она, она одна, может и должна поддержать его в эту минуту, избавить его от лишних мучений, — что она превозмогла себя и выдержала этот удар.

Суд объявил перерыв, потому что членам суда надлежало принять участие в какой-то уличной демонстрации. Толпа с шумом хлынула из зала, и народ еще теснился в дверях, когда Люси, вскочив с места, протянула руки к мужу, устремив на него любящий взгляд, полный самозабвенной нежности.

— О! Если бы мне только позволили коснуться его! Обнять его на один миг! Сжальтесь над нами, о добрые граждане!

В зале суда только и остались, что подсудимый со стражником, двое из четырех конвойных, которые увели его накануне, и Барсед. Вся публика уже высыпала на улицу, спеша примкнуть к демонстрации. Барсед повернулся к конвойному. «Пустите ее к нему, пусть обнимет, ведь это одна минута», — сказал он. Они молча кивнули и даже помогли ей перешагнуть через скамейки и подняться на возвышение, и Чарльз, перегнувшись через барьер, отделявший скамью подсудимых, крепко сжал ее в своих объятиях.

— Прощай, душа моя, родная моя, прощай! Благословляю тебя! Мы еще встретимся с тобой там, где измученные души обретают мир и успокоение.

Так говорил муж, прижимая ее к своему сердцу.

— Я найду в себе силы вынести это, дорогой Чарльз, бог поддержит меня, не мучайся из-за меня. Благослови на прощанье нашу дочку!

— Ты передашь ей мое благословение. И вот этот поцелуй от меня. Я прощаюсь с тобой и с ней.

— Милый мой! Нет, еще минуту! — Он попытался оторваться от нее. — Мы расстаемся ненадолго. Я чувствую, сердце мое не выдержит. Но пока у меня есть силы, я буду верна своему долгу, а когда я покину ее, бог позаботится о ней и пошлет ей друзей, как когда-то послал мне.

Ее отец подошел вслед за нею, и, если бы Дарней не удержал его, он упал бы перед ними на колени.

— Нет, ради бога! Что вы такого сделали, чтобы становиться перед нами на колени? Мы только теперь понимаем, что вам пришлось пережить, какую душевную борьбу вам пришлось выдержать, когда у вас впервые возникло подозрение, кто мой отец, и когда это подозрение подтвердилось. Мы знаем теперь, каких усилий вам стоило преодолеть ради дочери естественное чувство неприязни к человеку, связанному с этой семьей. Мы благодарны вам всей душой, мы любим и почитаем вас. Да благословит вас бог!

Отчаянный вопль вырвался из груди старика; он схватился руками за голову и судорожно рвал свои седые волосы.

— Ничем другим это не могло кончиться, — сказал Дарней. — Все складывалось так, чтобы привести к этому. Мои многократные попытки выполнить волю моей бедной матушки так и не увенчались успехом, но они-то и привели меня к знакомству с вами. Для вас это стало несчастьем. А началом всему было такое зло, что разве могло из него получиться что-нибудь

доброе? Худое начало никогда не ведет к доброму концу. Не сокрушайтесь обо мне, простите меня. Да благословит вас бог!

Когда Дарнея уводили, жена стояла и смотрела ему вслед, сложив молитвенно руки, и в глазах ее светились любовь и утешение, и нежная улыбка не сходила с губ. Когда он скрылся за дверью, она повернулась к отцу, прильнула головкой к его груди, попыталась что-то сказать и упала без чувств к его ногам.

В ту же минуту Сидни Картон, который сидел не двигаясь в углу зала, бросился поднимать ее. Кроме отца и мистера Лорри, около нее никого не было. Руки его дрожали, когда он поднял ее и бережно прижал ее голову к своему плечу. И жалость и сочувствие, выражавшиеся на его лице, были проникнуты какой-то скрытой гордостью.

— Я донесу ее до кареты. Она как перышко.

Он вынес ее на руках из здания и заботливо уложил на подушки кареты. Отец и их старый друг сели рядом, а Картон взобрался на козлы рядом с кучером.

Когда они подъехали к воротам, где он всего несколько часов тому назад стоял в темноте и мысленно видел ее перед собой и старался представить себе, по какой из этих каменных плит ступала ее нога, он снова поднял ее на руки и понес к крыльцу и вверх по лестнице в комнаты. Он уложил ее на диван, и мисс Просс с малюткой бросились к ней, заливаясь слезами.

— Не приводите ее в чувство, мисс Просс, — тихо сказал он. — Ей лучше так. Не стоит ее сейчас приводить в сознание, ведь это только обморок.

— Ах, Картон, Картон, милый Картон! — вскричала маленькая Люси и, подбежав, бросилась к нему на шею, всхлипывая и захлебываясь от слез. — Вот теперь, когда вы с нами, я уже знаю, вы сделаете что-нибудь, чтобы помочь маме и спасти папу! Вы только посмотрите на нее, милый Картон. Вы ведь любите ее, разве можете вы оставить ее так?

Картон нагнулся к девочке, прижал ее свежую щечку к своему лицу. Потом ласково погладил ее, опустил на пол и повернулся к лежащей без сознания матери.

— Прежде чем я исчезну, — сказал он и запнулся, — можно мне поцеловать ее?

И все, кто здесь был, вспоминали потом, что, когда он, наклонившись к ней, прикоснулся губами к ее лицу, он что-то тихонько прошептал. А девочка — она стояла тут же, рядом, — рассказывала им потом, и не только им, но спустя много-много лет и своим внукам, когда она уже была почтенной красивой старушкой, что она слышала, как он прошептал: «Жизнь самого дорогого тебе».

Выйдя из комнаты, он обернулся к провожавшим его мистеру Лорри и ее отцу и сказал, обращаясь к доктору Манетту:

— Ваше влияние вчера сыграло значительную роль, доктор Манетт, попробуйте что-нибудь сделать. Все эти члены трибунала и люди, стоящие у власти, очень расположены к вам и ценят ваши заслуги, не так ли?

— Я был осведомлен обо всем, что касалось Чарльза. Мне было твердо обещано, что я выручу его, и я это сделал. — Он говорил очень медленно, прерывающимся от волнения голосом.

— Попробуйте еще. Времени, конечно, очень мало до завтра, но — попытайтесь!

— Непременно попытаюсь. И немедленно.

— Вот и хорошо. Я знаю, что вы с вашей энергией преодолевали неслыханные препятствия, но, конечно, — вздохнув, улыбнулся он, — не такие, как сейчас. Все же попытайтесь. Как ни мало стоит жизнь, даже если человек и не сумел распорядиться ею, ради нее стоит сделать это усилие. Не велика была бы жертва, если бы она этого не стоила.

— Я пойду сейчас же, — сказал доктор Манетт, — пойду к общественному обвинителю и к председателю суда, и еще кой к кому, кого лучше не называть. И, кроме того… напишу… но постойте-ка! Ведь сейчас в городе демонстрация, и никого не застанешь до вечера.

— Да, верно! Ну что ж? Надежды, конечно, мало, и вы ничего не потеряете, если подождете до вечера. Но я бы все-таки хотел знать, выйдет ли из этого что-нибудь. Могу вам сказать одно: я не надеюсь. Когда вы примерно думаете добиться свидания с этими грозными властями, доктор Манетт?

— Как только стемнеет. Ну, скажем, через час, через два.

— Темнеть начинает после четырех. Ну, прибавим еще час-другой. Если я приду к мистеру Лорри в девять, вы уже сможете сказать мне через него или сами, добились вы чего-нибудь или нет?

— Да, наверно.

— Ну, желаю вам успеха!

Мистер Лорри пошел проводить Сидни к выходу и, когда тот открывал дверь, тронул его за плечо. Сидни обернулся.

— У меня нет ни малейшей надежды, — тихо сказал мистер Лорри упавшим голосом.

— У меня тоже.

— Если бы кто-нибудь из этих судей или, допустим, даже все они, — хоть это, конечно, и маловероятно, ибо что для них его жизнь или жизнь любого другого человека! — но если бы даже все они и были склонны пощадить его, то после этого страшного неистовства в зале вряд ли они решились бы вынести ему другой приговор.

— Я тоже так думаю. Когда толпа заревела, я понял, что ему не миновать гильотины.

Мистер Лорри, понурившись, оперся рукой о косяк двери.

— Не убивайтесь так, — мягко сказал Картон, — не предавайтесь отчаянию. Я подал эту мысль доктору Манету, потому что, мне кажется, когда-нибудь это хоть немножко ее утешит, иначе она может подумать, что жизнь его была загублена зря, бессмысленно принесена в жертву, и ей будет больно.

— Да, да, да, вы правы, — сказал мистер Лорри, вытирая глаза. — Но он погиб, надеяться не на что!

— Да, погиб, надеяться не на что, — повторил Картон и медленно пошел вниз по лестнице.

Глава XII
Тьма

Сидни Картон остановился на улице, соображая, куда ему лучше пойти. «В контору Теллсона к девяти, — задумчиво промолвил он. — А до тех пор, пожалуй, полезно будет, если меня кой-кто здесь увидит. Да, пожалуй. Лучше, чтобы в городе знали, что такой человек есть, его видели. Это разумная предосторожность и, может быть, даже необходимая подготовка. Но только берегись, берегись! Подумай хорошенько».

Он прошел несколько шагов, потом медленно повернул обратно; на улице уже стемнело, и он не спеша прошелся раз-другой по темному переулку, раздумывая, стоит ли ему идти туда, куда он собирался, и к чему это может привести. Наконец он, по-видимому, что-то решил. «Да, так будет лучше, — промолвил он. — Пусть люди знают, что такой человек появился в городе». И он решительно направился в Сент-Антуанское предместье.

Он помнил, что Дефарж, который давал сегодня показания в суде, виноторговец в Сент-Антуанском предместье.

Для человека, хорошо знающего город, не трудно было разыскать винный погребок в Сент-Антуане, не прибегая к расспросам. Картон легко нашел дом Дефаржа, запомнил, как к нему пройти, затем выбрался из тесного лабиринта переулков и зашел пообедать в какую-то кофейню, а после обеда крепко уснул. Первый раз за многие годы он не пил за обедом никаких

крепких напитков. За весь день он выпил только немного легкого вина, а вчера, сидя у мистера Лорри, вылил в камин последний стаканчик коньяку, словно решив покончить с этим.

Он проснулся в седьмом часу и, чувствуя себя бодрым и отдохнувшим, вышел на улицу. По дороге в Сент-Ан-туан он остановился у какой-то витрины с зеркалом, поправил воротник, галстук, пригладил растрепанные волосы, затем быстро направился к дому Дефаржа и вошел в погребок.

В зале не было никого посетителей, кроме Жака Третьего, Картон видел его на скамье присяжных и запомнил по его каркающему голосу и беспрестанно шевелящимся пальцам. Он стоял у стойки с рюмкой в руке и разговаривал с супругами Дефарж. В разговоре участвовала и Месть, по-видимому свой человек в этом заведении.

Картон сел за столик и, с трудом выговаривая французские слова, спросил вина.

Мадам Дефарж бросила на него беглый взгляд, потом вгляделась пристальнее, еще пристальнее и, наконец, подошла к его столику и спросила, что он заказал.

Он повторил на таком же ломаном языке.

— Англичанин? — вскинув темные брови, спросила мадам Дефарж.

Он посмотрел на нее, словно с трудом вникая в чуждые ему звуки этого французского слова, и когда, наконец, до него дошло, о чем его спрашивают, ответил с сильным иностранным акцентом:

— Да, мадам, да, я англичанин.

Мадам Дефарж вернулась к стойке за вином, а он взял лежащую на столе якобинскую газетку и, уткнувшись в нее, погрузился в чтение, делая вид, что разбирает с трудом, и слышал, как она сказала:

— Клянусь, вылитый Эвремонд!

Дефарж поставил перед ним бутылку вина и сказал:

— Добрый вечер!

— Что?

— Добрый вечер!

— О! Добрый вечер, гражданин! — Картон налил себе вина. — А! Добрый вино! За Республика! Дефарж вернулся за стойку.

— Да, похож немножко, — сказал он.

— А я тебе говорю, не немножко, а прямо вылитый! — сердито возразила мадам.

— Это вам оттого так кажется, что он у вас из головы не выходит, — примирительно заметил Жак Третий.

— Что правда, то правда! — угодливо засмеялась Месть. — Ты просто дождаться не можешь, не терпится тебе поглядеть на него завтра.

Картон, прилежно водя пальцем по строчкам газеты, шевелил губами, как бы разбирая слово за словом. А те четверо, сблизив головы и облокотившись на стойку, тихонько шушукались; потом замолчали, и все четверо уставились на него; но видя, что он не обращает на них никакого внимания и весь поглощен чтением передовицы, снова вернулись к прерванному разговору.

— Мадам правильно говорит, — заметил Жак Третий. — Зачем останавливаться на полдороге? Тут важен размах. Зачем останавливаться?

— Ну, хорошо, хорошо, — уступил Дефарж. — Но надо же когда-нибудь остановиться? Вопрос — когда?

— Когда истребим всех, — коротко отрезала мадам.

— Прекрасно сказано! — каркнул Жак Третий.

— Браво! — подхватила Месть.

— Истребление — полезное дело, — угрюмо отозвался Дефарж, — я против этого не возражаю. Но доктор достаточно натерпелся в жизни; ты видела сегодня его лицо, когда эти записки читали?

— Я видела его лицо! — гневно и возмущенно обрушилась на мужа мадам Дефарж. — Да! Я следила за ним. И я видела по этому лицу, что он не друг Республики. Пусть он поостережется показываться с таким лицом!

— А ты видела, женушка, — продолжал Дефарж все тем же смущенным тоном, — как исстрадалась его дочь, каково ему на это глядеть!

— Видела я его дочь, — отвечала мадам Дефарж. — Я давно приглядываюсь к его дочери. Я следила за ней сегодня, слежу за ней не один день. Я наблюдала за ней в суде, наблюдала за ней возле тюрьмы на улице. Достаточно мне только пальцем шевельнуть… — И мадам погрозила пальцем. Глаза Картона были прикованы к газете, но когда она стукнула рукой по прилавку, ему послышался стук топора.

— Вот истинно доблестная гражданка! — прокаркал Жак Третий.

— Ангел наш! — подхватила Месть, обнимая ее.

— А ты, — гневно продолжала мадам, глядя на мужа, — ты, если бы все зависело от тебя — счастье, что это не так! — ты бы, не задумываясь, пощадил этого человека, даже и сейчас!

— Нет! — отрекся Дефарж. — Ни за что, даже если бы для этого нужно было только вот эту рюмку поднять! Но на том бы я и покончил. Вот про что я говорю, — надо же когда-нибудь остановиться!

— Ты слышал, Жак, — в бешенстве вскричала мадам Дефарж, — и ты, душечка Месть! Так вот слушайте оба! Весь этот род давным-давно внесен в мой список и обречен на полное истребление, и не только за то, что все они были тираны и притесняли народ. Спросите моего мужа, правду я говорю?

— Правду, — подтвердил Дефарж, не дожидаясь, когда его спросят.

— В тот славный день, когда мы взяли Бастилию, он нашел эти записки и принес их домой, и вот здесь, у стойки, когда все разошлись, мы ночью под этой самой лампой читали их вдвоем. Спросите его, было это так?

— Было, — подтвердил Дефарж.

— И я сказала ему в ту ночь, когда мы дочитали все до конца, и лампа у нас потухла, и день уже пробивался сквозь ставни и прутья решетки, я сказала, что открою ему свою тайну — было это так?

— Было, — опять подтвердил Дефарж.

— И я открыла ему свою тайну. Я била себя кулаками в грудь, когда рассказывала ему, вот так же, как сейчас: «Дефарж, говорю я, это я, меня отдали в семью рыбаков, в глухую приморскую деревушку, а крестьянская семья, которую погубили братья Эвремонды, как описано на этих клочках бумаги, уцелевших в Бастилии, — это моя семья! Дефарж, говорю я, сестра того смертельно раненного подростка, умиравшего на чердаке, — это моя сестра, и этот замученный муж, — ее муж, и ребенок, которого она носила под сердцем, — их ребенок, и это мой брат, мой отец, все мои покойники и кому же, как не мне, требовать у злодеев ответа». Спросите его, говорила я это?

— Говорила, — отозвался Дефарж.

— Так вот скажи ветру и пламени остановиться, но не мне!

Оба ее слушателя жадно упивались этой клокочущей ненавистью и превозносили мадам, и Картон, который слушал, не подавая виду, не глядя на нее, чувствовал, что она дошла до белого каления.

Дефарж, беспомощный против этой троицы, пытался сказать что-то о покойной жене маркиза, о том, как она огорчалась, но мадам не дала ему докончить и опять повторила с яростью:

— Скажи ветру и пламени остановиться, но не мне!

В лавку вошли посетители, и разговор прекратился. Англичанин подозвал получить за вино, долго не мог сообразить, сколько ему причитается сдачи, а потом, как человек, впервые попавший в этот город, стал расспрашивать, как ему пройти к Национальному дворцу. Мадам Дефарж подошла с ним к дверям и, положив руку ему на плечо, показала, в какую сторону идти. Англичанин слушал и думал, — вот было бы доброе дело — схватить эту руку и всадить под нее между ребер острый нож, да поглубже!

Но он поблагодарил и пошел туда, куда ему показали, и вскоре скрылся в темноте за выступом тюремной стены. Оттуда он направился к банку и в условленное время явился к мистеру Лорри; старик в страшном беспокойстве расхаживал из угла в угол. Он сказал, что все время был у Люси и ушел от нее всего несколько минут тому назад, потому что обещал Картону быть дома. Отец ее так и не возвращался. Он ушел отсюда из банка часа в четыре. Люси, конечно, цепляется за эту последнюю надежду, что отцу, может быть, еще удастся вызволить Чарльза, но надеяться не на что. Вот уже пять часов как его нет. Куда он девался?

Мистер Лоррп подождал до десяти, и так как доктор все не шел, а ему не хотелось оставлять Люси одну, он уговорился с Картоном, что пойдет туда и вернется часам к двенадцати. Картон остался ждать; ждал долго, часы пробили двенадцать, а доктора все не было. Мистер Лорри вернулся — никаких известий ни там, ни тут. Куда же он мог деваться?

Только что они заговорили об этом и даже стали строить предположения, что, может быть, такое длительное отсутствие сулит какие-то надежды, как вдруг на лестнице послышались шаги. Едва только он появился в дверях, они поняли, что все кончено.

Был ли он у кого-нибудь, или все это время просто блуждал по городу, так и осталось неизвестным.

Он смотрел на них невидящим взглядом, и они даже не пытались ни о чем спрашивать: достаточно было посмотреть на его лицо.

— Никак не найду, — бормотал он. — А как же я теперь без них буду? Где их искать?

Он был с непокрытой головой, с распахнутым воротом. Беспомощно озираясь кругом и что-то бормоча себе под нос, он скинул с себя камзол и бросил его на пол.

— Где моя скамья? Сколько времени ищу, не могу найти! Куда они мою работу девали? Надо скорей кончать эти башмаки!

Мистер Лорри с Картоном в ужасе переглянулись.

— Ах, скорей, скорей! — жалобно захныкал он. — Отдайте мне мою работу! Пустите меня сесть за работу! — И, не получая ответа, он схватился обеими руками за голову и начал рвать на себе волосы, топая ногами и всхлипывая, как ребенок.

— Не мучьте несчастного человека! — вскричал он душераздирающим голосом, — отдайте мне мою работу! Что с нами будет со всеми, если я не дошью сегодня эти башмаки!

Помешался! Помешался совсем!

Нечего было и надеяться привести его в чувство или попытаться образумить, — им обоим это было совершенно ясно, и они, точно сговорившись, оба подошли к нему, взяли его под руки и стали утешать, усадили в кресло у камина и пообещали, что поищут его работу. Он поник в кресле, уставившись на тлеющие угли, и по щекам его катились слезы. И мистеру Лорри, глядя на него, казалось, что как оно было тогда, когда он впервые увидел его на чердаке, так и осталось, а все остальное — сон, и вот перед ним опять тот же жалкий старик, которого приютил Дефарж.

Оба смотрели на него с ужасом и жалостью, но, как ни были они потрясены, оба понимали, что сейчас не время давать волю своим чувствам. Надо было подумать о его дочери, несчастной дочери, лишившейся последней надежды и оставшейся без всякой опоры. И они опять, точно угадав друг у друга эту мысль, молча переглянулись. Картон заговорил первый:

— Ну, вот, и последняя надежда рухнула, да ее, в сущности, и не было. Пожалуй, его лучше отвести к ней. Но прежде, чем вы пойдете, я попрошу вас внимательно выслушать меня. Вы можете уделить мне несколько минут? Я хочу взять с вас обещание, что вы сделаете то, что я вам сейчас скажу, и не будете расспрашивать меня, почему я считаю нужным так сделать. У меня есть для этого причины, и очень важные.

— Я не сомневаюсь, — сказал мистер Лорри. — Говорите, я слушаю.

Сгорбленная фигура в кресле у камина раскачивалась взад и вперед и жалобно причитала. Они стояли по обе стороны кресла друг против друга и разговаривали вполголоса, точно у постели больного.

Картон нагнулся поднять камзол доктора, который он чуть не зацепил ногой. Когда он вешал его на стул, из кармана выпала записная книжка, которую доктор всегда носил с собою и записывал в нее все свои дела на день. Картон поднял ее, в ней оказалась сложенная вчетверо бумага.

— Посмотреть, что это такое? — спросил Картон, и мистер Лорри кивнул. Картон развернул бумагу. — Слава богу! — вырвалось у него.

— Что это? — взволнованно спросил мистер Лорри.

— Погодите. Я вам сейчас все объясню. — И, сунув руку в карман своего сюртука, он вынул такую же точно бумагу, — это подорожная, которая дает мне право выехать из Парижа. Вот, держите, видите, тут написано: Сидни Картон, англичанин.

Мистер Лорри держал бумагу, которую ему передал Картон, и с недоумением смотрел в его возбужденное лицо.

— Оставьте ее у себя до завтра. Я ведь должен увидеть его завтра, вы понимаете, и мне не хочется брать это с собою в Лафорс.

— Почему?

— Сам не знаю. Просто мне кажется, лучше этого не делать. Так. А теперь вот вам и та бумага, что была у доктора Манетта. Это такая же грамота, которая дает ему право с дочерью и ребенком выехать в любое время из Парижа и за пределы Франции. Вот, видите?

— Да, да, вижу!

— Вероятно, опасаясь самого худшего, он позаботился получить ее еще вчера. Каким она числом помечена? Ну, не важно, не будем терять времени. Спрячьте ее вместе с моей и вашей подорожной. Дело вот в чем. Я до сегодняшнего вечера не сомневался, что у него есть такая грамота или что он, во всяком случае, может ее получить. Но она действительна только, пока ее не отменили. А это может случиться в любую минуту, и у меня есть основания думать, что ее вот-вот отменят.

— Но им ведь ничто не грозит?

— Им грозит большая опасность. Им грозит донос мадам Дефарж. Я слышал это из ее собственных уст. Я слышал, как она говорила об этом нынче вечером, и из ее слов понял, что они все в очень опасном положении. Я после того сейчас же отправился к фискалу, и он подтвердил это. Ему известно, что пильщик, который живет возле тюрьмы, находится под сильным влиянием Дефаржей, и мадам Дефарж заставляет его выступить в качестве свидетеля и показать, что она (он никогда не произносил имени Люси) подавала какие-то знаки заключенным. Вот у них и предлог для обвинения, обычного в таких случаях, — заговор в тюрьме, — а это грозит гильотиной и ей и ее ребенку, а может быть даже и ее отцу, потому что их обоих видели с ней около тюрьмы. Ну, не пугайтесь так. Вы их всех выручите.

— Помоги бог! Но как я это сделаю, Картон?

— Я вам сейчас скажу. Все зависит от вас, и, слава богу, лучше вас этого никто не сделает. Можно быть уверенным, что новый донос поступит не раньше чем послезавтра, а может быть, дня через два, через три, или даже, всего вернее, через неделю. Вы знаете, что плакать и горевать о казненном на гильотине считается здесь преступлением. И она и ее отец будут, несомненно, повинны в этом преступлении, и эта женщина (слов не найдешь сказать, как она ненавидит их) сейчас выжидает, пока у нее не наберется достаточно улик, чтобы подкрепить свой донос новым обвинением и во что бы то ни стало добиться своего. Вы не устали меня слушать?

— Я слушаю вас внимательно, и я так потрясен тем, что вы говорите, что на минуту забыл даже и про это несчастье, — и, кивнув на доктора, мистер Лорри положил руку на спинку его кресла.

— Деньги у вас есть, вы можете нанять лошадей и экипаж и ехать, нигде не задерживаясь, прямо до порта. Ведь вы уже несколько дней тому назад собирались уехать в Англию. Так вот, завтра же с утра закажите лошадей, и так, чтобы все было готово и вы могли выехать не позже двух часов.

— Будет сделано!

Картон говорил с таким жаром, что мистер Лорри, заразившись его воодушевлением, даже помолодел.

— Вы замечательный человек! Я же так и говорил. Лучше вас никто этого не сделает. Вы ей скажите сегодня же о том, что им угрожает, ей, и ее ребенку, и отцу… Но так, чтобы это до нее дошло, а то ведь она рада будет сложить голову рядом со своим мужем. — Он на минуту задумался, потом продолжал с тем же лихорадочным оживлением: — Вы ей внушите, что это ради ее ребенка, ради отца, убедите ее в необходимости выехать с вами из Парижа не позже этого часа. Скажите ей, что это последняя просьба ее мужа. И что от этого очень многое зависит, гораздо больше, чем она может надеяться или даже вообразить. Вы как думаете, ее отец в таком состоянии подчинится ей?

— Безусловно.

— Я тоже так думаю.

— Так вот, позаботьтесь, чтобы у вас к назначенному часу все было готово, лошади во дворе, и вы все на местах в карете, чтобы, как только я появлюсь, можно было немедленно выехать.

— Понятно. Во всяком случае, я дожидаюсь вас?

— У вас же в руках моя подорожная со всеми остальными. Вам нужно только оставить для меня место в карете, и как только место будет занято, — покатили в Англию!

— Ну, значит, не все от меня, старика, будет зависеть, — сказал мистер Лорри, пожимая горячую, но спокойную, твердую руку Картона, — у меня будет помощник, молодой энергичный человек.

— Бог даст — будет! Только обещайте мне твердо, — что бы ни случилось, вы ни под каким видом не передумаете и ни в чем не отступите от того, о чем мы сейчас с вами уговорились.

— Обещаю, Картон.

— Попомните об этом завтра: малейшее отступление, промедление — какая бы ни была причина — его все равно не спасти, а несколько человек поплатятся жизнью.

— Буду помнить. Если уж я взял на себя обязательство, я его выполню.

— Как и я свое. Ну, а теперь — прощайте!

И хотя он сказал это с улыбкой, лицо его было грустно и серьезно, и он даже поднес к губам руку старика, но и после этого ушел не сразу. Он помог ему поднять несчастного доктора, поникшего в кресле у камина, надел на него плащ и шляпу и уговорил его пойти с ними, пообещав найти его скамью и поднос с инструментами, о которых тот не переставал спрашивать. Он взял его под руку, и вместе с мистером Лорри они довели его до самого крыльца дома, где она, убитая горем — ах, какой она была счастливой в тот памятный день, когда Картон пришел открыть ей свою опустошенную душу! — коротала в одиночестве эту страшную ночь!

Он постоял во дворе, глядя на свет, пробивавшийся из окна ее комнаты. И прежде чем уйти, еще раз благословил ее и прошептал: «Прости!»

Глава XIII

Пятьдесят два

В мрачных стенах Консьержери обреченные смерти ожидали своей участи. В этот день осужденных на казнь было ровным счетом столько же, сколько недель в году. Пятьдесят два обреченных, подхваченных грозным валом бушующей стихии, должны были сегодня низринуться в бездонную пучину вечности. Они еще сидели в камерах, а на их место уже были намечены другие; и кровь их еще не пролилась и не смешалась с кровью, пролившейся накануне, а те, чья кровь завтра должна была смешаться с их кровью, уже были обречены и отобраны. Ровным счетом пятьдесят два — таково было число жертв на сегодня. Тут был и семидесятилетний откупщик, которому не помогли откупиться все его богатства, и двадцатилетняя швея, которую не спасли ни ее бедность, ни ее безвестность. Как заразная болезнь, порожденная пороком и нечистоплотностью, не щадит, не выбирает жертв, а губит кого ни попадя, так и страшный душевный недуг, порожденный невообразимыми страданиями, чудовищным притеснением и жестокостью, косил всех без разбора.

Чарльз Дарней, когда его привели из суда и заперли в камере, не тешил себя никакими надеждами. В каждом слове записок, которые читали на суде, он слышал свой приговор. Он знал, что его ничто не может спасти, ничье личное влияние, что он осужден миллионами, всем народом — и никакое заступничество отдельного человека не может иметь никакого веса. Но, хотя он это и сознавал, примириться, свыкнуться с этой мыслью, когда перед глазами стоял дорогой образ жены, было нелегко. Он был так привязан к жизни! И как мучительно больно было оторваться от этих крепко державших его милых уз! Едва только он невероятным усилием воли заставлял себя отрешиться от одного, его тут же захватывало другое и притягивало с неодолимой силой, и пока он с этим боролся, то, от чего он уже успел оторваться, снова завладевало им. Мысли его перескакивали с одного на другое с такой лихорадочной стремительностью и сердце так бешено колотилось в груди, точно все в нем восставало против этих попыток смириться. А когда ему на минуту казалось, что вот он уже примирился с неизбежным, перед ним, словно живой укор, вставал образ жены и ребенка, и он чувствовал себя эгоистом.

Но так было лишь несколько первых часов. Затем он стал утешать себя мыслью, что в его смерти нет ничего позорного и что каждый день множество людей, так же несправедливо осужденных, как и он, мужественно идут на смерть, и ему стало легче. А потом он подумал, что от его самообладания и спокойствия во многом зависит спокойствие его близких, и так постепенно мысли его обрели более возвышенный и отрешенный характер, и он даже почувствовал какое-то умиротворение.

Все это произошло с ним, прежде чем успело стемнеть и настала его последняя ночь. Ему разрешили купить свечу и письменные принадлежности, и он сел писать, пока еще не наступило время, когда по тюремным правилам полагалось тушить свет.

Он написал длинное письмо Люси, где говорил ей, что он ничего не знал о том, что ее отец столько лет томился в тюрьме, пока она сама не рассказала ему, и что до того, как сегодня

в суде огласили этот документ, он так же, как и она, не подозревал, что виновниками несчастья были его отец и дядя. Он уже и раньше объяснял ей, что вынужден был скрывать от нее свое настоящее имя, — от которого он отрекся добровольно — потому что на этом настаивал ее отец, и теперь понятно, почему отец поставил это непременным условием и, даже в самое утро их свадьбы, взял с него обещание, что он не нарушит этого условия. Он умолял не расспрашивать отца об этих записках, забыл ли он об их существовании, не вспомнил ли о них (а потом опять забыл), в связи с рассказом о находке в Тауэре, в тот воскресный вечер, когда они сидели в саду под старым платаном. Если отец даже и помнил о них, он, конечно, был в полной уверенности, что они были уничтожены во время осады Бастилии, потому что обо всем, что было найдено там, писали в газетах, а о них не было упомянуто ни словом. Он просил ее — и тут же добавлял, что и сам знает, что ее не надо об этом просить, — успокоить, утешить отца, внушить ему так, как только она одна и может, что ему не в чем себя упрекать, он все делал для них, что было в его силах, и не щадил себя ради них. Он говорил ей о своей любви и благословлял ее; умолял ее пересилить свое горе и посвятить себя заботам об их дорогой дочурке, быть утешением отцу и верить, что они встретятся за гробом.

И отцу ее он написал тоже; он поручал ему свою жену и дочь, просил его заботиться о них и особенно горячо настаивал на том, что он теперь остался их единственной поддержкой и опорой, надеясь, что этим он удержит его от отчаянья, поможет ему избежать нового приступа болезни.

И мистеру Лорри он написал, что он оставляет их всех на его попечение, посвящал его в свои денежные дела и выражал ему свои самые дружеские чувства, горячо благодарил его за участие. О Картоне он даже не вспомнил. Он так был полон мыслями о своих близких, что ни разу не подумал о нем.

Он успел написать все эти письма до того, как погасили свет, и когда он улегся на свой соломенный матрац, ему показалось, что он уже совсем простился с жизнью.

Но она снова завладела им во сне и предстала ему радостная, сияющая. Свободный, счастливый, он снова видел себя дома в Сохо (хотя это был совсем другой дом, непохожий на их старый), каким-то чудесным образом он вырвался на волю, и ему было так легко и хорошо, и он опять был с Люси, и она уверяла его, что все это ему приснилось и он никуда не уезжал из Англии. Потом все куда-то исчезло, и, кажется, его уже казнили, и он вернулся к ним мертвый, но на душе у него было по-прежнему спокойно и даже как будто ничто не изменилось. Потом опять все куда-то провалилось, и он проснулся, когда уже брезжил серый день, и первую минуту не мог понять, где он, что с ним, как вдруг его точно обожгла мысль: сегодня казнь.

Так незаметно прошла ночь и наступил день, когда под топором гильотины должны были упасть пятьдесят две головы. Он был спокоен, ему казалось, что он вполне владеет собой и мужественно встретит свой конец, но постепенно его стали одолевать какие-то странные мысли, и он никак не мог от них отделаться.

Он никогда не видел машины, которая должна была прекратить его жизнь. Высоко ли она над землей, на сколько ступеней к ней надо подняться, как стать, не будут ли в крови руки, которые его будут держать, куда его повернут лицом, возьмут ли его первым, или последним? Эти мысли, помимо его воли, неотвязно преследовали его. Они были вызваны не страхом; он не чувствовал страха. Скорее они возникали из острого, мучительного желания узнать заранее, как надо держать себя, когда наступит эта минута. И это непреодолимое желание чудовищно не соответствовало тем кратким секундам, за которые все должно было совершиться. В этом болезненном любопытстве было что-то навязчивое, точно какой-то демон обуял его и он никак не мог от него отделаться.

Он ходил из угла в угол по камере, и тюремные часы отбивали время числом ударов, которое для него больше уже никогда не повторится. Вот последний раз пробило девять, десять — вот уже и одиннадцать бьет, — последний раз; скоро и двенадцать пробьет, —

последний раз. Он все старался отогнать от себя назойливо преследующие его мысли, и, наконец, ему это удалось. Он прохаживался взад и вперед по камере и тихо повторял про себя дорогие имена. На душе у него было спокойно, борьба кончилась. Его перестали мучить навязчивые виденья. Он мог ходить взад и вперед и молиться за себя и за близких.

Пробило двенадцать — последний раз. Он знал, что казнь назначена на три часа. Вероятно, за ним придут несколько раньше — ведь эти перегруженные телеги так медленно двигаются по улицам.

Он решил, что ему следует быть наготове к двум часам и до тех пор стараться сохранить бодрость, чтобы найти в себе силы поддержать и подбодрить других.

Скрестив руки на груди, он шагал из угла в угол — как он был теперь непохож на того жалкого узника, метавшегося по камере в Лафорсе. Он слышал, как пробило час, и спокойно, без тени волнения, отметил про себя, что время идет, как всегда, ни скорее, ни медленнее, и, поблагодарив бога за свое спокойствие и самообладание, подумал — остается еще час, — и снова зашагал взад и вперед.

Шаги в коридоре по каменным плитам. Кто-то остановился у его двери.

Ключ повернулся, щелкнул замок. Прежде чем дверь отворили, или когда ее отворяли, чей-то голос тихо сказал по-английски:

— Он меня здесь ни разу не видел, я старался не попадаться ему на глаза. Вы ступайте один, я подожду вас; только времени мало, поторопитесь.

Дверь отворилась и захлопнулась, и Дарней увидел перед собой Сидни Картона: Картон стоял молча, мягко улыбаясь, приложив палец к губам, и внимательно смотрел на него. Что-то необыкновенно сияющее было в его взгляде, в выражении его лица, и это было так удивительно, что узник невольно подумал, не мерещится ли ему опять? Но Картон заговорил, — и это был его голос; он пожал Дарнею руку, — и это было его крепкое рукопожатье.

— Вы, конечно, никак не ожидали меня здесь увидеть? — сказал он.

— Просто глазам своим не поверил, да и сейчас не верится! — Внезапное подозрение мелькнуло у него в уме: — Вы… не арестованы?

— Нет. Просто один из здешних тюремщиков кой-чем обязан мне, и вот благодаря этому меня пропустили сюда. Я пришел от нее… от вашей жены, дорогой Дарней.

Узник горячо пожал ему руку.

— Я пришел передать вам ее просьбу.

— Просьбу?!

— Да, и вы должны выполнить ее немедленно. Она просит вас об этом самым настоятельным, самым убедительным образом, — вы ведь знаете, как трогательно и настойчиво она умеет просить!

Узник отвел глаза в сторону и слегка отвернул лицо.

— Сейчас не время спрашивать, почему я пришел к вам с этой просьбой и что это означает, и у меня нет времени объяснять вам. Вы должны сделать то, что она просит: немедленно снимайте башмаки и надевайте мои сапоги!

За спиной узника у стены стоял стул, Картон с молниеносной быстротой усадил Дарнея, стянул с себя сапоги и стал около него босой.

— Надевайте мои сапоги! Берите в руки, надевайте поскорей!

— Картон, бежать отсюда немыслимо, это никогда не удавалось. Вы только погибнете вместе со мной. Это сумасшествие!

— Это было бы сумасшествие, если бы я предложил вам бежать. Но разве я вам предлагаю? Вот если я предложу вам шагнуть за этот порог, скажите, что это сумасшествие и

не двигайтесь с места! Снимайте живо ваш галстук, надевайте мой, вот вам мой сюртук! Пока вы переодеваетесь, дайте-ка я сниму у вас ленту и растреплю ваши волосы, вот так, как у меня!

Он действовал с таким невероятным проворством, с такой удивительной ловкостью и настойчивостью, что Дарней в его руках был как беспомощный ребенок.

— Картон! Милый Картон! Это же безумие! Нельзя этого делать! Из этого ничего не выйдет! Сколько было попыток, — ни одна не удалась! Умоляю вас, дайте мне умереть спокойно, не мучаясь мыслью, что вы из-за меня погибли!

— Милый Дарней, я ведь не предлагаю вам выйти из вашей камеры. Если я предложу это, — откажитесь наотрез. Вот там на столе я вижу перо, чернила и бумагу. Рука у вас не дрожит? Способны вы написать несколько слов?

— Был способен до вашего прихода.

— Так возьмите себя в руки. Садитесь, пишите под мою диктовку. Скорей, друг, скорей!

Дарней, схватившись за голову и ровно ничего не понимая, сел к столу. Картон стал за его спиной, засунув правую руку за борт сюртука.

— Пишите слово в слово то, что я вам сейчас скажу.

— Кому адресовать?

— Никому. — Картон стоял, не двигаясь, не вынимая руки из кармана жилета.

— Число поставить?

— Не надо.

Задавая эти вопросы, узник каждый раз поднимал глаза на Картона. И Картон, нагнувшись над ним и все так же не вынимая руки из кармана, отвечал ему спокойным взглядом.

«Если вы помните наш очень давнишний разговор, вы, прочитав это, поймете все. Вы не забыли его, я в этом уверен. Вы не способны забыть то, о чем мы говорили».

Он осторожно вынул руку из кармана, но в эту минуту Дарней, дописав слово, поднял на него вопросительный взгляд, и рука Картона, пряча что-то, скользнула обратно в карман.

— Написали «то, о чем мы говорили»? — спросил Картон.

— Что у вас в руке? Оружие?

— Нет. У меня нет никакого оружия.

— А что у вас в руке?

— Сейчас узнаете. Пишите дальше, еще несколько слов — и все: «Я благодарю судьбу, что настал час, когда я могу подтвердить свои слова делом. И вы не должны ни огорчаться, ни сожалеть об этом». — Он не сводил глаз с Дарнея и, произнося эти слова, медленно и осторожно провел рукой перед самым его лицом.

Перо выпало из рук Дарнея, он растерянно огляделся по сторонам.

— Что это, точно дурман какой-то?

— Какой дурман?

— Что это я сейчас вдохнул?

— Не знаю ничего, что вы такое могли вдохнуть. Берите перо, кончайте, скорей, скорей!

Узник был точно в полуобморочном состоянии. Он, видимо, потерял способность соображать и с невероятным усилием старался овладеть собой; тяжело дыша, он тупо смотрел на Картона помутившимся взглядом, а Картон, спрятав руку за борт сюртука, пристально смотрел на него.

— Ну, скорей же, скорей!

Узник нагнулся над бумагой с пером в руке. «Если бы все так не сложилось, — рука Картона мягко и осторожно скользнула вниз, — так бы от меня и не было никому никакой

пользы. Если бы все так не сложилось… — рука быстро приблизилась к лицу Дарнея, — за сколько еще лет дурной жизни пришлось бы мне отвечать на том свете… Если бы все так не сложилось…» Картон нагнулся и увидел, что перо еле движется по бумаге, оставляя какие-то каракули. Он уже больше не прятал руку. Дарней вскочил со стула, уставившись на него укоризненным взглядом, но Картон крепко прижал правую руку к его губам и ноздрям, а левой обхватил его за талию. Еще несколько секунд узник отбивался, пытаясь бороться с человеком, который пришел отдать за него жизнь, но через минуту он уже лежал без чувств на полу.

Быстро, все с той же уверенностью, с какой он подчинялся велению своего сердца, Картон переоделся в платье, сброшенное узником, зачесал назад волосы и перевязал их лентой, которую носил Дарней. Потом подошел к двери и тихонько окликнул:

— Вы здесь? Войдите! — И в камеру вошел фискал.

— Ну, видите, — сказал Картон, становясь на колени возле бесчувственной фигуры и засовывая записку к нему в карман. — Так ли уж вы рискуете?

— Мистер Картон, в нашем с вами деле, — произнес фискал, нервно потирая руки, — мой риск не в этом, а в том, выполните ли вы наш уговор до конца?

— Не бойтесь, смерть я не обману.

— Вот про то-то я и говорю, мистер Картон, потому что ведь по счету выводить будут — пятьдесят два! Ну, а так, в его платье, вас и не узнать, только бы вы не подвели!

— Не бойтесь, я скоро уберусь и не смогу вам вредить, да и остальные, бог даст, скоро будут далеко отсюда. Ну, ступайте, позовите себе кого-нибудь на помощь да несите меня в карету!

— Вас? — испуганно переспросил фискал.

— Его, но ведь он же теперь — это я. Выйдете вы в те же ворота, через которые вы меня провели?

— Да, конечно.

— Так вот, значит — мне было дурно, я еле на ногах держался, когда вы меня сюда вели, а когда вы за мной пришли, — застали меня в обмороке. Я, прощаясь с другом, лишился чувств. Здесь это не в диковинку, такие вещи часто случаются. Все теперь зависит от вас. Ну, живо, ступайте, зовите кого-нибудь на помощь.

— Но вы клянетесь, что не подведете меня? — трясясь от страха и не решаясь двинуться с места, спросил фискал.

— Ну, что это в самом деле! — вскричал Картон, топнув ногой. — Я же поклялся вам довести дело до конца, что же вы теперь мнетесь, когда нельзя терять ни минуты! Вы сами доставите его на тот двор, где мы с вами были, сами внесете его в карету, вызовете мистера Лорри и скажете, что давать ему ничего не надо, он сам придет в себя на свежем воздухе, и еще скажете, что я прошу мистера Лорри помнить наш вчерашний уговор, сдержать свое обещание и не медлить с отъездом.

Фискал ушел, а Картон сел к столу, облокотился и закрыл лицо руками. Фискал тотчас же вернулся с двумя стражниками.

— Гляди-ка! — сказал один из них, уставившись на распростертую на полу фигуру. — Неужто так огорчился, что приятель его вытащил билетик с выигрышем в лотерею святой Гильотины!

— Пожалуй, и добрый патриот не огорчился бы так, коли бы этому аристократу повезло вытянуть пустышку!

Подняв бесчувственное тело, они перенесли его к двери и положили на носилки.

— Время на исходе, Эвремонд, — предостерегающим тоном напомнил фискал.

— Я знаю, — ответил Картон, — прошу вас, позаботьтесь о моем друге, оставьте меня одного.

— Ну, пошли, ребята, — сказал Барсед. — Подымайте носилки да идем!

Дверь закрылась, и Картон остался один. Он встал, подошел к двери. Напрягая слух, настороженно прислушался, не доносится ли какой-нибудь подозрительный шум, не поднялась ли тревога. Все было спокойно. В коридоре у камер звякали ключами, щелкали замки, со скрипом открывались двери, иногда слышались чьи-то шаги, но ни крика, ни суматохи, ни беготни — ничего этого не было. Он с облегчением вздохнул, вернулся к столу, сел, но продолжал прислушиваться.

Часы пробили два. И тут из коридора донесся шум, но Картон слушал его спокойно, без страха, понимая, что это значит. Одну за другой отпирали двери, наконец щелкнул замок и распахнулась его дверь. Вошел тюремщик со списком в руке и, не глядя, сказал: «Следуйте за мной, Эвремонд», — и он пошел за ним по длинному коридору и очутился в большой темной комнате. Был хмурый зимний день; в комнате стоял полумрак, за решетчатым окном высилась мрачная стена, и трудно было различить кого-нибудь в этой толпе осужденных, которых привели сюда, чтобы связать им руки. Кто стоял, кто сидел; иные плакали и метались, но таких было немного. Большинство стояло молча, опустив голову и глядя себе под ноги.

Картон прошел в темный угол комнаты и стал, прислонившись к стене; после него привели еще несколько человек из этих же пятидесяти двух, и один из них, проходя мимо него, остановился и, по-видимому узнав, бросился его обнимать. Картон не на шутку перепугался, что вот тут-то все и обнаружится. Но тот, расцеловавшись с ним, отошел. И сейчас же вслед за этим молоденькая женщина, сидевшая у стены, — Картон невольно обратил внимание на ее хрупкую девичью фигурку и кроткое личико, в котором не было ни кровинки, — внезапно поднялась с места и подошла к нему.

— Гражданин Эвремонд, — сказала она, тронув его худенькой окоченевшей рукой. — Я бедная швейка, я сидела вместе с вами в Лафорсе.

— Да, правда, — пробормотал он, — но я забыл, в чем они вас обвиняли?

— В заговоре. Но только, видит бог, я ни к каким заговорам не причастна. Да и как это может быть? Придет ли кому в голову ввязывать в эти дела такое беспомощное, убогое существо, как я!

И, говоря это, она смотрела на него с такой жалкой улыбкой, что слезы невольно навернулись у него на глаза.

— Я смерти не боюсь, гражданин Эвремонд, но только я ничего такого не делала. Я готова умереть, если это нужно для блага Республики, которая так много доброго старается сделать для нас, бедняков; но только как это может быть, какая ей от этого польза, вот что мне невдомек, гражданин Эвремонд! Такое убогое, ничтожное существо, как я!

И последний раз, перед тем как остыть навеки, сердце Картона вспыхнуло жгучей жалостью к этой несчастной девушке.

— Я слышала, что вас освободили, гражданин Эвремонд. Я-то обрадовалась, думала, правда!

— Так оно на самом деле и было. Но потом меня опять взяли и осудили.

— Если я сяду рядом с вами, когда нас повезут, можно мне взять вас за руку, гражданин Эвремонд? Я не боюсь, только я такая слабая, хилая, если я буду за вас держаться, это меня подбодрит.

Она подняла на него терпеливый умоляющий взгляд, и вдруг в глазах ее мелькнуло сомнение, изумление. Он крепко сжал ее худенькие, огрубевшие от работы пальчики и быстро приложил руку к губам.

— Это, вы за него на смерть идете? — прошептала она.

— Да, ради его жены и ребенка. Тсс!

— Так вы позволите мне держаться за вашу добрую руку, милый незнакомец?

— Тсс! Да, сестра моя, бедняжка моя! До конца.

Та же мгла, что нависла с утра над тюрьмой, висит и над городской заставой, где вечно толпится народ и где сейчас караульные остановили карету с отъезжающими из Парижа и требуют для проверки подорожные.

— Кто едет? Сколько человек? Предъявите подорожные!

Подорожные предъявляют. Старший в карауле проверяет вслух:

— Александр Манетт, доктор, француз. Который из вас?

Вот он. Ему показывают на дряхлого сгорбленного старика, который что-то бессвязно бормочет.

— Похоже, гражданин доктор повредился в рассудке. Революция ему, видно, в голову бросилась. Не выдержал!

Да, не выдержал.

— Что ж, со многими это бывает. Люси, его дочь, француженка. Которая?

— Вот она.

— Ну, да! Другой кроме нее и нет. Люси. Жена Эвремонда. Она самая? Она самая.

— Так. А Эвремонд, значит, отбыл в другое место. Люси, ее дочь, англичанка. Это она и есть? Она самая.

— Поцелуй меня, малютка, дочь Эвремонда. Вот теперь можешь гордиться, ты поцеловала доброго республиканца. Наверно, это единственный случай в вашей семье. Запомни это. Сидни Картон. «Адвокат. Англичанин. Где он? Ему показывают. Вот он лежит, в самом углу.

— А он что, в беспамятстве, этот адвокат, англичанин?

Надо надеяться, что на свежем воздухе он скоро придет в себя. У него слабое здоровье, и он только что расстался с другом, который имел несчастье заслужить гнев Республики.

— Только-то! Стоит из-за этого расстраиваться! Мало ли народу заслужило гнев Республики и она их выпихивает в оконце. Джарвис Лорри. Банковский служащий. Англичанин. Это который же?

— Я, последний. Как видите, больше никого нет.

Это он, Джарвис Лорри, отвечает на все вопросы. Он вышел из кареты, стоит, держась рукой за дверцу, и терпеливо объясняется с караульными. А они толкутся у кареты, оглядывают ее со всех сторон, смотрят под козлы, лезут наверх, проверяют привязанный там скромный багаж. И крестьяне из окрестных деревень столпились вокруг кареты, с любопытством заглядывают внутрь, а одна женщина с ребенком на руках тянет его ручонку в карету, стараясь дотронуться до жены аристократа, которого казнили на гильотине.

— Получайте ваши бумаги, Джарвис Лорри, подорожные отмечены, все в порядке.

— Можно отправляться, гражданин?

— Можно отправляться. Трогай, кучер! Счастливого пути!

— Счастливо оставаться, граждане! Уф! Первая опасность позади!

Это опять говорит Джарвис Лорри, молитвенно сложив руки и подняв глаза к небу. Ужас царит в карете: смятенье, слезы, тяжкое дыхание лежащего без чувств человека!

— Боже, как мы медленно едем! Нельзя ли подогнать лошадей? — молит Люси, прижимаясь к старому другу.

— Это будет похоже на бегство, милочка. Не надо слишком торопить кучера, он может что-то заподозрить.

— Посмотрите назад, посмотрите, не гонятся ли за нами?

— Никого нет на дороге, моя душенька. Нет, никакой погони не видно.

Мелькают редкие домики, по два, по три, одинокие фермы, развалины господского замка, красильни, дубильни и разные другие заведения, луга, поля, ряды оголенных деревьев. Под ними мощенная щебнем неровная ухабистая дорога, по обе стороны ее глубокая непролазная грязь. Иногда мы съезжаем в грязь, чтобы объехать кучу сваленного на мостовой щебня, и камни сыплются на нас, стучат по стенкам кареты, а иногда застреваем на каком-нибудь ухабе, увязнув в глубокой колее, и долго не можем двинуться с места. И тогда, измученные страхом и нетерпением мы, в ужасе, не помня себя, готовы выскочить из кареты и бежать, бежать без оглядки, — спрятаться, укрыться куда-нибудь, только бы не стоять посреди дороги!

И вот опять поля, луга, развалины господского замка, одинокие фермы, дубильни, красильни и разные другие заведения, редкие домики по два, по три, ряды оголенных деревьев. Что это, нас, кажется, обманули — поехали другой дорогой и привезли на то же место! Конечно, мы здесь уже проезжали! Ах, нет, слава богу! Деревня. Посмотрите назад, посмотрите, не гонятся ли за нами! Тише! Мы останавливаемся. Почтовый двор!

Лениво, не спеша, отпрягают нашу четверку; лошадей уводят, карета остается стоять посреди деревенской улочки, и не похоже, что она когда-нибудь двинется; лениво, не спеша, одну за другой выводят со двора лошадей, кучер и форейтор, уже другие, подходят не спеша, лениво распутывая и мусоля кожаные концы своих бичей; прежние кучер и форейтор не спеша пересчитывают деньги, сбиваются со счета и ворчат, что им не доплатили. А несчастные седоки все это время сидят, как приговоренные к казни, и никакому, самому резвому скакуну в мире не угнаться за их неистово бьющимися сердцами, которые, кажется, вот-вот выпрыгнут из груди.

Но, наконец, новые форейтор и кучер уселись на свои места, прежние отстали и ушли. Мы выезжаем из деревни, поднимаемся в гору, спускаемся вниз, и вот уже снова затопленные луга и поля, бескрайняя болотистая равнина. Но что это? О чем так громко спорят кучер с форейтором, размахивают руками, кричат, и вдруг лошади чуть не встают на дыбы, так круто их осадили, карета внезапно останавливается. Погоня?

— Эй вы там, в карете! Слышите, что ли?

— Что такое? — спрашивает мистер Лорри, высунувшись в окошко.

— Как там говорили, сколько их нынче?

— Не понимаю.

— Да вот сейчас на почтовом дворе сказывали, сколько их нынче на гильотину пошло?

— Пятьдесят два.

— Ну вот, что я говорил! Знатная партия! А вот тут мой приятель, гражданин, спорит со мной, будто сорок два, на десять голов обсчитался! Эх, здорово работает гильотина! Славная кумушка! Но-нно! Пошли!

Ночь надвигается. Он начинает шевелиться, постепенно приходят в себя, что-то бормочет, ему кажется, что тот все еще с ним, он просит его о чем-то, называет по имени, спрашивает, что у него в руке! Господи! Спаси нас! Сжалься над нами! Посмотрите, посмотрите назад! Не гонятся ли за нами?

Ветер гонится за нами, нас догоняют облака, месяц, ныряя, катится за нами, ночь настигает нас, обволакивает тьмой. Нет, пока еще за нами никто не гонится!

Глава XIV
Покончено с вязаньем

В тот самый час, когда пятьдесят два осужденных на казнь ожидали своей участи, мадам Дефарж, Месть и присяжный трибунала Жак Третий собрались втроем на страшный тайный совет. На этот раз совещание происходило не в винном погребке, мадам Дефарж встретилась со своими верными приспешниками в сарае пильщика, бывшего батрака, который когда-то чинил дороги. Пильщик не участвовал в совете, а сидел поодаль, как подчиненный, которому не дано права говорить, пока его не спросят, и не полагается иметь свое мнение, пока ему не предложат высказаться.

— Но ведь Дефарж честный республиканец, — сказал Жак Третий, — в этом не приходится сомневаться.

— Да, уж лучше его не найдешь — во всей Франции другого такого не сыщешь! — с жаром подхватила Месть.

— Помолчи, Месть, — хмурясь, сказала мадам Дефарж, зажимая ладонью рот своей верной подручной. — Дай мне сказать слово. Мой муж, граждане, добрый республиканец и отважный человек; у него много заслуг перед Республикой, и он пользуется большим доверием. Но у моего мужа есть свои слабости. И вот в чем его слабость — он жалеет этого доктора.

— Факт прискорбный, — прокаркал Жак Третий, с сомнением качая головой и поднося костлявые пальцы к своему алчному рту. — Недостойно хорошего патриота, очень-очень огорчительно.

— Вы понимаете, — продолжала мадам. — Мне до этого доктора никакого дела нет. Уцелеет у него голова на плечах или нет, — меня это никак не касается, мне все равно. Но Эвремонды должны быть истреблены все до одного, жена и ребенок должны последовать за мужем и отцом.

— А у нее для этого как раз подходящая голова, — одобрительно закаркал Жак Третий. — Я видел такие белокурые головы с голубыми глазами — глаз не оторвешь, когда Самсон поднимает их за волосы! — В кровожадном чудовище проснулся эпикуреец.

Мадам Дефарж сидела задумавшись, опустив глаза.

— И девочка тоже! — мечтательно продолжал Жак Третий. — У нее тоже голубые глаза и золотые волосики. А дети у нас редко бывают! Прелестное зрелище!

— Словом, вот что, — внезапно заговорила мадам Дефарж, выходя из своей задумчивости. — Я в этом деле не могу доверять мужу. Со вчерашнего вечера я поняла, что его не только нельзя посвящать в то, что я собираюсь сделать, но что мне надо поторопиться, потому что он может предупредить их, и они от нас ускользнут.

— Этого никак нельзя допустить! — каркнул Жак Третий. — Как можно, чтобы кто-нибудь ускользнул! Мы и так не добираем того, что следует. Цифру надо довести до ста двадцати в день.

— Короче говоря, — продолжала мадам Дефарж, — у моего мужа нет причин, которые заставляют меня добиваться полного истребления этой семьи, а у меня нет причин жалеть этого доктора, как это делает он. Вот почему я должна действовать сама. Подойдите сюда, гражданин!

Пильщик, которому мадам Дефарж внушала непреодолимый ужас, почтительно и смиренно приблизился, комкая в руках свой красный колпак.

— Вот относительно этих сигналов и знаков, которые она подавала заключенным, — сурово обратилась к нему мадам Дефарж, — вы, гражданин, готовы свидетельствовать, что видели это сами, своими глазами?

— Как же, конечно! — с готовностью отвечал пильщик. — Каждый день в любую погоду, в два часа, как придет, так до четырех и стоит и все знаки подает, когда с дочкой своей, когда одна. Могу засвидетельствовать. Сам, своими глазами видел!

И, говоря это, он всеми десятью пальцами пытался изобразить какие-то знаки, которых никогда в жизни не видел.

— Заговор! Совершенно ясно! — сказал Жак Третий. — Можно не сомневаться! Сразу видно.

— А присяжные как? Можно на них положиться? — с зловещей улыбкой спросила мадам Дефарж, устремив на него испытующий взгляд.

— Все присяжные — верные патриоты, можете не опасаться, дорогая гражданка. Я за своих товарищей ручаюсь.

— Так как же быть? — в раздумье продолжала мадам Дефарж. — Надо решить, могу я уступить этого доктора моему мужу? Мне до него дела нет, но могу ли я его пощадить?

— Как-никак, лишняя голова, — понизив голос, заметил Жак Третий, — а у нас и так не хватает голов. Жаль упустить.

— Он тоже подавал знаки, когда я видела его с ней, — продолжала мадам Дефарж. — Не могу же я говорить о ней и умолчать о нем, а молчать и доверить все этому дурачку я тоже не могу; ведь я все-таки веский свидетель.

Месть и Жак Третий с жаром принялись уверять ее, что она замечательный свидетель, лучше и быть не может, а дурачок, не желая отставать от других, заявил, что она просто бесподобный свидетель.

— Нет, пусть сам выкарабкивается, — сказала мадам Дефарж, — я не могу его пощадить! Вы будете сегодня там, в три часа? Придете смотреть на казнь? Я вас спрашиваю!

Пильщик, к которому она обратилась с этим вопросом, поспешил уверить ее, что он непременно придет, и не преминул добавить, что он, пламеннейший республиканец, был бы в отчаянье, если бы что-нибудь помешало ему пойти посмотреть на такое зрелище и насладиться послеобеденной трубочкой, глядя на изумительную работу славного брадобрея. Он говорил с таким жаром, что невольно приходило на ум (и, возможно, в темных глазах мадам Дефарж и мелькнуло такое подозрение), — а не от страха ли у него такое усердие, не дрожит ли он за себя денно и нощно.

— Я тоже там буду, — сказала мадам Дефарж. — Так вот, после того как это кончится, скажем, часов в восемь, приходите ко мне в Сент-Антуан, и мы вместе отправимся в наш комитет и дадим на них показания.

Пильщик подобострастно изъявил готовность сопровождать гражданку, присовокупив, что это для него великая честь. Гражданка смерила его презрительным взглядом, и он, весь съежившись, словно собачонка, поджавшая хвост, нагнулся над пилой и в замешательстве стал перебирать дрова.

Мадам Дефарж направилась к выходу и, поманив за собой Жака присяжного и Месть, остановилась с ними в дверях и стала излагать им свой план действий.

— Она должна быть дома сейчас, убивается в ожидании его казни, плачет, горюет, — словом, она в таком состоянии, что ее легко уличить в неуважении к трибуналу, в сочувствии врагам Республики. Я пойду к ней.

— Какая удивительная женщина! — воскликнул Жак Третий.

— Бесценная ты моя! — взвизгнула Месть и бросилась ей на шею.

— Возьми мое вязанье, — сказала мадам Дефарж, передавая его в руки своей приспешницы, — положи его на мое место, чтобы никто другой не занял. Ты знаешь, где я обычно сижу. Ступайте прямо туда, сегодня, наверно, будет такое стечение народа, какого давно не было.

— Счастлива повиноваться приказу моего командира, — чмокнув ее в щеку, ответила Месть. — Но только ты смотри не опоздай!

— Я думаю, я успею вернуться еще до начала, — сказала мадам Дефарж, выходя на улицу.

— До того, как приедут телеги! Слышишь, душа моя! — крикнула ей вдогонку Месть.

— До того, как приедут телеги!

Мадам Дефарж помахала ей рукой, чтобы показать, что она слышала и постарается прийти вовремя, и быстро зашагала по грязи вдоль тюремной стены. И пока она не скрылась за углом, Месть и Жак Третий стояли и смотрели ей вслед, восхищаясь ее статной фигурой, ее добродетелями и достоинствами.

Многих женщин изуродовало то страшное время, но ни одну из них оно не превратило в такое опасное чудовище, как эту жестокую матрону, которая сейчас торопливо шествовала по улицам. Бесстрашная, решительная, властная, она была одарена от природы умом проницательным, острым, непреклонной волей и той своеобразной красотой, которая не просто отражала эти ее суровые черты, но и мгновенно давала их почувствовать всякому, кто бы на нее ни взглянул; в то смутное время она показала бы себя при любых обстоятельствах. Но, с детства вынашивая чувство затаенной обиды и смертельной ненависти к господам, теперь, когда наконец-то можно было дать волю этим чувствам, она превратилась в настоящую тигрицу. Она не знала жалости. Если когда-нибудь ей и было доступно это чувство, она давно подавила его в себе, и от него не осталось и следа.

Ей ничего не стоило предать в руки палача ни в чем не повинного человека и лишить его жизни за грехи предков. Ей ничего не стоило сделать вдовой его жену, а дочь сиротой; мало того, она считала это недостаточной карой, ведь это были ее исконные враги, ее добыча, и она не желала выпустить их из своих рук живыми. Тщетно было бы умолять ее сжалиться, она не умела жалеть, она и к себе никогда не испытывала жалости. Если бы в какой-нибудь уличной стычке, в уличном бою, в которых ей не раз приходилось участвовать, она оказалась побежденной, она не пожалела бы себя; если бы ее завтра отправили на гильотину, она, всходя на эшафот, чувствовала бы не страх, не скорбь, а яростное желание поменяться местами с тем, кто послал ее на смерть.

Вот какое сердце билось в груди мадам Дефарж под грубой одеждой. Она мало заботилась о своей одежде, но тем не менее платье было ей к лицу, под стать ее суровой красоте, а густые черные волосы буйными прядями выбивались из-под красного колпака. На груди под платьем был спрятан заряженный пистолет, а за поясом, укрытый складками платья, торчал отточенный кинжал. Так, во всеоружии, уверенная в себе, твердой решительной поступью, но с той непринужденной легкостью, какая дается с детства тому, кто растет у моря и бегает босой по прибрежному песку, мадам Дефарж быстро шагала по улицам.

Накануне, когда мистер Лорри, готовясь к отъезду, заказывал лошадей и дорожную карету, которая сейчас уже стояла во дворе, дожидаясь последнего седока, он долго не мог решить, как ему быть с мисс Просс. Перегружать карету лишним седоком было не только нежелательно, но и крайне опасно, ибо это могло затянуть проверку подорожных на заставе, а им, в их положении беглецов, каждая секунда промедления грозила гибелью. Наконец после долгих обсуждений мистер Лорри предложил мисс Просс поехать с Джерри — им обоим разрешался беспрепятственный выезд из города; они выедут в три часа дня в самом легком экипаже, какой можно будет достать; так как они поедут без багажа, они скоро нагонят карету и поедут вперед и таким образом смогут заблаговременно заказывать для них лошадей и значительно облегчать им езду, сократив время стоянок, чрезвычайно опасных для них, особенно ночью.

Мисс Просс, обрадовавшись, что она может оказать помощь в таком важном деле, с восторгом ухватилась за это предложение. Вдвоем с Джерри они вышли проводить карету со двора и оба видели, кого принесли на носилках под присмотром Соломона и уложили на подушки в карете, видели, как тронулась карета, потом постояли минут десять, терзаясь беспокойством и страхом, и, наконец, пошли собираться в дорогу. А мадам Дефарж тем

временем быстро шагала по улице, приближаясь к опустевшему дому, где эти двое держали совет.

— Как вы думаете, мистер Кранчер, — вся дрожа, говорила мисс Просс; она так разволновалась, что уж не могла ни сидеть, ни стоять и с трудом выговаривала слова, — может, нам лучше ехать не отсюда, не с этого двора? Только что одна карета съехала, и мы следом, как бы чего ни заподозрили?

— Ваша правда, мисс, — отвечал мистер Кранчер, — я так скажу, правильно вы изволите судить. Ну, а уж там, как вы надумаете, так и будет, я от вас не отстану.

— Я просто себя не помню от страха, — всхлипывая и обливаясь слезами, говорила мисс Просс. — Ужас меня берет за моих бедняжек дорогих. Что я могу надумать? Может, вы что-нибудь придумаете, дорогой мистер Кранчер?

— Ежели на будущее, оно, пожалуй, я кое-что и придумал, — сказал мистер Кранчер, — ну, а вот как сейчас быть, насчет этого, мисс, не с моей головой решать. И вот о чем я хочу просить вас, будьте свидетельницей, мисс, клянусь вам, как перед богом, я на себя два торжественных обета беру, — только бы наше с вами желание исполнилось.

— Ах, господи боже! — не переставая обливаться слезами, вскричала мисс Просе. — Давайте скорей ваши обеты, да покончим с этим, дорогой мистер Кранчер!

— Первое, — побледнев и дрожа всем телом, торжественно произнес мистер Кранчер, — ежели наши безвинные страдальцы выберутся благополучно, клянусь, я никогда больше не буду этого делать, никогда!

— Верю, верю, мистер Кранчер! Конечно, вы никогда больше не будете этого делать, — подхватила мисс Просс, — только, прошу вас, не объясняйте мне, чего именно, не надо никаких подробностей!

— Нет, мисс, насчет этого я больше ничего не скажу, — успокоил ее мистер Кранчер. — А второе, — ежели наши безвинные страдальцы выберутся благополучно, я никогда больше не буду препятствовать миссис Кранчер бухаться об пол, сколько ее душе угодно!

— Я, конечно, не знаю ваших домашних порядков, — сказала мисс Просс, вытирая слезы и понемножку приходя в себя. — Но, во всяком случае, миссис Кранчер видней, как ей управляться с хозяйством, и вам вовсе незачем в это вмешиваться. Ах, бедненькие мои!

— Больше того, мисс, — внушительно продолжал мистер Кранчер, и мисс Просс уже начала опасаться, не собирается ли он произнести проповедь, — я прошу вас засвидетельствовать то, что я сейчас скажу, чтобы миссис Кранчер могла от вас самой услышать, что я теперь на ее буханье совсем по-другому смотрю, и даже, по совести сказать, прямо на то и надеюсь, что она, бог даст, может и сейчас бухается.

— Ну, хорошо, хорошо, так оно, вероятно, и есть! — в отчаянии вскричала мисс Просс. — И должно быть, мистер Кранчер, она в конце концов добьется того, что нужно.

— Упаси, боже, — еще более внушительно и торжественно продолжал мистер Кранчер, с таким видом, как будто он и в самом деле произносил проповедь, — ежели я когда-нибудь позволил себе что, на словах или на деле, не дай бог, чтобы это помешало сбыться тому, чего я от всего сердца желаю нашим безвинным страдальцам. Не дай бог! А то, как бы нам всем не пришлось бухаться, чтоб вызволить их из этой страшной опасности! Избави бог! Не дай бог — нет, что я говорю! — дай бог! — Так после тщетных усилий выразить обуревавшие его чувства мистер Кранчер не совсем внятно закончил свою речь.

А мадам Дефарж тем временем быстро приближалась к дому.

— Если мы когда-нибудь вернемся на родину, — сказала мисс Просс, — можете положиться на меня. Я непременно передам миссис Кранчер все, что вы говорили сейчас с таким чувством, — если, конечно, у меня что-то удержится в голове, и, во всяком случае,

можете быть спокойны, я засвидетельствую, что вам было не до забав в это ужасное время. А теперь, ради бога, уважаемый, давайте подумаем, как же нам быть, дорогой мистер Кранчер!

А мадам Дефарж была уже недалеко от дома.

— Может быть, вам пойти на почтовый двор да сказать им, чтобы они не подавали сюда, и вы с кучером подождете где-нибудь, пока я не приду. Как по-вашему, не лучше ли это будет?

Мистер Кранчер согласился, что так будет лучше.

— А где бы вы могли меня подождать?

У мистера Кранчера так все перепуталось в голове, что он не мог назвать никакого другого места Тэмпл-Бара. Но Тэмпл-Бар — увы! — был за тридевять земель, а мадам Дефарж подходила все ближе и ближе.

— Что, если вы подождете меня у собора? — предложила мисс Просс. — Это будет не очень большой крюк, если они подадут лошадей к собору, и вы подождете меня там у входа, между двумя башнями?

— Нет, не большой, мисс, — отвечал мистер Кранчер.

— Ну, так вот, уважаемый, бегите сейчас же на почтовый двор и перехватите лошадей.

— А как же я вас тут одних-то оставлю? — с сомнением сказал мистер Кранчер, качая головой. — Кто знает, как бы чего не случилось?

— Кто знает? Один бог знает! — вскричала мисс Просс. — Нет, уж за меня вы не бойтесь. Ждите меня у собора ровно в три или около трех. Я уверена, что так будет лучше, нежели уезжать отсюда. Никаких сомнений! С богом, мистер Кранчер, ступайте скорей. И не думайте обо мне, сейчас надо думать о тех, чья жизнь, может быть, висит на волоске, а спасти их можем только мы с вами.

Мисс Просс, вцепившись в мистера Кранчера обеими руками, смотрела на него такими умоляющими глазами и взывала к нему с таким отчаянием, что он, наконец, решился и, кивнув ей на прощанье, дабы подбодрить ее перед уходом, отправился на почтовый двор, перехватить кучера с лошадьми.

Успокоившись, что все будет улажено вовремя, мисс Просс вздохнула с облегчением. Она взглянула на часы; было уже двадцать минут третьего, — времени в обрез, а ей надо было еще привести себя в порядок, чтобы прохожие не пялились на нее на улицах. Нельзя было терять ни секунды.

Испуганно озираясь и прислушиваясь, — нервы у нее были так напряжены, что ей было как-то не по себе в этих пустых комнатах и все казалось, будто кто-то следит за ней из-за каждой двери, — мисс Просс налила в глиняный таз воды и, опустив лицо в таз, стала плескать холодной водой на свои покрасневшие и опухшие от слез глаза. Но так как ей все время что-то мерещилось, она боялась держать лицо в воде больше секунды и то и дело подымала голову и оглядывалась, не следит ли за ней кто-нибудь из-за двери. И вдруг она дико вскрикнула и отскочила назад: кто-то стоял в комнате.

Таз полетел на пол и разбился, и вода потекла под ноги мадам Дефарж. Стопы, запятнанные кровью, какими неисповедимыми путями, какая тайная сила привела вас омыться в этой воде!

— Мне надо жену Эвремонда, где она? — холодно спросила мадам Дефарж.

Мисс Просс, спохватившись, что все двери в комнате открыты настежь и сразу можно обнаружить, что жильцы бежали, первым делом бросилась закрывать двери. Их было четыре. Она закрыла все и стала перед той, что вела в комнату Люси. Темные глаза мадам Дефарж следили за каждым ее движением и теперь впились в ее лицо. Мисс Просс никогда не отличалась красотой; годы не сгладили ее резкие черты, не смягчили ее угловатой грубости; но она не уступала в решимости мадам Дефарж и теперь, очутившись с ней лицом к лицу, смотрела на нее не отводя глаз.

— По виду ты сущая дьяволица, — пробормотала мисс Просс, — но будь ты хоть женой самого сатаны, я перед тобой не отступлю. Я — англичанка.

Мадам Дефарж смотрела на нее презрительно, но, видимо, понимала, что с этой особой придется помериться силами. У этой костлявой, нескладной, жилистой женщины была твердая рука, когда-то мистер Лорри испытал на себе ее тяжесть. Мадам Дефарж знала, что мисс Просс преданный друг этой ненавистной семьи; и мисс Просс тоже хорошо знала, что мадам Дефарж заклятый враг семьи доктора.

— Я шла туда, — сказала мадам Дефарж, махнув рукой в сторону роковой площади, — мне уже там заняли место, вязанье мое положили, — и решила заглянуть по дороге, хотела поговорить с ней.

— Не с доброй ты целью пришла, — отвечала мисс Просс, — и так и знай, я все сделаю, чтобы тебе помешать.

Каждая говорила на своем родном языке; ни одна не понимала ни слова из того, что говорила другая; но обе следили друг за другом и по выражению лица, по интонации, безошибочно угадывали смысл, кроющийся в непонятных словах.

— Не дело это, что она прячется от меня в такую минуту, — продолжала мадам Дефарж. — Всякому доброму патриоту нетрудно догадаться, как это надо понимать. Позовите ее сейчас же. Я должна ее увидеть. Ступайте, скажите ей, что я ее жду. Слышите?

— Если бы у тебя вместо глаз сверла были и ты бы меня целый день сверлила, ничего бы у тебя все равно не вышло, напрасно стараешься, подлая иностранка. Не на таковскую напала!

Разумеется, сии образные выражения не дошли до мадам Дефарж, однако она отлично поняла, что эта особа осмеливается ей дерзить.

— Вот дура упрямая! — гневно вскричала мадам Дефарж. — Как ты смеешь мне возражать! Мне нужно ее видеть. Ступай немедленно и скажи, что я жду, или посторонись с дороги, и я пойду к ней сама. — И она пояснила свои слова выразительным жестом.

— Вот не думала, что буду когда-нибудь жалеть, что не понимаю твоего дурацкого языка, — пробормотала мисс Просс, — а сейчас все бы, до нитки, отдала, лишь бы узнать, догадалась ли ты, в чем дело, подозреваешь ли правду.

Обе они не сводили друг с друга глаз. Мадам Дефарж до сих пор стояла, не двигаясь с места, но теперь она шагнула к мисс Просс.

— Я англичанка, я сейчас на все готова, я свою жизнь ни в грош не ставлю, — стиснув зубы, говорила мисс Просс, — я только одно знаю, — чем дольше я тебя здесь продержу, тем больше шансов спастись у моей птички. Посмей меня только тронуть, я тебе все космы повыдергаю.

Так говорила мисс Просс, задыхаясь, сверкая глазами и яростно тряся головой. Мисс Просс, которая никого в жизни пальцем не тронула.

Но мисс Просс черпала мужество в своем добром сердце, а оно было так переполнено чувством, что у нее невольно выступили слезы на глазах. Мадам Дефарж не имела понятия о таком мужестве. Она приняла его за трусость.

— Ха-ха-ха! — расхохоталась она. — Вот дура несчастная! Что с ней разговаривать! Поговорю-ка я с доктором! — И она крикнула громко: — Гражданин доктор! Жена Эвремонда! Дочь Эвремонда! Есть кто-нибудь дома, кроме этой тупицы? Отзовитесь гражданке Дефарж!

Тишина ли поразила ее, или, быть может, она что-то прочла на лице мисс Просе, но у нее вдруг мелькнуло подозрение, — они уехали, в доме никого нет. Она быстро распахнула одну за другой три двери и заглянула в комнаты.

— Тут все разбросано, видно, укладывались наспех. А ну-ка в той комнате? Есть там кто-нибудь? Пусти-ка, я посмотрю!

— Ни за что! — сказала мисс Просс. Она прекрасно поняла окрик мадам Дефарж, так же, как и та ее ответ.

— Если в этой комнате никого нет, — рассуждала про себя мадам Дефарж, — значит, они уехали, и за ними надо послать погоню и вернуть их.

— Покуда ты не знаешь, тут они или нет, — рассуждала сама с собой мисс Просе, — ты ничего не сможешь предпринять, и если это от меня зависит, тебе этого и не узнать. Но узнаешь ты или не узнаешь, все равно, пока я жива, я тебя отсюда не выпущу!

— Я в уличных боях врукопашную билась, — шипела мадам Дефарж, — меня ничто не остановит! Прочь от двери, не то я тебя в клочья разорву!

— Мы одни в верхнем этаже, двор глухой, там сейчас никого нет, никто не услышит. Дай мне, боже, силы удержать тебя как можно дольше, каждая минута для моей милочки на вес золота! — шептала мисс Просс.

Мадам Дефарж решительно двинулась к двери. Мисс Просс, недолго думая, обхватила ее обеими руками и зажала, как в тисках. Мадам Дефарж тщетно пыталась вырваться, мисс Просс держала ее изо всех сил, — а силы ей придавала любовь, которая всегда сильнее ненависти. Мадам Дефарж била ее кулаками, исцарапала в кровь все лицо, но мисс Просс, низко опустив голову, обхватила ее за талию, как утопающий обхватывает корягу, и даже раза два приподняла ее с полу, так и не разжимая рук.

Наконец мадам Дефарж перестала отбиваться, и рука ее потянулась к поясу.

— Он у меня под локтем, — прошептала про себя мисс Просс, — нет, тебе не удастся его вынуть, я, слава богу, посильнее тебя. Я тебя держу и буду держать до тех пор, пока одна из нас не обессилеет или не умрет!

Внезапно мадам Дефарж сунула руку за пазуху. Мисс Просс подняла голову, увидела, что у нее в руке, и изо всех сил ударила ее по руке снизу вверх; вспыхнул огонь, раздался оглушительный выстрел, и она осталась одна, ничего не видя от едкого черного дыма.

Все это произошло в одну секунду, и сразу наступила мертвая тишина. Дым вскоре рассеялся, исчез так же, как и душа этой ожесточенной женщины, которая лежала мертвая на полу.

Мисс Просс в первую минуту в ужасе бросилась прочь от тела и сломя голову кинулась вниз по лестнице звать на помощь. К счастью, она вовремя опомнилась и тут же вернулась обратно. Страшно ей было войти в эту дверь, но она вошла и даже заставила себя пройти совсем близко от трупа, чтобы взять шляпку и собрать все, что нужно в дорогу. Все это она вынесла на лестницу, заперла дверь, вынула ключ, оделась и села на ступеньку отдышаться; поплакала, потом встала и быстро пошла прочь.

На ее счастье, шляпа была с вуалью, не будь этого, ее непременно задержали бы на улице. На ее счастье также, природа наделила ее такой несусветной внешностью, что не очень бросалось в глаза, как она обезображена: расцарапанное лицо было сплошь покрыто ссадинами, волосы торчали космами, платье, застегнутое кое-как, наспех, дрожащими руками, все смятое, висело на ней вкривь и вкось. Переходя Сену, она бросила в воду ключ от квартиры.

Она пришла к собору на несколько минут раньше своего спутника, который должен был явиться с экипажем, и пока она ждала, ее все время преследовала мысль, не вытащил ли кто-нибудь неводом ключ, и что, если его вытащили и выяснится, откуда он, дверь непременно откроют и найдут труп, и тогда ее задержат на заставе, отправят в тюрьму и осудят за убийство. Эти мысли не переставали преследовать ее до тех пор, пока не появился мистер Кранчер. Он усадил ее в экипаж, и они поехали.

— А что, сейчас на улице слышен шум? — спросила мисс Просс.

— Как обыкновенно, — ответил мистер Кранчер и посмотрел на нее с недоумением, удивляясь, что это она спрашивает и отчего у нее такой странный вид.

— Я не расслышала, — сказала мисс Просс. — Что вы сказали?

Мистер Кранчер повторил свой ответ, и не один раз; но сколько он ни повторял, она ничего не слышала.

«Уж лучше я буду просто кивать, — решил озадаченный мистер Кранчер. — Уж это-то она хоть увидит». — И точно, она увидела.

— А сейчас есть шум на улице? — немного погодя, спросила мисс Просс.

Мистер Кранчер опять кивнул.

— Я ничего не слышу.

— Оглохла за один час? — раздумчиво промолвил мистер Кранчер, тщетно ломая себе голову. — Что это с ней такое приключилось?

— Мне показалось, — сказала мисс Просс, — как будто что-то вспыхнуло да как трахнет! И после этого я вдруг перестала слышать, совсем, навсегда.

— Надо же, вот чудеса! Что это с ней такое стряслось? — не на шутку встревожившись, рассуждал сам с собой мистер Кранчер. — Должно быть, чего хлебнула для храбрости. А вон эти страшные телеги грохочут! Уж это-то вы слышите, мисс?

— Я ничего не слышу, — сказала мисс Просс, видя, что он обращается к ней. — Ах, милый человек, я вам говорю, после того как у меня в голове вдруг что-то трахнуло, сразу наступила такая тишина, такая тишина, что ее теперь ничто не прошибет, так оно навсегда и останется, до конца дней моих.

— Да, уж коли она не слышит грохота этих телег, все они подъезжают к месту казни, — промолвил мистер Кранчер, оглядываясь через плечо, — похоже, она больше никогда ничего не услышит в здешнем мире. И так оно на самом деле и было.

Глава XV

Шаги умолкают навсегда

Грузно и гулко грохочут по улицам Парижа повозки с осужденными на смерть. Шесть телег везут вино гильотине, — порцию на день. Все немыслимые, ненасытные кровожадные чудовища, которыми человеческое воображение когда-либо населяло мир, соединились и воплотились в гильотине. Ни один листик, ни один колос, ни зерно, ни росток, ни побег, при всем богатейшем разнообразии почвы и климата Франции, не росли и не созревали в таких благоприятных условиях, в каких выращивалось это чудовище. Попробуйте еще раз сокрушить народ таким беспощадным молотом, и он превратится в такую же уродливую массу. Посейте опять те же семена хищного произвола и деспотизма, и они принесут такие же плоды.

Шесть телег с осужденными двигаются по улицам. Обрати их в то, чем они были, о могущественный волшебник Время! и мы увидим вместо них кареты самодержавных властителей, блестящую свиту, всесильных придворных, куртизанок в роскошных нарядах, храмы, в коих не «дом отца моего»[63], а разбойничий вертеп, и убогие лачуги в обнищалых деревнях, где миллионы крестьян гибнут от голода. Но нет, великий волшебник, который мудро вершит законы божественного зодчего, никогда не возвращает в прежний вид то, что он подверг превращению.

«Если превращение совершилось с тобой по воле Всемогущего, — говорят маги в мудрых арабских сказках[64] тем, кто приходит и просит, чтобы их освободили от чар, — ты останешься таким, как есть. А если тебя околдовал джинн, тебе возвратится твой прежний вид!» Телеги с осужденными двигаются к месту казни, для них нет надежды обрести свой прежний вид.

Шесть телег смертников врезаются в толпу, как плуги, прокладывая в ней длинную извилистую борозду. Зловещие плуги движутся, взрывая темную массу, раскидывая по обе стороны теснящиеся ряды. Люди, живущие в домах, мимо которых изо дня в день возят

осужденных на гильотину, так привыкли к этому зрелищу, что во многих окнах никого не видно, в других стоят или сидят, занимаясь своим делом, спокойно провожая взглядом едущих на казнь; но кое-где у окон собрались любопытные, похоже — хозяин позвал гостей поглядеть на зрелище и с покровительственным видом распорядителя выставки показывает им на ту или другую телегу, а может быть, и осведомляет их, кто там сидел вчера, а кто третьего дня.

Из тех, кто едет в телегах, одни смотрят на это безучастным взором, как и на все, что встречается им на их последнем пути; другие поглядывают не без интереса на жизнь, бьющую ключом. Многие сидят, опустив голову, поникнув в немом отчаянии, но есть и такие, которые, стараясь произвести впечатление, принимают картинные позы, как на сцене. Несколько человек сидят, закрыв глаза, и думают, или пытаются о чем-то думать. И только один какой-то несчастный помешался от страха, и поет, и даже порывается плясать. Но никто ни взглядом, ни жестом не взывает к сочувствию толпы.

Рядом с телегами по обе стороны едет конная стража, и то и дело из ближних рядов тянутся лица, стражников засыпают вопросами, По-видимому, вопрос всегда один и тот же, потому что вслед за тем в толпе происходит движение, лица жадно тянутся к третьей телеге. То один, то другой из стражников, едущих рядом с этой телегой, показывает острием шпаги на одного осужденного. Все только одно и спрашивают — который? Он стоит с краю, наклонив голову, и разговаривает с молоденькой девушкой, которая сидит на боковой скамье и держит его за руку. Он не обращает внимания на толпу, он разговаривает с девушкой. Когда телеги едут длинной улицей Сент-Оноре, в толпе там и сям раздаются по его адресу злобные выкрики. Они не трогают его, он спокойно улыбается, тряхнув головой, и волосы низко свешиваются ему на лицо. Он не может откинуть их руками, — руки у него связаны.

У какой-то церкви на ступенях паперти стоит тюремная овца — фискал. Он окидывает взглядом первую телегу: «Нет». Вглядывается во вторую: «Нет. Неужели предал?» — думает он, но вот взгляд его перебегает на третью телегу, и лицо его проясняется.

— Который Эвремонд? — спрашивает его кто-то сзади.

— Вон тот. С краю.

— Это которого девчонка за руку держит?

— Да.

И человек за спиной фискала вопит что есть силы:

— Смерть Эвремонду! На гильотину аристократов! Смерть Эвремонду!

— Шшш! — несмело останавливает его фискал.

— Это почему же, гражданин?

— Он сейчас за все расплатится, еще каких-нибудь пять минут. Дай ему умереть спокойно.

Но тот продолжает выкрикивать: «Смерть Эвремонду!» Эвремонд на секунду оборачивается, видит фискала, пристально глядит на него и проезжает дальше.

Часы вот-вот пробьют три. Взрытая плугами борозда заворачивает на площадь к месту казни и здесь кончается; отброшенные по обе стороны и кое-где рассыпавшиеся ряды смыкаются за последним плугом, и толпа устремляется к гильотине. В первых рядах на стульях, расставленных, как на увеселительном зрелище, сидят женщины и деловито перебирают спицами — все вяжут. На одном из передних стульев стоит Месть и смотрит по сторонам, не идет ли ее подруга.

— Тереза! — кричит она пронзительным голосом. — Никто не видел Терезы? Тереза Дефарж!

— Вот уж кто никогда не пропускал! — говорит одна из вязальщиц.

— Она и сегодня не пропустит, — взвизгивает негодующая Месть. — Тереза!

— А ты кричи погромче! — говорит соседка.

Кричи громче, Месть! Еще громче! — Но нет — едва ли она услышит тебя! Кричи, Месть, ругнись разок-другой, отведи душу и снова кричи — нет, не услышит. Пошли за ней, покричи женщинам, пусть посмотрят, поищут ее, куда она провалилась! Нет, вряд ли твои посыльные, хоть они и не знают страха и ни перед чем не останавливаются, — вряд ли они отважатся последовать за ней туда, где можно ее найти.

— Вот несчастье! — кричит Месть, топая ногами. — И телеги уже приехали! Не успеешь оглянуться — и Эвремонду отрубят голову, а ее все нет. Вот и вязанье ее здесь, — и стул я для нее заняла, экая досада, прямо хоть плачь!

Месть соскакивает со стула и садится, смахивая слезы; телеги начинают разгружаться. Служители св. Гильотины, в полном облачении, торжественно приступают к священнодействию. Трах! — И палач, подхватив голову за волосы, поднимает ее и показывает толпе. И женщины, которые за минуту до того даже не подняли глаз от своего вязанья, чтобы взглянуть на эту голову, пока она еще мыслила и могла что-то сказать, считают: «Одна».

Вот и вторая телега подъезжает и разгружается. За ней третья. Трах! Вязальщицы, все так же не переставая шевелить спицами, считают: «Две!»

Тот, кого называют Эвремондом, выходит из телеги, за ним следом стражники снимают швею. Он не выпускает ее руки из своих, он крепко держит эту терпеливую руку, верный своему обещанию. Он ставит девушку спиной к грохочущей машине, огромный нож которой с визгом снует вверх и вниз, и она смотрит на него благодарными глазами.

— Если бы не вы, милый незнакомец, разве я была бы так спокойна, я, такая трусиха! Нет у меня совсем мужества! И я не могла бы вознестись сердцем к тому, кто положил жизнь свою за нас, чтобы мы верили и надеялись. Должно быть, сам господь бог послал мне вас!

— Или вас мне. — говорит Сидни Картон. — Смотрите мне в глаза, дитя мое, и не бойтесь ничего.

— Я ничего не боюсь, когда держу вас за руку. И когда отпущу вашу руку, тоже не буду бояться, если это только один миг.

— Это один миг. Не бойтесь!

Они стоят в толпе обреченных, которая быстро редеет, но разговаривают, как если бы они были одни; держатся за руки, смотрят в глаза друг другу и льнут друг к другу сердцами; дети Великой Матери, такие далекие, разные, сошлись на темной дороге и вместе идут домой припасть к материнской груди и опочить навек.

— Добрый, великодушный друг, можно мне вас спросить: я ведь совсем неученая… вот я о чем все думаю…

— Ну, скажите о чем?

— У меня есть двоюродная сестренка, такая же сирота, как я. Кроме нее, никого у меня больше родных нет, я ее очень люблю. Она меня лет на пять моложе и живет в деревне далеко отсюда, на юге. По бедности нам пришлось расстаться, она ничего о моей судьбе не знает — я ведь писать не умею, да и умела бы, разве у меня поднялась бы рука написать про это! Пусть уж лучше не знает!

— Да, конечно, ей лучше не знать.

— Так вот я о чем думала, когда мы сюда ехали, и сейчас — гляжу на ваше доброе лицо, такое бесстрашное, что и у меня, глядя на вас, страх прошел, и все эта мысль у меня из головы не выходит: — Если и вправду Республика для нас, бедняков, старается, чтобы мы не так голодали, не мучились, не выбивались из сил, сестренка моя может еще долго прожить, может, и до глубокой старости доживет.

— Ну, и что нее, милая моя, добрая сестра?

— А как вы думаете, — кроткие глаза наполняются слезами, но смотрят терпеливо, не жалуясь, и губы чуть дрожат, — мне очень долго покажется ждать ее там, в лучшем мире, в котором мы с вами, — ведь так оно будет, правда, — найдем милосердный приют?

— Нет, дитя мое. Там нет ни времени, ни печалей.

— Вот как вы меня утешили! Можно, я вас поцелую теперь? Уже пора?

— Да. Пора!

Она целует его в губы, и он целует ее; они благословляют друг друга. Худенькая ручка не дрожит, когда он выпускает ее из своих рук; на терпеливом лице кроткое, доверчивое, ясное выражение. Ее уводят, — его очередь за ней, — и вот ее уже нет. Женщины, перебирая спицами, считают: «Двадцать две».

«Я есмь воскресение и жизнь, — сказал господь, — верующий в меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в меня не умрет вовеки».

Толпа гудит, лица жадно тянутся кверху, люди, стоящие сзади, топчутся нетерпеливо, напирают, темная масса, колыхнувшись, стремительно подается вперед и вдруг затихает, подобно отхлынувшему прибою. Нож падает. Двадцать три.

В тот вечер о нем говорили в городе, что никогда еще ни один человек не всходил на эшафот с таким просветленным липом. А многие прибавляли, что в его лице было даже что-то вдохновенное, провидческое.

Одна из замечательнейших женщин того времени, также погибшая на гильотине[65], попросила позволения перед казнью записать осенившие ее мысли.

Если бы он прозревал будущее и записал свои мысли, вот что мы прочли бы:

«Я вижу Барседа, Клая, Дефаржа, Месть, присяжных, судей и множество новых угнетателей, пришедших на смену старым, и всех их настигнет карающий меч, прежде чем его отложат в сторону. Я вижу цветущий город и прекрасный народ, поднявшийся из бездны; вижу, как он, в стойкой борьбе добиваясь настоящей свободы, через долгие, долгие годы терпеливых усилий и бесчисленных поражений и побед искупит и загладит зло моего жестокого времени и предшествующих ему времен, которые выносили в себе это зло.

Я вижу тех, за кого я отдаю свою жизнь, — они живут спокойно и счастливо, мирной деятельной жизнью, там, в Англии, которую мне больше не придется увидеть. Я вижу ее с малюткой на руках, она назвала его моим именем. Вижу отца ее, годы согнули его, но он бодр и спокоен духом и по-прежнему приходит на помощь страждущим. Я вижу их доброго, испытанного друга; он покинет их через десять лет, оставив им все, что у него есть, и обретет награду на небесах.

Я вижу, как свято они чтут мою память; она живет в их сердцах и еще долго-долго будет жить в сердцах их детей и внуков. Я вижу ее уже старушкой, вижу, как она плачет обо мне в годовщину моей смерти. Я вижу ее с мужем; преданные друг другу до конца жизни и до конца сохранив память обо мне, они почиют рядом на своем последнем земном ложе.

Я вижу, как малютка, которого она нарекла моим именем, растет, мужает, выбирает себе дорогу в жизни, которой некогда шел и я; но он идет по ней не сбиваясь, мужественно преодолевает препятствия, и имя, когда-то запятнанное мною, сияет, озаренное славой. Я вижу его праведным судьей, пользующимся уважением и любовью; сын его носит мое имя, — мальчик с золотистыми волосами и ясным выразительным челом, милыми моему сердцу. Он приводит своего сына на это место, где нет уже и следа тех ужасов, что творятся здесь ныне, и я слышу, как он прерывающимся от волнения голосом рассказывает ему обо мне.

То, что я делаю сегодня, неизмеримо лучше всего, что я когда-либо делал; я счастлив обрести покой, которого не знал в жизни».

Комментарии

«Повесть о двух городах» впервые была напечатана в апреле — ноябре 1859 года в журнале «Круглый год», издаваемом Диккенсом. Это — второй исторический роман писателя. В «Повести о двух городах» так же, как и в романе «Барнеби Радж», первом произведении Диккенса, написанном в историческом жанре, обращение к прошлому имело вполне злободневный подтекст.

В 1857 году в Англии разразился экономический кризис, последствия которого еще ухудшили и без того бедственное положение народа. В письмах Диккенса, относящихся к этому периоду, сквозит большое беспокойство. Его тревогу вызывает политическая беспринципность правящих кругов, отчетливо раскрывшаяся в период Крымской войны. Будучи целиком на стороне народа, он, однако, опасался, как бы эгоистическая забота буржуазии о своих интересах не привела к восстанию, а может быть, даже к революции. Насилие же как средство искоренения социального зла Диккенс считал неприемлемым. Недавно отшумевшие грозные события чартизма, а также действительность Англии 50-х годов побудили писателя вновь обратиться к теме революционного насилия. Во всех предыдущих романах, где писатель касался проблемы революции, она решалась на материале небольших эпизодов классовой борьбы. В «Повести о двух городах» изображена народная революция, охватившая всю страну. Как художника и мыслителя Диккенса теперь привлекает задача раскрытия социальных причин, которые привели к полному перевороту в жизни общества, имевшему катастрофические последствия для целых классов.

Однако масштабность задачи, поставленной Диккенсом, не означала пересмотра им своих прежних позиций. Вот почему осуществление задуманного привело к двойственному результату. С одной стороны, в изображении жизни феодальной Франции в романе проявляется мощь Диккенса-художника, а с другой, с особой наглядностью обнаруживается ограниченность взглядов писателя, пугавшегося размаха революционной народной стихии.

Как и в предыдущих своих произведениях, Диккенс показывает, что революционное возмущение народа — ответ на насилие господствующих классов. В первой половине романа мы видим предреволюционную Францию и Англию за полтора десятилетия до начала революции. Писатель находит слова испепеляющего гнева, рисуя деспотический режим феодальной монархии, произвол дворян-крепостников, до предела ожесточивших народ и вызвавших его справедливый протест.

Мы видим в романе нищую, задавленную поборами французскую деревню, бесчеловечную жестокость надменных аристократов, жертвами которой становятся и ребенок, растоптанный копытами лошадей, бешено мчавших карету маркиза, и молодая крестьянка, и ее брат, вступившийся за честь своей сестры, и врач, брошенный без суда и следствия на 18 лет в Бастилию. Все эти эпизоды выразительны и правдивы.

Диккенс внушает читателю мысль о неотвратимости возмездия за все эти жестокости. То здесь, то там в повествовании возникают грозные предзнаменования грядущей расплаты: кроваво-красное вино окрашивает мостовую Сент-Антуанского предместья, багрово-красные блики ложатся на лицо маркиза д'Эвремонда… Это лишь предвестия, — скоро на парижских мостовых прольется настоящая человеческая кровь.

Вторая половина романа — за исключением 10-й главы, содержащей исповедь доктора Манетта, — посвящена событиям революции 1789—1793 годов. Здесь со всей ясностью обнаружилась противоречивость взглядов Диккенса: морально оправдывая революцию, он не мог примириться с ее насильственными методами.

Писателя мало интересует конкретная политическая история Французской революции. В романе нет этапов развития революции, нет борьбы партий, не названы даже имена политических вождей. В сущности, в нем нет и исторических лиц, если не считать кратких упоминаний о французских и английских королях и королевах (имена которых даже не названы) и коменданте Бастилии (также не имеющем имени).

Мало в романе и бытовых деталей, характеризующих жизнь Франции эпохи революции; почти совсем отсутствуют описания революционных событий: кроме взятия Бастилии упомянуто только введение закона о ликвидации имущества эмигрантов, сентябрьские события 1792 года, суд над королем и казнь 22-х жирондистов.

В этом отношении исторический роман Диккенса сильно отличается от распространенной в те годы в Англии литературы того же жанра (романы Дж. Элиот, Ч. Рида, Э. Бульвера и других), перегруженной историческими фактами и деталями.

Диккенса нельзя упрекнуть в умышленном отступлении от исторической правды: у писателя были документальные основания для большинства эпизодов; главным источником ему служила книга Томаса Карлейля «История Французской революции», откуда он почерпнул большинство фактов, а также идею возмездия господствующим классам за их преступления перед народом. Но Диккенс не смог дать объективную картину Французской революции, непомерно сгустив краски в изображении кровавых событий, он погрешил против правды истории; в действительности революционный террор был направлен не против невинных жертв, как это показано в последней части романа, а против контрреволюции, пытавшейся задушить молодую Французскую республику.

Однако, как ни тенденциозна картина революции в романе (особенно в его заключительной части), Диккенс оказался гораздо смелее и дальновиднее многих своих современников — писателей и историков. «Повестью о двух городах» он художественно подкрепил мысль, что ответственность за революцию ложится на господствующий класс, не оставляющий перед народом иного выбора, кроме восстания.

Осуждая метод революционного насилия, Диккенс все надежды возлагает на надклассовую гуманность. Носителями ее в романе является Чарльз Дарней (он же Шарль Эвремонд), добровольно отказавшийся от своих родовых прав в пользу народа, и Джарвис Лорри, агент банка Теллсона, с одинаковым рвением помогающий и бывшему узнику Бастилии Манетту и эмигрантам-аристократам, еле унесшим ноги из Франции.

«Повесть о двух городах» обнаруживает противоречия в гуманизме Диккенса. Но когда книга Диккенса предстает перед нами в исторической перспективе, то наряду с ограниченностью писателя в решении вопроса о революционных методах борьбы становится очевидным и другое, а именно то, что для своего времени такой роман был необычным явлением. Смелость писателя, напоминавшего господствующим классам в период наступившего в Англии «умиротворения» о неотвратимом и справедливом народном возмездии, сумевшего с большой сатирической силой обрисовать вершителей судеб народа и с большой теплотой и выразительностью изобразить духовное превосходство людей из народа, поднимает роман Диккенса над произведениями его современников. Диккенс не хотел революции, но он не хотел и сохранения в неприкосновенности жестоких порядков капиталистической Англии. Его книга была грозным предупреждением господствующим классам Англии.

И. Катарский

1

Идея этой повести впервые возникла у меня, когда я… участвовал в домашнем спектакле, в пьесе Уилки Коллинза «Застывшая пучина». — Уилки Коллинз (1824—1889) — английский романист и драматург. Друг Диккенса, соавтор некоторых его рассказов 50—60-х годов. Первое представление пьесы Коллинза «Застывшая пучина», поставленной в ознаменование дня рождения брата писателя, Чарльза Коллинза, состоялось 6 января 1857 года. Диккенс исполнял в ней роль Ричарда Уордура, жертвующего собой ради счастья девушки, в которую он был безответно влюблен, и соперника, которого он спасает от смерти. Образ Ричарда

Уордура подсказал Диккенсу образ Сидни Картона, пожертвовавшего собой ради любимой женщины.

2

…к замечательной книге мистера Карлейля… — «История Французской революции» (1837) английского писателя, историка и публициста Томаса Карлейля (1795—1881) использована Диккенсом как источник сведений о событиях первой буржуазной революции во Франции.

3

…на английском престоле сидел король с тяжелой челюстью и некрасивая королева. — Имеются в виду Георг III (1738—1820), короновавшийся в 1760 году, и его жена Шарлотта.

4

Король с тяжелой челюстью и красивая королева сидели на французском престоле. — Людовик XVI (1754—1793), коронован в 1774 году, и Мария-Антуанетта (1755—1793), младшая дочь австрийского императора Франца I и эрцгерцогини австрийской Марии Терезии, с 1770 года жена Людовика XVI, Мария-Антуанетта с нескрываемой враждебностью относилась к любым проявлениям либерализма, и народ платил ей ненавистью.

5

…коклейнский призрак угомонился всего лишь каких-нибудь двенадцать лет… — Имеется в виду авантюристка, появлявшаяся под видом привидения на лондонской улице Кок-лейн и «сообщавшая вести с того света»; была разоблачена и осуждена в 1762 году.

6

…от конгресса английских подданных в Америке… стали доходить сообщения… о вполне земных делах и событиях… — Речь идет об английских колониях в Северной Америке, восставших против британского владычества. 10 мая 1775 года открылся второй Континентальный конгресс в Филадельфии; в том же году началась война американцев за независимость, окончившаяся провозглашением бывших колоний буржуазной республикой США.

7

…сестрица со щитом и трезубцем… — то есть Англия, «владычица морей». Трезубец — эмблема мифического бога морей Нептуна.

8

…передвижную машину с мешком и ножом — то есть гильотину.

9

Ньюгетская тюрьма — уголовная тюрьма в Лондоне, построенная еще в средние века: была разрушена во время мятежа лорда Гордона (см. роман «Барнеби Радж») и вскоре восстановлена. На улице перед тюрьмой вплоть до середины XIX века проводили в исполнение смертные приговоры, осуществлявшиеся раньше в Тайберне; снесена в 1903—1904 годах.

10

Тэмпл («Храм») — группа средневековых зданий, построенных орденом тэмплиеров («храмовников»); образуют квартал в центре Лондона, где с давних пор находились школы законоведения, юридические корпорации и адвокатские конторы. Тэмпл пользовался особыми правами и не подчинялся городским властям.

11

…предместье Сент-Антуан — окраинный район Парижа, населенный ремесленниками и рабочими, игравшими важнейшую роль в событиях революции 1789—1793 годов.

12

Нокс — одно из чисто условных, нарицательных имен, употребляемых в английской юридической документации.

13

...избавились от страшного зрелища выпученных остекленевших глаз, косившихся... с Тэмплских ворот. — Обычай выставлять головы казненных на ограде Тэмпла был отменен в 1772 году.

14

Олд-Бейли — уголовный суд в Лондоне; разрушен во время гордоновского мятежа, но затем восстановлен; к нему примыкала Ньюгетская тюрьма; оба здания были снесены в самом начале XX века. Суд Олд-Бейли неоднократно упоминается в произведениях Диккенса.

15

...преступников вешали в Тайберне... — место казни уголовных преступников в северо-западной части старинного Лондона; на открытых галереях находились сидения, где за высокую плату располагались зрители. Последняя казнь состоялась в 1783 году, после чего место казней было перенесено к Ньюгетской тюрьме.

16

«Все правомерно, так как быть должно» — изречение английского поэта XVIII века Александра Попа (1688—1744) из его поэмы «Опыт о человеке».

17

Бедлам — крупнейшая в Англии лечебница для умалишенных.

18

...за несколько недель до первого столкновения, между английскими и американскими войсками... — Принято считать первым столкновением битву при Банкерс-Хилле 17 июня 1775 года, когда плохо вооруженные американские повстанцы потерпели поражение от регулярных английских войск.

19

Королевский суд — иначе: Суд Королевской Скамьи — верховный гражданский суд в Англии, где решения принимались на основе «судебных прецедентов».

20

...между январской сессией и Михайловым днем — то есть между 11 января (началом первой судебной сессии) и 20 сентября (Михайловым днем), за которым следует четвертая заключительная судебная сессия.

21

...начиная с Джефриса... — Джордж Джефрис (1648—1689) — верховный судья Англии, прославившийся жестокими расправами. Есть его портрет, принадлежащий, очевидно, кисти английского художника Годфри Неллера (1646—1723).

22

Шрузберийская школа — одна из известных школ в Англии, расположенная в главном городе графства Шрузбери; основана в середине XVI века.

23

Латинский квартал — район Парижа, где находятся университетские здания и где живет много студентов.

24

...как нищий, забредший в чужой приход и не имеющий собственного пристанища. — Бедняк, оказывавшийся на территории чужого прихода, не мог рассчитывать на помощь местных властей.

25

…обедневших французских эмигрантов… — В квартале лондонского Сохо в конце XVII века поселились десятки тысяч гугенотов, бежавших из Франции от религиозных преследований.

26

…крестной Золушки… — Намек на чудесный дар феи (из сказки о Золушке), превращавшей тыкву в карету, крысу в кучера, а мышей в лошадей.

27

Тауэр — старинная крепость в Лондоне, служившая тюрьмой для преступников, обвиняемых в государственной измене.

28

…невозвратимые дни торговавшего ею веселого Стюарта. — Имеется в виду король Англии Карл II (1630—1685), вступивший в тайный сговор с Францией против союзницы Англии — Голландии, и выторговавший за это субсидии от Людовика XIV.

29

«Ибо моя земля и все, что наполняет ее…» — Диккенс имеет в виду библейский текст: «Ибо, господня земли и все, что наполняет ее» (Послание к коринфянам, гл. 10, ст. 26).

30

Генеральный откупщик. — Лицо, за большую плату получавшее от правительства привилегию собирать налоги с населения.

31

…изуверскую секту трясунов… — разновидность религиозных фанатиков, возникшая в начале 30-х годов XVIII века среди янсенистов; отличительной особенностью трясунов было обыкновение бросаться на землю и корчиться в конвульсиях, нередко притворных.

32

Тюильрийский дворец — королевский дворец в Париже на берегу Сены, примыкавший к Лувру; 10 августа 1792 года был занят Конвентом и сожжен в дни Парижской коммуны (1871).

33

…напоминали разъяренных змей над головами фурий. — Фурии — в римской мифологии богини мщения, существа с леденящим взглядом, на головах которых сплетаются змеи.

34

…как в немецкой балладе о Леноре… — баллада немецкого поэта Готфрида-Августа Бюргера (1747—1794) приобрела популярность в Англии благодаря переводу Вальтера Скотта (1796); написанная в духе романтической фантастики баллада повествует о том, как девушка Ленора была увезена призраком своего умершего жениха на кладбище, где он повенчался с ней.

35

Воксхолл, Рэнле — в конце XVIII века сады, излюбленные места общественных увеселений.

36

Близ Сент-Дунстана у Тэмплских ворот. — Статуя св. Дунстана (архиепископа Кентерберийского, жившего в XII веке и приобщенного позднее к лику святых) украшала ворота Тэмпла.

37

…уподобившись тому языческому поселянину, который некогда на многие сотни лет был обречен сидеть и смотреть на течение некоего потока… — Диккенс припоминает рассказ об

одном поселянине, который, намереваясь перейти реку, решился переждать на берегу ее, когда «пройдет» вода.

38

Последователь Исаака Уолтона… — Исаак Уолтон (1593—1683) — английский писатель, прославившийся своей книгой «Совершенный рыболов».

39

Дамьен. — Роберт Франсуа Дамьен (1715—1757) был казнен за покушение на жизнь Людовика XV; казнь была осуществлена так, как об этом рассказано в романе.

40

Версаль — королевская резиденция, расположенная в 8 км от Парижа.

41

«Жак» — кличка французских крестьян; в романе Диккенса употреблено как символическое обозначение революционного французского народа. Жакерия — самое крупное в средние века революционное восстание французских крестьян против феодалов (1357).

42

Бастилия — крепость, воздвигнутая в конце XIV века для защиты подступов к Парижу; с конца XV века — государственная тюрьма, в которую король и знать заключали неугодных им лиц и иногда без следствия и суда держали их там годами; в глазах французского народа была символом произвола и Тирании королевской власти. Захват Бастилии парижским революционным народом 14 июля 1789 года знаменует собой начало первой Французской революции.

43

…старый Фулон… — историческое лицо, чиновник интендантства, ростовщик, заслуживший особую ненависть народа, был казнен 22 июля 1789 года.

44

…вели в ратушу… — Во время революции в ратуше, как правило, происходили суды над притеснителями народа.

45

…зять казненного… — зять Фулона, также историческое лицо, некий Бертье, сборщик налогов; казнен народом в тот же день, что и Фулон.

46

…он тоже земля и в землю тую же пойдет… — слова из заупокойной службы.

47

…блеском Сарданапаловой роскоши… — Сарданапал, легендарный царь Ассирии (VII в. до н. э.), славился любовью к роскоши.

48

Тюрьма Аббатства — помещение бывшего монастыря, превращенное во время революции в тюрьму для аристократов.

49

Лафорс — до революции — долговая тюрьма, во время революции — место заключения осужденных на смертную казнь.

50

…четверо суток не прекращалась страшная резня… — Вооруженная интервенция Пруссии и Австрии, двинувших свои войска при участии французских аристократов на революционную Францию и заговоры дворян внутри страны вызвали негодование народа, ответившего на нападение врагов революционным террором против сторонников старого режима. Второго —

седьмого сентября 1792 года в Париже, Лионе, Реймсе и некоторых других городах после быстрых судов революционных трибуналов большое количество заключенных аристократов было казнено.

51

Наступила новая эра… — Слова эти имеют и буквальный смысл — в 1793 году французским Конвентом было введено новое летосчисление: 1-й год республики исчислялся с 22 сентября 1792 года, дня провозглашения Республики. Все месяцы получили новые названия.

52

…короля судили, вынесли ему смертный приговор и казнили… — Людовик XVI был гильотинирован 21 января 1793 года.

53

…показывают голову красавицы королевы… — Королева Мария-Антуанетта была гильотинирована 16 октября 1793 года.

54

Двадцать два друга народа — двадцать один живой и один мертвый… — Речь идет об осуждении группы депутатов-жирондистов, один из которых покончил самоубийством до казни; эти депутаты Конвента возглавляли партию умеренной буржуазии.

55

Именем библейского исполина нарекли главного палача. — Имя палача, который обезглавил короля и королеву, Сансон. По-французски оно произносится так же, как и имя библейского силача Самсона. Библейский Самсон был ослеплен, что дает повод Диккенсу обыграть в конце этой фразы «слепоту» «палача».

56

Пели сложенную в то время излюбленную революционную песню… — «Карманьола» — куплеты революционного содержания, исполнявшиеся в сопровождении пляски. Диккенс, очевидно, воспользовался описанием пляски у Себастиана Мерсье («Картины Парижа») либо непосредственно, либо в тех выдержках, которые приведены в книге Карлейля «История Французской революции».

57

Консьержери — средневековая тюрьма, расположенная неподалеку от собора Парижской богоматери, часть дворца юстиции; здесь во время революции находились политические преступники, осужденные на казнь.

58

«Я смутьянов презираю, ненавижу козни их, на монарха уповаю, боже, короля храни!» — почти дословное воспроизведение строк второй строфы английского национального гимна — «Боже, храни короля».

59

Новый мост — мост через Сену в Париже.

60

«Славный Республиканец Брут». — Название кабачка. Характерно для культа античности в эпоху Революции. Марк-Юний Брут (85—42 гг. до н.. э.) — политический деятель древнего Рима, республиканец, участник заговора против Юлия Цезаря.

61

…легендарная корова из «дома, который построил Джек»… — намек на популярную детскую песенку.

62

…острова в сердце Парижа… — остров Лютеция, на котором находится собор Парижской богоматери.

63

…дом отца моего… — то есть храм.

64

…в мудрых арабских сказках — то есть в сказках «Тысяча и одна ночь», принадлежавших к числу любимейших книг Диккенса. В произведениях Диккенса нередки ссылки на знаменитое собрание арабских сказок.

65

Одна из замечательнейших женщин того времени, также погибшая на гильотине… — Манон Жанна Ролан (1754—1793) — жена одного из лидеров жирондистов и министра внутренних дел Республики Ролана де Ла Платьера, в салоне которой собирались деятели этой партии умеренной буржуазии.
